

ЗНАМЯ

а п р е л ь

Андрей ДМИТРИЕВ
Закрытая книга

Тимур КИБИРОВ
Новые стихи

Вл. НОВИКОВ
От графомана слышу!

Ольга СЕДАКОВА
Путешествие в Тарту и обратно

Конференц-зал
...минус слово?

Новая рубрика
Человек в пейзаже



ЗНАМЯ

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

выходит с января 1931 года

содержание

Тимур КИБИРОВ	3	Новые стихи
Андрей ДМИТРИЕВ	7	Закрытая книга. <i>Роман</i>
Михаил АЙЗЕНБЕРГ	91	Переговорный строй. <i>Стихи</i>
Александра ВАСИЛЬЕВА	94	Моя Марусечка. <i>Повесть</i>
Евгений БАЧУРИН	131	Улыбка Клавдии Васильевны. <i>Стихи</i>
Ольга СЕДАКОВА	134	Путешествие в Тарту и обратно. <i>Запоздалая хроника</i>
Борис РЫЖИЙ	150	From Sverdlovsk with love. <i>Стихи</i>

мемуары. архивы. свидетельства

Арсений ТАРКОВСКИЙ	154	«Надо аккумулировать душевную энергию...». Письма к Евдокии Ольшанской. <i>Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания Е. М. Ольшанской</i>
--------------------	-----	---

публицистика

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ	168	Переселенцы. <i>Записки человека из телевизора</i>
---------------------	-----	--

конференц-зал

Юрий АРАБОВ, Людмила БАКШИ, Аркадий ИППОЛИТОВ, Виктор КУЛЛЭ, Валерий ФОКИН	179	...минус слово?
--	-----	-----------------

человек в пейзаже

Сергей ИЛЬИН	192	Моя жизнь с Набоковым
--------------	-----	-----------------------

апрель
4/99

КРИТИКА

- Вл. НОВИКОВ 205 От графомана слышу!
К истории одного ругательства

ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

- И. Г. МИЛОСЛАВСКИЙ 211 Что такое хорошо и что такое
плохо по Пушкину

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Рецензии

- Александр Уланов 220 Игорь Клех. Инцидент с
классиком
- Феликс Нодель 222 Новелла Матвеева, Иван Киуру.
Мелодия для гитары; Новелла
Матвеева. Пастушеский дневник;
Сонеты
- Александр Касымов 224 Юрий Казарин. Поле зрения
- Александр Агеев 226 Николай Старшинов. Что было,
то было...

Дважды

- Виссарион Ерофеев 228 М. Ю. Шульман. Набоков,
Николай Мельников писатель: Манифест

Аннотации

- 231 Наталия Бианки. К. Симонов,
А. Твардовский в «Новом мире».
Рыцари без страха и упрека.
Правозащитное движение:
дискуссии последних лет
Н. А. Варенцов. Слышанное.
Виденное. Передуманное.
Пережитое
Марк Азадовский, Юлиан Оксман.
Переписка 1944–1954
Станислав Куняев. «Прощай, мой
безнадежный друг...»

Спектакль

- Денис Сергеев 235 Иван Савельев. Путешествие на
краю. Режиссер А. Калинин.
Олег Богаев. Русская народная
почта. Режиссер Кама Гинкас

Незнакомый журнал

- Е. О'Морфи 236 «Родная речь» (Ганновер)

Тимур Кибиров
Новые стихи

* * *

В общем, жили мы неплохо.
Но закончилась эпоха.
Шишел-мышел, вышел вон!

Наступил иной эон.
В предвкушении конца
Ламца-дрица гоп цаца!

Крестьянин и змея

Сколько волка ни корми —
в лес ему охота.
Меж хорошими людьми
вроде идиота,
вроде обормота я,
типа охломона.
Вновь находит грязь свинья
как во время оно!

Снова моря не зажгла
вздорная синица.
Ля-ля-ля и bla-bla-bla —
чем же тут гордиться?
Вновь зима катит в глаза,
а стрекбза плачет.
Ни бельмеса, ни аза.
Что всё это значит?

С новым годом

На фоне неминуемой смерти
давай с тобою обниматься,
руками слабыми цепляться
на лоне глупости и смерти.
Я так продрог, малютка Герда,
среди этой вечности безмозглой,
среди этой пустоты промозглой,
под ненадежной этой твердью.
Кружатся бесы, выются черти.

Я с духом собираюсь втуне,
чтоб наконец-то плюнуть, дунуть,
отречься, наконец, от смерти.
На этом фоне неминуем,
на лоне мачехи могучей,
под безнадежной этой твердью —

давай с тобою обниматься.
Давай за что-нибудь цепляться.

* * *

Наша Таня громко плачет.
Ваша Таня — хоть бы хны!

Снова тычет и бабачит
население страны.

А хотелось бы иначе...

Мы опять удивлены.

* * *

На реках вавилонских стонем,
в тимпаны да кимвалы бьём.
То домового мы хороним,
то ведьму замуж выдаём.

Под посвист рака на горе
шабашим мы на телешоу,
и в этой мерзостной игре
жида венчаем с Макашовым.

Деревня

Русь, как Том Сойер, не даёт ответа.
Должно быть, снова шалости готовит
какие-нибудь... Середина лета.
Гогушин безнадежно рыбу ловит
под сенью ивы. Звонко сквернословит
седая Манька Лаптева. Рассветы
уже чуть позже, ночи чуть длиннее.
И под окном рубцовская рябина
дроздам на радость с каждым днём
желтеет.

Некрупная рогатая скотина
на пустыре торчит у магазина,
и возникает рифма — Амалфея.
По ОРТ экономист маститый
М. Курдюков и депутат Госдумы
пикируются. «Вот же паразиты!» —

переключая, говорит угрюмо
Петр Уксусов. Но Петросяна юмор
вмиг остужает мозг его сердитый.

Вот мчится по дорожке нашей узкой
жигуль-девятка. Эх, девятка-птица!
Кто выдумал тебя? Какой же русский,
какой же новый русский не стремится
заставить всё на свете сторониться!
Но снова тишь, да гладь, да трясогузка,
да на мопедке мужичок поддатый,
да мат, да стрёкот без конца и края...
Опасливый и праздный соглядатай,
змеёй безвредной прячусь и взираю.
Я никого здесь соблазнить не чаю.
Да этого, пожалуй, и не надо.

Генезис

Всё-то дяденьки, тётеньки,
паханы, да папаши,
да братаны, да братцы,
да сынки у парашаи.
Все родимые, родные
и на вид, и на ощупь,
все единоутробные
и сиамские, в общем.
И отцам-командирчикам
здесь дедов не унять.

Все родня здесь по матери,
каждый грёб твою мать!
Эх, плетень ты двоюродный,
эх, седьмая водица,
пусть семья не без у́рода,
не к лицу нам гордиться —
ведь ухмылка фамильная
рот раззявила твой
бестревожно, бессильно...
Что ж ты как не родной?!

* * *

Умом Россию не понять —
равно как Францию, Испанию,
Нигерию, Камбоджу, Данию,
Урарту, Карфаген, Британию,
Рим, Австро-Венгрию, Албанию —
у всех особенная статья.
В Россию можно только верить?

Нет, верить можно только в Бога.
Всё остальное — безнадёга.
Какой мерою ни мерить —
нам всё равно досталось много:
в России можно просто жить.
Царю с Отечеством служить.

* * *

Хорошо Честертону — он в Англии жил!
Оттого-то и весел он был.

Ну а нам-то, а нам-то, России сынам,
как же всё-таки справиться нам?

Jingle bells! В Дингли-делл мистер Пиквик спешит.
Сэм Уэллер кухарку смешит,
и спасёт Ланселот королеву свою
от слепого зловещего Пью!

Ну, а в наших краях, оренбургских степях
заметает следы снежный прах.
И Петрушин возок всё пути не найдёт.
И Вожатый из снега встаёт.

Табель

В сущности, я не люблю жить.
 Я люблю вспоминать.
 Но я не могу вспоминать не по лжи,
 но всё норовлю я песню сложить,
 то есть, в сущности, лгать.

Лгать, сочинять,
 песню слагать,
 ответственность тоже слагать.
 Уд — за старательность.
 Неуд — за жизнь.
 По пению — с минусом пять.

Песнь Сольвейг

Вот, бля, какие бывали дела —
 страсть моё сердце томила и жгла —
 лю, бля, и блю, бля,
 и жить не могу, бля,
 я не могу без тебя!
 Прошлое дело, а всё-таки факт —
 был поэтичен обыденный акт,
 был поэтичен, и метафизичен,
 и символичен обыденный факт!
 Он коннотации эти утратил.
 И оказался, вообще-то, развратом!
 Лю эти, блю эти,
 жить не могу эти,
 das ist phantastisch!
 О, yes!
 Уж не собрать мне
 в аккорд идеальный

Грига и Блока
 с бесстыдством оральным
 и пролонгацией фрикций. Но грудь
 всё же волнуется — О, не забудь!
 Лю, бля, и блю, бля,
 и жить не могу, бля,
 я не могу без тебя,
 не могу!
 А на поверку — могу ещё как!
 Выпить мастак и поесть не дурак.
 Только порою сердечко блажит,
 главную песню о старом твердит:
 лю, говорю тебе, блю, говорю я,
 бля, говорю я, томясь и тоскуя!
 Das ist phantastisch!
 Клянусь тебе, Сольвейг,
 я не могу без тебя!

* * *

Как Набоков и Байрон скитаться,
 ничего никогда не бояться
 и всегда надо всем насмехаться —
 вот каким я хотел быть тогда.
 Да и нынче хочу иногда.
 Но всё больше страшит меня
 грубость,
 и почти не смешит меня глупость,

и напрасно поют поезда —
 я уже не сбегу никуда.
 Ибо годы прошли и столетья,
 и сумел навсегда присмиреть я.
 И вконец я уже приручился,
 наконец, презирать разучился.
 Бойкий критик был, видимо, прав,
 старым Ленским меня обозвав.

* * *

Юноша бледный, в печать выходящий!
 Дать я хочу тебе два-три совета:
 первое дело — живи настоящим,
 ты не пророк, заруби себе это!

И поклоняться Искусству не надо!
 Это и вовсе последнее дело.
 Экзюпери и Батая с де Садом
 перечитай, можешь выбросить смело.

* * *

Поэзия! — big fucking deal!
 Парча, протёртая до дыр!
 Но только через дыры эти
 мы различаем всё на свете,
 поскольку глаз устроен так:

без фокусов — крошечный мрак!
 Гляди ж, пацан, сквозь эту ветошь.
 Сквозь эту мишуру и ложь,
 авось, хоть что-нибудь заметишь,
 глядишь, хоть что-нибудь поймёшь.

* * *

Объективности ради мы запишем в тетради:
Люди — гады, и смерть неизбежна.
Зря нас манит безбрежность,
или девы промежность.
Безнадёжность вокруг, безнадежность.

Впрочем, в той же тетради я пишу Христа ради:
Ну не надо, дружок мой сердешный!
Вихрь кружит центробежный,
мрак клубится кромешный...

Ангел нежный мой, ангел мой нежный!

* * *

Куда ж нам плыть? Бодлер с неистовой Мариной
нам указали путь. Но, други, умирать
я что-то не хочу. Вот кошка Катерина
с овчаркою седой пытается играть.
Забавно, правда ведь? Вот книжка про Шекспира
доказывает мне, что вовсе не Шекспир
(тем паче не певец дурацкий Бисер Киров)
«to be or not to be?» когда-то спросил,
а некий Рэтленд граф. Ведь интересно, правда?
А вот, гляди — Чубайс!! А вот — вот это да! —
с Пресветлым Рождеством нас поздравляет «Правда»!
Нет, лучше подожду — чтоб мыслить и страдать.
Ведь так, мой юный друг? Вот пухленький ведущий
программы «Смак» даёт мне правильный совет
не прогибаться впредь пред миром этим злющим.
Ну улыбнись, дружок! Потешно, правда ведь?
И страшно, правда ведь? И правда ведь, опасно?
Не скучно ни фига! Таинственно, скорей.
Не то, чтоб хорошо, не то, чтобы прекрасно —
невероятно всё и с каждым днём странней.
«Dahin, dahin!» — Уймись! Ей-богу надоело.
Сюда, сюда, мой друг! Вот, полюбуйся сам,
как сложен, преломлён, цветаст свет этот белый!
А тот каков, и так узнать придётся нам!
Лень-матушка спасёт. Хмель-батюшка утешит.
Сестра-хозяйка нам расстелит простыню.
Картина та ещё! Всё то же и все те же.
Сюжет — ни то, ни сё. Пегас — ни тпру, ни ну.
Но — глаз не оторвать! Но сколько же нюансов
досель не знали мы, ещё не знаем мы!
Конечно же to be! Сколь велико пространство!
Как мало времени. Пожалуйста, уймись!
И коль уж наша жизнь, как ресторан вокзальный,
дана на время нам — что ж торопить расчёт?
Упьюсь, и оболуюсь с улыбкою прощальной,
и бабки подобью, и закажу ещё.
И пламень кто-нибудь разделит поневоле.
А нет — и так сойдёт. О чем тут говорить?..
На свете счастье есть. А вот покоя с волей
я что-то не встречал. Куда ж нам к чёрту плыть!

Андрей Дмитриев
Закрытая книга

роман

Идет он за полночь бульваром Белы Куна. Трещит мороз, едва мигают фонари. Он пьян. Он шагает, высоко выбрасывая свои длинные, негнувшиеся ноги, поет марш Преображенского полка, и ему хорошо. Ему жарко. Не сбавляя церемониального шага, не обрывая басовитого «трам-пам-пам», он расстегивает, затем распахивает свое новехонькое, с бобром, ратиновое пальто, потом и вовсе снимает его с себя, плавным движением руки откидывает его в сторону, на решетку Нахимовского сквера, и марширует дальше — к реке и за реку, к себе домой, спать... И спит себе, и длится ночь, и некая тень, пожелавшая затем остаться неизвестной, стучит в окно его дома на глухой садовой окраине; Роза Расуловна встает и отпирает шпингалет; неведомо чья рука протягивает ей из тьмы пальто с бобром, неизвестно чей осторожный голос винится в том, что потревожил ее в столь поздний час, — и тень исчезает в кромешных, погребенных под снегом садах.

Когда это было, какой зимой?

В послевоенные сороковые, в пятидесятые, самое позднее в начале шестидесятых, когда еще не вырубili сады на окраине.

И чья была тень, не назвавшая своего имени? Чья рука вернула мужнину пальто суровой Розе Расуловне? Чей голос просил у нее прощения за беспокойство, вместо того чтобы требовать награды?

Неважно, чей. Не имеет значения, кто это был: милиционер, лунатик, топтун или случайный подгулявший прохожий — так в нашем городе поступил бы каждый, потому что наш город чтит В. В., любил его и благоговел перед ним.

Неправда, будто бы наш город весь учился у него, но то, что весь наш город врет, будто бы учился у него, это правда. Врут даже те, кто родился после его смерти. Других доказательств его исключительной доброй славы вроде бы и не нужно, но и напомнить о ней не вредно...

Вот еще случай. Сидит он за полночь в пустынном ресторане. Негромко музыка играет для него. Он подпевает ей без слов, потом задремывает, потом просыпается и смотрит вокруг себя. Музыка давно смолкла, и свет люстр наполовину погас — пора подаваться к дому. Он допивает что осталось на дне графина и манит к себе официантку, а как ее звали, не помнит никто. Вручает ей пачку денег — всю свою получку и отпускные — и плавным, гордым движением бровей дает ей понять, что сдачи не надо. Безымянная официантка, не сморгнув, бросает деньги в карман передника и принимается убирать со стола. Но проходит час, другой, она тихонечко стучит в окно дома В. В. на глухой садовой окраине; Роза Расуловна отпирает шпингалет и молча забирает деньги, совершенно уверенная в том, что можно их не пересчитывать.

Оба этих случая или анекдота, ставшие частью легенды о В. В., знаменательно однообразны: он и тут, и там пьян. Легендарные люди моей страны, даже будучи порой трезвенниками в реальности, обычно много пьют в

легендах о себе, и это — свидетельство неподдельной, хотя и неуклюжей народной к ним любви. Что до В. В., то он пил и в реальности, но не то чтобы много пил или часто, а громко пил, как-то театрально, привлекая после пристойных двухсот пятидесяти граммов столько к себе внимания, как если бы речь могла идти о безобразном лихом загуле. Это сходило ему с рук при жизни, но не прошло даром после смерти. Городские власти отказались присвоить его имя какой-нибудь улице, хотя бы и Цыпляеву переулку, предупреждая неминуемое вето наивысших властей, которые даром что сидели сиднем за высокой стеною в далекой Москве, но глазами и ушами своими достигали всюду и о поведении В. В. знали не меньше нашего. Цыпляев переименовали в Краснополигонную. Теперь это снова Цыпляев. Улицы, названной в честь В. В., нет в городе и по сей день. Думаю, и не нужно. Лучшее ему жить в живой молве, чем ржаветь казенною жестянкой на стенах наших домов, давно не крашенных и почти лишенных штукатурки.

Недавно городской «Курьер» предложил наградить именем В. В. среднюю школу номер семь — бывшую мужскую гимназию, где В. В. сначала изучал, уже тогда отдавая ей предпочтение перед всеми другими науками, а после и преподавал свою любимую географию. Возражения «Курьеру» прозвучали сразу с двух противоположных сторон. Просвещенная сторона вдруг вспомнила, как в свое время сам В. В. пытался наградить седьмую школу именем Плетенева, своего гимназического товарища, — именем мировым и прославленным на всех стихиях. В. В. тогда не послушали и присвоили седьмой школе имя другого его одноклассника, Якова Лелеева, расстрелянного весной восемнадцатого года за сколачивание отрядов красной гвардии... Просвещенная сторона призвала читателей «Курьера» исполнить волю В. В. и дать наконец седьмой школе имя великого Плетенева. Непросвещенная сторона пообещала сколотить новые отряды красной гвардии в случае, если имя пламенного Якова будет отнято у школы номер семь. Не найдя ни с одной стороны поддержки, «Курьер» прикусил язык.

Высокий, с тонкой шеей, быстрым кадыком на бритом горле и седым, неприбранным хохолком надо лбом — таким я увидел его впервые и запомнил подробно, как запомнил и весь тот просторный день. Воскресенье, солнце, весна, а мы с матерью, вместо того чтобы пойти на набережную смотреть, как солдаты будут взрывать на реке лед, стоим и стоим в огромной очереди за хлебом на углу Вокзальной и Белы Куна. Это шестьдесят третий год. В будни дают две буханки черного, по воскресеньям — две буханки серого, накануне государственных праздников — еще и батон белого в одни взрослые руки. Предъявителю ребенка полагаются дополнительные буханки или батоны. Вот почему я не на набережной. Вот почему почти все взрослые в очереди крепко держат за руки детей: своих, соседских, просто знакомых, а то и вовсе незнакомых, нанятых за малую мзду в виде ста пятидесяти граммов карамели «клубника со сливками» или двух порций шоколадного мороженого... Очередь неподвижна, а воскресенье убывает. Малолетние наймиты вслух подумывают о побеге. Наниматели нервничают, обещают добавить к условленной мзде коробку клюквы в сахаре, два билета на дневной сеанс или даже стограммовый кулек латвийских сливочных тянучек «Коровка». Наймиты ноют, вырываются и удирают, поодиночке и врассыпную, к сильной моей зависти. Наниматели шлют им вслед тоскливые проклятья, ищут сочувствия у счастливых обладателей собственных детей, ругаются запрещенными словами. Очередь шевелится, шипит, как проснувшийся удав, — и вдруг вся умолкает. Мать дергает меня за рукав, чтобы я прекратил наконец вертеться, потом дергает еще раз и еще, чтобы я осознал, кого я вижу.

Я вижу В. В. с внуком. Он тащит внука в конец очереди. Очередь громко протестует, просит его не церемониться. Он благодарно кланяется и внука

своего понуждает поклониться, но ни за что не соглашается быть не как все. Очередь обиженно настаивает на своем. Он решается на великодушный компромисс — становится точно в середине очереди, сразу за нами. Я оборачиваюсь, чтобы получше его разглядеть и запомнить. Я нещадно пялюсь на него снизу вверх до тех пор, пока мать не дергает меня за рукав, чтобы я это прекратил и вел себя прилично... Воскресный серый хлеб достается нам, ему, на нем и заканчивается. Очередь не верит, требует завмага на правее, продавец огрызается из-за прилавка. Недовольство грозит обернуться обычновенным в таких случаях крикливым безобразием, но тут гремят один за другим четыре близких взрыва, стонет и лопаются витрины с нарисованным на ней пшеничным колоском, охают мужчины, ахают женщины, режут младенцы на руках матерей. В. В. взмахивает авоськой, зычно командует внуку: «За мной!» — и вприпрыжку бежит к реке. Мы все взволнованной толпой едва догоняем его и, очутившись на людной набережной, успеваем увидеть еще две громоподобные оранжевые вспышки посреди реки, на льду, вблизи опор железнодорожного моста.

Огромные полыньи, помедлив, изрыгают мутную воду, широко и неторопливо она разливается по ледяной поверхности, и вместе с водой, под нею, расплазуются по льду страшные черные трещины. Рыжий дым стелется над мостом, плывет над нами. В. В. поясняет своему внуку, да так, чтобы слышали все дети на набережной, что взрывать по весне лед возле моста совершенно необходимо, дабы неминуемый скорый ледоход не припер к мостовым опорам слишком обширные и тяжелые льдины: они непременно застрянут под мостом и, громоздясь одна на другую, причинят ему чего доброго какой-нибудь опасный ущерб.

Потревоженная, готовая вскрыться река глухо рычит подо льдом. Нам холодно, жутко, но нам не хочется расходиться по домам. В. В. предлагает всем, кто того, конечно, пожелает, немного прогуляться с ним по городу, быть может, послушать его рассказы о городе, и мать опять дергает меня за рукав — чтобы я понял, как мне повезло.

Воспоминания моего детства — не страшного, нормального, даже благополучного детства — это на две трети чужие воспоминания о моем детстве и о времени моего детства, присвоенные моей памятью и моим воображением. В юности я только и делал, что присваивал, приспособливал к своим собственным, переживал как свои и пересказывал эти, да и любые другие чужие воспоминания. Когда количество сугубо моих воспоминаний в моей крови станет преобладающим, с нею что-то кислое произойдет, и я состарюсь. Я уже точно не молод: я уже ясно сознаю, что память того просторного дня, того людного гуляния под водительством великого педагога — это на две трети не моя память, а память моей матери. Моя законная треть — это вкус и запах серого хлеба, который мы с матерью на ходу ломали и ели, и отламывали другим — тем, кому хлеб не достался, да и все, кому хлеб достался, ломали его, ели и отламывали другим. Еще это голубой, нехолодный снег на зеленеющих газонах, быстрые и низкие облака над городскими крышами и то, как с наступлением темноты все же содрогнулся, затрещал и, крушась и кружась, пошел по реке лед... Две присвоенные мною материнские трети — это сами рассказы В. В. во время той стремительной прогулки и ее последовательность вплоть до скандала, учиненного нам отцом за то, что мы, не предупредив его, пропали на весь день и вернулись домой без хлеба.

Сегодня все, о чем на бегу рассказывал нам В. В., можно прочесть в ностальгической рубрике «Курьера» и в новейшем городском путеводителе. Правда, я не уверен, что путеводитель и рубрика когда-нибудь осмелятся вслед за В. В. повторить, что Нахимовский сквер назван так вовсе не в честь прославленного флотоводца, а по имени своего устроителя, купца Нахима

Пруткина. В остальном все сходится, если не считать того, что путеводитель и рубрика сумрачно-слащавы, полны горьких восклицаний, вздохов и многоточий. В. В. не нахмурился ни разу. Он вел нас по городу, как крысолов, посвистывая в дудочку своих воспоминаний, и мелодия его была мажорной. Ему было весело удивить нас тем, что в городе его детства выходило полтора десятка газет, и тут же процитировать самые ходовые их заголовки, самые невероятные рекламы и объявления. Ему было радостно указать нам местоположения четырех тогдашних театров и тут же пресмешно изобразить приемы игры их премьеров, их героев-любовников, комиков и даже инженюшек и трагестих. Мы в тот день впервые узнали о том, что бульвар Белы Куна, именовавшийся Варшавским, в просторечии был Меринов бульвар — с намеком на кавалерийское училище: оно квартировалось в конце бульвара, на спуске к реке, в самом видном городском здании, присвоенном впоследствии разными советскими и главными партийными комитетами. Мы впервые смогли вообразить себе все увеселения увеселительного сада Пухарского с его эстрадой, подмигивающей китайскими фонариками, с его фразным оркестром, женщиной-обезьяной Элоизой Черемных, одноруким жонглером Флорентини и попытаться представить пахучее изобилие хлебной, рыбной и промышленной ярмарок, расстегаи и консоме трактиров и ресторанов, шары на каланче, детские утренники с фантами и шарадами, взрослые вечера с вальсами и живыми картинами, тезоименитства Е.И.В. с фейерверками и гирляндами, знаменитые похороны губернатора Кеппеля, зарезанного прогрессивным приказчиком Иваницким, — с речами, плачем, молебном и пушечным салютом.

О своей гимназии В. В. рассказывал нам со счастливой, застенчивой улыбкой, и голос его, до этого тонкий, отзванивающий жезью, сделался глубоким, мягким и шелестящим, едва заговорил он о своих одноклассниках: о Плетеневе, Жиле, Редисе и Свищове. О Лелееве он говорить не стал, благо, о Лелееве (тут В. В. не удержался и подмигнул, однако ж, и посуровел, спохватившись) нам и так все известно.

В. В. рассказывал нам о друзьях своего баснословного детства одно лишь смешное: как, к примеру, они бросали из кустов Нахимовского сквера мелкие камешки в раструбы геликонов духового оркестра. О деятельности своих друзей по окончании ими гимназии он вряд ли позволил себе говорить с нами насмех и на ходу. Он лишь заметил нам, взобравшись на чугунное школьное крыльцо, что в целом мире не отыскать другой такой школы и, тем более, другого такого класса, который бы в один день и в один час выпустил в мир сразу четырех великих людей. «Пятерых! Пятерых!» — взволнованные голоса, среди которых мне был ясно слышен голос моей матери, тут же поправили В. В., чем вызвали у него приступ горького и вместе с тем сытого хохота.

Не только ради флирта и не одной лишь пьянки ради или праздной болтовни слетаются каждый год по осени в обсыпанный желтой хвоей прибалтийский городок, в кишащий белками американский кампус, в насквозь продутую невским ветром университетскую аудиторию стайки вежливых, немного жеманных, неброско, а пожалуй, и неряшливо одетых женщин и мужчин со всего света, отлично понимающих друг друга благодаря опознавательным словам и словечкам. Самые юные из этих женщин и мужчин по восторженной неопытности своей считают их строго научными терминами. «Жанр», «сюжет», «мотив», «метафора», «аллюзия», «текст», «контекст» и еще добрая сотня других, не вполне определенных, приблизительных и совершенно не обязательных для всякого, кто умеет читать, но вполне пригодных в своем кругу для обозначения некоторых состояний на свой лад упорядоченного и обихоженного бытия, — слова и словечки эти, переключаясь, звучат

в тиши балтийских дюн и сосен, канадских кленов и пихт, на гранитных не-вских берегах в продолжение трех или четырех осенних дней, пока на собравшихся глядит с одинаковых портретов необычайно красивый человек в щегольском пенсне без шнурка. Это Плетенев. Это в память о нем, хотя и по своим делам, сбиваются каждый год в маленькие стаи все эти вежливые женщины и мужчины.

С приходом в мир Плетенева кончилась эра произвольных суждений о литературе. Плетенев решил ее изучать, как изучают руду и кровь, атомы и плазму, химсоставы и биосистемы, как изучают числа и светила. До него о литературе писал и рассуждал всякий, кому не лень, кому доставало со-вести и досуга: журналист, новеллист, дипломат, помещик, поп-расстрига и просто поп, актер, книгопродавец, студент, французский авантюрист, сэр та-кой-то эсквайр, бедный аббат, скромный чиновник, газетный партийный кри-тик, критик от другой партии, воспитатель добрых начал, разрушитель твер-дых начал, отставной офицер, уездный врач, чеховский профессор Серебря-ков, московский поэт, гитарист и женолюб, который прославился тем, что взял однажды на своей гитаре задумчивый нежный аккорд, потом прислушался к тому, как долго звучит он в садах, дворах и закоулках, как, измененный долгим эхом и все же родной, узнаваемый, плывет и веет в воздухе Замос-кворечья, — и придумал словечко «веяние».

«Что за идиотское веяние? — писал бесстрашно Плетенев в своем гим-назическом сочинении о литературных веяниях. — И почему мы обязаны всерьез, с уважением и пристальным вниманием относиться к тому, что ви-тает в воздухе? Мало ли какая глупость витает в воздухе! Мало ли гадо-сти витает в воздухе!.. И мухи витают в воздухе!»

О великом и, к слову сказать, своем любимом поэте, о своем старшем то-варище и современнике, который помимо стихов и поэм («... самое чистое, самой благородной пробы серебро Серебряного века...» — Плетенев, Собр. соч., т. 3. «Письма») имел неосторожность написать десяток статей о сти-хах и поэмах, Плетенев в неопубликованном приватном письме безжалост-но заметил: «Он смыслит в литературе, как воспаленный аппендикс — в гнойной хирургии».

С появлением Плетенева привычка читающих писателей и пишущих чи-тателей к произвольным суждениям не изжила себя, но цена этих суждений упала ниже себестоимости, упала так низко, что ей, пожалуй, уже и не под-няться.

Разумеется, свои первые шаги в этом, под стать наступившему веку, ре-волюционном направлении Плетенев делал не в одиночку. Самый первый шаг сделал даже не он, а его университетский товарищ Новоржевский — дважды Георгиевский кавалер, автолюбитель, диверсант, фильмный сценар-рист, просветитель, в конце — эмигрант и много, много чего еще, но, самое завидное, долгожитель, сумевший пережить даже нашего В. В.

«Нам с тобой, amicis, ничуть не важно, — писал Новоржевский Пле-тенеvu в 1915 году из галицийских сырых окопов перед той самой атакой, за которую потом, едва выжив, получил своего второго Георгия, — о чем лю-бимец муз, властитель дум, шелкопер (зови, как хочешь) вздыхал себе, ког-да писал; кого любил, когда выдумывал; что обозревал, когда описывал; кого язвил, когда шутил; кому подражал; что утверждал; с кем спорил; перед кем заискивал; у кого учился и чему учил, — все эти дуновения, amicis, состав-ляют интерес биографов, историков, психиатров и, более всего, досужих чи-тателей обоего пола. Нам с тобою важно литературное изделие как тако-вое: из какой ткани оно сработано, по каким лекалам скроено, какими нит-ками и иголками сшито».

Подхваченный и перенесенный неудержимой толпой мародеров из об-житого окопа в неудобный Петроград, Новоржевский выявил там и описал

немало лекал и иголок, о существовании которых не знал до него никто. Теперь любое литературное изделие вполне можно было рассматривать с точки зрения его сработанности, как если бы, едва взглянув на фрак или кринолин, воспроизвести первоначальную выкройку фрака и кринолина, а заодно и выявить способ изготовления ткани. Это был важный шаг, но Плетенев чувствовал, что шаг коротковат, им пока немного достигнешь, что за обнаруженными Новоржевским литературными лекалами, нитками и иглками кроется нечто более важное, нежели лекала, нитки и иголки. Плетенев понимал, что сами лекала, нитки и иголки никем не сработаны и вряд ли созданы традицией или литературной преемственностью, то есть инерцией людских пристрастий, навыков и привычек — но дарованы нам если не Богом (в Бога Плетенев не верил), то неким всеобщим законом, сродни природным законам, сродни историческим, сродни тем законам, которыми современники Плетенева легко объясняли как плавное течение рек, так и штормовые валы революций.

Чувства движения, понимания сути непрерывного развития литературы, непрестанного совершенствования и изнашивания ее лекал, ниток и иголок — вот чего не хватало вообще-то подвижному Новоржевскому. И покуда Новоржевский, ненадолго отвлечшись от литературных штудий, творил историю, то есть выводил из строя броневики белой гвардии, потом, передумав, ремонтировал их и бросал в бой против красной гвардии, Плетенев сочинял статьи, в которых излагал и обосновывал свой взгляд на развитие литературы.

По Плетеневу, литература развивается непрерывно, но неровно, в равном ритме, чередуя крайне вялое, сонное, внешне смахивающее на полный застой движение внезапными и бурными всплесками и скачками. Чтобы быть верно понятым самим собой и другими, Плетенев использовал давно знакомые слова, такие, как «жанр», «сюжет» и им подобные, вкладывая в них однако совершенно новый смысл. Теперь они означали не правила хорошего или дурного литературного тона, не модный или немодный фасон, не способ покроя или вытачки, но различные проявления закономерного, глубинного и никакими другими словами не выразимого бытия. К примеру, вялая, почти застойная фаза литературного развития есть не что иное, как вегетативный период слабых, второстепенных жанров: робкие, едва заметные под ленивой ряской, они тихонько набираются сил и соков, отращивают зубы, затем нечувствительно вгрызаются в брюхо разжиревших главных жанров, выедают их изнутри и, освоившись в их оболочке, совершают вдруг стремительный рывок вперед или в сторону, сшибаясь и борясь с себе подобными, — потом устают, успокаиваются, царят, дремлют и жиреют, не замечая, как кто-то, махонький и невидный, понемногу вгрызается в брюхо им самим.

Плетенев долго болел и жил недолго. Размягченный предсмертной грустью, он неожиданно для всех сочинил роман, герои которого, бывшие щелкоперы и властители дум, вздыхали, мечтали, любили, язвили, шутили, со всею страстью спорили и ни перед кем не заискивали — к неудовольствию Новоржевского, к восторгу и зависти досужив читателей обоего пола.

Весной сорок первого года, в мае, в предобеденный час Плетенев сидел в соломенном кресле посреди неухоженного, заросшего конским щавелем, репейником и кустами больничного сада. Холодный ветер неохотно перебирал редкие, сохшиеся гроздья уже отцветшей сирени и, становясь вдруг порывистым, взбивал свежую пену черемухи. Закутанный в пальто и обвернутый байковым одеялом поверх пальто, Плетенев старался отвлечься от боли, приглушенной утренним уколом морфия, но уже внятно слышной. Он думал о черемухе, о том, почему ее цветению неизменно сопутствуют холода: указывает ли эта закономерность на некий природный закон или же по-

холодание атмосферы и цветение кустарника суть результаты действия двух не связанных один с другим природных законов, атмосферного и ботанического, а вот то, что проявляются они в один и тот же короткий отрезок времени, — случайность и ловушка для праздного, утомленного постоянной болью ума. Праздная, маленькая, совсем неважная мысль о черемуховых холодах звучала в нем так долго, так подробно и торжественно, что Плетенев, не додумав ее, устыдился. Приписал ее действию наркотика и заставил себя думать о самом важном.

Куда как важен был его недавний телефонный разговор со Свищовым. «Жил в отпуске. Там все скверно. История против нас», — ответил ему Свищов на обыкновенный вопрос о делах и настроении. Плетенев перевел мгновенно: Жиль в тюрьме или, хуже того, расстрелян.

Давний друг академик Жиль, по его собственному утверждению, был, как никогда, близок к созданию препарата, способного прекращать деление раковых клеток на любой стадии болезни. Слабо надеясь на то, что дотянет до испытаний, Плетенев был готов испытать на себе его опытные образцы. Любой приговор Жилю был приговором и ему, Плетеневу, и сотням тысяч ему подобных, сидящих в креслах и на лавочках посреди холодных больничных садов. О тех, кто уже лежит, не вставая, в наглухо зашторенных палатах, Плетенев старался не думать.

Он думал об Истории. Этим словом он и его друзья меж собой называли бывших солдат Новоржевского, которые, сильно заскучав в осенних окопах семнадцатого года, обернулись мародерами, разграбили свою страну и, побив потом всех, кто пытался им помешать, взяли в ней небывалую власть. Из рода в род забытые и запуганные, они уверовали, что и смерть — наказание сродни епитимье, труду, штрафу, плети, каторге и оплеухе. Они взяли власть, чтобы освободиться от вечного ужаса наказаний, чтобы стать безнаказанными, и если смерть наказание, то и бессмертными... Похоже, они убедили себя, что все наказания в их руках, сама смерть в их руках, и если им суждено принять смерть, то лишь от подлой руки врага или из рук друга. Если им больше не нужен Жиль, они, похоже, и в самом деле возомнили себя бессмертными. Но тут они оплошали. Смерть не род наказания и болезнь не род наказания, скорее род назидания. Они поймут это вполне, когда окажутся в этих больничных садах и в душевных, дурно пахнущих, натеменно занавешенных палатах... «А ведь сюжет! — Плетенев даже привстал в кресле, да так резко, что боль распрямилась стальной пружиной и пробила ему позвоночник. — И не случайный ведь, неизбежный сюжет! Кто-нибудь непременно сочинит роман или пьесу на этот сюжет... лучше роман. Пусть не сейчас сочинит, пусть потом... а жаль, что не прочту».

Действие утреннего морфия сошло на нет, боль бушевала, но Плетенев не сдавался: «Ты только не злорадствуй, — ревниво увещевал он неведомого романиста, не из чего заключив, что это бывший санитар или врач со шкиперской, как у Жилия, бородкой, с глазами Жилия, с таким же веселым и подвижным лицом, — тебе это не свойственно, но все равно не злорадствуй... но и с жалостью, с милостью к падшим тоже не переусердствуй... И не короти, не сжимай в бульонный кубик, это тебе не смерть Ивана Ильича, там и читатель был другой, здесь читателю надо дать приспособиться, ему надобно сперва разжевать и только потом в рот положить... Не приведи тебе Бог сразу бить его по лбу, а то он с перепугу и сам пальнет тебе в лоб... Не спеши; обстоятельно: будни образцовой больницы, нормальные больные, люди как люди... и один ненормальный, несчастный дурень, который все еще убежден, что он бессмертен, потому что он — История»...

Плетенев заплакал: боль победила, и продолжение разговора сделалось невозможным. Он собрался с последними силами и как мог громко позвал медсестру, почти и не надеясь, что эта Саша его услышит: раковый корпус

желтел далеко, за шумной стеной лип и тополей, — но чудо свершилось, и Саша явилась мгновенно, откуда-то справа, из-за ближайшего черемухового куста. Она была чем-то так смущена, что без обычных пререканий согласилась сделать укол на месте, прямо в саду, и даже шприц с морфием оказался при ней чудесным образом. Уколов, она исчезла быстрее, чем явилась. Боль в нем билась недолго, вскоре начала засыпать, и Плетенева потянуло в сон. Он насупился, спрятал подбородок поглубже в воротник пальто, покрепче обернулся байковым одеялом и, прежде чем уснуть и впустить в свои сны сухой шелест травы и сирени и влажное дыхание черемухи, услышал тихий смех медсестры Саши, потом короткий мужской смешок и небрежный, печальный аккорд, взятый кем-то на семиструнной гитаре. Саша проговорила: «Тише, ты!» — и гитара смолкла, но тот единственный аккорд, подхваченный ветром, уже плыл куда-то по большичным аллеям, витал в воздухе, вел за собой, манил, уговаривал не спать, и Плетенев старался не спать, тянулся слухом за ним из последних сил, скоро понял, что отстает от него, теряет его в дальнем шуме лип и тополей, виновато улыбнулся и сорвался в сон.

Плетенев умер в конце июня, в занавешенной душевной палате, еще не зная или уже не желая знать, что началась большая война. Жиль погиб в тюремном карцере вскоре после войны. Их гимназический товарищ Редис, придумавший удивительно удобную и когда-то известную во всем мире логарифмическую линейку Редиса, жил так неприметно и тихо, что дата его кончины отсутствует даже в новейшем издании Энциклопедического словаря. На основании косвенных свидетельств Свищов предположил в своих мемуарах, что Редис нашел свою смерть в лагере смерти под Веймаром всего лишь за несколько часов до освобождения.

Сам Свищов прожил долго и уже тем счастливо, что мог быть уверен в долговечности своих книг и прежде всего, как он это сам полагал, своих двухтомных воспоминаний о Плетеневе. Удались ему и романы об ученых-медиках, странствующих по белу свету в поисках ингредиентов для своих чудодейственных лекарств. Подобно персонажам Жюль Верна герои Свищова прорубались сквозь оружие и стрекочущие джунгли, блуждали в сибирской тайге, где стоит вечная мгла, потому что солнце там не в силах пробиться сквозь кедровые кроны, шли через тундру, не зная сна и галлюцинируя под ядовитым воздействием северного сияния, всходили на перевалы, сжигая себе легкие разреженным воздухом перевалов, плутали во влажных подземных лабиринтах, понемногу сходя с ума от мерной и гулкой пещерной капли. Теряя товарищей, разоблачая предателей, разрушая козни завистников, чиновников и иностранных корыстных злодеев, они едва ли не случайно находили вдруг посередине мира, в его пропасти или на его вершине, в какой-нибудь неприметной, безымянной лощине какую-нибудь одинокую и невзрачную, пьяно пахнущую травинку, зажатую меж пыльных камней, — обыкновенный мятый стебелек, горький сок которого, если его правильно разгадать и применить, способен спасти захворавшее человечество... Кто бы ни был герой этих романов: потомственный трудовой интеллигент с бурлацкими ухватками, смешной советский Паганель, боящийся простуды и муравьев, но бесстрашно глядящий в глаза врагам, паренек с рабочей окраины, жадный до наук и обуреваемый великой целью всемирного выздоровления, женщина-педант, способная работать по двадцать четыре часа в сутки в ущерб своей небывалой любви, — в каждом из них, даже в женщине, друзья и последователи Жилия легко узнавали Жилия, а все прочие читатели обретали пример для подражания.

Во всей литературной истории уходящего века Свищов был, я думаю, единственным писателем, сознательно отказавшимся от самовыражения, презревшим собственное «я» ради воссоздания и продолжения «я» каждого из

своих погибших друзей. Слово Свищова — это слово о них или слово, к ним обращенное. Всякое его воспоминание — это их воспоминание или о них воспоминание. Всякий пейзаж увиден их глазами: Всякое событие изображено с их точки зрения. Добро и зло у Свищова — это добро и зло в их понимании, вымысел — это вымысел о них, игра воображения — их игра, затеянная, допустим, Плетеневым в один из жарких сентябрьских деньков одна тысяча девятьсот первого года и доигранная Свищовым много лет спустя, в конце сороковых, в повести «Навигаторы».

...Редиса в тот день с ними не было: он никогда не прогуливал уроков. Они сидели на жарком бревнышке возле воды и ели сыр, принесенный, как обычно, из дому щедрым В. В. Берег не был чист. Река замусорила гальку и песок обрывками сетей, разломанными рыболовными мордами, гнилыми веслами и водорослями. Фуражка без козырька, желтый труп собаки, две пивные бутылки и темный флакон из-под микстуры слегка покачивались на прибрежной волне.

Бодрое шлепанье корабельного колеса заставило гимназистов забыть о сыре; олений рев паровой сирены разбудил в них зависть и грусть: никто из них никогда не плывал на большом пароходе, никто не видел моря, — ничто их так не сблизало в эту минуту, как мысль о море и печаль о большом пароходе. Едва пароход, обойдя длинную отмель, скрылся в пролете железнодорожного моста, оставив на короткую память о себе клочок дыма над мостом и запоздало ударившую о берег тяжелую волну, Плетенев удивился, почему река вместо обычной дряни никак не выбросит на сушу какую-нибудь замшелую бутылку в сургуче и с клочком пергамента внутри. В. В. насмешливо напомнил Плетеневу, что река берет свое начало не в теплых морях — в сырьевых болотах и потому не имеет возможности вынести на берег ничего, кроме дряни. Плетенев решил обидеться, но все же передумал, дожидаясь сыра. Жиль предложил найти однажды на берегу какой-нибудь портфель или, лучше, саквояж, незнамо кем оброненный с паровой кормы, в нем обнаружить карту или, лучше, судовой журнал пропавшей без вести экспедиции, плюнуть на латинский диктант и немедленно отправиться в океан на поиски пропавших моряков. Свищов с ним согласился и через сорок с лишним лет написал «Навигаторов», небольшую по объему; но лучшую свою повесть — миллионы моих сограждан с детства знают ее наизусть.

Даже если давно не перечитывали, вспомним мальчиков на речном берегу, страшного утопленника в желтой, как у авиатора, кожаной куртке, его чемоданчик с полуразмокшими картами и полуразмытыми записями. Карты и записи сияются сообщить нам нечто важное о загадочном исчезновении антарктической экспедиции адмирала Юкагирова, но уяснить себе подлинный смысл сообщения, обнаружить место гибели Юкагирова, разоблачить и покарать злодея, повинного в этой гибели и убившего единственного ее свидетеля, человека в желтой кожаной куртке, мальчикам удастся далеко не сразу — лишь повзрослев, немало повидав, сильно возмужав и очень многое пережив.

Триумфальный выход этой повести в свет был самым сильным, после военных страхов, детским впечатлением моей матери. Сюжет «Навигаторов», и это было удивительно, завязывался в ее родном городе, на берегу ее реки, герои повести, в первых главах и вовсе ее одногодки, учились в ее седьмой школе, и один из них (моя мать до сих пор не видит разницы между персонажем и его прототипом) даже преподавал ей географию — эту соблазнительную науку странствий. Почти все одноклассники моей матери, кроме тех, кому военное детство подорвало здоровье, пошли в мореходку... Ее жизнь не сложилась потому, что женщин не берут во флот. Отсюда ее беспокойный, вздорный характер. Отсюда ее странноватая, неженская по-

ходка. Отсюда ее тельняшка — мать ее не снимает. Мой терпеливый отец не вынес вида этой тельняшки, ушел от нас к какой-то надушенной шелковой блузке, и я его не виню... Я и ее не виню. А ведь это она уговорила втайне от меня нашего городского военкома Дементьева призвать меня во флот.

Это случится много позже, в семьдесят четвертом. А пока — начинает темнеть, и наша экскурсия подходит к концу. Минуту погрузив без слов, В. В. лихо спрыгивает с чугунного школьного крыльца, в благоговейно замершей толпе отыскивает своего озябшего, канючащего внука, крепко берет его за руку и, свернув за угол школьного палисадника, нетерпеливо шагает мимо деревянных одноэтажных и двухэтажных домов с мезонинчиками, геранями и алоэ в желтых окнах, мимо дровяных сараев и сонно мурлыкающих голубятен, мимо мазаных известью покатых помоек, мимо оттаявших по весне и тут же запахших прошлогодними кошками детских песочниц, мимо беседок, качелей, дощатых столиков для домино и мимо прочей дребедени, которую я долго потом не мог вспомнить самостоятельно, без помощи моей матери — так давно это все снесено, сметено, соскребано бульдозерами под строительство квартала аккуратных хрущоб, — то есть В. В. шагает, увлекая нас за собой, сквозь незримые еще и даже не предполагаемые нами в густых весенних сумерках стены будущих пятиэтажек, в одной из которых я прожил потом большую часть своих детских лет, и вскоре оказывается вновь на набережной, неподалеку от заколоченной пристани, у дымных и шумных окошек питейного шалмана «Альбатрос». Внук упирается изо всех сил, но В. В. упрямо тащит его за собой и вместе с ним проваливается в урчащий пьяным говором, разящий прокисшим пивом, табаком и мочой, разинутый клюв «Альбатроса». Кое-кто из нас устремляется следом за ним. Большинство топчется, как бы споткнувшись, на холодке, поглядывает в раздумье на часы и пересчитывает мелочь. Мать дергает меня за рукав, и мы с нею идем одни по набережной, привыкая к внезапной пустоте вокруг нас, вздрагивая от протяжных и сумрачных вздохов готовой вот-вот вскрыться реки.

Ко времени той нечаянной и памятной прогулки великий педагог был уже на пенсии.

— Как тебе не повезло, — сказала мне мать тогда, на холодной набережной, сообразив после затяжного и торжественного молчания, что географию мне будет преподавать кто-то другой. В неожиданных словах матери было столько горечи, что я доверчиво себя пожалел; сразу почувствовал себя уставшим, сразу озяб и, малодушно захныкав, заторопился домой, в нашу хорошо натопленную, пахнущую сгоревшим торфом и жареными макаронами комнату, где негромко похрапывает отец на тахте, спит кот у него в ногах и бьетса зеленая жилка в круглом глазу радиоприемника, разогретого чудовищным дыханием далекого хоккейного матча.

Мать оказалась права: даже имени своего учителя географии я не помню. Но ни она, ни ее школьные друзья и подруги, сколько я их ни просил, не смогли толком мне разъяснить, в чем заключался уникальный педагогический дар В. В., или хотя бы описать мне в общих чертах его метод преподавания географии. Никто из них не сохранил своих школьных тетрадей, шпаргалок или контурных карт, да и не знают они из географии почти ничего, извиняя свое неведение давностью лет и повальным склерозом. При этом известь закупорила вход именно в те кладовые их памяти, куда великий В. В. сложил, по преданию, схемы циркуляции атмосферы от полюсов до экватора, карты морских течений, системы ледниковых покровов, звенья круговорота воды в природе. Названия почв, их профили и горизонты, раз-

ность широт и разница климатических поясов, приливы и отливы, впадины и возвышенности, бары, косы, пересыпи, переймы и дельты оказались наглухо запертыми в их головах и там забыты. Забывчивость не коснулась лишь Атлантиды, Эльдорадо, острова Пасхи, Рио-де-Жанейро, Везувия и Земли Санникова, а также имен и деяний Магеллана, Колумба, сэра Фрэнсиса Дрейка, Ливингстона, Пржевальского, Седова и придуманного Свищовым адмирала Юкагирова, — эти и другие имена и земли поминались часто, к месту и не к месту, и произносились они с неизменной легкой картавостью, по преданию, свойственной аристократичному В. В.

В застольях на нашей кухне, слишком частых после ухода отца, ученики В. В. много пили и громко пели всевозможные песни странствий, необычайно популярные в пору этих застолий и почти забытые сейчас. Они пели о каюре, погоняющем собак, о моряке Джоне Кеннеди, о бригантине. Приглушив голоса, чтобы не разозлить соседей, и не мигая глядя в глаза друг другу поверх бутылок и тарелок, они день-ночь, день-ночь шли по жаркой Африке, они десять лет и двадцать лет шагали по тайге, где петляют вдоль берега олени и медвежьи следы, они подбадривали геолога, который ветру и солнцу брат, они обещали взглянуть на фотокарточку любимого человека в случае, если придется тонуть на море или в океане.

Бородатый инженер горводканала Сыромятин, незамужняя толстая Халдей, многодетная Зеленчук, секретарь обкома комсомола Костя, доцент Политехнического Николай Шаров, Гарик из областной партийной газеты, военный комиссар Дементьев и моя разведенная мать в своей неизменной тельняшке до колен, — они хорошо пели, хорошо относились друг к другу, никогда не прогоняли меня спать, но ничего не могли рассказать мне о В. В., кроме десятка анекдотов из его жизни, затверженных всем городом и изученных мною наизусть. Лишь одно их общее воспоминание о нем не походило на анекдот и было, как я теперь понимаю, одним из самых дорогих воспоминаний в жизни всех участников наших застолий — это привычка В. В. говорить своим ученикам «Вы» и называть их с малолетства по имени-отчеству.

— Он даже меня называл «Игорь Никитович», — ревнивым шепотом уверял меня Гарик из областной партийной газеты, задумчиво гладил меня по голове и выпивал что еще было на дне фужера.

Если бы после В. В. не осталось ничего, кроме легенды о нем и нетвердой памяти его учеников, — очень скоро не осталось бы ни памяти, ни легенды. Но он оставил нам МПК.

...«В излучине реки, на живописном острове Качай, среди обветренных «бараньих лбов» и могучих корабельных сосен расположилось круглое здание из стекла и бетона. Это Музей природы края. МПК — не совсем обычный музей. В отличие от традиционных коллекций экспонатов, объединенных общей тематикой, он представляет собой подробную и объемную модель всей экосистемы нашего края. <...> Кажется, мгновение жизни во всем ее многообразии и во всех ее взаимосвязях остановилось перед нашими пытливыми взорами. <...> Эта удивительная экспозиция создана по замыслу и под общим руководством выдающегося педагога и гражданина, которого мы по праву зовем одним из зачинателей экологического движения в бывшем СССР. В годы развитого тоталитаризма и коллективной безответственности, в эпоху бессовестных фанфар и славословий, восхвалявших «победу» человека над природой, он преподал всем нам урок ее защиты. Помогите нам, Господи, хорошенько усвоить этот бесценный урок и прилежно следовать ему всю нашу жизнь во имя дальнейшего возрождения новой России», — говоря о сегодняшнем значении МПК, новейший путеводитель почти и не врет. Другое дело, что В. В. замышлял МПК, меньше всего беспо-

коясь об экологии, и даже само это слово, разумеется, ему отлично известное, но в ту пору диковинное, он ни разу не произнес. Он обосновывал свою идею необходимостью наглядного школьного обучения и при этом некорыстно заботился о своей жене Розе Расуловне, преподававшей ботанику и зоологию в вечерней школе железнодорожников.

Идее В. В. повезло — ей было дозволено завладеть массами, которые быстро полюбили трудовые субботы на живописном острове Качай. Со вкусом поплевав на левую, потом на правую ладонь, они с воодушевлением покидывали из рук в руки кирпичи, с удовольствием помахивали лопатами, не забывая проверять удочки, помешивать половниками в котелках, поворачивать над шипящей золой шампуры. За два года дом МПК был готов, но десять лет без малого потребовалось иногороднему таксидермисту Корыткову, чтобы остановить, по выражению новейшего путеводителя, мгновение самой жизни.

Таксидермиста торопили, как могли. В его распоряжение отдали мастерскую покойного скульптора-монументалиста Крапивы и материал поставляли туда без перебоев, с избытком и лучшего качества. Дети несли туда грызунов, змей и разных мелких птиц, рыбаки делились своим уловом, охотники — самыми завидными из своих трофеев. Искусство, однако, спешки не терпит, и наш В. В., один во всем городе, это понимал. Он один не торопил Корыткова, защищал его от слишком уж нетерпеливых и невдумчивых нападков, иногда он даже сам замедлял процесс, вдруг усложняя задачу, то есть размышляя вслух о том, что должно, к примеру, выражать лицо выдры, высунувшей голову на зеркальную поверхность воды в тихую лунную ночь, как топорщатся крылья куропатки, услышавшей хрустящую поступь охотничьих сапог и заслонившей собою своих некстати захныкавших птенцов, как изгибается могучее тело щуки в миг выброса икры, — и таксидермист прекрасно его понимал, не тосковал, напротив, вдохновлялся, в чем легко убедиться, посетив МПК на острове Качай.

Речной трамвай «Кавторанг Осадчий» в полчаса доставит вас на Качай, где вы купите в будке дешевый входной билет и по деревянному настилу, который поет под ногами и петляет меж гранитных и базальтовых замшелых валунов, в колеблющемся, шумном полумраке, образованном угрюмой схваткой крон над вашей головой, направитесь к музею и там непременно наденете тапочки, просторные, как в Эрмитаже, брезентовые или кожаные, с широкими резинками или тесемками. Повинуясь указателю, вы окажетесь в обширной и, вероятнее всего, безмолвной полусфере, под голубыми и белыми глубокими небесами, сведенными из разнообразных подсветок и подвесок; вы обнаружите себя сразу над поверхностью и в толще речных и озерных вод, образованных непростым соположением прозрачных и мутных стекол, хитрой расстановкой зеркал, многократно отражающих рифленые барханы донного ила, песка, лианы и пальмы водорослей, раковины перловиц и круглые камни, покрытые лаком так искусно, что вы ни на миг не усомнитесь в их подлинной прохладной влажности... И лишь освоившись среди всех этих вод, небес, лесных чащ, сотворенных из настоящих мхов и небольших деревьев, лишь изучив плексигласовые скрижали с подробными списками живых обитателей, скажем, зоны растений с плавающими листьями или, допустим, зоны подводной вегетации, лишь налюбовавшись всеми этими кувшинками и кубышками, всем этим широколиственным рдестом да лягушачьим водокрасом, лишь проследив по таблицам основные потоки энергии и пищевые связи в местном биоценозе и агроценозе, лишь попробовав на зуб слово *консументы* и слово *продуценты*, лишь научившись кое-как и в кои-то веки отличать хищников первого порядка от хищников второго и третьего порядка, подзол от суглинка, ландыш от незабудки, вы наконец почувствуете себя вправе расслабиться, забыть все, чему вы только что внезапно научи-

лись, и уже без познавательных затей воздать должное животному миру нашего края — подлинному празднику таксидермии, пиру перьев, мехов, чешуй, когтей, клыков и стеклянных, туманных, как дали, глаз.

И если глаза рогатого жаворонка, глазки пеночки-теньковки, трясогузки, корольков, дроздов, юрков, пищух, кукушек и сорокопута-свиристели не скажут вам ничего, настолько они мелки, если кокетливость тетерева, порывистость вальдшнепа, легкость коростеля или поганьша, томление горлицы, клиптуха и сизых голубей, упорство желны и зеленого дятла, суетливость малого зуйка, задумчивость сов, злобу неясоти и ястребиного сыча, меланхолию сыча воробьиного, хлопотливую любознательность рябчика и тетерки, вдохновение глухаря, величие беркута и угрюмость орлана-белохвоста передают скорее уж изгибы их шей, развороты их крыльев, лоск их перьев, ласковый или пугающий, нежели их глаза, — то глаза средних и крупных млекопитающих и сами по себе выразительны; не зря таксидермист Корытков ездил в Гусь-Хрустальный, не напрасно он, никому не доверяя, сам колдовал с огненным жидким стеклом, добываясь этой особенной, для каждой особи отдельной выразительности.

Загляните в глаза бурому медведю, поднявшемуся на задние лапы, и вам даже в голову не придет водрузить на его передние лапы какой-нибудь оловянный халдейский поднос, — такая ярость затаилась в этих стеклянных глазах, такая жуткая решимость запечатлелась во всей его фигуре, такое злобное бесстрашие подняло его на дыбы и подняло дыбом шерсть на его загривке... Проследите взгляд волчицы, обращенный на ее бесполок пегих щенков: вроде бы и сонный, вроде бы спокойный, но исподволь излучающий страх одиночества, неизбежного, если не удастся их уберечь от холода, голода, от смертельных врагов, — и вас вдруг смутит настороженное чувство родства. Не старайтесь объяснить его себе. И не бойтесь его. Гоните его. Отдохните душой в обществе енотовидной собаки — с виду беззаботного и, похоже, глуповатого существа.

Заяц-беляк и заяц-русак, клыкастый кабан со свиньей и целым выводком поросят, норки, лисы, ондатры, выдра с недобро-мечтательным лицом засидевшейся в девках принцессы, освещенным холодной электрической лунной, и, конечно, громадный лось с широкими и страшными, как крылья архангела, рогами, застреленный самим Скакунниковым, в ту пору первым секретарем, страстным охотником и энтузиастом МПК, а теперь... я и не знаю, что и где теперь Скакунников, — едва ли не всякий зверь, кроме, пожалуй, мелких грызунов и насекомоядных, удивит вас какой-нибудь неизъяснимой черточкой, какой-нибудь особенностью настроения или характера, о которой вы и не догадывались, разглядывая его на картинке или наблюдая его, голодного, заспанного, ко всему безразличного и безликого в вонючей клетке зоосада.

Мелкие грызуны и насекомоядные, хотя они и широко представлены в МПК, конечно, меньше удались таксидермисту Корыткову. Возможно, он их не любил и брезговал ими, возможно, он попросту боялся мышей, но полевая мышь, рыжая полевка, желтогорлая мышь, малая бурозубка и даже лубопытнейшая, если прислушаться к ее имени и приглядеться к форме ее носа, выхухоль — все они больше смахивают не на животных, а на чучела животных, каковыми они, в сущности, и являются. И если на то пошло, то собранные юными натуралистами гербарии пересушены временем, — их, пожалуй, стоило бы почаще менять; коллекция местных бабочек, подаренная МПК энтомологом Выриным, ввиду неумелого с нею обращения или неверного освещения, стала скучной и потускнела... Но земноводные прекрасны. И рыбы прекрасны; вы полюбуитесь, как ходят они, не шевелясь, среди водорослей, раковин и камней: сом роет мордой ил, судак приглядывается к плотве, сцапывает густеру полосатый окунь, жадный жерех гонится навер-

ху за отливающей оловом уклеей, и, к вящей славе таксидермиста Корыткова, куда-то упархивает, убоившись ерша, стремительная стайка снетков.

Пора снимать эрмитажные тапки. Пора выходить на воздух и заново привыкать к живым небесам. Поначалу вызывая у вас головокружение, они движутся, дышат, набухают дождем. Поначалу вам кажется странным, что ниоткуда не слышно работы бобра, нигде не видно барсука, горносталя или ласки, не бежит за зайцем лиса, не летит над головой летяга, не шипит у воды уж. Через минуту вы спохватываетесь: вы не в музее — но вас не перестает тревожить отсутствие лесных птиц, даже непреходящих трясогузок, которые, казалось бы, всю вашу жизнь сучили хвостами на всякой вашей тропе.

На острове Качай и вправду нет никаких птиц и зверей. Возможно, мы испугали их топотом, ауканьем, дымом своих шашлыков. Возможно, остров для них слишком мал и не в силах их прокормить. Возможно, у них есть предание — о проклятом острове, что стоит на середине быстрой реки; посреде острова стоит гладкая серая скала; внутри скалы под обманными, мертвым светом сияющими небесами и в толще вод, не утоляющих жажды, застыли, застигнутые страшной карой в одно мгновение, на лету, на бегу, во сне, на плаву, виновные перед лицом Того, Кто в них однажды вдохнул жизнь; двуногие демоны, шелестя своими мертвыми и раззятыми, расслаивающимися шкурами, приходят, шлепая лапами, на них поглазеть, глядят в упор, моргают, трогают, обдают душным своим дыханием и уходят прочь. Но в Прощеный день, который когда-нибудь настанет, обитатели скалы стряхнут с себя оковы кары, разом зарычат, завоют, забьют хвостами и крыльями — они такого наделают шума, что рассыплется, как прах, скала, пахнет рекой, травы вздохнут, и прольются дождем небеса... А пока — пока лишь чайки хлопочут вокруг Качая над рябью реки, стремительно темнеющей в предчувствии дождя, орут от голода, и то и дело шлепаются в рябь.

Любовь у нас — замена знанию, вот отчего так мало знаем мы о В. В. — и не хотим знать. Его биография до сих пор не написана. И мы опасаемся, что, как только появится у нас свинцовый архивный зад, который высидит наконец подлинную и обстоятельную биографию В. В., тот перестанет быть нашим счастьем, сделается умственной привычкой, из объекта живого, безоглядного благоговения превратится в одного из многих субъектов истории, а это — совсем другое дело...

После естественного факультета, после мировой, на которой наш В. В. чертил штабные карты; после революции и гражданской войны, о которых нам доподлинно ничего не известно, поскольку следы В. В., как и многие следы, где-то теряются в эту дикую и любимую нами пору, был год или два, когда В. В. служил инспектором по ликбезу в кавалерии РККА на Кавказе. Там он нашел Розу Расуловну. Она жила в глухом ауле выше облаков. В. В. пленился ее красотой, усадил в седло перед собой, укутал шинелью с ног до головы и поскакал вниз по горной тропе. Братья Розы Расуловны гнались за ним, стреляли по нему из кремневых дедовских ружей, но он ушел и распался с нею в Дербенте. Братья потом смирились: беглянка не только была счастлива в браке с этим русским, но и счастливо им помыкала... Еще у нас поговаривают в узком кругу, будто бы В. В. один уходил вниз по горным тропам, братья Розы Расуловны догнали его без всяких ружей и что было силы посоветовали ему жениться на ней, но это лишь подтверждает нашу давнюю догадку: так называемые малоизвестные факты — это, может статься, вовсе и не факты, а те же легенды, те же анекдоты, правда, предназначенные для узкого, избранного круга лиц.

За вычетом недолгой кавказской службы все межвоенные годы В. В. провел в нашем городе, где, как известно, преподавал географию в школе номер семь, понемногу обретая славу лучшего учителя. И только узкому, из-

бранному кругу известно, что на каникулах, или в а к а ц и я х, как любил он выражаться до самой своей смерти, каковую загодя также именовал в а к а ц и е й, В. В. обязательно ездил либо в Ленинград к Плетеневу, либо к Свищову в Москву, — за Жилем, который не вылезал из своих экспедиций, он угнаться и не пытался, и если виделся с ним, то случайно: у того же Свищова, у того же Плетенева или на каком-нибудь евпаторийском или фео-досийском пляже. Именно во время вакаций Плетенев свел В. В. и Розу Расуловну с малоизвестными в ту пору людьми, чьи имена кое-что значи-ли для бывшего петербургского студента: с Мандельштамом, у которого не было зубов, потому что он любил сладкое, с кра-сивой Ахматовой в шали, с исключительно известным в ту пору Зо-щенко, который любил толстухек и никогда не улы-бался, — тут уж будущему биографу В. В. есть где разгуляться. Навер-няка этот будущий биограф с подобающим сердечным замирием опишет нам августовский вечер сорок шестого года, когда подвыпивший В. В. во-шел в свой дом на садовой окраине и едва не задохнулся от нестерпимого жара вовсю пылающей голландской печи. Зев ее был раскрыт, отсветы пламени волнами ходили по обоям, и они трещали, отскакивая от перегре-той штукатурки.

Роза Расуловна сидела, голая, на полу возле самой печи, среди вороха самодельных тетрадок, блокнотов и старых конвертов. В. В. узнал эти ма-шинописные тетрадки с дарственными надписями, эти письма с автографами стихотворений — они летели в огонь, вспыхивали, мгновенно сгорали и не существовали больше нигде... «Неправда!» — сказала мужу Роза Расуловна, хотя он не успел, да и не смог проронить ни слова, впервые не обругала за подпитие и заверила его, что помнит все наизусть. Когда он подал голос и усомнился, она принялась читать ему по памяти. В. В. поначалу слушал молча, с одобрительным, соразмерным стиху покачиванием головы, потом и сам зашевелил губами, вторя истовому шепоту Розы Расуловны, перебивая ее, торопя, — когда же вышел весь воздух в не по сезону натопленном доме, они отперли шпингалет и распахнули окно в сад. Они стояли, осмелев и обнявшись, у окна и до самой полуночи читали вслух все, что помнили из когда-либо опубликованного, из неопубликованного никогда, из сожженно-го и несожженного: про глупое счастье, про перчатку с левой руки, про чер-ную шаль, про черного человека, про дядю самых честных правил, про озе-ро Чад, про Брамса, про Бренту, про ветреную Гебу, про ножку, про шубу, про жеребенка, про упор насильственной земли, — они читали стихи во весь голос, гремя и кипя так, что надолго притихли обычно крикливые жите-ли соседних домов, так громко, что яблоки в окрестных садах падали с мер-твым стуком на землю.

Но это, согласно нешумной молве, было уже после войны; они год, как вернулись: Роза Расуловна — из эвакуации, а наш В. В., можно сказать, с фронтов. Он всю войну чертил карты на разных фронтах и флотах, настоль-ко секретные, что никогда потом не был выпущен за границу, и даже в Кар-ловы Вары Роза Расуловна ездила отдыхать без него.

Броде бы и досадно, что такой человек, как В. В., не совершил ничего ге-роического, не создал ничего выдающегося и даже не претерпел самых обык-новенных для своего времени испытаний — то есть, попросту говоря, не си-дел, но нет никакого сомнения: будь наш В. В. героем, гением или мучени-ком, мы бы чтили его, как чтим и без того, мы бы преклонялись перед ним, как и без того преклоняемся, мы бы клялись его именем, но мы бы не люби-ли его. Восхищались бы, сострадали, но не любили. Режиссеру областного драмтеатра Ивану Сметанину, изувеченному на Беломорканале так, что боль-но было смотреть, тоже, помнится, сострадали, восхищались его «Лесом», «Гамлетом», его «Любовью Яровой», гордились его всесоюзной славой, кля-

лись ему в вечной любви, а все ж цедили ему при случае «паршивого интеллигента», все же убили его собаку, чтобы не гавкала под окнами по утрам. Потому что мы не в силах искренне полюбить того, на чем месте мы не в силах себя вообразить.

Другое дело великий В. В., проживший, слава Богу, не великую — просто очень большую и достойную жизнь. На его месте мы видим себя без большого умственного усилия и при этом ни капли ему не завидуем. Да мы бы и могли быть на его месте, кабы не слепая судьба. Родись мы, как и он, в девяностом году девятнадцатого века, мы бы тоже поди были такими порядочными, такими образованными, такими интересными, мы бы тоже умели так говорить, так красиво выпивать, преподавать географию, помнить стихи, так держать спину, так нежно картавить и даже маленьким детям говорить «Вы».

Он прожил счастливую жизнь и к концу ее никого не боялся, кроме собственной жены, ревновавшей его к алкоголю. Он любил нашу реку во все времена года и особенно в дождь, любил бульвар Белы Куна с его пылающими по осени кленами и тополями, любил внезапные тихие паузы на своих уроках, когда класс замирал, переживая извержение Этны или бурю возле Бермуд, и можно было минуту-другую молчать и просто глядеть в окно на растрепанные акации, сбигающие вниз к реке по горбтому пыльному переулку, любил сына Серафима, как можно любить только позднего, единственного и до поры счастливо одаренного ребенка... Будучи уже старым, В. В. любил гулять с внуком Ионой, на ходу рассказывая ему трогательные небылицы о его умершей родами матери — избывая чувство вины перед нею в том, что не смог удержать в памяти ни лица ее, ни голоса, ни запаха ее духов.

О ней говорил он шестилетнему Ионе, отправляясь вместе с ним в памятный многим из нас весенний день за дефицитным серым хлебом: об ее ослепительном успехе на пионерском первом балу, об ее умении говорить со стрижами, кротами и жабами на их родном языке, о том, как заблудилась она однажды в лесу, заночевала в медвежьей берлоге, — медведи пришли, но не сделали ей ничего плохого и проводили ее к другу ее Серафиму... Верил ему внук или не верил, о том ничего не известно, но он молчал, и, значит, можно было множить эти истории до бесконечности — длить и длить ее жизнь в надежде раньше умереть самому, чем добраться до ее последнего дня — первого дня жизни внука Ионы.

Стоять на холоде в хлебной очереди было тоскливо; внук ныл, дергал за руку, не переставая просился домой, и В. В. развлекал себя мысленным перечнем мест, где можно было бы выпить на скорую руку. Все они находились далеко в стороне от дороги домой, с которой внук не свернет ни за какие коврижки, оставалось надеяться на одно только чудо, и, как только хлеб был куплен, оно явилось — оглушительно грянуло двумя взрывами на реке. Внук вмиг прекратил канючить и позволил увлечь себя на набережную, в толпу зевак, возбужденно жующих серый хлеб. На льду ударили один за другим еще четыре взрыва, больше смотреть было не на что, и В. В., пока внук не заныл, предложил толпе пройтись по улицам, обещая рассказать ей много чего интересного. Толпа, жуя, изъявила восторг. «Небось, желаете, филиппкй, про золотой век? — проникательно думал В. В., победно ухватив внука за руку, — Про купола, боа, юнкеров, эполеты и пряники?.. Извольте, будет вам про пряники», — и вел толпу кругами по городу, рассказывая ей про золотой, он же Серебряный век, легко выбирая из памяти и золото и серебро, благо, память всякого детства и юности — прииск. Круги сужались и, когда стало темнеть, сузились в точку: В. В. завершил экскурсию на той же набережной, на дальнем ее конце, на крыльце питейного шалмана «Альбатрос». Внук Иона спохватился, уперся, да было поздно — через минуту он уже сидел, болтая ботами, на бетонном подоконнике, жевал свой коржик

с глазурию и тупо глядел то в окно, на черную, покряхтывающую под пораненным льдом вечернюю реку, то на деда, добивающего свои первые сто пятьдесят граммов с поллитровым пивным прицепом.

...Медленно пьянея, В. В. улыбается затылкам и лицам, запястьям и ногтям, глазам и загибам ушей, голосам. Ровный банный гул стоит в шалмане, и слышно или же мнится ему сквозь гул чье-то бормотание за плечом:

— Точно, он; точно тебе говорю, я у него учился, а он у меня самопал отобрал и родителей вызвал...

«Точно ли? — улыбается молча В. В. — Как могли вы у меня учиться? Разве могли у меня учиться эти хрящи, желваки под небритой кожей, эти карзубые рты, эти налитые желтоватую кровью глаза?»

Хрустят на зубах соленые сушки; щелкает касса; ломаются под ногами битое стекло; взмывает к потолку, испугав, внезапный смех; синие, в крошках губы брызжут слюной и пивом, пускают папиросный дым поверх мокрых столов, — чтобы все это принять в себя без злобы и горя, нужно принять еще сто пятьдесят с прицепом. Или без прицепа двести. Ну и — быть по сему

. . . В. В. добреет, перестает улыбаться, тихо грустит. Шум в шалмане нарастает, как верховой ветер в чаще. И непонятно, кто шумит. Этот, который с желтыми глазами, похожий на нахохленного филина, — он молчит и только моргает на свет. А вот тот и вовсе спит, уместив свою голову в мохнатой шапке, как медведь на лапе, на сгибе тяжелой руки... И те трое у выхода, они тоже нельзя сказать, что шумят: пытаются складно петь, тянут что-то негромкое, закрыв глаза и задрвав головы, — так воют на луну голодные волки... Или та, с острым лицом, что тихо похихикивает с заезжими хорьками в своем ломбардной молью траченном, почти лысом лисьем воротнике, — она и сама смахивает на лису... Ах, Роза Расуловна, Роза Расуловна, напрасно вы нынче будете есть меня поедом: в этот зверинец заходить не вредно, Ионе — тому даже и поучительно; сюда и вам свои классы полезно водить для наглядного, к чему вы давно стремились, преподавания несчастной вашей зоологии...

— Иона! — тормошит В. В. закемарившего на подоконнике внука. — Пойдемте, пойдемте, Иона, у меня великая мысль. Идемте домой, мой друг, подумаем ее дома вместе, — однако он додумывает ее сам, шагая по еле освещенной и из конца в конец продутой набережной: к приходу домой мысль должна быть готовой и такой внятной, чтобы можно было без беканья и меканья изложить ее прямо на пороге и тем заставить Розу Расуловну забыть заготовленные за день упреки... Ноет река подо льдом. Громко зевает увалень-внук на ходу. Бодро складываются в уме длинные фразы доклада городскому отделу народного образования и краткие абзацы письма в высшие инстанции о необходимости создания Музея природы края, сокращенно — МПК...

Медленный древесный треск прерывает доклад; грохот падающих камней, как если бы поблизости рухнул дом, вынуждает В. В. отложить составление письма; внук плачет, напуганный этим невидимым обвалом и еще больше — сменившим его всепоглощающим шумом реки. Пытаясь вразумить и успокоить Иону, В. В. подводит его к парапету — и тотчас брызги летят в лицо из тьмы. Там, во тьме, вздуваются и перекатываются, кроша ледовую чешую, напряженные мышцы реки. Иона пугается еще сильнее, плачет еще жалобнее; В. В. спешит увести его прочь; тащит хнычущего, топающего мокрыми ботами, к автомобильному мосту и оборачивается на ходу, спиной ощутив внимательный праздный взгляд. Ребенок с Иону ростом тут же смущается, отводит глаза и смотрит с матерью ледоход.

Он умирал, когда я плавал.

Наш ПСКР отдал швартовы, и старослужащий матрос Варенец, который не все меня бил — иногда и опекал, произнес со слезой:

— Седьмое августа семьдесят четвертого года, салажонок. И двадцать ноль-ноль по местному... Запомни этот день и этот час: ты впервые выходишь в море.

«Дома — два часа уже прошедшего дня», — высчитал я по тоскливой привычке и, вспомнив о доме, думал, должно быть, о чем угодно: о тополях на Белы Куна, об облаках над МПК, о качелях в парке, о матери, о школе, о пристани в дождь, о своей девушке, да, наверняка я думал о Марине, — но только не об областной больнице, которая как раз погружалась в послеобеденный сон, и уж никак не о В. В.: покормленный с ложечки прежде других, он давно уже спал в своем реанимационном боксе, ужасаясь во сне какому-то гигантскому, в слоновий рост, шприцу с дрожащей и толстой, как хобот, иглой... Он спал; я плыл, и вот уже согнутый в подкову берег Находки отмерцал за кормой, оттрепетали в вечернем мареве очертания корейских и других чужестранных кораблей на рейде, встал со дна, потом потемнел горизонт, — одно только море было вокруг, оно покачивалось, качало меня, медленно дышало вместе со мной, обдавая меня туманной, колючей морсью. И не было звезд.

Ночью корабль замер.

В окружении японских шхун, промышляющих кальмара в нашей пятидесятимильной зоне, нам предстояло дрейфовать до утра, чтобы потом, при свете дня, когда лов не ведется и рыбаки отсыпаются, запустить двигатель и огорошить их, сонных, злых и перепуганных, проверкой лицензий; оштрафовать их, если повезет, за излишки улова или за ошибки в оформлении документов.

Я спал, потом был поднят на вахту. Выйдя на палубу в кромешной тьме и таком густом тумане, что, упав я за борт, никто бы не услышал всплеска, я вдруг был смущен и заморожен неким слабым сиянием: теплое и уже этим не похожее на свет звезды, оно колебалось подобно свече, и кто-то нес ее перед собой в тумане, идя по незримым волнам мне навстречу. Страхнув с себя остатки сна, я верно растолковал себе, что это нас несет навстречу сиянию: оно стремительно ширилось, созревало изнутри и наконец обрело очертания ослепительного белого кораблика, освещенного множеством продолговатых, развешенных гирляндой вдоль борта электрических фонарей. Казалось, белый кораблик забрел в океан на увеселительную прогулку, и я бы не удивился, увидев на его борту танцующие пары, хотя и вполне понимал, что передо мною не танцплощадка и не прогулочная яхта, а японская шхуна-кальмаролов в разгар работы...

— Красота, — раздался вдруг над моим ухом назидательный голос матроса Варенца. — Так-то вот, салажонок. Лучше три года в ботинках, чем два — в сапогах.

Должно быть, в эту самую минуту, когда я, соглашаясь с Варенцом, и впрямь не жалел, что служба на флоте целым годом длиннее, нежели в армии, В. В. проснулся и открыл глаза в своем реанимационном боксе. Ныла рука на сгибе. Горела ночная лампа. Темное и нечужое женское лицо склонилось над ним, темные глаза тянулись к нему, сумрачно и жадно оглядывали его, будто бы силясь и все же не в силах узнать или вспомнить его...

— Маарет! — позвал В. В., помогая ей узнать его.

— Что это мы сказали? — с привычкой заботы и безо всякого любопытства переспросила медсестра, ловко вынула иглу из его вены, махнула по сгибу руки ватным тампоном; запахло спиртом, и сгиб перестал ныть.

— Ничего, — В. В. отвернулся, обиженно моргая красными, без ресниц, сухими старыми веками.

— Ничего-ничего, — певучим эхом отозвалась медсестра, — нас укольчиком чуть-чуть потревожили, но мы не будем сердиться, нам хорошо, теперь мы обратно баиньки...

Она убрала шприц в брякнувший стальной пенальчик и поспешила уйти, по молчаливой просьбе В. В. оставив гореть над дверью бокса измазанную белилами круглую лампу.

...Нет уж, не баиньки. Нет уж, он не будет спать. Прежде, чем баиньки, ему надобно успеть вспомнить Маарет и время Маарет, вспомнить все, о чем почти столетия он старался не вспоминать и о чем никому никогда не рассказывал; даже Розе Расуловне, умершей в мае семидесятого, не рассказал и вряд ли расскажет ей даже там, где, может быть, скоро встретит ее... Память, вперед — в январь восемнадцатого года, на промерзшую, провонявшую горелой кониной петроградскую Сенную.

В. В., Жиль, Свищов, Плетенев и его университетский товарищ Новоржевский, — после трех фронтовых лет они наконец все сошлись и шли теперь к Неве и за нее, к университету, на встречу с Блоком, назначенную им на углу Двенадцати коллегий. Редиса опять не было с ними, он застрял где-то в австрийском плену, зато были двое навсегда безымянных молодых людей в гимназических, помнится, шинелях... Сойдя со всеми на невский лед, В. В. поотстал, оглядывая давно не виденный им гранит петроградских набережных, фасады дворцов и студеное золото шпилей, догнал компанию уже на середине реки и на середине разговора, вызванного, как было слышно из хорошо знакомых В. В. интонаций, простым желанием бывалых дядек во фронтовых шинелях подтруснить над юнцами в шинелях гимназических.

— Литература видит и показывает мир, как его видит и показывает глаз при отслоении сетчатки. Заметьте, с тем же, что и больной глаз, печальным итогом, — вбирая в себя разрыхленный недавней метелью воздух, громко кричал Плетенев. — Что происходит со зрением, когда отслаивается сетчатка?.. В небе нет никакой грозы, мир спокоен и ясен, взгляд на него ленив, — и вдруг ниоткуда вспыхивают молнии. Одна! Другая! Третья!.. Зрение делается напряженным и тревожным... Затем перед глазом появляется некая блуждающая, к зримому миру не относящаяся, ни к чему не привязанная тень — некий постоянный, что всего свободный мотив, некая мысль, ничья, ни от кого не зависящая и, что самое ужасное, — неотвязная. Куда ни кинь свой взгляд, пытаясь сбросить ее с ресниц, — она тут как тут: висит, блуждает перед тобой, между тобой и миром, все увеличиваясь в размерах, постепенно заслоняя собою мир, заставляя тебя видеть только ее, упрямо настаивая на том, чтобы ты ее наконец понял... И вот уже мир — лишь фон, вот уже и фон теряет тона, штрихи и краски, темнеет за ненадобностью, становится тьмою, наступает слепота, и уже нет ничего в крошечной тьме, кроме незримой уже, но ощутимо присутствующей тени — кроме этого неясного мотива, кроме этой, впрочем, так и не разгаданной мысли... Такова объективная цель литературы. Таким будет ее конец.

— Симптомы обрисованы неполно, но грамотно, — забавляясь, отметил Жиль. — Правда, мы, врачи, говорим о т с л о й к а сетчатки.

— Может быть. Что касается врачей — все может быть... Но литература как метод познания и описания мира — это о т с л о е н и е. Настаиваю на термине и рассчитываю на патент.

— Напрасно рассчитываешь, — ввязался в бой Новоржевский, — потому что, по совести говоря, литература — это никакое не отслоение, но о с л о е н и е ...

— Кто бы их унял! — в ухо В. В. прокричал страдальчески Свищов, уже который день потрясенный и растроганный своими первыми, пока нигде не опубликованными рассказами.

— Именно о с л о е н и е, — настаивал Новоржевский. — Литература —

акт познания и, вместе с тем, акт созидания словесной ткани — акт одномоментный и неразрывный. Литература в целом и писатель в частности, познавая суть вещей, снимает с нее слой за слоем и, вместе с тем, созидая словесную ткань, наслаивает ее — слой за слоем. Отслаивает и наслаивает. Это и есть ослоение... Раздевает и одевает одновременно — я внятно выражаю, молодые люди?

Молодые люди спорить не решились.

— ...Раздевает и одевает с целью добраться до сути. Любовник и портной в одном лице... Ну, а когда вождеденная суть полностью раздета, стало быть, одета, то есть ослоена, то есть достигнута, — что же там оказывается достигнутым, молодые люди?

— Что же? Что? — осмелились переспросить молодые люди.

— А ничего! — с победной грустью прокричал Новоржевский. — Нету там ничего! Ничего там не нащупаешь, кроме все тех же слоев... Вот тут и оказывается, что эти зримые, осязаемые, вполне материальные слои, что сама материя литературы и материя познаваемого ею мира и составляют искомый смысл. Лишь сама игра является выигрышем, и лишь сами свечи стоят свеч... Итак, господа-товарищи, о с л о е н и е. Прошу патент и пишу декрет: с этой минуты все, кто будет настаивать на о т с л о е н и и, — ослы, офтальмологи и самозванцы.

Плетенев хохотал; Жиль посмеивался; Свищов мерз и страдал; юноши благовели и хмурились; В. В. скучал. Он попытался перевести разговор на что-нибудь милое сердцу, но юноши дали ему непочтительный отпор:

— Погодите вы с вашей водкой, — оборвали они его, — водку мы вам достанем, не волнуйтесь, а покамест не мешайте.

Тон их был хамский, но никто им на это даже не намекнул. Плетенев с Новоржевским, поймав кураж, виртуозно сугубили свою прю, Жиль и Свищов им внимали, один весело, другой с тоскою, юноши уже и встревали, — поднимаясь по гранитным ступеням набережной между обметанных инеем сфинксов, никто из них даже не обернулся на обиженного В. В. и не заметил, как тот вновь отстал и остался на невском льду.

Долго, пока их фуражки и башлыки, колыхаясь над парашетом, уплывали к университету, он провожал их глазами; так и не дождался ответного отклика или взгляда; потом достал из кармана хронометр. До встречи с Блоком оставалось чуть более десяти минут.

— В сущности, я не так уж люблю Блока, — сказал он сфинксу, заглядывая снизу в его пустые выпуклые глаза. — Все эти туманные дамы, дали, скифы и мифы, все эти вуали и фонари... Другое дело Гумилев: увлекателен, внятен; и в географии знает толк.

Однако же, он пошел по льду в том самом направлении, что и его невнимательные друзья, ненадолго оставляя себе шанс их простить — подняться на набережную возле Дворцового моста и как ни в чем не бывало двинуться им навстречу...

Мост прогудел ему железным эхом его же собственных шагов — а он все шел... Костры Петропавловской крепости запылали в сумерках, кто-то грубо окрикнул его от костров, дважды пальнул по нему из винтовки — он лишь ускорил шаги и сместился к середине реки... Уже и стемнело, хруст наста под сапогами сделался оглушительным, а он все шагал, то и дело сталкиваясь во тьме с бесшумно шныряющими по Большой Невке безликими, озабоченными людьми... У какого-то бушлатника в усах и пуховом платке он обменял свой хронометр на бутылку водки и луковицу; идти стало много веселее; потом исчезли берега, воздух обрел иную упругость, иной, глубокий и ровный звук, и он понял, дохлебывая последний глоток, что вышел на лед залива.

— Что будет, то и судьба, — сказал он себе, выбрасывая за спину пу-

стю бутылку, и эти пустые слова обречены были стать правдой, потому что на небе, замазанном тучами, не было звезд, не было во тьме каких-либо иных вех, не было осознанно выбранного направления и никакой, даже предполагаемой цели этой упрямой ходьбы — оставалось довериться одной лишь судьбе, только с нею, безгласной, приходилось на ходу разговаривать, впрочем, умирая в реанимационном боксе нашей областной больницы, В. В. не помнил уже, да и не желал вспоминать, о чем болтал он с судьбою более чем полстолетия тому назад: страхась опоздать, не позволяя памяти вязнуть в неважном, он торопил ее как мог, понукал из последних сил и наконец услышал легкий скрип полозьев, легкие, как вздох в тишине, шаги и увидел Маарет.

Открыв глаза, он увидел сначала дневное небо, синее и узкое, в неровной раме из еловых лап, обремененных снегом, и они уплывали куда-то вверх, стряхивая снег ему на лицо; потом, с трудом приподняв тяжелую, как чугунный шар, и, как показалось ему, огромную голову, он увидел чью-то спину в узорчатой оленьей дохе, впряженную в широкие ременные лямки; понял, что лежит лицом вверх на чем-то твердом, но не жестком, на каких-то длинных санках, и что оленья доха с узорами тащит его, простуженного и похмельного, неизвестно да и безразлично куда. Тут доха сбросила лямки, голова в капюшоне, отороченном мехом, обернулась к нему, он увидел широкое и смуглое, с тяжелыми скулами и тяжелой черной челкой женское лицо. Голубые непроницаемые глаза устало оглядели его и встретились с ним безучастным долгим взглядом.

Маарет так и не смогла объяснить ему, ради чего она подобрала его, погрузила на санки и вместо того, чтобы сдать в полицию или больницу, упрямо тащила его через всю Финляндию к себе за Полярный круг. В течение всех четырех лет, что они были вместе, он спрашивал ее об этом не раз, всякий раз надеясь на романтическое признание, хотя и знал наверняка, что саамы, к большому счастью своему, никакого романтизма на себе еще не испытывали, — и всякий раз Маарет отвечала ему без тени улыбки, на диковатой смеси тех немногих русских, финских, шведских, норвежских и лапландских слов, которых им наедине друг с другом вполне хватало:

— Ходила в Россию за веревками. Домой шла. Русский мужик на льду лежит. Мертвый, а живой. Большой мужик, может пригодиться.

Его недоумение, почему она отправилась за веревками в Россию, как если бы поблизости, в Норвегии, Швеции или той же Финляндии, не было веревок, Маарет разрешила просто: саамы всегда ходили за хорошими веревками в Россию, — но не пожелала разъяснить, почему, отправляясь за веревками в Россию, она поволокла свои санки на юг и доволокла их почти до Петрограда, хотя от ее лапландской деревни Кюлясселькя русский Мурманск был не в пример ближе.

— Сам поймешь, — сказала она ему, и на исходе своей первой полярной ночи он понял: отправляясь за веревками на далекий юг, Маарет всего лишь хотела увидеть солнца.

Это была самая долгая и самая счастливая ночь в его жизни.

Маарет из племени колта говорила ему: «Ешь», — и он ел, а она смотрела, как он ест, потом вытирала его рот своей старой, еще детской, маленькой оленьей варежкой. Говорила: «Люби меня», — и он любил ее, плаваясь и задыхаясь от жара пылающего очага. Говорила: «Спи», — и он засыпал, убаюканный ее неторопливой песней про ведьму Акледе, про черного оленя, про озерный жемчуг небывалой величины; потом совсем спал и видел во сне черного оленя — к пурге и мраку или озерный жемчуг — к тишине и ясным звездам. Говорила: «Просыпайся», — и он открывал глаза, принимая в себя синеву ее глаз и предполагая, что саамские глаза для того

голубы, чтобы всякий саам, просыпаясь посреди полярной ночи, мог заглянуть в глаза другому сааму и увидеть в них утро.

Времени не было, и не было хронометра, чтобы придумать время. Он почти не выходил из кота, а когда выходил — видел снег тундры, сумрачно-голубоватый при свете звезд или тускло-изумрудный, пульсирующий, как поверхность моря, — при вспышках и трепете северного сияния.

Консультируя многие годы спустя, разумеется, как географ, своего друга Свищова, замыслившего новый роман о бродячих гомеопатах, он между делом так лихо описал ему переливы северного сияния — это многоцветное мерцание, медленным ядом разъедающее нервы и всякий помысел, — что тот подивился силе его воображения и даже заподозрил в нем невестребованный литературный дар. Знал бы Свищов: то была лишь растревоженная память, — но ни Свищову и никому другому не следовало знать, как, подобно неопытному и нетерпеливому садовнику, он возделел и переживал созревание своего первого полярного рассвета; как призраки оленей в розовеющей мгле набухали плотью, обретали объем и зримую жизнь; как, небескровно разываясь, делился мир на небо и землю; как из слабо сочащейся радостной раны внезапно хлынул алый поток, заливая тундру, опалая горы на западе, потом лес на юге, причиняя боль отвыкшим от света и красок зрачкам; как в кота появились первые за зиму гости: сестра Маарет Сикка, столь же голубоглазая, но, не в пример Маарет, сильно крикливая, и ее молчаливый муж Онтери — у того были обычные черные глаза, и глядели они недобро.

— Саамы не любят чужих, — пояснила Маарет. — Чужой — дурной знак, но ты не бойся. У нас правило: один другому не мешай. Онтери не сделает тебе ничего плохого.

Его первый полярный день был бессонным; лишь к концу его он научился засыпать при живом солнце. Читать было нечего, писать было нечем, да и не на чем было записывать пусть не мысли, к слову сказать, обескровленные бессонницей, и не наблюдения, кстати сказать, довольно однообразные, но хотя бы усвоенные им на слух слова на том диалекте саамингиелла, на котором изъяснялись меж собой, когда не спали, Маарет, Онтери и Сикка.

Когда Маарет спала, он ходил. Чтобы придать ходьбе подобие смысла, он шел за оленями: в горы, куда они забирались, спасаясь ветром высот от гнуса, или на озеро, где они, объев берег, пили воду, потом вдруг бросались в нее и плыли, должно быть, угадывая там, за озером, обилие нетронутых мхов и оставляя своего непрошеного провожатого в обидном одиночестве.

Посреди озера торчал из воды пологий камень, издали не отличимый от головы плывущего молодого оленя. Когда олени скрывались из глаз, камень оставался — темным облаком клубился в тумане; черной тенью разрезал линию горизонта при ясном небе; или, расслаиваясь, призрачно брезжил за пеленой дождя.

Однажды Онтери усадил жену Сикку в лодку и поплыл к камню. Саамы, ловившие с берега рыбу, глядели лодке вслед и посмеивались. Сикка крикнула Маарет с кормы, чтобы чужой не смел, как все, глядеть и посмеиваться. Он и не посмеивался, потому что ничего не понимал. Маарет расхохоталась и крикнула сестре, чтобы та разбиралась с собственным мужем и не указывала чужим. Как только лодка отплыла от берега так далеко, что скверные крики Сикки слились с криками озерных птиц, Маарет, вдруг погрузнев, объяснила: если сварливая жена саама слишком уж вздорит, саам должен отвезти ее на камень и оставить там без еды на двое или трое южных суток.

Сикка вернулась с камня добрая и гордая. Онтери ввел ее в свой кота,

и вскоре над ним поднялся жирный дым. Дым низко стелился над тундрой, и тундра пахла мясом.

Другие два с половиной года — три полярные ночи и два дня — были счастливы обыкновенно, и оттого не запомнились ничем или почти ничем, кроме извлечения крови из рогов молодых оленей для приготовления кровяной колбасы, а на третий день, вскоре после рассвета, когда тундра еще цвела и оленям на водопое приходилось ломать мордами лед, появился Муравейников — кажется, так звали этого человека. Был он стар, сух, крив, узловат и вынослив, как арктическое деревце; имел на удивление крепкие бурые зубы и неуютную привычку выстукивать ими в раздумье или при разговоре нервную дробь. Пришел он, если не врал, из Мурманска и не по Туломе через Нотозеро, не через Ивало, что в сердце Лапландии, а с севера, дальним путем, через Петсамо и Киркинес. Из его путаных и трудно воспринимаемых сквозь мелкий зубовный перестук рассказов иногда выходило, что он бежал от большевиков, порой угадывалось, что он был послан ими за чем-то важным, — скорее же всего Муравейников хотел разжиться золотом и озерным жемчугом: слишком уж упоенно и завистливо, едва ли не кроша друг о дружку передние зубы, говорил он о случившейся в девятьсот шестом году последней золотой и жемчужной лихорадке.

В те баснословные времена и вплоть до времен известных Муравейников собирал подати в российскую казну.

— Маарет! — подмигнул он Маарет, попивая оленье молоко, — помнишь ли ты, как с вас собирали подати?

Маарет помнила.

Сборщики податей приходили то из России, то из Швеции, то из Норвегии, то отовсюду сразу, и саамы с ними не спорили, даже не пытались уточнить с ними свою государственную принадлежность — просто сворачивали свои коты и целыми деревнями скрывались в лесах, в горах или на восточных болотах. Сборщики податей научились их и там находить, преследуя их по тропам, протоптанным ими во мху и в палой лесной хвое. Саамы, подумав, стали уходить поодиночке, кто куда и никогда — след в след. Тропы заросли мхом и морошкой, сборщики податей, должно быть, подивились лапландской смекалке, а потом и вовсе перестали наведываться в тундру: наверное, что-то случилось в их тесном мире...

— Как, то есть, что? — удивился Муравейников, и его безбровые бугры над глазами заходили ходуном. — Известно, что случается, когда жрать хочется, воевать хочется, а казна пуста, и никто не платит податей, — русская революция!.. Вы, однако, своего добились, — сказал он Маарет, доедая копченого лосося. — Теперь вы сами по себе, вместе со всем своим бывшим княжеством Финляндским.

Муравейников пробыл у них недолго, съел много, порассказал немало, и чем азартнее стучали в пылу рассказов его несокрушимые зубы, тем мрачнее поглядывала на него Маарет, не забывая, однако, подкладывать ему то вареной рыбки, то вяленой оленины, то морошки, то кровяной колбасы.

Маарет было отчего мрачнеть. Ее русский мужик опять разучился спать, но теперь он не ходит за оленями.

Когда она спит, он, лежа на спине ногами к очагу, глядит воспаленными глазами на остывающие угли и силится увидеть в их мерцании факелы белого ледового похода, костры красного железного потока, — он, оказывается, и знать не знал, о чем было известно всякой саамке: в его отсутствие над его Россией пронеслась и утихла небывалая буря!.. Большевики, каковых он, отличая их от российских робеспьеров из партии с.-р., считал обыкновенными хулиганами, с которыми кто-нибудь обязательно разберется после того, как кто-нибудь обязательно дождет немцев и австрийцев на фронте, все эти яшки лелеевы, которые, казалось, только и умеют, что вешать ко-

шек, дурить солдатам головы и дарить гимназисток триппером, — за три года сами всех дожали, со всеми разобрались, застегнулись на все пуговицы, освоили строевой шаг, объявили всеобщую грамотность без ненавистных им с гимназии ятей и еров, пустили всюду электричество, поют задумчивые песни и, похоже, собираются в кругосветное путешествие на тысячах аэропланов и воздушных шаров...

— Вам не спится? — шепотом удивлялся Муравейников из глубины кота. — Это довольно странно. Вы — молодой человек, вокруг рай, свежий воздух, еда, никаких нервических забот и опасностей никаких...

— В том-то и ужас...

— Не хотите ли вы сказать, что вам, извините, стыдно? Без вас, извините, все решилось, и без вас, извините, все наново устраивается?

Ответа Муравейников так и не услышал и некстати любопытствовал:

— Помните ли вы ваш балл по Закону Божьему?

— Посредственно, — последовал гордый ответ.

— Жаль... Знали бы вы, за что Господь изгнал человека из Рая, вам бы сейчас, право слово, отлично спалось...

— За грехопадение, разумеется.

— Мда, разумеется... Но если вы это разумеете в известном, то есть любовном смысле, — эту известную глупость для своих надобностей попы выдумали. Господь-то своим чадушкам все-все-все позволил: и покой, и негу, и еду на свежем воздухе, и, разумеется, всё в известном смысле — всякую радость, без опасностей и без забот. Он не позволил им только самим пытаться отличить добро от зла, самим за него решать, что есть хорошо, а что есть плохо... Чадушки ослушались, и что вышло? Ева знает на свой манер, что такое плохо. Я, Адам, знаю на свой манер, что такое плохо... А вдруг она на свой манер подумает обо мне плохо? Я же перед ней как голенький!.. И Ева, дура, туда же: вдруг я чем-нибудь не такая, вдруг Адам подумает обо мне плохо? Я же перед ним как голенькая!.. И вот уже чуть что — и Еве стыдно перед Адамом, Адаму стыдно перед Евой... Им бы Бога бояться, как было велено! Он один знает, где добро, где зло!.. Стыдиться — это значит бояться не Его, а людского мнения. Не об Его благословении заботиться, а об людском помиловании. Это значит отпасть от Бога или, хорошо, пусть от Истины, если уж это *посредственное* слово вам больше нравится... Отпасть и лишиться счастья, отравить стыдом и сомнением даже покой, даже свежий воздух, даже еду, не говоря уже о том известном, что эти обновленцы всех времен то считают, то не считают грехопадением!

Услышав робкое возражение: «Мы с Маарет ничуть не стыдимся друг друга», — Муравейников рассвирепел:

— При чем тут ваша саамка! Вы меня не поняли, сколько ни тужились! У вас тут, я погляжу, мозги окончательно заплыли оленьим жиром!

Когда Муравейников, стуча зубами, ушел на юго-запад, Маарет открыла свою к н и с у и проверила, все ли цело. Нитка доставшегося от матери озерного жемчуга и ее же овальное зеркальце, роговая трубка отца, сгоревшего от водки в годы золотой лихорадки, две серебряные монеты с профилем английской королевы Виктории, подаренные большегубым веселым Аслаком, умершим на строительстве мурманской железной дороги, куда он, бедняга, отправился в четырнадцатом году, надеясь заработать на свадьбу с Маарет, — все было на месте, но Маарет не могла успокоиться: тот, кто сумел навсегда прогнать тень ее бедного Аслака из ее кота, никак не находил себе места и сам стал похож на тень. Ходит, шатаясь на ветру, кругами по тундре, не спит совсем и вместо благодарности за нетронутый ужин выборматывает ей вялыми, прозрачными губами всякие глупости, вроде:

— ...С ума сойти: Маннергейм! Кто бы мог подумать!.. Вы тут, пока я тут с вами просто жил и ничего не знал, знали, небось, что барон урезонил

ваших финских лелеевых и правит теперь всеми финнами... Знали и лопотали, небось, обо всем этом меж собой, а мне — ни слова! Меня это, по-вашему, не касается!.. А я, между прочим, отлично знал барона и видел его каждый день, как вижу тебя сейчас. Я служил при его варшавском штабе. Я тогда кое-что смыслил в картах, а барон, скажу я тебе, как никто другой умел оценить хорошую карту. Потому и сумел получить генерал-лейтенанта в девятьсот пятнадцатом году... Потому что он, Маарет, был не просто тупой кавалергард. Он, Маарет, был великий русский путешественник. А теперь он, выходит, ваш правитель... Барон Маннергейм, Маарет, это вам не какой-нибудь Муравейников: от него не спрячешься в болоте; захочет с вас собрать подати — соберет, не извольте беспокоиться... Но и не бойся. Человек он хороший, наш человек, пускай и барон. Например, он любит выпить без чинов. Ты, Маарет, и не догадываешься, а я уже и забыл, что такое хорошо выпить с хорошим человеком...

Маарет догадывалась; не забыла; и даже фразу эту слышала не впервые. Она готова была рассказать ему, как неопратно и утомительно умирал от запоя ее отец, но промолчала, чтобы не давать повода к ссоре.

Ссоры у них не вышло даже тогда, когда Маарет, готовясь делать кровяную колбасу, прервала его докучливое бормотание привычной просьбой проколоть рога двум-трем молодым оленям и неожиданно услышала в ответ:

— Честное слово, варвары... Дикари, честное слово.

Не зная значений двух этих честных слов, Маарет попросила их растолковать. Когда он ей, как мог, растолковал, она не обиделась — надолго задумалась; потом уверенно сказала ему, что в извлечении крови из рогов молодых оленей нет ничего похожего на значения этих слов, тем более что закон запрещает брать у оленей крови больше, чем позволяет их жизненная сила... Словами этими, пожалуй, можно обозвать только Уулу из Иннари, который сварил и съел собственных детей. Пятеро маленьких детей — это все же не кровяная колбаса, это совсем другое дело... И поскольку до прихода Уулы из Норвегии в деревню Иннари никаких варваров и дикарей в финской Лапландии не было и, стало быть, не было закона об их примерном наказании, шведский король не посмел казнить его смертью, однако решил запереть его на остаток дней в крепость Свеаборг.

...Ни на миг не смыкая глаз в реанимационном боксе нашей областной больницы, слыша, но не слушая полусонное воркование медсестры за дверью по телефону, чувствуя без страха, хотя и с брезгливым неудовольствием, как уже не жизненная сила, но остатки произведенного ею тепла, судорожно пульсируя, уходят из него, В. В. вспомнил, как тосковал он тогда: «Боже мой, — тосковал он тогда, — шведский король! Свеаборг! Это когда все было, если и вправду было, а она говорит мне об этом, как если бы это было вчера! У нее в голове кавардак без понятия времени, без понимания значения самых простых человеческих слов!.. И с моей несчастной головой, чувствую, будет то же самое! Будто бы я и не чертил верстовые карты барону Маннергейму! Будто бы я и не пытался спорить с Плетеневым о "Путешествии в Арзрум"!»

Их последний полярный день близился к вечеру, когда однажды они с Маарет отправились в горы, уже не вспомнить, да уже и не важно, зачем. В этих невысоких горах, на гудящем ветру, в окружении больших облаков, низко и неспешно плывущих к югу, он вдруг разволновался до слез, разговорился без удержу и рассказал Маарет про другие горы, про виноградники на склонах, овечьи отары в поднебесье, про волны теплого моря, стаи дельфинов на горизонте и протяжные, печально зовущие за собой гудки ослепительно-белых кораблей...

— Когда-нибудь, — сказал он Маарет, на мгновение поверив своим сло-

вам сильнее, нежели факту своего существования, — когда-нибудь мы поедем с тобой туда. Ты снимешь с себя все это, наденешь легкое яркое платье, свой жемчуг, широкую шляпу с лентой; среди публики на набережных, пляжах и в кофейнях пойдут слухи, будто бы ты — индианка из Акапулько; большевистские гимназисты на вакациях будут слагать сонеты твоим голубым глазам; международные бонвиваны, прячась от меня, будут присылать тебе розы в корзинах — яркие такие, душистые и очень красивые цветы; ты будешь целыми днями загадочно молчать, бегать козочкой по горам и уже никогда не пожалеешь о том, что подобрала меня, простуженного и похмельного, на льду Финского залива...

Он умолк. Маарет сказала:

— Будешь уходить — отвези меня на камень. Обо мне не беспокойся. Онтери приплывет за мной, когда ты будешь далеко.

Зло сунув руки за спину, он зашагал вверх по пологому склону горы, на вершине остановился и увидел то, что вмиг заставило его забыть об обиде на Маарет. На огромном, в полнеба, облаке, упершись широко расставленными ногами в его обширное основание, заложив руки за спину и касаясь головой его узкой, как у сталагмита, однако же дышащей и клубящейся верхушки, стоял человек, вернее, силуэт человека, плывущего на облаке к югу, так, словно облако было белым парусным кораблем и человек стоял на его палубе... Облако удалялось. В. В., потрясенный, взмахнул рукой, и человек взмахнул рукой. Потом подошли другие облака, и все стало серым.

Озеро уже начинало замерзать, и В. В., плывущему в сумерках к камню, приходилось при каждом взмахе весел разбивать ими лед, местами ломкий, как стекло, местами ноздреватый, крошащийся с сосущим, вытягивающим душу звуком. Маарет устроилась на носу лодки; сидя на веслах, к ней спиной, В. В. ее не видел; греб медленно, берег силы, и временами ему казалось, что он в лодке один, но тут Маарет принималась тихонько напевать, потом, устало оборвав напев, вздыхала, умолкала надолго; тишину нарушали лишь мерные удары весел, лишь хруст и крошенье льда, лишь редкие в эту пору крики озерных птиц, — и он опять забывал о Маарет; ему даже становилось одиноко, ему даже жутковато делалось посреди холодного и сумеречного, надолго засыпающего озера, — ему даже радостно было, когда Маарет вновь принималась напевать что-то спокойное и усталое, потом напев начинал утомлять, и, словно чувствуя это, Маарет опять умолкала.

Камень был много шире, чем казался с берега, и не таким голым, каким казался: кое-где на нем росли карликовые кусты не известной В. В. хвойной породы и седой мох. Больше всего мха было в продолговатой выемке, пролежанной, как подумалось В. В., многими поколениями сварливых саамских жен.

Маарет простилась с ним деловито, почти без слов: достала из книсы, которую зачем-то привезла с собой на камень, нитку озерных жемчужин и уговорила его взять их с собой в дорогу на самый черный и опасный день. На этом и простились. Маарет отвернулась, улеглась в выемку на мох, привычно положила кнису под голову и сразу стала засыпать.

Он прыгнул в лодку, оттолкнулся от камня веслом и поплыл к берегу. Камень мерно качался перед глазами и так долго не уменьшался в размерах, словно лодка была к нему привязана. Грести и впрямь было тяжело. Первая сотня гребков далась В. В. с трудом. Потом стало легче.

Он успел уйти до того, как солнце зашло, и уже через неполные пять месяцев был в Дербенте: во френче и портупее, в должности инструктора по

ликбезу отдельного приграничного кавполка. У него была служебная квартира, комсоставовский паек, новый ручной хронометр, казенная лошадь Шепетовка, для души — немного книг и полюбившийся ему сорт местного сыра, для личной защиты — пистолет системы браунинг и подлинный документ, купленный вместе с жизнью за нитку озерного жемчуга у нач. отдела котласского ОГПУ Левкоевой. В документе значилось и, главное, было заверено необходимыми подписями и печатями, что в период с 1918 по 1922 г.г. он боролся с неграмотностью в сельхозкоммуне деревни Сонгода, прекратившей свое существование ввиду естественной убыли коммунаров по причине, во-первых, английской интервенции и, во-вторых, стихийной бескормицы.

В горах рос виноград и паслись отары. Море было теплым. Начинаясь долгая жизнь, всеобщее уважение к которой оказалось достаточным для того, чтобы дожить ее позволили в отдельном и самом тихом реанимационном боксе нашей лучшей больницы, под присмотром нашей лучшей медсестры... Жизнь, о которой он не жалеет и за которую он благодарен, жизнь, в которой было много чего и всего было в меру: в ту меру радости, чтобы не сделаться идиотом, в ту меру горя, чтобы не разрушиться от горя, в ту меру страха, чтобы, и боясь, не скурвиться, в ту меру успеха, чтобы не наделать глупостей, жизнь не стыдная, говорят, исполненная пользы, а значит, и впрямь полезная, не затерявшаяся в копошении других жизней, милая, бесконечно милая и долгая, очень уж долгая жизнь — вся эта его жизнь, думать о которой ему наскучило прежде, чем надоело ее доживать.

Должно быть, в те самые минуты, когда В. В. изводил своими криками больницу, отходящую к ночному сну: кричал и звал Маарет, чтобы, если она отзовется и придет, спросить у нее наконец, приплывал ли за нею Онтери на камень, — на исходе моей первой вахты, когда туман над Японским морем вдруг рассеялся и звезды, едва показавшись, начали бледнеть в предчувствии рассвета, матрос Варенец скуки ради учил меня правильно добывать кальмара.

Сам он при помощи шнура, удлинённого шестигранного груза с когтистыми крючками на конце и обыкновенного фонаря успел натаскать его довольно, чтобы вся команда ПСКР имела добавок к пайковому обеду, и теперь снисходительно наблюдал за тем, как я, свесившись за борт и держа в левой руке фонарь, учусь опускать в воду снасть.

Груз с крючками уходил вниз недолго — пока капроновый шнур, привязанный к лееру, не перестал течь сквозь пальцы. Луч фонаря выхватывал из тьмы тихо шипящий и шевелящийся, как змеиный клубок, круглый клок поверхности океана. Потом шнур дернуло. Опасаясь за свой фонарь, Варенец перехватил его у меня; продолжая светить фонарем вниз, велел мне смело вытягивать снасть и, как только кальмар будет поднят из воды, встряхнуть его, чтобы он выпростал в воду свои чернила.

Я тянул, как было велено. Освещенная поверхность воды, непроницаемая, черная и лоснящаяся, как змеиная кожа, не меняя цвета, оказалась прозрачной: некая тень поднималась к ней из глубины. Быстро обретая очертания существа с глазами и судорожно загребавшими щупальцами, моя добыча, казалось, без моей помощи взлетала кверху из темной, клубящейся бездны. Казалось, это не я ее поймал, а она сама, неосмотрительно и преступно мною потревоженная, пришла по мою душу. Я зажмурился, выдернул кальмара из воды и тряхнул шнуром.

Прибежавшая на крики медицинская сестра склонилась над В. В., и он сразу утих. Готовя его руку для уже бесполезного укола, она спросила его: — Вам что-нибудь нужно?

Он ответил:

— Ласки, — и это было его последним словом.

Наутро оно стало достоянием нашего осиротевшего города и самой короткой, зато отдельной строкой в его истории.

Проходя год назад экватор, я отметил свое сорокалетие. Не иначе зной и скука долгого плавания внушили мне тогда, что заурядное это совпадение что-то такое значит. Сомнительная метафора «жизненный экватор», эта незаконная и безответственная дочь благороднейшей из географических широт, вдруг заявила о своем наследном праве на точность, и я, дурила, поверил, будто непременно доживу до восьмидесяти лет. Выпив по стаканчику джина за каждый из обоих экваторов, я, довольный, прохаживался по капитанскому мостику и придумывал себе старость.

Вот сойду я, думал я, в последний раз на берег и первым делом закажу себе письменный стол, подобный тому, что я видел и трогал осенью девяносто первого года в одной из антикварных лавок Гавра. То был дубовый комодоподобный конторский стол времен Луи Филиппа, со множеством ящиков, ящичков, потайных пеналов и пенальчиков внутри пеналов, с округло стесанными углами столешницы, просторной и темной, как таллиннская гавань в дождливую погоду, с виду простой, по существу надежный стол неопределенной или, вернее всего, никакой стилевой принадлежности; довольно высокий для того, чтобы мне не пришлось сгибать над ним *свою старую спину*, и достаточно низкий, чтобы мне не нужно было подкладывать подушки под *свою старую задницу*.

Я уступил помощнику место на мостике, спустился на палубу и, взволнованный, вытер с лысины пот. Допустим, стол у меня есть, и теперь я его устанавливаю. Чтобы взгляд не бодал обои — подальше от стены, посередине комнаты. Чтобы свет из окна падал слева — левым боком к окну, но не совсем под прямым, нет, скорее, под умеренно острым углом, так, чтобы легчайшего, даже невольного поворота головы к окну хватило на то, чтобы за окном увидеть море.

Мне оставалось решить, где будет находиться та заветная комната или; умильнее сказать, келейка, в которой я вот только что, и так обдуманно, установил свой письменный стол... Должно быть, в Калининграде, где я, как и везде до сих пор, обосновался временно, бываю так редко, что с трудом нахожу свою нынешнюю квартиру, и так недолго, что успеваю лишь заплатить ее хозяевам очередной взнос.

Калининград — хороший город...

А может, думал я, мне следует вернуться в Клайпеду к Лайме или к Селивановой в Новороссийск — если, конечно, к тому времени Селиванова не переедет или Лайма не выйдет замуж.

Селиванова и Лайма — хорошие женщины...

Возможно, к тому времени одиночество станет мне необходимым, море сделается ненавистным, и я пожелаю видеть в окне желтый луг с черным конем посередине, еловый лес за лугом и, краем глаза, какой-нибудь дом на краю вышневолоцкой, скажем, деревни Дуплево, где я однажды охотился в случайной компании двух полупьяных московских литераторов.

В Дуплеве — хороший воздух; есть места и не хуже; но я так и не сумел, а честнее будет сказать, не рискнул определить, где находится письменный стол, за которым сижу я, одинокий старик, неизвестно как переживший эти первые десятилетия нового века, этой новой, неведомой эры, и неизвестно для кого пишущий давно забытую всеми историю старого учителя географии.

Всего через полгода после двух экваторов, подлинного и мнимого, мой

«Светлейший князь Меншиков» зашел в Гамбург, забрал контейнеры с бытовой электроникой, немецким коньяком «Ашбах», — и не может выйти из устья Эльбы. Третью прошлогодней навигации меня ремонтировали в бременском доке; мой хозяин, президент компании «Реверс», забыл оплатить счета в оговоренные сроки; теперь корабль арестован.

В первый же месяц ареста я получил от хозяина пять ободряющих радиogramм: одну из Калининграда, одну из Москвы, две из Никосии, последнюю из Стамбула; месяц радио молчало. Затем я был извещен через консульство, что отныне мною владеет компания «Реверанс», которая поначалу взяла на себя, теперь принципиально отказывается платить долги предшественника, но зато твердо намерена вызволить «Светлейшего» из немецкой неволи. Я не обрадовался. Условия задачи столь явно противоречили одно другому, что даже в Африке мне пришлось бы ждать ее решения, может быть, годы. Между тем мы не в Африке; моя команда давно съела неприкосновенный запас и проела свои неприкосновенные деньги.

Радио все молчало; компания «Реверанс» не торопилась сообщать мне своих позывных. С невероятным трудом, с привлечением многих давних знакомств я раздобыл ее телефон и на последние дойчмарки связался с ее президентом.

Дивное дело: мой новый хозяин говорил со мной голосом моего старого хозяина, был его полным тезкой и однофамильцем. Эти вопиющие совпадения сделали меня грубым. Я поинтересовался, кого он здесь, в Германии, считает дураками и на что он вообще рассчитывает... Выиграть время, был ответ, нужно лишь выиграть время, любыми способами тянуть его до тех пор, пока не появятся деньги, — они непременно появятся, как только на «Светлейшего» найдется покупатель, который согласится на предоплату в целях немедленного вызволения корабля. Мне стало смешно. Я спросил у президента, где он найдет такого покупателя... Разумеется, не в Германии, был ответ, в Германии дураков и впрямь нету, а где — это меня совершенно не касается.

Пришлось перейти к тому, что меня касалось: на какие то есть шиши я должен кормить себя и свою команду?.. Ответом мне было долгое молчание. Я тоже молчал. Стоял и ждал, с тоскою созерцая бодрый галоп цифр на электронном счетчике. Возле занятого мною телефона-автомата на углу Эрхардштрассе и Брюнненштрассе образовалась вежливо-сердитая очередь. Наконец в трубке раздался солидный кашель, а потом и голос моего хозяина, который рекомендовал мне продать часть груза и обещал, что сам объяснится и сочтется с его владельцами. Разумеется, как только появятся деньги.

Я повесил трубку. Вернулся на корабль и велел стармеху Варенцу, с которым волею судеб я обречен был вместе плавать, а теперь обречен и пойти ко дну, вскрыть контейнер с бытовой электроникой. Контейнер с коньяком Варенец вскрыл уже без моего ведома, но напились мы вместе.

Таковы обстоятельства, вынудившие меня, не дожидаясь старости, взяться за эту книгу.

Компания «Реверанс» тянет время, и я вынужден его убивать. Я убил почти полгода, занимаясь домыслами о В. В.; уже кончается ноябрь; за моим иллюминатором вечер, дождь и рыхлый бисер фонарей на струнах гигантского, нависшего над гамбургским портом, невесомого моста; на моем железном, приваренном к полу столе — початая бутылка «Ашбаха» и новая, уже на шесть своих листов обновленная тетрадь; на душе томно: на дворе — горячий май одна тысяча девятьсот семьдесят шестого года, мне двадцать лет, и я прибыл домой в девятидневный отпуск.

Моя девушка не выносит никакой, даже морской военной формы, и поэтому на мне брюки и белая рубашка двухгодичной давности: в них я воль-

готно гулял на школьном выпускном вечере и всю ночь после вечера — тогда я был шупл, и ветерок бежал за ворот, а теперь тот же самый воротник, даже не застегнутый на две пуговицы, режет шею, те же самые брюки пилят и давят в паху, где и без того беспокойно.

Мою девушку зовут Марина — в честь Марины Мнишек, как заявила мне она еще тогда, при нашей первой встрече на многолюдной после выпускного вечера ночной набережной, и потом, в таких длинных и частых письмах, что мне завидовал весь экипаж нашего сторожевика, утверждала, будто бы она и есть Марина Мнишек — в новейшем своем, двадцать первом по счету земном существовании. Оттого и длинны были письма, что описания детских балов во дворце Радзивиллов, громоподобных охот в поместье Вишневецких и людных жирных пиров под платанами возле замка Тышкевичей требовали обстоятельности; оттого и писала мне часто Марина, что понимала, как мне не терпится узнать последние новости о победоносном походе на Москву: какие еще воеводы сложили булавы и бердыши к копытам белой кобылы царевича Димитрия, какие еще города вручили ему ключи от своих ворот, вся ли уже Московская Русь признала его право на шапку Мономаха?.. Меня одолевала бессонница, когда я наконец узнавал: да, вся Русь целовала Димитрию крест как своему законному царю; меня укачивало при мертвом штиле, когда в другом письме я читал: «... Мои русские изменили присяге, предали себя, меня и Его! Ты, надеюсь, не такой болван, чтобы поверить жалкой сплетне о Гришке с полупристойным прозвищем?.. А русских я уже не виню, мне их жаль: они заплатили за свой позор слишком страшную цену». Что это было: игра или правда, придурь или все-таки игра, — я не задумывался. Ясно было: Марина — девушка необыкновенная, и лишь одно беспокоило меня, когда я, стоя на вахте или сидя на губе, предвкушал нашу встречу: согласится ли она пойти со мной, таким обыкновенным, в наш городской планетарий?

И вот мы идем в планетарий; она сама предложила мне это. Пусть одежда душит меня во всех местах, пусть Марина говорит на ходу мне не слишком приятные вещи — я стерплю все, лишь бы в последний момент, на углу Подставы и Керамзитовой, она не передумала и не пожелала бы вдруг съесть знаменитое мороженое в привокзальном сквере.

Наш городской планетарий — это место, где уже издавна повелось переходить от робких и как бы случайных прикосновений к прикосновениям недвусмысленным и бесстрашным. Если девушка согласилась пойти в планетарий — значит, она согласилась, и дальнейшего согласия спрашивать у нее не нужно... Но если она, не дойдя и двух шагов до планетария, сворачивает на Керамзитовую, потому что ей вдруг ужасно захотелось съесть пломбир в привокзальном сквере, — это уже п л о м б и р, как это у нас называется, или д и н а м о, как это называется в других городах.

До рокового угла, за которым — или небо в алмазах, или пыль привокзального сквера, остается чуть более ста шагов. Улица Подстава почти пуста: под навесом автобусной остановки сидит на узлах старуха в ситцевом желтом халате и ест мятый помидор. Гудят шмели в палисадниках; пахнет травой, липовым клеем, асфальтом, сухим песком и ромашковым польским шампунем, которым Марина вымыла голову. Марина шагает размашисто, чуть впереди меня, на меня не оглядываясь, словно сама по себе, и все никак не может закончить тираду, начатую в молодежном кафе на Белы Куна предложением послушать дневную лекцию в планетарии и продолженную перечнем условий, при которых этот поход в планетарий сможет иметь в будущем серьезные и желаемые мною последствия:

— ... Ты не такой идиот, надеюсь, чтобы не понять и не запомнить то, что я тебе сейчас в первый и в последний раз говорю. Ничего нет мерзее в нашей среднерусской природе, чем наш н и к а к о й среднерусский мужик,

который идет, куда его пошлют, кто бы и куда его ни послал; который плывет, куда и все, по течению, даже если всех сносит в канализацию... Мне неважно, по какому пути ты пойдешь, но ты сам пойдешь и так пойдешь, чтобы даже я не поспевала за тобой, — а иначе я вообще не пойду за тобой. Будь царь, мне неважно, чей: людей, зверей, но — царь, иначе ты будешь мне никем... Мне никто — кто приходит со службы, жрет ужин, жалуется на начальников, утешает себя каким-то уважением коллектива, потом надирается в зюсю и, весь в соплях, похвальноется безднами своей непонятой бесмертной души...

Марина плюет на асфальт, встряхивает своей рыжей гривой и деловито напоминает:

— Тебе остался год до дембеля — у тебя есть целый год, чтобы подумать о том, о чем я тебе сейчас говорю. А пока — не отвечай ничего, лучше молчи.

Я и молчу; я согласен со всем и на все. Я буду царь царей, если хочешь, но только не сворачивай на Керамзитовую!

Тема лекции мало волнует меня, имя лектора — еще меньше, оттого я, покупая билет, и не взглянул на афишу, оттого и смущен теперь, узнав в лекторе Серафима, как зовет его, опуская отчество, весь наш город, и это тот случай, когда имя — уже не только имя, но и почтительное прозвище. Сын легендарного В. В. и отец моего одноклассника Ионы по-хозяйски оглядывает пустой круглый зал планетария, внимательно кивает нам с Мариной, направляет одинокую прядку на сверкающей лысине, ненадолго воздевает оснащенные темными очками глаза к полусферическому потолку, обтянутому черным лоснящимся бархатом, и, наконец, забирается в свою стеклянную будочку.

Медленно гаснет свет. Будочка Серафима светит во тьме. Слышен его вздох, усиленный микрофоном, потом щелчок, и в небе вспыхивают электрические звезды северных верхних широт. Еще щелчок, и — тихо жужжа незримым моторчиком, весенние созвездия движутся друг за другом. Идет за Водопасом над моей головой созвездие Гончие Псы, бредет за ними Большая Медведица, за нею крадется Рысь, пятится Рак, а чуть ниже, если слегка опустить голову и коснуться щекой прохладной щеки Марины, за головой Змеи, за Северной короной, Драконом и Малой Медведицей идут Ближнецы; я опускаю голову еще ниже и, разыскав уголками губ губы моей любимой, ладонью — вздрогнувшую коленку, вижу, как над горизонтом, составленным из силуэтов картонных гор, крон, кранов, крыш и антенн, кортежем оперных карет катятся с запада на восток: Знаменосец, Лира, Лебедь, Возничий и Малый Пес. Кружится бедная моя голова, кружится быстрый и храбрый язык вокруг моего языка, кровь моя бабочкой бьется в висках, крыльями плещет в яремной ямке; небо Севера, не успев совершить полукруг, вдруг замирает и произносит голосом Серафима сперва по-немецки, потом и по-русски известные слова Иммануила Канта о законе добра внутри нас, о звездном небе над нами.

— Закон добра, — говорит затем Серафим, — все меньше волнует нас, и мы уже почти не верим в само его существование, вполне полагаясь на законы общественного развития. Другое дело звездное небо. Оно, видите ли, зримо, оно слишком очевидно для того, чтобы можно было бы в нем усомниться. Оно влечет нас к себе и вызывает страх. Скажем так: оно влечет нас к себе, потому что вызывает страх... Ничто, как мы знаем, не притягивает нас к себе с такой силой, как нечто, внушающее нам страх. Оттого и влекут нас к себе: пугающая возможность любви — и всякого рода зло, жуть знания о мире, страшная правда о себе — и всякого рода власть... Оттого и манит нас к себе ночное небо, полное звезд. Порой осознанно, но чаще бе-

зотчетно, иногда буквально, но больше в мечтах — стремимся мы приблизиться к источнику страха, дабы усугубить страх, насладиться им вполне, испытать его в полной мере — в той лишь мере, однако, чтобы адреналин не разорвал нам сердце или чтобы источник страха сам не погубил нас...

Мое неумелое сердце, не в силах совладать со штормовым приливом моей обезумевшей крови, захлебывается кровью, я не могу дышать, только хватаю ртом пыльный и темный воздух планетария, и Марина смеется, но не потому, что ей смешно, нет, она сочувственно смеется, для того лишь, чтобы немного меня успокоить, потом уверенно обхватывает ладонью мой солдатский затылок, понуждает меня склонить голову к своим коленям — просто опустить голову ей на колени, все еще пахнущие утренним пляжным песком, просто дождаться отлива крови или даже уснуть ненадолго под звуки негромкого, отдающего мягким металлом голоса Серафима:

— ... мысленно приблизиться к тому, буквальное приближение к чему просто невысказано, постичь умом умонепостигаемые расстояния, размеры, температуры и при этом не сойти с ума можно лишь при помощи некоторых, заменяющих нам, вернее, бережно заслоняющих наше воображение и, кстати уж, куда более точных, чем наше воображение, понятий, символов, чисел.

Несколько мгновений я сплю, и мне успевает присниться несколько всплесков океана, мягкие водоросли, пряно сохнувшие на жарком берегу, потом сердце мое приходит в себя, я просыпаюсь, поднимаю голову с жарких колен Марины; руки мои легки; моя левая рука легко обнимает ее за плечи, правая гладит шею, встретив обидно ровное биение артерии, пальцы падают на ключицу, робко, но прытко сбегает вниз, к вырезу платья; я беру губами раскрытые сухие губы Марины; я слышу, но не слушаю, что там нам говорит из своей будочки Серафим, я лишь растроганно удивляюсь тому, что под моими ладонями груди Марины оказались полнее, чем казались они на глаз, и не догадываюсь еще, что уже запомнил не уча, твердо и на всю жизнь: один парсек — сокращенно пэс, — означающий один параллакс в секунду, равен трем целым, двадцати шести сотым светового года, один килопарсек — сокращенно капэс — равен трем тысячам двумстам шестидесяти световым годам, а один мегапарсек — сокращенно эмпэс — равен трем целым, двадцати шести сотым миллиона световых лет... Губы Марины влажнеют вновь, язык ее вновь принимается за старое, моя ладонь совершает недалекий, долгий путь вниз — мимоходом раздосадованная холодной и острой пряжкой кожаного пояса, она все же успевает оценить по пути и одобрить теплую и твердую округлость живота Марины, но тут раздается кашель Серафима, потом щелчок, знакомо жужжит моторчик, я невольно отстраняюсь, убираю руки и вижу зашевелившееся вновь небо Севера.

Скрываясь из глаз, уходит на запад, мне за спину, Рысь, немного над нею, в зените, над самой моей головой, ковыляет Большая Медведица, ниже бегут Близнецы, спешат, едва поспевая за ними, Рак и Лев; сделавший полный круг Водопас объявляется вновь на востоке и норовит повторить свой путь; еще ниже, своим путем, движутся строго, один за другим, созвездия: Мальый Пес, Гидра, Ворон, Дева, Весы, — тянется за ними голова Змеи, а совсем внизу, над ломаной линией освещенного Млечным путем горизонта, стелется над Парусами Большой Пес, за ним плывет Корма, за нею шагает Циркуль, за ним — Кентавр и вновь оказавшийся на востоке Знаменосец...

— Ты где? — сердитый голос Марины громом гремит в пустоте планетария; я возвращаюсь к ней и забываю о звездах. Колени ее по-прежнему сжаты, но я угрюм, упрям, и, изнуренные моим упрямством, они разжимаются... Я знаю давно, что именно должна ощутить моя рука, как только докарабкается до цели. Сколько раз, качаясь на корабельной койке, подражая разгулу океанских волн, давал я разгуляться своему воображению! Сколько раз, покоряясь моему воображению, руки мои, вцепившиеся в железную перебор-

ку, чувствовали буквально не железную переборку, а этот нежный, мерцающий жар!.. И все же я застигнут врасплох; я вскрикиваю, изумленный тем, что жар не сух, а уже откровенно и беспомощно влажен... В известных книгах я, известное дело, читал: он и должен быть влажен, но почему-то был убежден, что этого не так-то просто добиться. Скорее от неожиданности, чем от жажды, клещами сжимается моя ладонь. Скорее от боли, чем от неожиданности, вскрикивает Марина...

— ...и на этом позвольте мне закончить сегодняшний наш разговор, — повысив голос, объявляет нам Серафим. Он грубо включает свет и, уже выбираясь из своей будочки, рекомендует нам посетить напоследок сад планетария, — снисходительная усмешка слышится мне в этой дежурной и волнующей рекомендации.

Наглухо замкнутый от любых посторонних проникновений остатками крепостной стены и покатой, тоже без окон, стеной планетария, этот сад был придуман ради того, чтобы любитель астрономии, принявший очередную дозу знаний, не расплескивал ее, сразу из-под ночных небес вступая в житейскую тину, но переживал бы и молчаливо обдумывал вплоть до полного усвоения среди сиреней, жасминов, яблонь, гипсовых глобусов, коперников и галилеев, бронзовых астролябий и телескопов, — отслеживая перемещение стреловидной тени на круглой клумбе солнечных часов, размышляя о свойствах времени и на время о нем забывая.

О том, сколько же их, невольных любителей астрономии, и впрямь забывали, предаваясь любви в этих жасминах, в этих сиренях и даже на клумбе солнечных часов, так, что стрелка часов, перемещаясь по оголенным ягодицам бессовестного любителя астрономии, теряла присущую ей невозмутимость, вздымалась и вздрагивала вместе с ягодицами, — можно предположить, пересчитав корешки билетов в планетарий, проданных за все тридцать лет его существования, и приняв во внимание, что пенсионеры, дети и семейные любители астрономии в сад после лекции никогда не выходили.

Мы с Мариной выходим в сад. Я — впервые, Марина — не знаю, не думаю: слишком решительно ведет она меня, крепко ухватив за руку, в дальний угол сада, к гипсовому Циолковскому с бронзовым велосипедом у ноги, окруженному кое-как постриженным, густым и тесным боярышником. С малых лет меня преследовали и смущали дворовые и школьные байки о том, как разбредаются по кустам и углам распаленные пары, об их взаимных подбдриваниях, перешучиваниях, перемигиваниях, об этих их перевздохиваниях, перестанываниях, поддразниваниях — ах, как я боялся, вздыхая о саде, что так все и будет, и все мне испортит, но, хвала небесам, в этот предусмотрительно жаркий день мы с Мариной одни в саду; весь город — за городом или на городском пляже; один лишь задумчивый гипсовый Циолковский из-под круглых, серебрянкой крашенных очков во все глаза глядит на то, как я становлюсь мужчиной.

Я выплевываю перепуганную муху; она отвлекает меня лишь на мгновение, но уже через мгновение я принимаю ртом к широко и будто бы удивленно раскрытому рту Марины, и теперь ничто не в силах меня отвлечь: ни жужжание ос в жасмине, ни тяжелый взгляд Циолковского, прожигающий мой затылок, ни шевеление кротов и полевок в корнях боярышника возле самой моей головы, ни его колючка, впившаяся мне в щеку и впивающаяся с каждым моим движением все глубже, все резче... Марина бьет кулаком мне в бровь, и я, пришибленный, замираю.

— Ты куда-то опаздываешь? — голос ее зол, она глядит мне снизу прямо в глаза, недолго молчит и немного добреет:

— Не спеши.

Я и не спешу.

Когда спешить уже некуда, слышу ее совсем подобревший голос:

«Дженькуе, пан», кричу, когда она зубами вдруг выдергивает крепко засевшую во мне колючку боярышника, и плачу, когда ее язык и ее губы смывают мою кровь с моей щеки.

Солнце еще высоко. Объятый желтым послеполюденным пламенем воздух опалает пересохшие бронхи. Серафиму некуда спешить по такой жаре. Он долго топчется на углу Подставы и Керамзитовой, не решаясь сделать первый шаг. По Подставе пойдешь — к себе попадешь: к реке и за реку, через весь город, в деревянный дом на когда-то садовой окраине, зажатый ныне с трех сторон оградой радиозавода, гаражами с пустыми голубятнями на крышах и крутой насыпью шоссе союзного значения. В холодильнике — вчерашняя картошка с луком и тушенкой, старый рассольник, если не скис, немного карабахского портувина и, если не скисла, сметана. Пока поешь, пока потом все помоешь, там, глядишь, и вечер настал: по телевизору футбол; у «Зенита» никаких шансов; можно и не включать. Лучше включить проигрыватель «Аккорд», опустить иглу на долгоиграющую липкую пластинку, при первых же звуках гибели богов взволноваться, зашагать из угла в угол, прогревая слух, пробуя на зуб эти звуки, и, в который раз удостоверюсь в их правдивости, опять задуматься о смысле и следствии того, что звучит. Потом устать, прилечь на отцовский диван возле пахнущей холодной золой голландской печки, мигом уснуть, проснуться среди ночи от случайной, посторонней, как соринка, попавшей в сон, наяву и вовсе не нужной мысли: о прачечной, например, о передовой статье в областной партийной газете, хуже, если о давней, ничтожной, какой-нибудь давно пережитой обиде, причиненной кем-то таким, чье лицо или имя уже и не вспомнишь; потом не знать, как уснуть вновь или чем до утра забыться.

Дома хорошо, да путь к нему по жаре неблизок: пять раз вспотеешь, пока добредешь до Белы Куна; там — полегче: идешь под горочку к реке, и легкий ее ветерок обдувает лицо... Но ведь и люди обычно идут навстречу: улыбайся им, здоровайся, тереби за вихры их притворно и потому противно вежливых детей, делай в меру смиренное, в меру высокомерное, уже не только тебе, но и самому себе надоевшее лицо при обязательной, как микстура, и всеобщей, как фольклор, неизбежной тираде: «Хорошо помню вашего отца. Удивительно, до чего вы на него похожи; я имею в виду не все, но глаза. И маму вашу, Розу Расуловну, удивительно, но никак забыть не могу! Я ведь уже говорил (говорила) вам, что я у них (училась) учился?»...

Надо бы осмелеть хоть раз и, не делая вообще никакого лица, полюбопытствовать, как возможно было учиться у них, если они преподавали в разных школах: отец — в седьмой, у реки, а мать — здесь неподалеку, в вечерней школе железнодорожников... Просто спросить и, не дожидаясь ответа, проследовать дальше, вниз по бульвару, под горочку к набережной, без малейшей зависти поглядывая вниз, на умятые и слипшиеся, как монпансье в горячей жмене, голые тела городского пляжа. Потом подняться на мост. Идти по нему легко. Ветер мгновенно сносит с моста бензиновый или дизельный перегар и, лишь очистившись, позволяет себя вдыхнуть. Страшно-вато бывает, когда въезжает на мост какой-нибудь слишком тяжелый трейлер или тягач; мост дрожит, и колени дрожат, выдавая самое нелюбимое из многих твоих нелюбимых чувств — чувство неустойчивости; и все же мост — не самый худший отрезок пути. Худший — Заплавье: гул и гарь прямого, как само отчаяние, Пролетарского проспекта; штукатурка вытянутых в две линии кирпичных барачков, ни в какое время дня не отбрасывающих тени, зато темных, как тени, с наступлением ночи; вонючие липкие лужи возле закрытых с полудня пивных ларьков, пустые витрины трех гастрономов, двух аптек и одной парикмахерской, — раз десять взмокнешь, высохнешь и опять вспотеешь, пока доберешься до родимой окраины, до тупиков и проулков

промзоны и, мимо кузнечного производства, где бухает, бьет и вздыхает, убивая душу и барабанные перепонки, неустанный молот экскаваторного завода, наконец, устремисься, собрав последние силы, к белой и желанной, как линия морского прибоя, бетонной ограде радиозавода, а там уж и рукой подать.

В шестьдесят четвертом году, когда в яблоневого сада заухали топоры, зазвенели бензопилы, взревели бульдозеры, раскатывая по бревнышку старые срубы, когда кругом затрещали костры из дранки, досок, ставен, сундуков, матрасов и прочей домашней рухляди, когда сгрудились тут и сям по всей обезлюдившей, разоренной окраине землеройные, долбилые, грузоподъемные машины, взялись рыть рвы и котлованы, громоздить горы глины, щебня и крутую насыпь шоссе, — отец отказался от предложенной ему квартиры с эркером на бульваре Белы Куна, отстоял свой дом и был не прав. Как сказал бы, надо думать, будь он жив, великий Плетенев: если дорог тебе твой текст, перво-наперво спасай контекст, хотя бы часть его, хотя бы несколько садов за твоим окном, а не смог — будь храбр, уступи: начни с новой строки, не суть важно какой, да и неважно где, хотя бы и на Белы Куна, — все равно это будет твоя строка... Что же теперь? Скоро два года, как В. В. пребывает в иных садах; тень его бродит в тени теней его любимых яблонь, срубленных под корень в шестьдесят четвертом году; и Розы Расуловны давно нет на этом свете. Дом теперь твой. Затерянный среди глухо огороженных, нежилых бетонных громад и железных коробок, он весь дрожит подобно кусту или полуживому пучку травы всякий раз, когда высоко над ним, по упругой насыпи шоссе союзного значения с надсадным ревом прокатывается тяжело нагруженный самосвал.

Долгая мысль Серафима о дороге домой утомительнее зноя. Спешить Серафиму некуда. Намереваясь переждать зной, он направляется по Керамзитовой в привокзальный сквер, знаменитый своим двусмысленным пломбиром, и возле чаши фонтана, давно пустой, сухой и замусоренной, у неподвижно-монументальной продавщицы мороженого Малаховой, над голубым фанерным лотком и над белым крахмальным колпаком которой призрачно клубятся, вмиг исчезая, испарения сухого льда, покупает себе пломбир. Подыскав лавочку почище, располагается в тени обстриженных акаций и нависшего над ними клена; ест мороженое и заученно говорит себе: да, были времена, когда фонтан бил.

Был, к примеру, май пятьдесят седьмого года, и упругие, как хлыст, свистящие струи фонтана, откуда-то снизу, со дна его полной чаши подсвечиваемые разнообразно окрашенными лампами, попеременно вспыхивали и сияли всеми оттенками всех цветов радуги в благоуханных и нежарких вечерних сумерках. Пахло акацией, липой, волосами Натальи, свежей водой и отдаленно — горьковатым дыханием паровозных топок. Водяная пыль, собираясь в невидимые клубы, зябко и нежно касалась лица. Красные, зеленые, оранжевые отсветы пылающих фонтанных струй в глазах Натальи вспыхивали тем ярче и тем отчетливее, чем вернее темнело небо над привокзальным сквером. Наталья вдыхала майский воздух глубоко и шумно, со всем предписанным докторами тщанием, перебирая в такт своему дыханию узел хлястика на огромном и уже словно бы отдельном своем животе. Странно было заглядывать в эти отсвечивающие чужим цветом, отсутствующие глаза, странно было слышать это незнакомое, старательное и шумное дыхание, странно было соотносить свою молодость, жизнь, свою Наталью с этим во все стороны раздутым животом, с этими набухшими пальцами, с этим перекрученным ситцевым хлястиком; куда как странно было уже дома, ночью, когда начались схватки, слушать этот воющий, звериный, трубный, неизвестно откуда взявшийся голос, — настолько странно, что слова сожаления и соболезнования, произнесенные наутро заведующим родильным от-

делением Ларионовым, прозвучали как должное и поначалу никак не отозвались в изнуренной пережитыми страхами и странностями душе. И только когда Ларионов, не пряча глаза, но и не глядя в глаза, стал утешать: «Мужайтесь, вы же мужчина... Главное, то есть, простите меня, не главное, но все же: мальчик у вас родился живой, три кило восемьсот; можете его и посмотреть, если можете», — неотвратимо, как тошнота, начало подступать понимание: Натальи больше нет, — чужая, с чужими глазами, голосом, с этим хлястиком на жутком животе, и своя, родная, с упрямыми глазами, с детской шеей, ключицами, с этой, помеченной белым шрамиком, вечно прикушенной верхней губой, и та, должно быть, седая и сухая, должно быть, потакающая внукам и слишком сурово поглядывающая поверх очков на взрослых своих детей, которая должна же быть когда-то, но которой уже никогда не будет, — Наталья мертва вся.

Серафим доедает мороженое, встает, выходит из тени и бросает липкую обертку в сухой фонтан. Продащица пломбира Малахова, овеваемая углекислыми парами сухого льда, сидя спит на жаре. Со стороны вокзала, розовеющего в дальнем конце аллеи, плывут, теряя на плаву слова и ключья фраз в кленовых кронах, ленивые переговоры диспетчера с дежурным по громкой связи. Тормозит маневровый тепловоз где-то на запасных путях. Этот зовущий, тоскующий звук понуждает Серафима помимо его воли и безо всякой цели направиться к вокзалу. Круглая площадь справа от вокзала пуста; не шелохнется пыль на асфальте; спят таксисты в своих такси. Пусты его залы ожидания, один с фикусами и агавой, другой — с мертвой пальмой, упершейся в потолок; закрыты окошки касс. Буфет, однако, работает.

Купив бутылку тепловатого «Рижского» пива, Серафим выходит на перрон, слоняется, глотая пиво, по платформе, вдыхает густые запахи праздных, разогретых на солнце шпал. К ним бы, к этим запахам смолы, травы, железа и мазута, добавить немного хвои и мхов, немного ровного гула в кронах, чуть — скрипа кузнечика и скрипа сухой сосны, малость мерного хруста гравия под ногами, — выйдет ветка мурманской железной дороги где-нибудь между Лоухами и Кемью каким-нибудь столь же жарким, двадцатилетней давности июльским днем, и Наталья в этих невыразимых лыжных шароварах на тоненьких слабых ногах будет отставать и пошатываться под тяжестью рюкзака, то и дело задевать ботинками шпалы, но упрямо идти, страшась потерять из виду и выпустить из рук свою счастливую, как ей, бедной, тогда показалось, судьбу, прозванную редким именем Серафим. Чтобы Серафима не упустить, чтобы убедить его, драгоценного, в своей незаменимости, нужно было ходить с ним во все его изнурительные походы, скрести песком его котлы, слушать всю его гитарную трень-брень у костра — тогда, летом пятьдесят четвертого, это был их первый совместный поход. О последнем, байдарочном походе весной пятьдесят седьмого года, когда Наталья приходилось волочь вместе с ним лодку и таскать свой живот, лучше не вспоминать. Убедился в том, что твое горе и твоя вина по-прежнему на месте, то есть твой мир по-прежнему устойчив — вот и довольно, допивай свое пиво... И Серафим допивает пиво.

Тихо. Молчит громкая связь; даже маневровый давно угомонился где-то на запасных путях. Стрелки электрических часов над платформой потихоньку подбираются к трем пополудни. Пройдет два часа, откроются кассы, спадет жара, оживет привокзальная площадь, вскипят многоголосым говором залы ожидания, вмиг прорастут и обовьются, как плющом, очередями за билетами, за бронью, за бутербродами. Быстро кончится пиво в буфете. Быстро заполнятся телами и баулами, чемоданами, бидонами и узлами скамьи из гнутой фанеры, загустеет, закиснет воздух; а на воздухе — заскучают в ожидании работы носильщики, заважничает, топча перрон подошвами сапог, милиция и комендатура. И задолго до посадки подадут состав на Москву.

Наглухо закрытый, безмолвный, пустой, матово и лилово отсверкивающий свежесмытыми окнами, все как одна занавешенными белыми занавесками, все как одна прошитыми синим зубчатым профилем речной волны и стандартным силуэтом нашего знаменитого собора на загородной Горе, он будет стоять и стоять, и дразнить, и томить нетерпением, придавив всей своею тяжестью время, чтобы не допустить все равно неотвратимого мгновения, когда дежурная по вокзалу по громкой связи объявит наконец посадку... Потом она попросит провожающих выйти из вагонов, и провожающие выйдут из вагонов — страдая умиленным сердцем, глотая слезы, завистливо припоминая, когда же в последний раз не они, а их самих провожали в пугающий и манящий, ненавистный и желанный, огромный, обнимающий собою весь обозримый мир, причудливо и грозно клубящийся надо всем мысленно представимым миром, далекий, непостижимо присутствующий во всем и везде столичный город Москва.

Поезд уйдет на Москву, прошелестят, угасая, пустые и свежие сумерки, настанет ночь — нервная пора проходящих кто откуда и кто куда, пропыленных хмурых поездов. Волоча в Смоленск, Харьков, Киев, Варшаву или, напротив, в Мурманск, Псков и Ленинград удушливо храпящих в темных купе или галлюцинирующих от бессонницы пассажиров, они притормаживают на пару-другую минут, снисходительно слизывают крикливые стайки людей с перрона, наспех заглатывают их баулы, узлы, бидоны и чемоданы, клацают сцеплениями вагонов, срываются с места и скрываются в гремящей, неохотно затихающей тьме. Напоследок затихнув в три часа ночи, она долго еще будет тиха, пока не отступит, а на рассвете, когда солнце смоеет ее следы и высветит на влажном от росы перроне бодро позевывающих да поглядывающих на часы встречающих, опять послышится гул и гром приближающегося состава.

Поезд из Москвы, точно такой же, что уходил на Москву, вот только номером — четный, да и не такой чистый, с запыленными, замасленными окнами и обтерханными в дороге занавесками, плавно подойдет к перрону, и проводницы откроют двери вагонов. В объятья встречающих вывалятся москвичи и погостившие в Москве земляки, распространяя вокруг себя завидный и сложный запах ночной дорожной попойки, утреннего мыла и одеколona. Из перетянутых ремнями и бечевой дорожных сумок интригующе дохнет Москвой: шоколадным отделом ГУМа, базарной хурмой, марокканской апельсиновой рошей, восхитительной колбасной или рыбной копильней.

Спотыкающийся долгий звук, подобный перестуку вагонных колес на стыках, но не густой и тяжелый, а прозрачный, почти игрушечный, выводит Серафима из забытья. По-прежнему жарко. Слегка ломит голову после третьей уже, нет, четвертой бутылки пива. Серафим оборачивается на звук и в жарком, дрожащем, как желе, столбе пропеченного воздуха видит открытую дрезину, движимую электромотором, на ней — полуголого мужика в форменной железнодорожной фуражке, туго натянутой на иссиня-коричневый, облупленный крупный нос. Остановив дрезину, железнодорожник внимательно глядит Серафиму в лицо, с видимым безразличием спрашивает:

— Свежее?

— Теплое, — отвечает ему Серафим и, не зная, как стряхнуть с себя этот прищуренный долгий взгляд, предлагает: — Могу угостить.

— Догадливый, — взгляд из-под фуражки вмиг обращается к небесам, делается рассеянным и блаженным. — Могу подвезти, — в свою очередь предлагает железнодорожник.

— До самого моста?

— Да хоть бы и за реку.

Серафим отправляется в буфет, на остатки денег и свою пустую посу-

ду берет пару пива и уже через минуту, сидя на краю дрезины, пробует щечкой, ловит ртом и ноздрями встречный, ставший вдруг прохладным, пропахший мазутом и пылью, упругий, как ветер, воздух. Железнодорожник швыряет опустошенную бутылку в придорожный репейник; Серафим провожает взглядом ее полет; репейник, скамейка, перевернутая урна, штабель шпал в лопухах — скрываются из глаз, потом скрываются, проскальзывая мимо и уходя за плавный поворот, постройки депо, пакгаузы, серебристые емкости с горючим, грязные цистерны и «сидячие» пригородные вагоны, отслужившие свой срок, брошенные на проросших осокой запасных путях и проеденные ржавчиной насквозь; клюв водокачки проносится над головой, редкие облака стоят высоко в сизом небе, ястреб парит над окраиной.

Возле стрелки дрезина встает, пропуская вперед себя военный состав; под глухим брезентом на открытых его платформах угадываются танки, орудия и БМП; мирные часовые покуривают, облокотясь о брезент, высокомерно и отрешенно, как и покуривали они немирным летом сорок первого года, когда маленький Серафим и Роза Расуловна на последнем перед боями за город поезде бежали в Ленинград, потому что этот поезд уходил в Ленинград, а потом на другом, на последнем перед полной блокадой, поезде бежали из Ленинграда на Север, на Котлас, по совершенно не знакомому адресу, который В. В., отправляясь в свои военные штабы, оставил на крайний случай. Как только крайний случай настал, Роза Расуловна сумела телеграфировать по этому адресу незнакомому кому и получила в ответ телеграмму на гербовом официальном бланке: «ЖДУ ТЧК ЛЕВКОЕВА ТЧК».

Ехали медленно, еле-еле, и, как теперь помнится, молча; если и говорили о чем в битком переполненных вагонах, то шепотом, как бы извиняясь; ночью не зажигали свет, но и не спали; на слишком частых остановках в лесу и в голом поле слушали тишину, то и дело принимая кваканье лягушек за всхлипы танковых траков, в прерывистом гудении крон и проводов угадывая гул чужих самолетов... У Волховстроя встали надолго, и пришлось выйти из вагонов. Там горел, клубясь и завывая, разбитый бомбами вокзал. Оружие друг на друга люди в фуражках и кепках, в разболтанных, со сбитыми набок пряжками, ремнях, упираясь ломами, жердями и обломками рельсов, обжигаясь о головни и дымящееся железо, сбрасывали с насыпи то, что осталось от предпоследнего поезда, на который, как много позже призналась Серафиму Роза Расуловна, она в Ленинграде пыталась пристроиться, но не смогла.

Под насыпью, в стороне, за придорожной болотной канавкой и редковатой полосой кустарника, в три ряда на траве лежали убитые пассажиры. Схватив Розу Расуловну за руку, Серафим глядел в их странные лица. Словно застигнутые врасплох какой-то непривычной общей мыслью, каким-то им одним открывшимся и только их удивившим зрелищем, в стороне и в отдалении от летучей копоти, ругани, железного скрежета и жара, освещенные мягким солнцем, они не выказывали страха, боли, обиды или жалости к себе, они, казалось, были на все согласны — лишь бы их больше не трогали, лишь бы не отвлекали от чего-то, настолько важного и интересного, что весь этот пожар и весь этот повальный бег для них попросту больше не существовали... Роза Расуловна пыталась его увести. Он молча упирался. Упрямо глядел в эти лица, все более убеждаясь, что их общее выражение ему откуда-то знакомо, силясь припомнить, где он видел раньше эти или точно такие лица, но Роза Расуловна больно потянула его за руку и увела прочь. Ее мутило, она говорила ему что-то вроде *не вредничай, не выводите меня из себя*, потом начался налет, и они бежали, беспрерывно крича, чтобы слышать и не терять друг друга, в болотистый лесок неподалеку.

Налет был почти мгновенным, почти все уцелели, и поезд уцелел... В Котласе их встретила Левкоева — седая, жадно курящая, грузная женщина

с мужской стрижкой «полубокс», в командирских хромовых сапогах, в коротком, всегда распахнутом пальто, перешитом из шинели, в козьем свитере крупной вязки, на горловине которого сорными, слившимися меж собой рыбьими чешуйками смотрелась нитка беловатых, мелких, матово мерцающих жемчужных бус. Левкоева благодушно похмыкала, разглядывая Серафима, похвалила:

— Ладных, однако, мальчиков делает наш бродяга, — отвезла его, проспавшего всю дорогу, и Розу Расуловну на телеге в неблизкую деревню Сонгода, высадила их над Двиной, на высоком лысом берегу, ткнула папирсой в сторону крайнего дома с заколоченными ставнями, сказала: — Тут и живите; ничего не бойтесь. Буду у вас бывать, — развернула лошадь, свистнула, ударила поводьями и укатила в Котлас.

В доме бобыля Алимова, ушедшего на фронт и живого ли, неизвестно, Левкоева и в самом деле повадилась бывать, всякий раз привозя с собой банку-другую кабаньей или лосиной тушенки и хлеб. Прежде чем выставить еду на стол, уполномоченная, как называли ее, не разжимая зубов, жители Сонгоды, выглядывала в окно и сдвигала на нем ситцевые занавески. Пока ее люди ходили по домам и перетряхивали рухлядь в сараях и подполах, изымая последние горсти зерна и муки на нужды фронта, Левкоева пила привезенный с собою спирт, курила и ласково увещевала Серафима:

— Ты ешь, ешь, а то будешь такой же тощий и дохлый, как твой папка.

Роза Расуловна не вмешивалась и не присоединялась. Она стояла у стола и молчала, не снимая с лица всякий раз неподвижной и всегда одинаковой, как на фотографии, приветливой улыбки. Как только Левкоева, прихватив своих людей и их добычу, укатывала в Котлас, Роза Расуловна говорила Серафиму:

— Поел, и довольно, — быстро сгребала со стола еду в мягкую коленкорую котомку и шла с нею по обобраным, голосящим, как по покойнику, обреченным на голод домам. В Сонгоде было восемь или девять населенных стариками, детьми и женщинами домов; в двух из них вместе с хозяйками жили эвакуированные Рогальские и Берсуевы; то по шматочку, то по кусочку, всего чаще — всего лишь на зуб перепадало всем и каждому, от голода не спасало, но словно бы извиняло Розу Расуловну и Серафима, которым эта уполномоченная выказывала никому не понятную симпатию и заботу.

Однажды Серафим увидел, как Роза Расуловна пьет с Левкоевой спирт, и подслушал их разговор.

— Они же вымрут все, — говорила Роза Расуловна, казалось, расслаиваясь в дрожащем дыму левкоевских папирос. — Они же тебе не чужие, пора бы тебе и опомниться.

— То-то и оно: не чужие, — отвечала ей Левкоева. — И тебе не нужно о нас беспокоиться: мы сколько раз уже вымирали... Иной раз посмотрю — мы все как один вымерли, а там гляжу — и ничего, опять живем... И потом, ты не учла: с меня спрашивают.

Ты умерла одинокая Гаврилина, за нею Савватеевы, мать и дочь, тогда же — инвалид Панкратов из деревни Панкратово; весной в Панкратове хоронили еще двоих; в деревушке Мотылихе, и до того почти безлюдной, к концу второй военной зимы не осталось никого; поговаривали, будто бы перед закатом в пустые дома Мотылихи приходят из тайги дезертиры и, отогреваясь, топят печи по ночам... Летом и осенью от голода спасала грибная окраина леса, в глубь которого никто не забредал, страхась тех же дезертиров. Ружья, у кого были, Левкоева изъяла, согласно приказу, в первые дни войны; дичь вокруг плодилась невозбранно; лоси и кабаны выводки прогуливались по деревням с издевательской хозяйской медлительностью. Картошка едва росла, ее едва хватало до весны, в сорок третьем из-за нескон-

чаемых летних ночных заморозков ее не было вовсе, и голод был такой, что желудок Серафима накрепко и надолго запомнил его симптомы, отвечая резкими спазмами на всякое, даже самое мимолетное воспоминание о третьей военной зиме. Левкоева с дарами появилась тогда лишь раз, под Новый год; к весне Серафим познал блаженство обмороков, и однажды в апреле, приходя в себя после особенно долгого, начавшегося веселыми видениями и затем уже полного забытья, в досадном, наполненном болезненным жгучим солнцем звоне вернувшейся жизни расслышал чьи-то будничные слова о том, что умерли эвакуированные сестры Рогальские: нажарили наспех две сковороды первых весенних грибов, поленились их проварить, как положено, несколько раз, всякий раз меняя воду, — наелись досыта и отравились до смерти. Не успела просохнуть слякоть дорог, как погиб от несварения, наглотавшись мякины, одногодок Серафима Костя Берсуев. Серафим не видел, как он умирает, но не спал вместе со всей Сонгодой две или три ночи, слушая его плач, его жалобы, его сердитые крики. Потом крики стихли. Потом его хоронили и важным шепотом рассказывали, как он изранил себе задний проход перочинным ножом, отчаявшись избавиться от переполнившей его трухи.

Летом зачастила Левкоева со своими милиционерами; собирала людей в колхозном панкратовском клубе, всем непонятливым напоминала поименно, кто и сколько всего задолжал, а когда Роза Расуловна посмела усомниться вслух, Левкоева поймала ее на слове и велела:

— Коли ты такая грамотная — сама теперь и считай. Веди теперь всю бухгалтерию; с тебя теперь мы все и спросим.

Дома Роза Расуловна не пустила Серафима к столу, услала спать и, забыв, что он спит, кричала на Левкоеву, а та пила спирт, пела: «Там вдали за рекой...», «Полюшко-поле...», другие грустные песни, и, чем сильнее кричала на нее Роза Расуловна, тем громче пела пьяная Левкоева ей в ответ.

В сентябре, пасмурным теплым днем, Серафим возвращался в Сонгоду из панкратовской школы. Ему нужно было пройти обычные шесть километров: краем леса, переваливая через голые холмы, вдоль глубоких, грозящих слиться в один, кривых и долгих оврагов, и дальше, до самого дома — высоким берегом Двины... Он уже поднялся на свой любимый холм, последний в череде пологих и высоких холмов, и посмотрел на темную синюю тучу, нависшую прямо над головой, на него шевелящиеся верхушки деревьев в далеком лесу за оврагом, как вдруг увидел Левкоеву: печатающая сапогами размашистый шаг, она шла по самому краю оврага в своем всегдашнем распахнутом коротком пальто из шинельного сукна, грозно трясла папиросой в горсти и о чем-то — о чем, невозможно было расслышать с холма, — говорила сама с собой.

Не увидит, помаши ей рукой, чтобы и она помахала рукой в ответ; не услышит, если крикнуть ей: «Эй» и поздороваться, успел подумать Серафим еще до того, как далеко позади Левкоевой, из-за взгорка, поросшего сизым можжевельником, показалась рыжая лошадь, кивающая головой, бредущая шагом и тянущая телегу. Лошадью правил безбородый взрослый мужчина в телогрейке и кепке, не из сонгодских стариков, не из панкратовских инвалидов, но чем-то Серафиму знакомый, — правил, опустив вожжи и сидя на корточках посреди телеги... Прервав разговор с собой, Левкоева приостановилась, обернулась, досадливо плюнула и, не возобновляя разговор, продолжила путь. Расстояние между нею и лошадью понемногу скрадывалось. Левкоева сделала последнюю затяжку и щелчком отправила окурок в овраг. Наверное, устав сидеть на корточках, мужчина на телеге встал во весь рост, подобрал вожжи, затем вдруг ударил вожжами. Лошадь вскинулась головой и нервной рысью проскакала мимо Левкоевой, заслонив ее собою всего лишь на малый миг. Мужчина придержал лошадь, и она вновь пошла ша-

гом. Мужчина вновь сел на корточки и дальше ехал, не оборачиваясь. Серафим провожал его взглядом, пока телега не скрылась за соседним, предпоследним холмом. Намереваясь спуститься с холма, он напоследок огляделся вокруг и, хотя ветер совсем стих, всюю кожей ощутил неприятное ознобное жжение. Потом и ноги ослабли от страха. Левкоевой не было на краю оврага.

Пока снаряжали в Котлас человека с известием о гибели уполномоченной, пока рядили, поднимать ее со дна оврага или оставить ее как есть (решили оставить, лишь прикрыли мешковиной), пока Роза Расуловна отпаивала Серафима настоем пустырника, а он все бился в лихорадке, все норовил, как заведенный, рассказать ей вновь о рыжей лошади, о знакомом, но не узанном мужчине на корточках, о том, как спустился в овраг, о Левкоевой на дне оврага, уткнувшейся лицом в мелкий ручей, об ее жемчужных бусах, разбросанных по дну ручья, об ее окровавленном седом затылке, — прошел день и пошел дождь. Он замутил и вздул ручей на дне оврага, измазал и, казалось, растворил в жидкой глине труп уполномоченной, успокоил и усыпил маленького Серафима, размыл дороги и надолго задержал грузовик с людьми из Котласа. Они смогли начать расследование лишь утром следующего дня.

Левкоевские и другие, не знакомые Серафиму милиционеры, совали ему слипшиеся леденцы и давали поиграть наганом. Хмурые люди в шляпах и плащ-палатках заглядывали ему в глаза, подолгу молчали и лишь изредка недоумевали вслух, как такой смысленый и взрослый т о в а р и щ не может поднатузиться и вспомнить имя умельца, направившего лошадь до того ловко, что конец оглобли угодил уполномоченной точнехонько в затылок. Серафима держали в панкратовском клубе, и Розу Расуловну к нему не подпускали, чтобы она не мешала ему как следует вспоминать. Вечером грузовик привез в Панкратово безбородых мужчин, собранных по всем окрестным деревням. Лавки и стулья в клубе расставили вдоль стен, и мужчин рассадили в три ряда, так, чтобы Серафиму было удобно глядеть в их лица. Старики, инвалиды и подростки из Костянова, Вонгоды, Панкратова, Хмельниковки, Сонгоды, Шапошницы, Талиц, Колкарева, Жилина, Шубина, Пухалина, Глебова и Коротцева сидели плечо к плечу и, полуприкрыв глаза, смотрели, как им было велено, прямо перед собой. Ряд за рядом и раз за разом Серафим глядел в их лица, поначалу испуганные и злые, потом усталые, равнодушные, и терялся, то в одном, то в другом, а то и в каждом из них все увереннее узнавая убийцу Левкоевой, но все не решаясь заявить об этом вслух. Время шло. Милиционер возле запертой двери вертел от скуки барабан нагана и улыбался. Люди в шляпах сидели верхом на стульях посреди клуба, не изъявляли нетерпения и даже подремывали. Женщины за окнами клуба поначалу тихонько причитали и всхлипывали, потом начали монотонно и громко выть. В лицах мужчин появилось нечто новое, смутившее Серафима. Черты их разгладились и успокоились; казалось, их посетила какая-то общая, непривычная, необычайно важная мысль; они, казалось, были теперь на все согласны, лишь бы их больше не тербили, лишь бы от нее не отвлекали, — и Серафим вдруг вспомнил разбитый бомбами вокзал Волховстроя, странные лица убитых пассажиров и свое тогдашнее неотвязное чувство, будто бы он, Серафим, где-то видел уже эти странные лица... Так вот где я видел их раньше, обрадовался он, ничуть не смутясь — и лишь много лет спустя озадачившись этим р а н ь ш е, — потом поманил на улице людей из Котласа и заявил:

— Тут его, дяденьки, точно нет.

— Точно? — дяденька в шляпе и плащ-палатке задумчиво обвел глазами примолкших женщин. — А может, ты вчера и не видел ничего такого; все перепутал со страху?.. Может, там и не мужик был, а баба в кепке?..

Шучу, малыш, шучу; им, кислятинам, с лошадьо так не управиться... Ну, беги к ним.

И смерть Левкоевой списали на дезертиров.

Воинский эшелон освободил колею, уже и мост отгрохотал под ним впереди, а полуголый железнодорожник все не торопится трогать с места свою дрезину. Маленькими глотками он тянет из горлышка пиво, блаженно прислушивается к каждому глотку, наконец выбрасывает в лопухи пустую бутылку, запускает электромотор, и гром колес вновь сметает тишину с полотна. Близится мост. Остаются позади клочья колючей проволоки по краям насыпи, зеленая будка охраны, старый вохровец с карабином за спиной, с зеленым околышем на фуражке; железное кружево перекрытий, ферм и проводов, артиллерийский гремя и, как колокол, ноя, мгновенно охватывает Серафима со всех сторон. Река больно выпыхивает сквозь железо. Внезапно гром и мелькание стальных переплетений исчезают, настает простор и спокойное солнце. Немного погода прерывается перестук колес; дрезина опять стоит в тишине... Железнодорожник благодарит Серафима за пиво, ждет, пока тот спрыгнет на насыпь, недолго провожает его, сбегающего в облаках пыли по крутой тропинке к реке, затем продолжает свой путь неизвестно куда по горячим рельсам.

Серафим бредет вдоль воды по гальке и траве к автомобильному мосту, вдыхая запахи ила, мокрой глины, гниющих рыб и перловиц. Плеск волны навеивает сон. На полпути к мосту Серафим останавливается, снимает брюки, пиджак и рубашку. Наматывает рубашку тюрбаном на голову и укладывается навзничь на траву. Засыпает сразу, во сне не видит ничего, кроме собственной улыбки, благодарно обращенной прохладному ветру реки, просыпается под вечер, переворачивается на спину и долго глядит на реку из-под ладони. Река потемнела, зато на другом ее берегу сверкают на солнце железные крыши, окна домов и машин на главной набережной, тела на городском пляже. А на этом, заброшенном и заросшем травой берегу перебрасываются волейбольным мячом подростки с мокрыми челками, в липнувших к тощим ногам мокрых трусах. Серафим глядит, прищурясь, из-под ладони на то, как они, забросив мяч далеко в реку, с криками бегут к воде, мгновенным толчком в душе переживая заново прозябание в сквере и на жарком перроне, свою пивную дурь и короткое путешествие на дрезине — и думает о том, сколько всевозможной гибели вместили в себя его еще совсем не старые годы. Кажется, память застлана без просвета душевной ее поволокой, и даже в живом и радужном беге мальчишек по мелкой воде выуживает лишь давнюю дорогу берегом Двины в далекую деревню Корытцево.

Той самой весной, в начале которой, наглотившись с голоду шелухи, умер ленинградец Костя Берсуев, Серафим отправился в Корытцево повидать знакомых: связь с ними была прервана долгой распутицей. На подходе к Корытцеву он увидел двух женщин, идущих из деревни ему навстречу. В ответ на его «здравствуйте» женщины встали, замерли как в столбняке, потом дружно завопили и, побросав на дорогу котомки, пустились бегом обратно в деревню... Он шел по странно пустой деревне и слышал, как за его спиной захлопываются ставни. На самом дальнем краю Корытцева ему, наконец встретился одноклассник и друг по панкратовской школе, имени которого уже и не вспомнить. Тоже завопил, заметался, бросился к реке и в реку и мерз там, стоя по пояс в ледяной воде, пока не удалось с ним объясниться.

— Слыхали, эвакуированный помер. Сказали, ты. Тебя тут оплакали, как полагается... А ты вправду живой или ты мертвый ко мне ласкаешься?

— Вправду, вправду; выходи; можешь меня потрогать.

...Мальчишки разом нырнули и плывут теперь что есть сил неумелыми хлопающими саженками к середине реки, где качается на легкой волне, уно-

смый к мосту небыстрым течением, их волейбольный мяч. Серафим натягивает мягкие брюки, надевает жеваную рубашку, разминая и с неудовольствием трогая свое затекшее, покрытое испариной тело. Сперва вдоль берега, а затем — привычным пыльным тротуаром Пролетарского проспекта он идет домой, стараясь попасть в свою напрочь лишенную фонарей промзону до наступления темноты: первые звезды уже высыпали на синем, понемногу теряющем яркость небе.

О Серафиме мы знаем все или почти все. Он родился в тридцать втором году и учился читать по Перельману. Войну провел в эвакуации на Северной Двине, потом недолгое время учился в седьмой школе, то есть у своего отца, но к географии остался равнодушен. Отравленный занимательным Перельманом с малых лет, он и способностей был необычайных, отчего школу заканчивал не у нас, а где-то в Сибири, среди кедровых рощ, в особенной математической школе, которой суждено было стать прообразом созданных в шестьдесят третьем году интернатов для гениев, где доктора физ. мат. наук и академики служили простыми учителями. По окончании интерната он отправился на матмех Ленинградского университета и там усиленно занялся астрономией, намереваясь в дальнейшем посвятить себя изучению физики небесных тел. Говорят, он год не спал, чередуя занятия в аудитории, библиотеке и Пулковской обсерватории с ночными наблюдениями звездного неба в полевых условиях. Зная, к чему привела эта, к слову сказать, поощряемая педагогами одержимость, даже страшно представить себе его, галлюцинирующего от холода и бессонницы где-нибудь в пулковских заснеженных полях, на весеннем берегу Ладоги или залива, среди подернутых ледяной коркой черных луж, в которых вспыхивают, как светляки, и шевелятся, словно личинки мух, поименно знакомые ему звезды.

На втором году обучения он захотел себя убить. Соседи по общежитию на Мытне с трудом отобрали у него уют, которым он пытался расколоть себе голову. Отоспавшись после уколов и перевязки, он пожаловался врачам на некую несурязицу. Довольно точно, по его словам, представляя себе в общих чертах Вселенную, довольно полно воображая ее размеры и весь ее подвижный облик, он, Серафим, оказался не в силах почувствовать масштаб и создать в себе образ нашей Галактики, а ведь она, как известно, много меньше Вселенной. Эта вот чувственная несурязица сильно утомила Серафима. Понимание того, сколь ничтожны, причем навсегда ничтожны, наши количественные знания о космосе, привело его к выводу о заведомой невозможности всякого качественного знания, и поскольку оно, как он выразился в палате на Пряжке, — нас унижающий обман, жить не имеет смысла.

Роза Расуловна, не мешкая, приехала в Ленинград. Оформила сыну полугодовой академический отпуск, под расписку забрала его из клиники и увезла домой. Врачи возражали не слишком. Они объясняли болезненный срыв Серафима исключительной перегрузкой его слабой нервной системы. В детстве, как большинство его сверстников, он недоедал; его незаурядный мозг и все его нервные клетки в самую нежную и нужную пору недобрали мяса, сладостей и овощей, то есть витаминов А, D, E, C, B и других; его нервная система, если можно так выразиться, была гениально задумана, строилась заботливо и умело, но, увы, при острейшей нехватке строительных материалов: в ее цементирующем составе один песок... Повременить бы им пока, вундеркиндам, начать бы им появляться на свет в следующем, сытом и счастливым, послевоенном поколении, и мы с легкой душой повыходили бы на пенсию, сказали Розе Расуловне ленинградские врачи. Кормите его что есть сил, дорогая, заставляйте спать по ночам, но главное — это ходьба, лучше всего

по лесам, по лугам, по холмам и речным берегам — до полного успокоения, физического изнурения и нравственного забытья.

И Серафим увлекся полезной ходьбой.

За полгода, проведенных в родительском доме, то есть почти в нем не бывая, он не раз, а по многу раз обошел по округности: по шоссе, огородам, проселкам, тропам и лесосекам, в жару, под дождем и по теплой еще, молодой лыжне — наш невеликий, но и не самый маленький город. Наскучивали круги — забирался вдаль, в незнакомые рощи, или далеко по реке, за Качай, к рукавам и болотам устья, рискуя заночевать прямо на болоте. Нередко с ним ходил и В. В. Серафим плохо помнил его, довоенного, к концу войны сумел забыть его лицо, да и после войны видел его недолго... Эта ходьба вдвоем так всегда и осталась временем их наибольшей близости при том, что они почти и не разговаривали меж собой на ходу и на привале; молча глядели в одну точку, каждый в свою, а что было в той точке: внезапное воспоминание, неожиданная или, напротив, любимая мысль, мираж, произведенный игрой воображения, или всего лишь рябиновый куст на краю поляны, — оставалось маленькой тайной, прикровенным достоянием каждого, впрочем, недолгим, потому что время катилось к вечеру и нужно было продолжать путь. Если В. В. по возвращении в город удавалось купить пива, дома их ждал жирный ужин с пивом, и Серафим с тех пор пристрастился к пиву, несмотря на вялые протесты Розы Расуловны. В конце концов и она поверила, что пиво успокаивает нервы и содержит в себе множество полезных микроэлементов. Серафим вернулся в Ленинград с крепкими икрами и твердым взглядом сухих и сонных глаз. Когда врачи, выбив молоточком пытливую дробь по его коленям, осторожно спросили его, считает ли он по-прежнему задачи науки невыполнимыми ввиду вечной нехватки нужных сведений, ответил: «Это была моя логическая ошибка». И врачи благословили его на продолжение учебы, сопроводив диагнозом: «Здоров».

Легко наверстав упущенное, Серафим преуспевал во всех науках и дисциплинах, уже ни одной из них не отдавая предпочтения. С калейдоскопической быстротой перебежал он со спецкурса на спецкурс, из спецсеминара в спецсеминар, успевая освоить каждый из них в надлежащем объеме, всегда имея к концу года по несколько готовых курсовых работ на выбор и всякий раз останавливаясь в своих занятиях у той черты, за которой начинается область независимых и непредсказуемых изысканий, область открытий... Уже близилась дипломная горячка, а он и не думал горячиться, не гадал о теме диплома и вообще не помышлял о своей специализации. Кафедрам пришлось решать меж собой, кому выводить его в люди. Диплом по предложенной ему теме, я уж и не знаю, какой, Серафим защитил с отличием и вместе с корочкой и поплавком на лацкан получил характеристику, парадоксальную и, думаю, единственную в своем роде: «<...> Проявил блестящие способности. Приобрел обширные познания. Непригоден к научной работе».

Для чего составителям судьбоносной бумаги понадобилось в ней щеголять парадоксом, закрывающим перед Серафимом двери аспирантуры, остается только гадать. Наверяд ли у него были враги на кафедрах. Напротив, педагоги прочили ему великое будущее. Вероятнее всего, они не простили ему слишком очевидного, граничащего с неблагодарностью, пренебрежения их доброжелательными усилиями, и в этом их можно понять. Распределение домой, младшим преподавателем нашего Политехнического института, Серафим воспринял как должное, вернее, никак. И всех, кто провожал его удушливым июньским днем на вокзале, кто желал ему удачи на предписанном поприще, а его жене Наталье — скорейшего пополнения в семействе, занимал вопрос: обзаведясь всеми признаками здорового человека, здоров ли Серафим на самом деле?

Спроси они об этом Наталью, она бы ответила им: «Здоров». Серафим здоров, но ему бывает страшно. Гуляя по Васильевскому острову или по Охте поздними вечерами, он смотрит под ноги не потому, что боится упасть в яму, а потому, что боится посмотреть на небо и увидеть там бездну. Мно- жа на бумаге ряды математических и физических формул, он вдруг комка- ет лист и швыряет его в окно не потому, что его работа зашла в тупик, — потому что он предчувствует озарение и страшится его. Сам он называет это, в чем он сразу признался Наталье, страхом утюга. Это, конечно, смеш- но, сказал он ей, но всякий раз, едва ухватив мысль, едва увлекшись ею и распалась, я боюсь, что рука моя вновь потянется к утюгу, и немедленно глупею от страха. Это проходит только в походах... Наталья приняла его при- знание близко к сердцу и с тех пор сопровождала его во всех походах, лет- них и зимних, по тайге, по горам, по речным порогам, опасаясь, что убийствен- ный страх однажды разыщет его и на походной тропе, догонит, и он не су- меем справиться с ним в одиночку. В свой последний байдарочный поход она отправилась, как известно, беременной на седьмом месяце. Серафим шум- но протестовал — она молча укладывала в рюкзак свои вещи. Серафим при- грозил ей и вовсе отменить поход — она сказала:

— Глупо. Останешься дома — тебе будет плохо, и мне будет плохо... Ты не волнуйся: свежий воздух мне необходим и нагрузки полезны.

По заключению врача Ларионова, повинной в неостановимом после- родовом кровотечении была запущенная и до времени скрытая патология. Городская молва винила в смерти Натальи Серафима, потом и врача Лари- онова — винила вяло и недолго: Наталья была чужой, считай, приезжей, и ее в нашем городе не успели узнать как следует. Кого винил Серафим и винил ли кого, неизвестно: он несколько дней молчал, обронив лишь одну, не всеми понятую фразу:

— Я все время не того боялся. Глупого утюга боялся.

Он был ровен, внешне спокоен и разволновался, причем до слез и кри- ка, только раз, в городском загсе, куда он пришел с новорожденным давать ему имя.

Наталья придумала мальчику, на случай, если родится мальчик, необыч- ное имя Ион. Казалось, не окончательно: имена из учебника физики еще только начинали входить в моду, и нелегко было решиться этой моде пос- ледовать. Вышло: завещала, и Серафим, показывая работнику загса конверт с новорожденным и документ из роддома, сказал по завещанному: «Ион». В ответ он услышал:

— Нету такого имени.

— Откуда вам знать? — зло сказал Серафим и был не прав, потому что работник загса Полуянова тут же сузила глаза, перестала ими мигать и упер- лась:

— Мне ли не знать. Вот вам пособие, вот и словарик имен... Полистайте пока, убедитесь, а потом приходите — может, что и надумаете.

— Имя Электрон есть? — спросил Серафим, еле сдерживаясь и не со- бираясь прикасаться к замусоленному словарику.

— Электрон есть, — подумав, ответила Полуянова.

— Трактор, само собой, есть?

— И Трактор есть, и много чего есть...

— А Иона нет?

— Нет!

Тут с Серафимом и случился припадок с криком и слезами; младенец тоже закричал, вынудив Полуянову смягчиться и если и не пойти на попят- ную, то хотя бы проявить доброе человеческое участие.

— Скажу вам по секрету, — сказала она Серафиму, отпоив его водой из графина и дождавшись, когда младенец умолкнет. — Есть и похожие на

ваше слово имена, но только, предупреждаю, церковные. Иона, например... Можете записать *И о н а*, если вас это не пугает. Дело в том, молодой человек, что этот церковный Иона был однажды проглочен китом. Такого, конечно, не бывает; киты питаются мальками; но кто его знает, вдруг это имя принесет нашему мальчику какую-нибудь похожую неприятность... Есть еще похожее имя, Иов, но я по-честному вам скажу: выговорить — трудно, и потом: с этим их Иовом случилось столько несчастных случаев, что я бы на вашем месте рисковать не стала...

— Ладно вам, пишите: Иона, — сдался Серафим.

Иону забрали к себе Роза Расуловна и В. В. Серафим поселился отдельно, сначала в общежитии, потом снял комнату в двухэтажном срубе без удобств на задворках областной больницы. В походы он больше не ходил. Иногда гулял подолгу за городской чертой, редко — один, почти всегда — в сопровождении самых преданных своих студентов... Заурядные студенты на его занятиях совели, ибо был он сух и скуп на веселые паузы, одаренные студенты его боготворили, старались не отпускать ни на шаг, почти каждый вечер просиживали допоздна в его комнатке на больничных задворках, стойко пахнущих йодом и хлором, зато зеленых и тишайших. Попасть к нему на семинар считалось у знатоков большой удачей. Попасть, по правде, было легко, труднее — выбрать или всюду поспеть: он преподавал из физики, из высшей математики, — казалось, он готов был преподавать все, достаточно было ректорату попросить его об этом. Все, кроме астрономии. Считалось, он ее не знал... Был он и школьным репетитором, к слову сказать, недорого, всего за полтора рубля в час. На матмехе и на мехмате, в Бауманском, Физтехе и, тем более, в нашем Политехническом рекомендованные им абитуриенты безоговорочно считались фаворитами. Почти все, кого он готовил к поступлению в эти вузы, кроме тех, пожалуй, кто становился жертвой государственных цензовых интриг, поступали туда без труда... Его ученики давно царят в лабораториях и блещут на кафедрах всего мира, некоторые из них, по слухам, подбираются к нобелевке... Но, увы, живой легендой, как В. В., Серафим не стал. Никто у нас не врет, будто бы учился у него, а те, кто учился у него, гордятся этим тихо в своей среде. Это кажется несправедливым. Ученики В. В., к примеру, отчасти пополнили собою флот, но никто из них, похоже, не преуспел в науках... Но если здраво рассудить, легендарный В. В. пришел к нам, как-никак, из девятнадцатого века, а его сын Серафим — оттуда, откуда все. Для всех он был уважаемым педагогом, одним из многих уважаемых педагогов... Я пишу «был», подразумевая, что был он таковым не всю жизнь. В семьдесят четвертом году его скромный, но достойный ореол потемнел и скукожился, обернулся дурацким колпаком.

Незадолго до того Серафим успел стать старшим преподавателем и, ради прибавки к зарплате, кандидатом наук, правда, педагогических, сведя свои обычные учебные планы в подобие научного труда под названием «Некоторые особенности методики преподавания математических дисциплин в высших и средних специальных учебных заведениях». В. В. был еще жив. После смерти Розы Расуловны в мае семидесятого он оказался без надзора, выпивал все чаще, но облик не терял никогда... Полистав туда-сюда трясушимися пальцами автореферат с дарственной надписью «Отцу — сын», он коротко всплакнул, как поперхнулся, вытер веки и сказал:

— Жаль, Редиса нету с нами; он бы сумел это прочесть. Он бы тебя хвалил, а я бы тобой хвастал.

В августе семьдесят четвертого года В. В. не стало. Его хоронил весь город. В разгар поминок, когда все слова были сказаны, поминальное застолье распалось, перестало поминать, но не устало выпивать и, как водится, при-

нялось курить и болтать по углам, к Серафиму подошел главный редактор областной партийной газеты Голошеин и проговорил, погладив по плечу:

— Какой человек, какой был человек... А ты бы написал нам что-нибудь, Серафим.

Что Голошеин имел в виду, чего он ждал от Серафима, об этом лучше бы спросить у Голошеина; его и спрашивали потом, и не абы кто спрашивал, да он ничего от испуга вспомнить не мог, только головой повинной мотал и все твердил как заведенный:

— Вляпался я, товарищи; не заметил мину и наступил... Простите меня, товарищи...

Возможно, Голошеин хотел получить от Серафима назидательные воспоминания об отце для рубрики «Делать жизнь с кого». Возможно, он вообще ничего не хотел; просто выказал Серафиму свое сочувствие и расположенность в самой удобной и привычной редактору форме. Выказал, выпил с ним в уголке, закусил сардинками и забыл.

А Серафим, на беду, запомнил.

Уже в первых числах сентября, вернувшись на базу из очередного короткого плавания, я получил письмо от матери, как и всегда, с вырезками из наших двух областных газет. Там были результаты и разборы матчей городской футбольной команды с псковским «Выдвиженцем» и пытавинским «Данко». Там были обзоры гастролей белорусского ансамбля «Песняры» в ДК учителей и свердловской оперетты в облдрамтеатре. Там были сообщения о смерти В. В., некрологи с солидными подписями и еще — статья Серафима «С думой о тебе, моя милая малая родина», озаглавленная так, судя по стилю, не сухим Серафимом, а главным редактором Голошеиным и помещенная им в рубрике «Поднимем родное Нечерноземье».

Нечерноземьем в тот год назвали Россию, почти всю ее европейскую часть от Мурманска до Саранска, от Брянска до Нарьян-Мара, от Калининграда до Кудымкара, Перми и Свердловска — двадцать девять ее автономий и областей. Передовицы, подвалы и, само собой, специальные рубрики газет были заполнены рассуждениями об осушении болот, известковании почв, о правильном употреблении химических удобрений, ностальгически-лукавыми спорами о навозе и бывлой крестьянской смекалке, назидательными мемуарами о совнархозах и МТС, призывами сселить поскорее в крупные поселки сто семьдесят тысяч семей, собрать в кулак основные фонды, перебросить по воздуху трактора из казахских степей, заклеить позором молодежь, бегущую прочь из села, и даже насрать на поля коммунистов. В ходу были очерки мечтателей, задумчиво нюхающих и мнущих в горсти родную почву, *обильно политую потом и кровью*, стихи многочисленных лирических поэтов — этих неустанных соловьев своих бесчисленных *малых родин*...

Должно быть, в этом поэтическом ключе и воспринял статью Серафима несчастный Голошеин. Должно быть, он пребывал под неостывшим впечатлением от похорон В. В. — с речами, толпами, воинской пальбой и почетным караулом — и не сумел прочесть ее с привычной и должной бдительностью, хотя и выкинул кое-что, хотя и правил кое-где самолично стиль.

Я был тогда юн, глуп, далек от этих дел и этих бед и вырезку со статьей, едва прочел ее, кинул в море. Перескажу ее, как запомнил, своими словами, коротко, не ругаясь за точность слов.

Зачином статьи был затверженный в тот год, как речевка, и торжественный, как заклинание, перечень нечерноземных бед и проблем. Разорительные сюрпризы суровой матушки-природы. Изнурение переудобренных и оскудение недоудобренных полей. Увечная техника, вечно не поспевающая ни к пашне, ни к севу. Урожай зерновых всего лишь в девять, хорошо в одиннадцать, у трудовых героев — в девятнадцать центнеров с гектара.

Ради заполнения закромов расширяются поля. Они наступают на луга, в итоге не хватает кормов, и голодное поголовье идет под нож.... Повсеместное невыполнение планов, хронический срыв по всем показателям... Молодежь бежит из села по всем дорогам; на дорогах — грязь непролазная... Постыдно сузился ассортимент продуктовых и пром. товаров в автолавках, сельпо и потребкооперации... Условия труда и быта на селе не соответствуют запросам граждан страны всепобеждающего социализма... И так далее, и так далее, и так далее, правдиво, вдумчиво и горько — может быть, не так прямо, но в духе разрешенных и даже обязательных в тот год откровений.

На полпути от зачина к почину Серафим осторожно поддержал передовых агрономов и публицистов, которые решились напомнить нам о том, как полезно бывает иногда дать и отдохнуть истощенному полю, поддержать его год-другой под паром, — и оно потом отплатит сторицей, отблагодарит благодетеля полновесным и шумным колосом.

Далее шли обобщения, казалось бы, лирического свойства.

Нерасторжимы судьбы земли и судьбы людей на земле. Утомленные, сохнут сосцы земли, утомляется, иссушается сердцем и человек. Дело валится у него из рук, руки теряют былую сноровку. Опускаются руки, опускается человек... Вроде бы и пришло ему время героически собраться с силами, показать все свое умение, да нету тех сил, забыто былое умение — уж лучше, кажется, совсем себя забыть, уж лучше, к примеру, стыдно сказать, напиться... Не напрасно ли земля понадеялась на человека? Неумелый, усталый, порой и пьяный человек — разве он может ей помочь? Как бы не навредил, как бы не погубил, как бы не вышло много хуже, чем даже выходит пока...

Слова были туманны. Туман застил взор и пах паленым. Просто удивительно, как умудрился Голошеин не учуять опасность: в следующих абзацах статьи ее запах, казалось бы, не бил, а шибал в многоопытный нос главного редактора.

Порой мне думается, доверительно сообщал Серафим читателям областной партийной газеты, что труженикам полей Нечерноземья давно необходимо, как и самим полям, *побыть под паром*.

Помечтаем вместе, приглашал читателей Серафим, и вообразим себе, что на всем русском Севере, Северо-Западе и на большей части средней полосы, наконец, приостановлены все основные сельскохозяйственные работы. Земля отдыхает. Понемногу избавляется от металлолома, мусора и отравы, набухает новыми, чистыми соками ее плодородный слой. Совхозные рабочие и колхозные крестьяне заняты на строительстве и поддержании многочисленных удобных дорог, сенокосом, уходом за лесами — но не позволяют лесу наступать на праздные, покрытые душистым разнотравьем поля. Множатся пасеки, и, пожалуй, поощряется коневодство. Очищаются русла рек, укрепляются их берега. Вдоль всех берегов свернуто почти всякое промышленное производство: фабрики и заводы, как это уже было однажды в лихую годину, благоразумно переброшены за Урал... Зато процветают народные промыслы. Старые русские города, подвергнутые тотальной реставрации и соответственно благоустроенные, становятся крупными центрами всемирного международного туризма, их пригороды — здравницами. Там, где дымило, коптило и грохотало, — работает нешумная индустрия бытовых, лечебных и культурно-просветительских услуг. Все Нечерноземье превращено в единую систему городских, сельских, лесных и водных заповедников, названную, допустим, «ГОСУДАРСТВЕННЫМ НЕЧЕРНОЗЕМНЫМ ПАРКОМ СОЮЗА ССР»...

Годы идут, а ученые не дремлют: в тиши лабораторий, на опытных полях и делянках создают они новые, доселе небывалые, совершенно не прихотливые и сверхурожайные сорта ржи, ячменя, пшеницы и льна, не требу-

ющие никакой химической подкормки и защиты от вредителей; выводят не слишком прожорливые, не подверженные никакому ящуру, высокоудойные породы скота; вдумчивые конструкторы изобретают на диво прочную, легкую и аккуратную технику... Год за годом, неспеша, методом долгих опытов, многочисленных проб и ошибок создаются единственно пригодные для Нечерноземной зоны, наиболее эффективные и наименее энергоемкие сельскохозяйственные технологии... Рождаются и подрастают земледельцы будущего. С малых лет это новое поколение строителей коммунизма проходит специальную подготовку в странах народной демократии, в дружественной нам Финляндии с ее суровым климатом и, однако же, передовым сельским хозяйством, затем шлифует мастерство на наших опытных полях, готовясь день за днем к тому заветному часу, когда партия решит, что задачи Государственного Нечерноземного парка выполнены, и даст команду: «Ключ на старт!»... Разом взрвут моторы, и новые, невиданные люди выведут новые, невиданные комбайны на отлично отдохнувшие, плодородные и первозданно чистые поля...

Переведа дух не без помощи цитат из Есенина, Докучаева, из апрельского правительственного Постановления, Серафим к концу статьи высказывался в том смысле, что неотложные задачи текущего момента: мелиорация, сселение семей в поселки и укрепление дисциплины — конечно же, требуют от нас ежедневного самоотверженного труда, но отчего бы и не по мечтать детям орлиного племени? С мечтою и работа спорится; мечта, мы и станем, как поется в замечательной советской песне, героями нашего времени...

Никого, кроме Голошеина, эта песня не убаюкала. Серафим был приглашен в уединенный домик на задворках бывшего кавалерийского училища — с бронзовым барельефом на дубовых дверях, изображающим щит и меч в обрамлении гербовых знаков. В эти двери Серафим входил впервые. Страха он не испытывал, но в животе потягивало от смутного беспокойства и ничем не обоснованного, необъяснимого стыда. О своей статье он не думал — она ведь была опубликована — и предполагал скверные вопросы о ком-нибудь из студентов или преподавателей Политехнического.

В кабинете, указанном в повестке, были наглухо задернуты коричневые плюшевые портьеры. На столе горела зеленая лампа; свет ее отсверкивал от склоненной голой головы человека, сидящего за столом. Человек поднял голову, недовольно ею кивнул и указал Серафиму на стул возле окна. Серафим сел; человек углубился в свои бумаги. Одно из двух, тоскливо думал Серафим, подавляя в себе желание отодвинуть портьеру и подставить лицо летнему солнцу, — либо Самынин со второго курса: у него родители, говорят, адвентисты седьмого дня, или доцент Розен с его московскими друзьями и неосторожными разговорами: я этих разговоров не слышал, я ничего не знаю, ни о ком ничего плохого сказать не могу, мне вообще непонятны эти вопросы, и лучше бы их было задать кому-нибудь другому...

— Имя? — спросил вдруг человек за столом, не поднимая головы.

— Серафим, — отрапортовал Серафим, ответил и на другие анкетные вопросы, стараясь выглядеть беспечным и глуповатым, внутренне собираясь и готовя душу к главному, не известному пока вопросу, но, покончив с анкетой, человек за столом умолк, опять занялся бумагами, что-то помечая в них и отчеркивая простым карандашом с ластиком на тупом конце... Время шло, было тихо, даже телефон на столе не звонил ни разу, и лишь карандашный грифель то и дело попискивал в тишине. Серафим украдкой взглянул на свои часы. Он уже больше сорока минут сидит в этом темном кабинете; пора подавать голос. Осмелев, он сказал:

— Э...

— Что «э»? — поднял голову человек за столом. — Вы спешите?

— В сущности, нет, не спешу.

И вновь — молчание... Наконец зазвонил телефон на столе. Человек взял трубку, послушал, раздраженно сунул в ухо карандашный ластик, повертел им в ухе, вынул и сказал:

— Ищите как следует; лучше ищите, — он посмотрел на Серафима. — Мы никуда не спешим.

Прошел еще час. Серафим впал в дрему; он тонул в камышовой шумящей заводи возле самого берега, теряя остатки надежды прорваться к берегу сквозь камыш; проснулся от шума в ушах и понял, что хочет в туалет. Признаться в этом казалось ему невозможным. Прикидывая, как скоро ему придется все же сказать о своем позыве, он подумал: «Кеплера из меня не вышло, Ферма не вышло, Нильса Бора тоже не вышло; зато теперь есть шанс прославиться, описавшись в этом заведении». Мысль немного позабавила, немного отвлекла, а тут и телефон на столе зазвонил опять...

— Точно ничего? — недовольно выслушав своего собеседника, переспросил человек за столом. — Кто бы мог подумать... Ладненько, Крылов. Приберите там за собой. Скоро будем.

Выпрямившись в кресле и потянувшись всеми суставами, человек за столом обратился наконец к Серафиму, и голос его был весел:

— А ты хоть помнишь меня, Серафим?

Серафим взгляделся в его лицо. Круглое, никакое, без очков, без характерных резких черт, оно улыбалось, лоснилось в свете настольной лампы и никого ему не напоминало.

— Что-то такое мерщится... — осторожно промямлил Серафим, криво улыбаясь.

— Не ври, вижу, что не помнишь, да и как запомнить! — Человек встал из-за стола, раздвинул портьеры на окне, потом сел на краешек стола и принялся болтать ногами, покачиваясь в потоках солнечного света, клубящихся от густой и легкой легучей пыли. — Я Панюков, Ваня Панюков, мы с тобой в седьмой вместе учились, в одном классе, пока тебя не перевели в какую-то спецшколу для умников... Что ты обязан вспомнить, так это — папье-маше. Твой отец оставил тебя и меня после уроков — велел жевать бумагу для алтайских гор.

— Помню! — обрадовался Серафим. — Жевали и плевали, жевали и плевали; наплевали сколько надо, и слепили из этого папье-маше Алтай на фанере, здоровенный такой макет... Потом сверху красили акварелью. Или гуашью, уже не помню.

— Гуашью, — уверенно сказал Панюков. — Потом все это намазали прозрачным канцелярским клеем, и он красиво застыл. Получили по пятерке.

— По пятерке, по четверке — но с этого дня я потерял к географии всякий интерес, — признался Серафим.

— И я тоже, — прикрыв глаза, отозвался Панюков с пониманием. — У меня до сих пор, как вспомню, вкус этой жеваной бумаги стоит во рту. Оттого и предпочитаю работать с людьми, а не с папье-маше... Конечно, и люди встречаются: говоришь с ними — и тот же вкус во рту.

— Что, часто? — участливо спросил Серафим.

— Да уж нередко. Но и не всегда... Когда врут. Или боятся... Когда боятся и врут... Надо бы нам посидеть чуток, коли свиделись.

— Ну да, — пожал плечами Серафим. — А где?

— Не здесь же! — Панюков развел руками, расхохотался и заявил убежденно и радостно, как о давно и счастливо решенном деле: — У тебя.

Он убрал в стол бумаги, достал из сейфа желтый портфель с чернильной кляксой возле замка и вышел из кабинета, пропустив вперед себя Се-

рафима. Составил ему компанию в туалете. Стоя над писсуаром, насвистывал старинную пионерскую песенку и все подмигивал, приглашая свистеть дуэтом, но Серафим, смутившись, насвистывать не стал.

На выходе их ждала бежевая «Волга». Едва уселись, шофер тронул с места, вывернул на набережную, там развил приличную скорость, а Панюков всё молчал, хмуро поглядывая на реку, и не давал шоферу никаких указаний. Серафим вновь ощутил беспокойное потягивание в животе. Когда миновали мост через реку и, разогнавшись по Пролетарскому проспекту, свернули в промзону, он понял, что едет в родительский дом, куда после смерти отца еще не успел перебраться.

Двери дома оказались открытыми. В доме были люди Панюкова, двое: один подметал пол, другой ставил книги на полки, любовно обдувая и протирая рукавом корешки. Поздоровались они приветливо; Панюков их молча спровадил; расположился по-хозяйски в кресле В. В. возле голландской печки, придирчиво огляделся, пробормотал:

— Что ж, прибрали вроде бы аккуратненько, — и поспешил объяснить: — Да, мы искали. Тебя решили не нервировать, вот я, извини, и помурыжил тебя в конторе.

— Не понимаю, — тоскливо и зло сказал Серафим.

— Вот и мы не понимаем! — пожаловался Панюков и, шелкнув замком портфеля, достал из него номер областной партийной газеты. — Ты и сам посуды, Серафим. Голошеин заказал тебе материал; он и сам, дуралей, не помнит, какой, в день похорон В. В... Или он и тут напутал?

— Все верно.

— Ага!.. Проходит всего лишь неделя, и эта твоя, с позволения сказать, «дума» уже написана и опубликована... Читаем. Внимательно читаем. Мы, Серафим, все читаем внимательно... И чем внимательнее мы читаем, тем увереннее приходим к выводу: придумать, продумать да еще припудрить словесами все эти, с позволения сказать, тезисы с наскоку невозможно. Такие думы долго думаются. Такие дела обстоятельно делаются... Эта статья, Серафим, написана давно и не сразу. А когда бы, спрашивается, ты мог ее написать? Ты же весь на виду, Серафим. С утра и до ночи: институт, студенты, ученики — мы их всех опросили, и никем ты не был замечен ни в каких посторонних думках, даже в намеках на думы, даже в случайных проговорках... По ночам ты спишь. Больничный персонал по соседству подтверждает: свет в твоём окне всякую ночь погашен... Вот когда ты диссертацию писал, все видели: сидишь, кряхтишь в библиотеке... Заметь, за все эти годы ты даже научную периодику не соизволил осчастливить хотя бы крохотной заметкой. А тут — статья на полполосы!.. Вот мы и решили, подумавши: тобой подписано, да не тобой написано.

Серафим опешил:

— А кем же еще?

— Именно: кем? — увлеченно подхватил Панюков. — Кто бы — вопрос! — мог бы тебя одолжить, а сам бы скромненько остался в тени?.. С иностранцами ты не водишься, друзей у тебя нет. В переписке вообще ни с кем не состоишь. Твои женщины: оператор АТС Сафьянова, Корабельникова, продавщица канцтоваров, была еще Фролова из Пытавина, но вышла замуж за музработника — они все курицы, да и ты их собой балуешь нечасто... Самый близкий к тебе и неглупый человек, пусть вы и мало общались, был все же В. В... И по всему выходило: он намудрил. Времени свободного у него была пропасть. Тема подписанной тобой статьи каким-то боком близка к географии, тебе же она — никаким боком... Понимал старик: всякое его слово имеет у нас особенный вес. Подпиши он сам — Голошеин, хоть и дурак, а прочел бы трепетно, особо ответственно, и статья бы точно не проскочила... И нам подумалось: правда когда-нибудь наружу вылезет — ты

сболтнешь или появятся у В. В. последователи; всплывут черновики, разные ненужные записи, и всякое словечко будет так и сяк перетолковано... Решили мы сами поискать. И, представляешь, ничего не нашли... Что ты на это скажешь, Серафим?

— Отчаянная чепуха, вот что я скажу! Самая глупая чушь, какую я слышал в жизни! И Фролова замуж не вышла, только собирается, и статью написал я сам! Между прочим, всего за три дня... Обдумывал, конечно же, долго. Я, к твоему сведению, немало путешествовал, причем на своих двоих; я и сейчас много хожу пешком. Кое-что повидал, взял на заметку, кое-какие мысли мне давно не давали покоя... Ходил по России и думал, ходил и думал, — разве трудно в это поверить?

— Пожалуй, верю, — помолчав, произнес Панюков. — Ходил и думал... выхаживал и вынашивал; как просто... Вперед нам наука.

— Еще бы не просто, — со смешком произнес Серафим и счел возможным обидеться: — Ей-богу, даже странно...

— Чего тут странного? — перебил, смеясь, Панюков. — Сельское хозяйство, почва, комбайны, люди — разве это по твоей части? Твое дело — формулы и уравнения, разве не так? Твое дело: теорема Ферма, не знаю, кривая Планка, закон Ома, правило буравчика... кстати, этот Буравчик — он чех или все-таки еврей?.. Шучу, шучу, это такая шутка, а ты уж решил, что я совсем необразованный. Я — не совсем, я про буравчик все знаю! — Панюков выхватил из портфеля штопор и радостно вознес его над головой: — Вот он, буравчик! — следом за штопором из портфеля выпрыгнула бутылка коньяка: — А вот он, мерзавчик!.. И не мерзавчик даже — полновесный мерзавец... Вышнего качества мерзавец, гляди, уже и звездочки негде ставить. И не сиди, как пень, ищи стопарики.

Выпили по первому, помянув В. В., потом по второму, уже чокнувшись и сказавши друг другу: «Будь!», — и лишь только теперь Серафим позволил себе полюбопытствовать, из-за чего сыр-бор: повестка, обыск, эти многозначительные, с многоточиями и сумасшедшими предположениями и намеками разговоры.

— Ну, ну, не дури, — строго сказал ему Панюков в ответ. — Сам все понимаешь, если и впрямь сам написал. И — никаких многоточий... Или ты решил, если я тут пью с тобой, то мы такие же придурки, как Голошеин? — Панюков перешел на крик: — Разве не ты заявил на весь мир, что наши люди — дегенераты, что наш человек полностью деградировал?

— Но...

— Не смей запрягать!.. Или, может, не ты предложил ради туристов уничтожить почти все наше народное хозяйство?! Даже закоренелые наши враги с их вечными происками нас обессилить — и те, я думаю, до такого не доперли в своих бункерах и штабах!

— Не уничтожить, а приостановить... — сделал робкую попытку вставить спокойное слово Серафим. — Не обессилить — набраться сил... И — как следует приготовить к будущему...

— Какое у тебя будущее, Серафим? Никто не пашет, не кует, не сеет — откуда будущее?

— На Кубани пахут и сеют, — уныло напомнил Серафим. — В Казахстане пахут и сеют, на Алтае...

— Опять Алтай! Опять Алтай! Это у вас что, семейное?! Голошеину плети про Алтай, Голошеину! Это он тебе поверит, будто один твой жеванный Алтай сумеет прокормить страну!

— Добавь импорт, — вяло отбивался Серафим. — Мы и сейчас его едим... Я не имел в виду ничего нового...

— Вот оно! импорт! — Панюков выпрыгнул из кресла и, нависнув над Серафимом, замер в азартном оцепенении. — Твой план логичен, Серафим,

убийственно логичен. Вырубить экономику, отучить людей от работы, поставить нас на колени перед американским и канадским хлебным импортом и, вдобавок ко всему, чтобы добить нас наверняка, — ликвидировать оборону страны...

— Ну уж нет, Ваня, нет... К обороне, Ваня, я и пальцем не притрагивался, — ненадолго трезвея и привставая со стула, проговорил Серафим, на что Панюков, скорее, расстроенный, нежели сердитый, погрозил ему пальцем:

— Вкус во рту! вкус во рту! похоже, опять я жую промокашку, потому что ты врешь... Мне врешь, обидно. — Он порылся в желтом портфеле и с видимой неохотой извлек оттуда тоненькую стопку мятых машинописных листов. — Вот она, твоя «дума», еще до всякой правки... И не «дума» она, оказывается, а «Заметки провинциала»... Та-а-ак... Переворачиваем первую страничку; отслюниваем вторую; читаем на третьей, в самом низу... «В целях восстановления плодородного слоя почв и репродукции лесных массивов было бы разумно и дальновидно временно перенести учебные стрельбы, взрывные работы, а также полигоны, предназначенные для маневров тяжелой техники, в другие районы Союза ССР, в степные, пустынные, солончаковые зоны»... Далее ты предлагаешь передислоцировать туда же воинские части и гарнизоны, сосредоточенные на севере и северо-западе европейской части страны... Тебе тут повезло; Голошеин хоть тут вспомнил про свой красный карандаш — хотя бы тут все вымарал к чертовой матери!.. Что ты молчишь, Серафим? Молчишь и не шевелишься... Ты шевелись, шевелись: наливай.

Выпили еще, потом допили, Панюков достал из портфеля другую бутылку — пил и весело болтал о пустяковом, о былых одноклассниках, имена и лица которых Серафим вспомнить не мог и не хотел вспоминать. Он пил молча, стопарик за стопарем, и, чем меньше оставалось в бутылке, тем меньше было в нем страха, зато поднималась влажной волной к глазам и к горлу восторженная жалость к себе. Он оборвал болтовню Панюкова тихим вопросом:

— Что же теперь будет, Ваня?

— Тебе интересно? — почему-то удивился Панюков. — Голошеина из газеты поперли, из бюро обкома — соответственно; завтра будет объявлено. Сагачу из облглавлита — тому строгач в жопу по партийной линии...

— Со мной что будет? — уточнил свой вопрос Серафим.

— Трудный вопрос, Серафим... Разоружить тебя нужно? Нужно. Но человек ты заметный, сын самого В. В. ... Отпор дать нужно? Нужно. Но если дать тебе, как следует, отпор — выйдет много шума вокруг твоей писанины, слишком много будет вони, учуют ее все, кому не надо, накинутся стаями, растащат по идейкам да по словечкам — потом и не соберешь... Наказать тебя необходимо? Необходимо. Но главное нам с тобой — стратегически не обделаться... Вот ты, человек ученый, — что ты нам сам посоветуешь?

— Прямо не знаю... — развел руками пьяный Серафим.

— Плохо... Сам нагадил, сам бы и придумал, как прибрать. Ты ведь не враг, мы понимаем. Но есть в тебе некоторая интеллигентская гнильца. Она подъела тебе мозги изнутри, вот ты и учудил снаружи... В сущности, Серафим, всё твое сочинение — это вековая мечта русского, ты только не сердись, идиота: лежать на печи, как птица небесная, не делать ни хрена, и чтобы вокруг сам собой был рай... Мы все допили?

Серафим потряс пустой бутылкой.

— Тогда я пойду, — с сожалением сказал Панюков. — Меры к тебе будут приняты; ты, я уверен, отнесешься с пониманием. Посидели мы хорошо, спасибо за уют... И последний вопрос: почему коневодство?

— В каком смысле? — не сразу понял вопрос Серафим.

— Ты пишешь: в твоём раю для тунеядцев будет поощряться коневодство. С какой-то целью?

— Без всякой цели, — ответил Серафим. — Просто — люблю лошадей. С детства люблю; они мне даже снятся... И ты не поверишь, Ваня, я сам иногда не пойму, откуда во мне такая любовь.

Панюков ушел. Меры к Серафиму были приняты. Назначенный на место Голошеина Игорь Боркин — хорошо знакомый мне Гарик из компании моей матери, навеки взволнованный тем, что сам В. В. говорил ему «Вы», — отметил свое вступление в должность редакционной статьей «Обратная связь» в рубрике «Читатель и газета». Отклики читателей, их добрые советы и критические замечания, их дельные предложения и самые смелые предположения всегда составляли, по признанию нового главного редактора, самое дорогое достояние газеты, ее моральный капитал и золотой интеллектуальный запас. Обидно бывает, чего уж тут скрывать, не стал скрывать Гарик, когда в полнокровном потоке читательской почты всплывают мутные откровения ущербных, психически неуравновешенных граждан. Обидно вдвойне, когда гнойники больного, воспаленного сознания, по недосмотру некоторых сотрудников редакции, нет-нет, да и прорываются прямо на газетную полосу... В качестве курьезных и досадных примеров Гарик привел выдержки из статьи Серафима, впрочем, не называя имени автора.

Почин Гарика был подхвачен областным радио. В передаче «Беседы о здоровье» ее постоянный ведущий доктор Хорохоркин по просьбе группы радиослушателей из Хнова рассказал о причинах и признаках раздвоения личности. Не называя Серафима по имени, Хорохоркин сообщил некоторые факты его биографии: крушение честолюбивых надежд на научном поприще, глубокий стресс, отягченный чувством вины, связанный со смертью любимой жены, — и предположил, что его травмированное сознание принялось, защищаясь, конструировать новую, параллельную реальность, в которой этот непоименованный гражданин возомнил себя специалистом в совершенно чуждых ему областях человеческой деятельности. Подобно гоголевскому чиновнику Поприщину, по причине бедности и любовных неудач возмнившему себя испанским королем, наш неназванный гражданин, не преуспев в науках, вдруг увидел себя в ореоле спасителя отечества и обрушил на головы окружающих лавину бредовых, однако же навязчивых идей. Примеры? Пожалуйста!.. И Хорохоркин, брякнув чайной ложечкой, пошелестев бумажкой, повздыхав сокрушенно и горестно в микрофон, процитировал несколько пассажей из некоего сочинения, достойных быть включенными в учебные пособия по психиатрии. Завершая передачу, доктор Хорохоркин напомнил хновским и всем остальным радиослушателям, что живут они все, слава Богу, не в бессердечные и глупые времена, жестоко осмеянные писателем Гоголем сквозь его гениальные слезы, а в иную, гуманную и победоносную эпоху, освещенную светом коллективного разума. Несчастному Поприщину лили на голову холодную воду: не лечили его, только мучили. Нашего неназванного сочинителя можно бы, конечно, и полечить: к его услугам не одна вода — новейшие достижения современной медицинской науки, но всего лучше, благо, он не буйный, всеми уважаемый и во многом полезный член общества, окружить его повседневным вниманием и заботой.

О сумасшествии Серафима заботливо заговорил весь город. Посетители двух главных гастрономов, «Восхода» на Засулич и № 3 на Белы Куна, припоминали в очередях его испуг перед очередями: войдет с авоськой в гастроном, увидит очередь всего лишь из пятнадцати человек, сразу сунет авоську в карман и был таков — без молочка, без творожка, без картошки, без рыбки, само собой, всегда без мяса, совсем, поди, без правильного питания, на одних консервах, поди, на одной столовке да сухомытке.

Бывалые автолюбители предупреждали начинающих о его несчастной

привычке вдруг встать столбом посреди проезжей части, все вокруг забыть, уставиться под ноги или впериться в небеса, отчего приходится, едва его завидев, держать ухо востро, ногу на тормозе, почем зря не сигналить и заботливо его объезжать.

Студенты Политехнического обратили внимание на цвет его носков; цвет был яркий; и если один носок был, допустим, голубой, другой непременно был коричневый или красный, в белую шашечку на щиколотках. Преподаватели участливо замолкали при одном его появлении, приветливо улыбались и, не успевал он с ними заговорить, принимались наперебой кивать головами, соглашаясь с ним во всем, что он только ни скажет.

Родители будущих абитуриентов, ссылаясь на собственных детей, втихомолку рассказывали о подозрительных странностях этого беспорно идеального репетитора. Он мог накричать на старательного подопечного, мог простить ленивого, запросто мог забыть его имя. Мог дать задание на дом, мог и не дать, мог без повода отменить занятие, но не отпустить ученика домой, а усадить его перед собой, целый час глядеть на него, ни слова не говоря, недоуменно мурлыкая вальсок «Амурские волны», потом сказать ему, будущему создателю ускорителей и звездолетов: «Слушай, зачем тебе эта скука, эта тюрьма на все времена? Ты же талантлив — купи себе аккордеон».

Вскоре Серафима пригласили в отдел кадров и там, извиняясь и ссылаясь на инструкции министерства, попросили принести справку из психоневрологического диспансера, нет, не какую-нибудь особенную — совершенно стандартную справку, непременно, скажем, при получении водительских прав. Мы уверены, сказали кадровики, что вы отнесетесь с пониманием, и Серафим отправился в диспансер.

Поначалу он был почти беззаботен. Из института шел переулками, потом по набережной, блаженно прислушиваясь к жаркому шороху желтых, багровых и палевых палых листьев, глядя на то, как они бесшумно летят, сносимые легким ветром к реке, с легким звоном падают на брусчатку, на гладкую, отливающую белым оловом и почти неподвижную воду... Был теплый, ленивый сентябрь. Страх едва покалывал и отпускал, усмиренный прощальным солнечным прогревом. Свернув на Салтыкова-Щедрина, Серафим оказался в непрозрачной тени заборов, дровяных сараев, деревянных зеленых фасадов, тесных старинных лип. Стало прохладно, повеяло близкими холодами, потянуло назад, на солнечную набережную, но надо было идти в диспансер. Серафим замедлил шаг, придумывая слова, которые он скажет в регистратуре, потом и на приеме у врача... Нет, на учете не состою... Нет, карточку заводить не нужно, я же не состою на учете, я и пришел затем, чтобы получить справку, что я на учете не состою... Нет, я никогда не знал никаких проблем с нервами... Нет, я не вру... Нет, я не помню... Нет, я ума не приложу, откуда у вас эти сведения... Нет, это было давно, можно сказать, что и не было вовсе... Нет, я не знаю и знать не хочу, что обо мне говорят в городе... Нет, я не нуждаюсь в обследовании... Нет, отчего же, я его не боюсь. Но я его не хочу.

Возле деревянного крыльца диспансера стоял мятый «рафик» с красным крестом на желтом боку, с боковыми стеклами, изнутри замазанными белилами. Водитель, подняв капот, тыкал в мотор древесным прутиком. На крыльце сидел человек в черном, наглухо перетянтом плаще и в фетровой шляпе, надвинутой на глаза. Он сидел, вытянув ноги, сунув руки в карманы плаща, и со скучающим любопытством оглядывал Серафима, читающего вывеску, но не спешащего подняться на крыльцо. Водитель «рафика» выбросил прутик в пыль и с грохотом уронил капот. Серафим вздрогнул, вжал голову в плечи, круто развернулся и пошел прочь. Он успел увидеть краем глаза: человек в черном плаще поднялся с крыльца и отряхнул плащ. Серафим слышал: человек идет за ним, но не оборачивался и не решался

ускорить либо замедлить шаг... Лишь выходя на набережную, внезапно потемневшую под наползшей тучей, он позволил себе остановиться и глянуть назад через плечо. Никого не было за спиной. Серафим постоял спиной к набережной, подождал, глядя на пустую и горбатую улицу Салтыкова-Щедрина. Пошел дождь, а человек в черном плаще не появлялся. Должно быть, он не за мной, а сам по себе, догадался Серафим, и продолжал гадать: должно быть, он свернул на Второспасский или завернул в любую калитку, а я и не почувствовал... Должно быть, у меня и впрямь что-то с нервами, но это касается только меня.

Он заявил о своем уходе из института — не вдаваясь в объяснения, не смущаясь всеобщим шумливым изумлением. Его не отпускали. Стыдили в деканате, стыдили на кафедре, стыдили в узком кругу. Ректор долго не принимал его заявление, потом долго не подписывал приказ. Все-таки он уволился. Поначалу нигде не служил, почти полгода кормясь домашними уроками, пока не заметил, что способных учеников сильно ubyло: молва о его душевной болезни, похоже, немало кого напугала. К нему потянулись прокуренные двоечники с родительскими трешками в кулаках, с наглой тоской в глазах. Озлясь, он вчистую отказался от учеников, устроился в городской планетарий на углу Керамзитовой и Подставы и очень скоро пожалел, что не сделал этого раньше. Единственный, если не считать заезжих, лектор планетария, здесь он был свободен. Гася свет в круглом зале и пуская в темноте по кругу бархатное небо, здесь он был не на виду. Пересказывая что ни день «Занимательную астрономию» Перельмана вперемешку со свежими номерами журнала «Наука и жизнь», здесь он снова был ребенком. Разговаривая вслух с самим собой о всякой всячине в справедливом рассуждении, что немногочисленные слушатели, попарно прилипшие в темноте друг к другу, все равно его не слушают, здесь он был самим собой.

В мае семьдесят шестого года, в день, когда моя Марина повела меня в планетарий, Серафим был уже не сумасшедший, уже всего лишь чудаковатый и всеми почитаемый как сын своего отца сорокачетырёхлетний законченный неудачник.

Остановив в тот день ночное небо, гася звезды, включая свет в зале и выходя на жаркий, вмиг опаливший ему сухие бронхи послеполуденный воздух, Серафим навряд ли сетовал, что не успел он, как рассчитывал, рассказать нам с Мариной еще и о законе Хаббла. Думаю, он понимал: не надобно нам никакого Хаббла. И прежде, чем он доел в привокзальном сквере свой пломбир, мы дважды в глухом саду планетария повторили с нею свой припадок.

Почти ничего сегодня, спустя почти уже двадцать лет, не осталось в памяти о тех девяти днях моего отпуска, слившихся в один, изнурительно счастливым, пахнущий пылью родного города и кожей желанной женщины короткий день, кроме этих неисцелимых, всякий раз грозящих близким обмороком, подстерегающих в подъезде, в парке, в лесу и в поле, в кустах и в пляжной кабинке затяжных или едва ли не мгновенных припадков, перемежающихся вынужденным отдыхом, лишенным мыслей, чувств и реакций оценением, сравнимым с замедленной смертью дерева, которое, казалось бы, так же скрипит, как и ему подобные, так же качается на верховом ветру, и вроде бы корни его крепки, как и прежде, и хвоя его, хоть и желта, а все еще не спешит облетать, но высох сок под корой, и смола, устав и застыв, перестала двигаться по его затвердевшим волокнам... Сегодня мнится: мы даже не разговаривали, мы лишь пошлейшим образом мурлыкали, водевильно и

томно вздыхали, хамски хихикали, клокотали ликующим горлом, а если и были у нас слова, смысл слов был неважен, пожалуй что, и ничтожен, важны были их интонации — их я и помню. Просящие и испуганные — перед припадком, грубые и заискивающие — во время припадка, властные, раздражительные, потом, разумеется, извиняющиеся — после, в недолгом тупом изнурении, — я помню все интонации тогдашней моей Марины, даже недовольную, когда я вздумал познакомиться ее с моей матерью.

— Она нас ждет? — спросила она недовольно, но все же позволила мне привести себя к нам домой.

Мать не ждала; устыдилась своей тельняшки, своей гребенки в растрепанном седом пучке, своей неопрятной ранней старости, которую я, взглянув на мать глазами Марины, впервые заметил, устыдилась своих рук, перемазанных котлетным фаршем, и в растерянности вытерла их о тельняшку. Марина, улыбаясь, протянула ей, потом сама поставила на стол ванильный торт.

— Ах! — засуетилась мать, бросилась переодеваться, потом, не попробовав торт, пробормотала: «Я вам мешаю», — и, не слушая наших возражений, убежала в кинотеатр «Росинка» на двухсерийный фильм «Укрощение огня». Нам ничего не оставалось делать, как лечь в постель, даже и для того, чтобы не поссориться из-за учиненной мною неловкости. Мы впервые любили друг друга в постели, в доме, и на привычное припадочное счастье это не походило. Это был труд; пахло потом и обоями, из кухни тянуло сырým, с луком, котлетным фаршем; уныло охала панцирная сетка моей кровати; муха билась о стекло, стучали часы на столе; Марина терпеливо глядела снизу мне в глаза.

— Я думаю, — сказала она, когда мы оделись и ушли, оставив матери нетронутый торт и записку, — да, милый, я думаю, нам нужно срочно забыть об ошибках и исправить содеянное. Иначе, боюсь, разругаемся.

По счастью, близилась ночь, и там, где не горели фонари, стало совсем безлюдно. Мы пошли к реке, там нашли глухую пляжную кабинку. Исправляя содеянное, я сбивался, боясь, что на победные крики Марины сбежит вся городская милиция, сплывутся все речные спасатели на своих катерах, и чем нервнее я боялся, тем острее и дольше шла работа над ошибками, призывнее и громче кричала Марина, и тем резвее пришлось нам потом убежать по песку, когда милицейский автомобиль, изумленно завывая и тараща желтые фары, все же появился на пляже.

Оговоренное заранее, дабы и здесь загладить учиненную мною неловкость, подлинное знакомство моей матери с Мариной состоялось за день до моего отбытия в Находку. Мать, помню, одела по случаю эстонскую белую блузку. Марина принесла гладиолусы, я поставил на стол бутылку сладкой крымской мадеры. Мать рассказывала Марине о том, как я, оказываясь, еще в раннем детстве любил кораблики: выстругивал их ножиком из сосновой коры и пускал их по быстрым весенним лужам. То есть неудивительно, что теперь я и сам пустился в плаванье, сказала мать, словно бы за меня извиняясь. Она выпила рюмку мадеры, вздохнула: «Вкусно», заплакала, и моя Марина едва не заплакала вместе с нею. Мне было стыдно. Целыми днями я был с Мариной, возвращался домой далеко за полночь и, наевшись котлет, заваливался спать, даже во сне предвкушая раннее утреннее свидание. Мать почти все эти дни видела меня только спящим... Утешая ее, я наполнил ей рюмку и выпил сам, впервые испытал к ней острый приступ теперь уже привычной и всякий раз внезапной жалости, которую мне с тех пор, уж коли она меня прихватит, никакой мадерой не перемочь.

Оставшись с Мариной наедине, я спросил, как скоро она познакомит меня со своими родителями.

— В другой жизни, в другой жизни. Они почти четыре столетия лежат

в нашем фамильном склепе под Краковом, — осадил она меня, возвращая с живой земли на романтические небеса, и это означало, что отпуск мой подошел к концу; надолго, до самого дембеля, прерываются наши блаженные припадки, зато возобновляется наша переписка и в ней — игра Марины в Марину Мнишек.

Письма пошли одно за другим, но, вопреки моим ожиданиям, в них не было ни слова о Московском царстве и Речи Посполитой. Оно бы и ладно, но служба — скука, и я был раздосадован. Пытаясь самостоятельно оказаться в игре, я убеждал себя: Марине слишком тяжело рассказывать мне о последних часах царя Димитрия, о гибели верных ему поляков, о своем бегстве из Кремля, вот она и пишет мне только об этой, нынешней, жизни: «... когда же ты, дуршолеп, вышлешь новую тельняшку? Может, тебе и смешна тельняшка, но это — просьба твоей матери, и ты обещаю». Я сумел выслать тельняшку. Догадывался: о своем пребывании в лагере Тушинского вора Марине и вовсе неприятно со мной разговаривать, вот она и хвастается: «Поступила в музыкальное училище. Моя специальность будет: руководитель народного хора. Ты как хочешь, а это звучит», «... хор у меня звучит. На экзамене он у меня, помимо прочего, выдал «Варяга». Видел бы ты слезы твоей матери!» Я загрустил. Мне до слез захотелось на тот экзамен — увидеть сразу и мать, и Марину, и хор, и взволноваться вместе с ними. В письмах Марины был дом, и я затосковал по дому. Игра, продлись она, меня бы, думаю, развеяла.

Мне казалось тогда, что в этой оборванной игре в переселение души я всего лишь душеприказчик. Оказалось, я был фишкой. Повелев по пути в планетарий: «Будь царь, иначе будешь мне никем», Марина сделала мною ход. И теперь ей ни к чему было сыпать бисером в письмах. Фишка пошла, пошла по жизни, благо все, что игроку — игра, для фишки — судьба. Я пошел и не свернул ни разу.

Мне было двадцать лет, я был моряк, и, по моим представлениям, царствовать означало царить на мостике океанского белого лайнера. На верхней палубе оркестр играет вальс, танцуют пары в смокингах, бриллиантах и боа, на нижней палубе стюарды разносят устрицы с шампанским и сыры, на капитанском мостике Марина, прильнув щекой к моей щеке, глядит вдаль, и в той дали, в лучах заката, взмывают над волной дельфины... Едва дембельнувшись, я пошел в гражданскую мореходку, и Марина меня одобрила. Потом я был определен в торговый флот и начал плавать, уже понимая, что если я и стану капитаном, то не сразу и вряд ли скоро. Я принужден был ждать, и мне хотелось хотя бы доброй славы. Я много читал, особенно в море, и тень Плетенева, за подлинной партией которого, у второго от доски окна, я когда-то сиживал, и сиживал не раз, попыталась меня усыновить. Не иначе, эта тень надоумила меня поступить на заочное отделение филфака МГУ, и Марина меня одобрила. Теперь в свободное от вахт время я писал курсовые о Дмитриеве и Карамзине, копил, следя в иллюминаторе полет летучих рыб, идеи для диплома и тайне надеялся встать над суетою вровень с Бахтиным, вровень с Турбиным, вровень с Тыняновым, Лотманом, Шкловским, Лихачевым и Панченко, вровень со всеми властителями свободных дум — думать свободно и без суеты умудрялись тогда одни только филологи... Увы, филологом заочно стать нельзя. Я убедился в этом, приезжая сдавать зачеты и экзамены и с каждым своим появлением в Москве всё меньше понимая язык, на котором разговаривали меж собой постоянные слушатели лекций, непрменные участники семинаров и конференций, каждодневные посетители библиотек. Казалось бы, все слова и словечки этого языка, будь то «жанр», «сюжет», «мотив», «аллюзия» и добрая сотня других, им подобных слов, мне знакомы, значение каждого из них мне внятно, но смысл разговора, полного намеков, броских умолчаний, упоминаний вскользь и,

главное, не явных мне отсылок к каким-то предыдущим разговорам, разогретым какими-то не известными мне докладами, чтениями, полемическими вспышками, даже шутками, всякий раз от меня ускользал. Филологическая мысль набухает в общении, и чем общение однороднее и теснее, тем прихотливее и ярче она цветет. В заочном одиночестве она медлительна, осторожна и бесцветна; подобно глубоководному безглазому животному она наощупь движется в никуда, в поисках скудной пищи, в страхе потерять ориентировку среди опасных сгустков тьмы — хотя и поражает иногда внезапным электрическим разрядом.

Среди качающихся вод Мирового океана я был, я думаю, единственный филолог, к тому же начинающий, не поспевающий никак за мыслью своих коллег. Я, прежде чем созреть, был обречен завянуть, но что филологу погибнуть, сочинителю — начало жизни. Я решил начать писать, и Марина меня одобрила. Мне было о чем писать: я видел мир, я знал шторм, я заходил в порт — но Концекого из меня не вышло, а время Конрада давно прошло. В море мало кто много думает о море, тем более фантазирует о море, все мысли и фантазии — там, на берегу; мне хотелось писать о том, о чем я думаю, — выходило еще хуже, чем о море. Почти все, мною написанное, опубликовать, по счастью, не удалось. В печать попал лишь маленький рассказик «Аксиос», тиснутый под заголовком «Заслужил» в многотиражке «Коммунистический кильватер». Речь в том рассказике шла, помнится, о старом токаре, работающем на фабрике по производству шахматных фигур. Начинал он как изготовитель пешек, потом годами вытачивал коней. На склоне лет его попросили: доверили точить ферзей и — о, как был он счастлив!.. Соль рассказика была в том, что коня точить труднее, чем ферзя, потому что у коня есть непростая голова, но вот ферзя, хоть он и прост, точить почетнее, поскольку ферзь, понятно, главная фигура на доске... Бог весть о чем я думал, когда это писал: о ценностях подлинных и мнимых — так надо полагать...

Литературная карьера меня не занимает; она мне давно ни к чему. Эти записи не в счет: ими я пытаюсь убить время прежде, чем оно убьет меня. Уже декабрь, в России снег и санки; ко мне на капитанский мостик зачастили вежливые парни в нежно-зеленых комбинезонах — гамбургская полиция. Сперва они привели на корабль моего радиста Антохина, задержанного ими при попытке продать пять новеньких электрочайников фирмы «Сименс» в турецкую комиссионку на Зайлерштрассе, где-то на задах Рипербана. Полицейские посоветовали мне проверить сохранность груза, но не вызвались, слава Богу, сами осмотреть пломбы. Кажется, мне удалось их убедить, что Антохин страдает зубами, ввиду ареста корабля ему нечем заплатить дантисту, вот он и вынужден продать им же купленные вещи... Варенец, стоило мне отлучиться, выбил Антохину пару вполне здоровых зубов, дабы ему неповадно было без спросу шарить по контейнерам, да еще наводить полицию.

В пятницу полицейские приходили вновь, претензий не предъявляли, но предупредили: если кто-нибудь из моей команды даже самую малость нашкодит или напакостит в вольном городе, всем нам будет запрещено покидать корабль... За нами приглядывают, сказал я Варенцу, и он впервые не пошел на воскресный блошинный рынок, где некие надежные люди, я слышал, румыны, помогают ему сплавлять понемногу содержимое наших контейнеров.

Сегодня парни из полиции положили глаз на мой судовой журнал. Они не изъяли его, просто полюбопытствовали. Я легко пошел им навстречу: пусть изучают, там одна скука, да и какой же русский теперь доверит что-нибудь, кроме скуки, официальному документу. Пока они сканером снимали копию с журнала, я выставил им рюмки и бренди «Ашбах». Они не пожелали со

мной выпить, зато Варенец, подлец, как только они ушли, вылакал залпом всю бутылку, даже не спросив на то моего разрешения... Ах, Варенец, Варенец, видать, не в добрый час свела нас вновь судьба после дембеля!

Все те семь лет после дембеля, что мы были с Мариной вместе, мы слишком редко бывали вместе, лишь в дни моих каникул, потом отпусков, впрочем, пару раз и она ко мне приезжала. Теперь уже кажется странным, что тогда, в семьдесят седьмом, я не вернулся из Находки в мой город и не предложил Марине сначала выйти за меня замуж и обжиться и уж потом как-нибудь, как ей будет угодно, вместе воспарить или попытаться где-нибудь, где ей будет угодно, вместе воцариться. Теперь уже кажется смешной моя тогдашняя уверенность: дорога к Марине непременно идет издалека и, что ни день, что ни шаг, как ты по ней ни бреди, неизбежно проходит в стороне от ее порога. Таков был пинок, полученный мною по пути в планетарий. Такова была Марина, и я до сих пор убежден: приди я к ней, как был, никем, и скажи я ей: «Жизнь коротка; давай ее просто вместе жить, а там будет видно», — я бы потерял Марину сразу. И не было бы у меня с нею даже тех семи счастливых и горьких лет.

То были годы стона. Я был молод и слишком молодо желал ее в слишком частой и долгой разлуке. Желал до слез, до звона в голове и, когда голова начинала кружиться от желания на суше, просыпался, бывало, в тысяче, а то и в тысячах верст от постели Марины, в незнакомой квартире или в гостиничном номере, чувствовал себя немывтым и не открывал глаза до тех пор, пока не зашевелится, не зевнет, не попытается меня растолкать, пока не уйдет, наконец, прочь некое сопящее рядом тело. Головокружение в море не лечилось ничем, кроме скуки, благо, скука морского перехода бывает настолько сильна, что вылечивает от любви к жизни, не то что к женщине: мой товарищ по мореходке Самохвалов на восьмой неделе своего далеко не первого дальнего плавания преспокойно шагнул с кормы.

Одно мне облегчало жизнь в разлуке: я был неревнив и доверчив. Мрачней после каждой из своих измен, я не посмел ни разу вообразить Марину с кем-то и лишь однажды испытал неприятное покалывание в пальцах — в декабре восьмидесятого, под самый Новый год, когда я приехал в мой город и не застал Марину нигде.

Ее соседки по общежитию музучилища разводили руками и хихикали, моя мать была в неведении; я пошел по инстанциям — все инстанции были пьяны в предвкушении новогодней пьянки и даже не могли уразуметь, о какой такой Марине идет речь; она позвонила мне сама, якобы с *чѐса*, из Пытавинского района: сбивчиво просила меня потерпеть и денек ее подождать. Я вскипел, взял такси и примчался сквозь метель в Пытавино. Проник в клуб, там застал стол и хор студентов музучилища, который пел для стола в паузах между тостами. Хор пел «Летите, голуби, летите», «Сегодня мы не на параде», под конец и «Вечерний звон», знатные, если судить о них по их тостам, люди Пытавинского района подпевали, выпивали и аплодировали; моя Марина поворачивалась на каблучках лицом к столу, опускала к полу палочку и глаза и сдержанно кланялась. Она была недовольна моим появлением так, словно я застал ее неумытой.

— Тебе хорошо, — зло сказала она мне после того, как ее хор с фужерами и стопками в руках разбрелся по углам клуба и по концам стола. — Ты там плаваешь, а нам тут приходится как-то жить.

Я усадил ее в такси, отвез сквозь метель домой, и мы помирились.

Летом семьдесят четвертого я собирался выйти в море третьим помощником на сухогрузе «Старпом Серебряков». Буквально за два дня до отплытия пришло письмо от матери, довольно путаное. Прочтя его раз, другой и

лишь на третий раз уразумев его суть, я сказался больным и взял в поликлинике липовый бюллетень. К берегам Аргентины за пшеницей для Кубы сухогруз отправился без меня. Я вылетел в мой город, и мое сердце, обмирая, падало при взлете, мою голову, как в тисках, сжимало при посадке, — я летел в сплошных облаках, ловил такси в усталой злой толпе, потом катил по жаркому шоссе, по Пролетарскому проспекту, по мосту, и все надеялся, что либо я, дурак, неверно истолковал письмо, либо моей матери самой, по ее обычной мнительности, неверное что-то померещилось. «Ты только не очень убивайся, — увещевала она меня в этом письме, — я и сама не всегда могу ее понять, а вижу почти каждый день. Я хотела уговорить ее перебраться жить ко мне, а она из гордости не захотела и осталась жить в общежитии, хотя и всегда обо мне заботится, всегда сходит на рынок или в прачечную на Некрасова. Так и тут. Решила, и все тут, что с ним ей будет лучше. И со мной не поговорила, и тебе пока ни слова, я сама это узнала от людей, а она все молчит. Обо мне, как всегда, заботится, помогает, но молчит. Она неплохая, но непростая, я на нее зла не держу, и ты не держи. Я давно догадывалась, что ты ей не пара. Она непростая, а ты для нее будешь слишком прост...»

— Кто он? — с порога спросил я у Марины; она мне сразу сказала, и я не понял. Она пыталась мне втолковать, а я все не понимал, о каком Ионе идет речь. Когда понял, не поверил. Внучок В. В., сын Серафима, мой одноклассник в годы восьмилетки — все восемь лет он был тих, порой плаксив, и ничем другим не мог похвастать, кроме необычайно прозрачных ушей, придававших ему сходство с летучей мышью. Жил он с дедом и бабкой, жевал на переменах бабушкины пирожки, учился, как и все мы, кое-как, в девятый класс с нами не пошел — уехал поступать в пищевой техникум, куда-то к дальним родственникам на Кавказ... Он давно, давно вернулся, втолковывала мне Марина, он и в Москве продолжал учиться на пищевику, после тамошнего Технологического института пищевой промышленности стажировался во Франции, и теперь он лучший в нашем городе специалист по сырам...

— Ты шутишь? — вполне искренне спросил я у нее. — Где ты видела здесь сыры?

— Нет, мой милый. — Она посмела выказать себя оскорбленной. — Я и не думала с тобой шутить; он редкий знаток сыров. Ему даже выбили специальную штатную единицу, пока полставки, правда, но это — пока... Теперь Йоша — дегустатор сыра на молокозаводе.

— Йоша? О! — я взвыл. — Он где?

Оказалось, его нет в городе; перед самым моим прилетом его послали на сырный фестиваль в Эстонию. Я глядел в глаза моей Марины и на ее глазах сходил с ума. Она боялась замолчать и все говорила мне об Йоше, доверительно и без умолку, словно с подругой, всегда готовой разделить с нею ее удачу и радость, ее восторг:

— ...если все будет хорошо, осенью он поедет в Голландию.

Я кисло и гордо сказал ей «прощай» и улетел в Новороссийск. Там я пил. Потом я плыл в ночи на каком-то драном и бойком буксире из Севастополя в Одессу: увязался за собутыльниками, — и всю ночь береговые огни Крыма качались, гасли и мигали перед пьяными моими глазами. Я сидел на палубе, свесив ноги за борт, болтал ногами, пил и плакал. Вначале мои слезы были злы: «Ты! — цедил я Марине сквозь слезы и ночь за две тысячи миль от нее, — ты, тварь, погубила меня! Я мог бы жить, а я плыву»... Мотор буксира побухивал себе в четыре такта, равнодушный к моему шипению, волна пошлепывала по железу, не смущаясь моими вскриками: «Пусть! пускай теперь не мои, а его прозрачные уши слушают твоё вранье о вислоусых всадниках с архангельскими крыльями за спиной — в кино, тварь, и больше нигде, в костюмном польском фильме видела ты эти

крылья!.. Или он и не слушает тебя вовсе: спит рядом с тобой на одной подушке и сопит тебе в ухо, пока я тут пью?.. Пусть! пусть даже проснется, пусть коснется тебя дохлой своей рукой, пусть раздвинет, тонконогий, твои ноги своей коленкой — ты сама это выбрала, и никакие жалобы мною сегодня не принимаются: только по присутственным дням! Ты меня слышишь, тварь: только по присутственным дням!» Встал туман, рассвело, гудки одесского порта уже манили издалека; за пеленой тумана заныли краны в доках, и я ослаб. Я вдруг подобрел; сказал: «Прости меня, — поперхнулся вином и остатками слез: — И будь ты счастлива, черт с тобой!».

Растеряв на берегу безымянных собутыльников с буксира и забыв об их существовании, я забрел на городской пляж и почти весь день вылеживался там возле самой воды, голый и потный, с бутылкой теплого портвейна «Анапа» у щеки. То был сплошь тяжелый, душный, темный сон без снов, из которого я, как из горячей смолы, с трудом выплывал порой, недолго озирался в ужасе и изумлении, видел жирное, поющее солнце над головой, желтые, масляно блестящие тела вокруг, нечистый песок возле самой моей головы, торопливо прикладывался к бутылке, смиренно закрывал глаза и, горько охнув, засыпал вновь.

День остывал, клонясь к закату, и портвейна в бутылке оставалось на самом доньшке, когда я наконец пробудился с тем, чтобы больше не позволить себе заснуть. Допил подонки, дополз до воды, омылся теплой и мутной волной, колыхаясь в приливном токе и елозя брюхом по дну, подождал, когда прояснится голова, выполз на песок, поднял глаза и увидел Варенца.

— Сколько лет, салажонок, сколько зим, — сказал мне Варенец, стоя надо мной в полосатых плавках.

Остаток вечера говорил я. Покрытый вытертой клеенкой стол в глухом и шумном дворике, куда привел меня Варенец, шатался, вздрагивал, скрипел, грозил упасть вместе со стаканами, бутылками, помидорами, консервами и арбузом, когда со всего маху я опускал на клеенку свою ладонь или кулак, пересказывая Варенцу, словно самому близкому другу, откровения неверной моей Марины.

Ты только послушай меня, Варенец, говорил я ему, ты только врубись и проникнись так, как она просила меня проникнуться не моей, и не твоей, и не абы какой, а, понимаешь ли ты меня, *подлинной человеческой драмой*. Представь, к примеру, ежегодное начало ноября. На домах вывешивают флаги. Молокозавод к великой годовщине приготовил достижение — сорт сыра под названием «Октябрьский» или «Осенний», возможно даже «Красная гвоздика». И в аккурат к заменательной дате новый сыр надо предъявить, официально утвердить, торжественно принять... И вот встает моя Марина рано поутру, варит ему кофе, гладит брюки, вяжет галстук, благословляет его в обе щеки, и он идет на молокозавод... Уже светает, но флаги еще черны; хлещет дождь пополам со снегом, флаги хлопают и мокнут на ветру. Зато в украшенном цветами и портретами фойе молокозавода светло, приподнято, уютно и тепло. За столами при всем параде — гости, на столах — сыр: круги и головы его стоят для красоты, кусочки на тарелочках лежат для пробы... Молокозавод собрался чуть поодаль, у столов в виду: сидит в рядах, в полном составе и тоже при параде; глядит торжественно на то, как гости из городского руководства, из областных верхов, вообще из отрасли и даже из Москвы поочередно пробуют, причмокивая, сыр, затем встают из-за стола, выходят на трибуну, украшенную гербом и графином, которая высится чуть сбоку, благодарят в микрофон ряды за проделанную работу, поздравляют и передают поздравления по случаю наступающей всеобщей годовщины. Иона в галстук сидит в первых рядах. Он знает этот сыр, как знал и прежние сорта. От одного лишь вида этих ртов, жующих

этот сыр, Ионе солоно во рту. Он кривится, прикрывая лицо ладонью, и знающая, как приступ язвы, злая буря поднимается в его душе. На этот раз уж точно не сдержусь, ликуя уверяет он себя, — как выйду да как выскажу им всем, каким должен быть сыр! А это дырчатое мыло с горечью и солью по полам, сваренное вами из молока голодных, полудохлых, пестицидами травленых коров, выдержанное, вы только представьте, в невыразимом нашем цеху номер четыре и созревшее там ровно настолько, чтобы успеть его подать к этому вот столу, — зовите его «Праздничным», лишь бы не называть, как в позапрошлом году «Осенним», зовите даже «Красной звездикой», лишь бы не вспоминать прошлогодний «Юбилейный сыр нежирный» — во всякий год это был, есть и будет все тот же местный «Пошехонский», все тот же местный «Российский» сыр, хотя и где оно теперь, не знаю, это Пошехонье, и в чем тут, я ума не приложу, провинилась Россия? Сыр, коллеги, должен быть... И тут как раз директор молокозавода взволнованно зовет его к столу, объясняя всем несведущим, что Иона — не обычный дегустатор, но тончайший, всесоюзно признанный знаток, лучшими коллективами отрасли и лучшими зарубежными мастерами выпестованный ценитель. Иона, нервно встав, идет меж стульев по рядам, поднимается к столу и в полной тишине полощет рот водой. Сплевывает ее, как водится, в специальную лоханочку. Затем берет кусочек сыра, чуть-чуть откусывает с уголка и, жмурясь, медленно, задумчиво жует... Открыв глаза, восходит на трибуну. Немигающим туманным взглядом обводит притихшие ряды, на столы не глядит и наконец негромко произносит: «Коллеги, сыр удался. Не вдаваясь в детали — о них я скажу в акте приемки — одно замечу: можно лишь порадоваться его тонкому, насыщенному вкусу, нужно поздравить с послевкусием. Примите же, товарищи, мои поздравления...» Он идет домой под непрерывным ледяным дождем, пытаюсь на ходу согреться мыслью о весне. Весной ему обещана командировка в Льеж; там соберутся настоящие коллеги: Жан Бальзамо из-под Бордо, итальянец Пинелли, старый финн Пекка Маттинен, голландец ван дер Хаален и многие другие, известные и не очень, знакомые и незнакомые, сыропродавцы, сыровары и дегустаторы — благочестивые потомственные сырознатцы, жизнелюбивые умертвители молока. Там доведется пробовать сыры старинных, хорошо изученных, испытанных сортов, подмечая новые нюансы и грусти о старых, вдруг утерянных, рассуждая о смягчении рамболя, о наконец достигнутой прозрачности слезы у некоторых альпийских эменталей при сохранении ее умеренной солонатовости... Мысль о весне тепла, но все ж во рту противно. Дома Иону бьет недобрая дрожь, моя Марина утешает его: «Все хорошо, прошло, и хорошо, забудь; не ты варил этот сыр, на нем нет твоего имени, есть только номер приемщицы на синем штампе... Весь этот сыр, как только его выкинут на прилавок, будет вмиг сметен, съеден и забыт. И все будет по-прежнему. До следующей великой годовщины — никакого сыра; в молочной секции — молочный порошок, в мясном отделе — *кость пищевая, 10 копеек килограмм*... Ты не казнишь, терпи и, главное, мой милый, не теряй своего «я».

— За эти муки, Варенец, она его и полюбила, — закончил я ее рассказ.

Одесский дворик потемнел, утих; горели в окнах абажуры; на нас прикрикнули из окон, чтоб мы кончали тут шуметь.

— Ша, — согласился Варенец, — шуметь не будем, — и шепотом предположил: — А может, она просто дура?

— Все может быть, — с готовностью ответил я тогда, и успокоился, и, благодарный, пообещал Варенцу, как только снова выйду в море, взять его с собой. Необдуманное обещание пришлось выполнять, и с тех пор мы вместе на всех морях.

! Прошло еще семь лет, прежде чем я вновь увидел Марину. Было это

летом девяносто первого. «Глеб Успенский», на котором я ходил тогда старпомом, надолго застрял, ожидая погрузки, на рейде мурманского порта. Я решил слетать на пару дней домой, проведать мать.

... — Отчего ты не спросишь, как дела у Мариночки? — обратилась, помню, она ко мне из-за двери ванной, примеряя там новую, привезенную мной тельняшку.

— Я спрашиваю, — как мог вежливо отозвался я. — Как дела у Мариночки?

— Превосходно, — ответила мне мать, выходя из ванной. — И подарок твой превосходный. Немного жмет под мышками, но ведь я пополнела... А Марина меня радует, и я, честно тебе скажу, все больше рада за нее.

— Гастролирует с хором на Брайтоне? Репетирует «Боже, царя храни»? Мать погрозила мне пальцем:

— Ты грубишь... Нет, хором она давно не занимается. Она помогает мужу. Мы все на него здесь очень надеемся, а без нее он как без рук. Поэтому что Марина...

Что-то изобразилось на моем лице — мать обиженно умолкла. Взобравшись на табуретку и принялась рыться в хламе на антресолях. Пыльные папки обрушились на пол прихожей, распахнулись, рассыпались; желтые клочки газет, фотографии, конверты и квитанции разлетелись веером по линолеуму. Я взялся было их подбирать, но мать остановила меня: «Оставь!» и спрыгнула с табуретки с тонкой новенькой папкой в руках.

— Меня тебе слушать неинтересно — почитай, что пишут другие. Обедать будем через час.

Она вручила мне папку и скрылась на кухне. Улегшись на диване, я распустил тесемки папки: газетные вырезки, как я и думал; еще не успели пожелтеть, пылью не пахнут, но запах типографии уже улетучился.

«Неправда, будто бы наш город весь учился у В. В., но то, что все мы в некоторой степени его воспитанники, — это правда», — так начинал не известный мне автор свой очерк «Нерасторжима связь времен» и далее ставил вопрос: кто воспитал воспитателя? кто привил ему прежде, чем он в некоторой степени привил ее нам, эту осанку, твердую походку, эту гордую посадку головы, этот прямой и открытый взгляд, эти манеры, вкусы и принципы, это удивительное правило всем, даже маленьким детям говорить «Вы»? Ответ очевиден: родители, утверждал автор очерка и тут же признавался с изумлением и стыдом: о родителях В. В. нам почти ничего не известно... Мелкие предприниматели — об этом мы, конечно, слышали; владельцы мелкой сыроварни — это, пожалуй, упоминалось вскользь; но где была та сыродельня и каков там был сыр — до самого последнего времени это никого не занимало. Никого, кроме Ионы. Любимый внук великого В. В. не случайно, как мы теперь понимаем, решил посвятить свою жизнь сырам. Он-то и обнаружил в городском архиве малоприметное упоминание о том, что сыры его предков, твердый сыр «Деликат» и мягкий «Укропный», были удостоены призов Нижегородской ярмарки. Мы, нынешние, не в силах даже вообразить себе ее изобилие. Нам, нынешним, остается лишь гадать, чего стоил нижегородский приз и каково было сварить сыр, достойный такого приза.

«И вот Россия оживает!» — после задумчивого многоточия восклицал облегченно автор очерка, приветствуя указующим «и вот» Иону, замыслившего восстановить прадедову сыродельню... С чего-то нужно начинать, хотя бы и с маленькой сыродельни, понемногу вспоминая, казалось бы, навек забытый вкус настоящего русского сыра, возрождая вместе с сыром былое и, казалось бы, навсегда утраченное отношение к делу, а значит, и к самим себе, к своему городу, к своей стране, убеждал читателей автор очерка и заканчивал его риторическим *неужто*: «Так неужто мы всем миром не поможем внуку того, кто нас воспитал, как помогали мы когда-то самому вос-

питателю — возводя всем миром Музей природы края на заповедном острове Качай?»

Я подремал, прикрыв лицо раскрытой папкой; проснулся от выстрелов и треска сковороды на кухне и, позевав, вернулся к вырезкам, благо, было их немного, и все — куда короче очерка, уже прочитанного мною и вогнавшего меня в сон.

Сообщение об учреждении первого в городе экспериментального акционерного общества «Деликат», его устав и протокол о намерениях... Рассуждение о том, сколь похвальны намерения «Деликата» решить своими силами кое-какие городские проблемы даже прежде, чем начать делать сыр: переместить набережную между мостами, побелить потолки в областной больнице, перестелить полы в аудиториях Политехнического, перевести солидную сумму в городской собор, смиренную мзду на реставрацию собора на Горе — с обещанием не скупиться, переводить и впредь... В ожидании обеда я успел прочесть интервью руководителя пресс-службы «Деликата» Голошеина:

В о п р о с: Открывая сеть магазинов «Деликат» вы, похоже, превращаетесь в обыкновенных розничных торговцев. Где же ваш сыр?

О т в е т: Потерпите, будет вам сыр. Мы верим: сыр будет, но нас пока заботит, как бы вы не умерли от голода в ожидании нашего сыра... Да, в стране подул ветер перемен, но гуляет он, увы, по пустым прилавкам. В магазинах общества «Деликат» вы очень скоро и впервые за многие годы найдете все необходимое в любом количестве и самом широком ассортименте. Мы убеждены: когда-нибудь на наших прилавках наряду с финской простоквашей, польской газировкой, немецкой колбасой и великолепными голландскими сырами появится и наш сыр.

В о п р о с: Остается надеяться, что ваши убеждения разделяют и наши читатели.

О т в е т: Остается добавить, что возведение сыродельни в ее первоначальном виде и воссоздание сыра требует средств... А если я напомню вам о наших недешевых добровольных обязательствах перед городскими властями и малоимущими слоями, торговые точки «Деликат» вообще перестанут вызывать вопросы.

В о п р о с: Вопросов больше нет».

Уже всюду тянуло с кухни борщом, уже везде пахло пряным котлетным дымом, когда я, все еще скучая, пробежал глазами самые громкие и пригодные для газетной похвалы имена и названия акционеров «Деликата», их отзывы, призывы, пожелания и признания. Широко был их круг. Наш экскаваторный, наш радио-, наш молокозавод. Наш известняковый карьер, наш сланцевый разрез, наша детская областная больница. Хновский «Коллоид», пытавинский кожевенный завод. Далекий поволжский концерн «Бурлак», советско-аравийское СП «Самобранка», Новое географическое общество, химкомбинат «Анчар», ректор Политехнического профессор Белогривов, Герой Советского Союза Краснопевцев, труппа областного драматического театра имени Всеволода Вишневского в полном составе... Мать кричала мне: «К столу!», а я читал, глазам своим не веря, письмо, вырезанное ею, если судить по шрифту, из центральной московской газеты:

«Мои дорогие соотечественники. Моя фамилия Редис. Мне исполнилось сто лет. Смею надеяться, мой возраст и мой юбилей — уместный повод напомнить о себе. Должно быть, вам приходилось слышать о логарифмической линейке Редиса, впрочем, в эпоху компьютеров о ней не грех и забыть. Почти полвека я живу в Бразилии, вдали от родины, вдали от города моего детства, вдали от милых моих друзей...»

Мать звала меня: «Остынет!», в ее голосе звучала обида; я поднялся с дивана и повлекся на кухню, не выпуская вырезку из рук.

«...Взволнованный событиями последних лет, я не знаю сна. Я выписал все, включая вашу, советские газеты, доступные здесь, в Бразилии. Жаль, они приходят сюда с большим опозданием... Каково же было мое изумление, когда в руки мне попало пространное сообщение о том, что в городе моего детства внуки моего гимназического товарища решили восстановить семейную сыроварню! Я помню вкус этого сыра! В нем была одна травка, я не помню ее названия, но, надеюсь, она до сих пор произрастает сразу за городской заставой... Я — много переживший, одинокий и непозволительно старый человек. Не слишком богатый, но и отнюдь не бедный. Мне уже не нужны мои сбережения, кроме самой самонужной малости, и передать их мне некому. Посему прошу вас сообщить мне имя банка и номер счета...»

— Ты все-таки ешь, — уговаривала меня мать, — и да, не удивляйся, он действительно перевел в «Деликат» все свое состояние.

Я ел...

«...Не знаю, живы ли вы, мои милые друзья. Жив ли милый Плетенев? помню, как сердило тебя слово «веяние», кажется, или «влияние»... Жив ли мой Свищов? пишешь ли ты стишки по-прежнему? я еще помню кое-что из твоих ранних — из стихов Свищова-приготовишки: «Я вижу Киевскую Русь. Как до нее я доберусь? Через века и более несет меня История.»... Жив ли Жиль? Жив ли В. В.? — помню, мы только так называли тебя с самых малых лет... Мне горько, что я опять не с вами, мои милые друзья. Увы мне, моя Бразилия — это слишком от вас далеко. Но если небо моего полушария и небо вашего полушария — это и взаправду, как нас учили, одно и то же небо, мы уже очень скоро будем вместе»...

К концу обеда пришла Марина. Поцеловала в обе щеки мою мать, а мне, оторопевшему, сказала:

— Ты уже поел? Допивай свой компот и собирайся.

— Что это значит? — промямлил я, давясь вареным сухофруктом.

— Возьми зубную щетку. Он тебя ждет.

Возражать я не стал, дабы не сорваться в запоздалое выяснение отношений, и молча направился в ванную за неразъясненной зубной щеткой, примерив там накоротке перед зеркалом подходящее случаю добродушно-насмешливое, а пожалуй, и немного отрешенное выражение лица.

— Утром мы его вам вернем, — пообещала Марина моей матери уже на бегу, увлекая меня вниз по нечистой громкой лестнице во двор, где нас ждала, волнуя жильцов, машина вороной масти, даже мне, моряку, не известной марки, и медлительный шофер, выпуская левым краем легкой улыбки благоуханный дым сигариллы, уже открывал передо мною дверцу.

За всю дорогу я не проронил ни слова; Марина не умолкала, обращаясь отчего-то не ко мне, а к шоферу; тот односложно ей поддакивал или одобрительно похмыкивал.

— ...Вот выскочим на набережную, и ты увидишь, что такое набережная. Одной брусчатки фигурной сколько ушло — скажите, Степан Михалыч?

— Мда, — поддакивал ей шофер.

— Взвалили на нас медицинский техникум, все лабораторное оборудование, все учебные пособия, столовку да общагу; взвалили, извини, сортиры на железнодорожном и автовокзале, теперь взваливают молокозавод: возьмите, говорят, на свой баланс, пока у нас тут объективные трудности. Придется взять, иначе не поймут, а это — полтыщи рабочих, и всем плати; оборудование — гниль, меняй его или каждый день чини, соцульбыт содержи в аккуратности и поди при этом не надорвись!

— Кхм, — похмыкивал Степан Михалыч.

— Но мы не надорвемся. Мы, как всегда, прорвемся — или как?

— Так, — подбадривал шофер, выруливая на набережную, и — да, набережная произвела впечатление. Чугунный кованый параплет отswerкивал на

солнце золочеными набалдашниками; романтические фонари стояли в два ряда, на чугунных столбах да тяжелых цепях; узор новой брусчатки из окна машины я разглядеть не сумел, но цвет ее был розов... Машина нырнула в приречные проулки окраины, поплутала немного в их тесноте и тенях, вырвалась на простор огородов и рапсовых желтых полей, понеслась по извилистой узкой грунтовке вдоль леса, сквозь листья, стволы и хвойные лапы которого пылала оловом река, и я, укачанный кожаным мягким сиденьем, уже не вслушивался в токование Марины — лишь поглядывал на нее с горечью и грустью. Уж лучше бы ты посильнее изменилась за эти годы, горевал я, так сильно изменилась, чтобы я мог сказать себе с исцеляющим изумлением: «Быть не может! Та ли это Марина, что вела меня когда-то в планетарий?», вздохнуть притворно: «Время, ты подлец!», — но нет, ты ничуть не изменилась: ни одной на тебе новой морщинки, ни одной лишней складочки. Это ты, ты вела меня в планетарий, и то, что ты срезала свой рыжий хвост, поменяв его на короткую мальчишескую стрижку, грусти моей не убавляет, наоборот... Этот изгиб шеи, эту крутую линию затылка когда-то не мог увидеть никто, зато знали мои пальцы; это их и только их память; и вот я впервые гляжу во все глаза на эту линию, на этот знакомый, впервые увиденный мною изгиб, я не могу оторвать от него глаз — и пальцы мои сжимаются в кулаки...

— Кони! Наши кони! — закричала Марина; шофер ей хмыкнул, потом поддакнул, и я увидел коней.

Я ожидал, пока я ехал, увидеть, собственно, забор с охраной, дом с репицей — что-нибудь огороженное, покрашенное и постриженное, а увидел дикий луг у реки, полого сползающий к берегу. На лугу были холеные кони черной и рыжей масти, сбившиеся в дремлющий тесный табунок, и при нем — два беспокойных жеребенка. Из распахнутых пустых автомобилей рвалась, захлебываясь сама в себе, в самых непримиримых своих мелодиях, самая разная музыка. Дымили и пахли костры. Босые люди в галстуках и костюмах суетились в дыму с шампурами. Лес гудел невдалеке. На реке возле берега стояла самоходная баржа, на ней был длинный стол, и женщины в общепитовских передниках расстилали на столе скатерть. Вдоль борта баржи и на ее корме сидели на стульях спиной к столу люди в белых рубашках и, не разговаривая меж собой, удили рыбу. Марина подвела меня за руку к барже и громко позвала Иону. Он охотно бросил удочку и в три прыжка, так, что зазвенели сходни, сбежал на берег. Был он ладен, крепок, весел и дружелюбен: никакой тебе прозрачности ушей и вообще ничего — от былой перепуганной летучей мыши. Ростом Иона выдался в деда, матовостью черт, их отточенностью и чернотой изогнутых глаз — в свою кавказскую бабу.

— Я бы тебя не узнал, — сказал он мне. — Помню тебя кудрявеньким.

— Да, теперь я лыс, — пришлось мне с ним согласиться. — Но ведь и я бы тебя не узнал.

Его отвлекли, и он, извинившись, меня оставил. Марина деловито увязалась за ним; я был оставлен в недоумении и надолго предоставлен сам себе.

Я неплохо запомнил, но плохо понял тот пикник. В ожидании застолья сотрудники и гости «Деликата» парами и поврозь, словно по бальному паркету, слонялись плавно и степенно по травке обширного луга, заговаривали друг с другом тихо, почти касаясь головами, раскланивались сдержанно, улыбались влажными глазами, мягко жали мне руку, порой похлопывали коней по холеным холкам, иногда подсаживались к кострам. Покуда близился вечер и все откладывалось застолье, их полку прибывало — на автомобилях с музыкой и даже по реке, на ревущих моторных лодках. Лодки вгрызались

в прибрежный ил или чалились к барже. Темнело. Надоевшая музыка понемногу смолкла. Понемногу темный луг с его кострами, вполнакала горящими фарами, приглушенными разговорами и маячащими в праздном, напряженном ожидании силуэтами многих людей стал походить на былой бивак накануне парадной битвы. Моя роль мне была неясна, но прежде, чем я решился счесть себя уязвленным, на барже вспыхнули, осветив луг и лес, прожектора, и луг ахнул, затем раздались призывные удары корабельной рынды. Некоторые, как я понял, достойные своего места за столом, потянулись по сходням на баржу, прочие сгрудились у костров, вокруг мерцающих мангалов и расстеленных на темной траве клеенок с хлебом, водкой, зеленью и вином. Я пристроился близ крайнего, самого дальнего от реки костра, но не успел поднести рюмку ко рту, не успел даже раскрыть рот, чтобы представиться своим соседям, как возле костра возник из тьмы человек в белой рубашке, вежливо поманил меня, поднял и повел на баржу.

Я был усажен во главе стола, между Ионой и Мариной, на правах самого почетного гостя, отчего роль моя стала мне еще менее ясной, и поначалу, до трех выпитых рюмок, кусок не лез мне в горло. Стол был неплох. Были шашлыки, лещи, овощи, болгарское вино и зелень. Не было только сыра. Иона ел молча, пил мало, дружелюбно, но сдержанно кивал, слушал тосты. Всякий, кто вставал с рюмкой в руке, говорил громко, стараясь перекрыть плеск волны и шум на лугу; о всяком, пока он говорил, Марина торопилась рассказать мне как можно больше, — и очень скоро тосты, звон стекла, гул волны и ветра, смех и песни на лугу и беспрестанная скороговорка Марины возле самого моего уха обернулись для меня головной болью.

— ...Это Скакунников-второй, — говорила мне Марина, — сын того Скакунникова, который, помнишь, был у нас Первым; он у нас орготдел, канцелярия, но, как ты понимаешь, канцелярия ему по уму, а вот оргработой приходится заниматься мне... Ползунков Семен Семеныч, был в обкоме, общий отдел, теперь у нас заведует финансами, но, ты понимаешь, тут нужен мой глаз да глаз... Пономарев: вообще-то он не пьет, в рюмке вода, но хорошо говорит, подлец, — был в исполкоме на торговле, теперь у нас занимается тем же самым; ты уже видел магазины «Деликат»? ох, и сколькими бессонными ночами заплатила я за магазины «Деликат»!

— Как же ты справляешься? — успел спросить я ее в малой паузе между тостами.

— Я же руководила хором, дорогой, — гордо ответила Марина. — И хор у меня всегда звучал... Ого, Сенюшкин будет говорить, Сенюшкин встанет — он у нас был на комсомоле... Мы кормим теперь интернат на Горе, помогаем детдому и седьмой школе со школьными завтраками — отдел Сенюшкина за все это отвечает. Опыт у Сенюшкина есть, но иногда приходится его не то чтобы поправлять, но подбадривать... Голошеин-старичок, наша пресс-служба... вставай, вставай, Голошеин... когда-то он пострадал за моего свекра, напечатал его острую статью и был уволен из газеты; за то и держим. Сам он давно ничего не может, слышишь, мямлит, и рюмка дрожит; все приходится делать за него самой, но я не жалею и не жалуюсь...

— Читал его интервью о магазинах, — похвалился я знанием дела. — Выходит, на вопросы отвечала ты?

— На вопросы отвечал он. Но ответы ему писала я... Впрочем, я писала и вопросы...

Уже порядком пьяный человек предложил выпить всем за В. В.

— ...Он даже мне, сопляку, говорил: «Вы», — проникновенно признался этот человек в конце тоста, всхлипнул, выпил, но расплакаться не решился. Я, наконец, узнал его...

— Да, это он, Гарик Боркин, — подтвердила Марина. — Был главным редактором после Голошеина, травил моего свекра... Взяли его в отдел рек-

ламы. За него сильно просили, но мы и сами его взяли — чтобы помнил, чтобы совесть в нем не дремала. Оказался неплохой, в сущности, мужик, о многом задумался... Реклама требует ума и таланта, приходится мне самой из кожи лезть, но иногда и его осеняет... А это, имей в виду, Ваня Панюков; вообще-то он из органов, но из органов его попросили за слишком страстную любовь к коньяку, ну, а нас попросили его пристроить. Он у нас — служба безопасности. Оказался незаменимый человек; в его дела я не вмешиваюсь.

Я поразился:

— И все они — на зарплате?

— На хорошей зарплате, — вздохнув, подтвердила Марина. — Но что было делать? Как жить? Проще было взять их всех на зарплату, чем биться головой о стены их контор из-за любого пустяка... Накладно пока, но зато — почти никаких проблем.

— Почти?

— А как ты думал? Мы вот сидим на этой барже, как на облаке: пьем, едим, но мы не на облаке... Наш город — не облако и не остров в твоих океанах. И мы не можем пока взять в наш штат людей из всех мешающих нам контор во всей обсиженной ими стране. Страна велика, дорогой.

К полуночи тосты иссякли; со стола убрали грязные тарелки, заменили скатерть и подали кофе. Уже еле тлели костры на лугу, зябкий туман пошел от воды, отпустила головная боль; уже поплыли над кострами угрюмые тихие песни, уже кое-кто, подпевая, вдруг утих и задремал за столом, опустив щеку на скатерть, как вдруг загрохотали сходни и на баржу в сопровождении шофера Степана Михалыча поднялся пожилой уже, рыхлый и сутулый человек в очках — где-то я видел этого человека.

— Вот, привез; еле уговорил, — доложил шофер и сошел с баржи. Иона и Марина поднялись из-за стола навстречу новоприбывшему, усадили его за стол, а он все молчал, протирая очки и нервно щурясь на яркий свет прожекторов. Я узнал его прежде, чем он наконец подал голос.

— Есть я не буду совсем, — сказал он, — Скажи им, сын, чтобы не беспокоились.

Последний раз я видел его давно: под искусственным звездным небом городского планетария, — и вновь мерцали над нами обе Медведицы, Близнецы, Рак и Лев, и все прочие, теперь уже настоящие созвездия северных верхних широт, и вновь рядом со мной была Марина. Она тоже подняла к небу глаза.

— Кофе? — не поглядев на меня, предложила она Серафиму.

— Кофе я выпью, если уж приехал, — отозвался он недовольно, — А всего лучше — спал бы дома; время — ночь.

— Не ворчи, — мягко сказал ему Иона, — мы и без того с тобой редко видимся.

Серафим умолк, ушел в себя; потухло пение на лугу; переменялся ветер, занес на баржу горький дым костров, перемешал его в луче уже вполнакала горящего прожектора с холодным речным туманом, и оттого мне казалось, что дальний конец стола, куда свет пробивался с трудом, колеблется, плывет и уплывает в ночь... Оттуда и раздалось:

— Хочу спросить у специалиста в области астрономии, у знатока космической жизни, если, конечно, Иона Серафимович не возражает... Вот я Телец. Что меня ждет, Серафим, к примеру, нынешней осенью? И можешь ли ты обрисовать научно мое будущее на каких-нибудь десять лет вперед?

— Я астрологии не знаю; не увлекаюсь и вам не советую, — с выражением вежливой скуки ответил незнамо кому Серафим. — Что-то голос у вас как будто знакомый, а разглядеть не могу: темногато.

— Рад, что хоть голос узнал. Я Панюков, Ваня Панюков... Когда-то убе-

рег тебя от крупных неприятностей, теперь оберегаю твоего сына... Вы не сердитесь, Иона Серафимович, что мы с вашим отцом на «ты»: мы с ним, как никак, еще и одноклассники.

Серафим снял очки, шумно подышал на них, протер салфеткой и бросил на скатерть.

— Я с тобой не на «ты», — сказал он почти бесстрастно. — И я скажу тебе без всякой астрологии: нет у тебя, Ваня, никакого будущего, потому что не может его у тебя быть... Потому что, Ваня, если есть у тебя какое-то будущее, то вообще не нужно никакого будущего — потому что всякое будущее тогда не имеет смысла.

Серафим подобрал, надел очки, медленно встал из-за стола и вдруг закричал капризным, плачущим дискантом, глядя на Иону, но не в глаза ему, а куда-то в темную реку поверх его головы:

— Ты зачем меня позвал? Ты к кому меня привез? Ты с кем тут дела делаешь и коньяки попиваешь?.. Я спать хочу, в конце концов! Немедленно отправь меня домой! Я этого требую, в конце концов!..

— Ну, зачем же так? — произнес Иона с мягким железом в голосе. — Спать мы тебя уложим, спать мы тебе приготовили. А домой, и немедленно, отправится Панюков.

— Слушаюсь, — отозвался Панюков. — Я только посты проверю.

— Немедленно! — Иона легонько, но нетерпеливо ударил ладонью по столу.

Панюков с грохотом вскочил со стула, огибая стол, выпрыгнул из тьмы и так быстро скатился по сходням с баржи, что я не успел его разглядеть.

— Ты прав, отец, — сказал Иона вдруг ослабевшему, сникшему Серафиму. — Всем пора спать... Марина покажет тебе твою каюту.

Приобняв Серафима за плечи, Марина помогла ему, хмурому и покорному, подняться из-за стола и вскоре скрылась с ним в гулком чреве баржи. Ударил рында. Трижды вспыхнул, сигнала, и погас прожектор на рубке. Главные люди «Деликата» молча подались с баржи на луг. Там уже вовсю хлопали дверцы автомобилей, загорались фары, помигивали габаритные огни, разогревались, пробуя голоса, моторы, потом перешли на высокий тон; свет фар заметался и поплыл по стене черных стволов близкого леса, заскользил по маслянистой и дымной поверхности реки, опалил глаза, отпустил, — и автомобили, выстроившись вдоль берега медленной колонной, вскоре покинули луг. С ревом отчалили и, жужжа, унеслись по реке лодки. Настала тишина; лишь короткое ржание лошадей на лугу смущало слух, и еще было слышно, как большая ночная рыба бьет хвостом по темной воде.

— Вот с какими людьми мне приходится иметь дело, — печально сказал мне Иона, когда мы остались с ним одни за пустым, уже и без скатерти, заскорузлым дощатым столом. — Камамбера от рокфора не могут отличить.

Я молчал, с постыдной тоской предчувствуя минуту, когда он пожелает мне спокойной ночи и отправится спать к себе в каюту, к Марине в постель, но он не спешил уходить.

— Извини, — сказал он мне, — извини, что выгащил тебя сюда, но мне хотелось поговорить с тобой о моей барже... Как она тебе?

— Баржа как баржа, — ответил я, недоумевая. — Самоходная сухогрузная речная баржа; предназначена для перевозки сыпучих грузов, ну, например, зерна — вот и все, что мне известно. Не знаю, правда, зачем тебе зерно.

— Ах, ты не понял, — нетерпеливо перебил меня Иона. — Ты еще не видел ее внутри... я там выгородил пока несколько временных тесных кают и пока мы живем здесь только летом, зимой снимаем, но уже к этой зиме тут будет настоящий теплый дом. Плавающий дом с автономной электростанцией, отоплением, всеми удобствами, всеми видами связи...

— Не проще ли построить дом, — предположил я, вежливо завидуя этой несбыточной для меня возможности. — Покрыть черепицей, поставить забор...

— Не люблю я заборы, — сказал Иона. — И не поможет забор, если вдруг что. А здесь, на барже, — простор, и можно передрейфовать, если вдруг что... Ну, а если совсем вдруг что, ее можно и бросить.

— Да что? Что вдруг что?

— Время неустойчивое, — пояснил Иона. — Зыбкое время; глупо и даже страшновато укореняться и рыть фундаменты... Я не трус; будь я трусом — так и сидел бы на полставке на молокозаводе. Но по моим данным — уже вот этой осенью на суше, то есть не везде, а на шестой части суши самое разное может произойти... На воде мне как-то надежнее.

— На воде — понимаю; но почему же, как бомж, на барже? — удивился я. — Почему не яхта? Ходовые качества, удобство, маневр, красота, и есть кому построить! Если у тебя есть деньги, то у меня есть люди!

— Время недоброе, — убежденно возразил Иона. — Сейчас даже выглаженные брюки кое-кого раздражают. Даже вымытый автомобиль расшевеливает инстинкты — кое-кто прямо по вымытому гвоздем царапает... А ты говоришь: яхта.

Я не выдержал:

— Я-то тебе зачем?

— Ты мне нужен, ты мне очень нужен, — виновато и убежденно заговорил Иона. — Когда баржа будет полностью готова, мне понадобится капитан... ты погоди, погоди, не сердись: я это на случай, если тебе вдруг надоест бродить по морям, если тебе некуда будет податься, если надумаешь вернуться в наш город... Вернулся, а тут — хорошая работа, на воздухе, на природе, нормальные, уж будь уверен, деньги, какой-никакой штурвал... да и мы с Мариной, если вдуматься, тебе не совсем чужие.

Мне стало весело, хотя и не смешно.

— Допустим, — сказал я ему, как мог, дружелюбно. — Предположим, Иона, я твой капитан... И куда же мы с тобой поплывем?

Не ответив мне сразу, Иона встал из-за стола, направился к рубке, повозился там, гремя железом и чертыхаясь, вернулся с бутылкой дагестанского коньяка, двумя стаканами и, не спрашивая моего согласия, разлил коньяк вслепую по стаканам. Мы сдвинули стаканы.

— Поплывем, — сказал он вместо тоста. — Мы с тобой еще как поплывем... Когда я совершенно озверею со всеми этими делами — оставлю дела на Скакунникова, на Ползункова Семен Семеныча, а лучше — на Марину, и поплывем мы с тобой сначала к устью. Его рукава, если ты помнишь, узкие, заросшие камышами; сквозь них, чтоб не зарыться в ил, не всякий сумеет пройти на барже. Ты, я уверен, из тех, кто сумеет... Можно постоять денек-другой в рукавах, порыбачить там, пострелять по камышам дичь; надоест стоять — полный вперед в Озеро. На простор, капитан!

— И там опять порыбачить, — подсказал я Ионе, и он обиделся:

— Зачем же? — потом примирительно плеснул коньяк в стаканы и продолжил: — Ты, конечно, можешь и рыбачить, пожалуйста, это дело твое, но лучше тебе сойти со мной на бережок в деревеньке Слезкино — это в двадцати километрах, если берегом, — дальше Пытавина... Теперь скажи мне, только честно: ты какой любишь сыр?

Я растерялся.

— Вообще-то я не любитель; я котлеты люблю... Пожалуй, швейцарский. Который пожирнее и с большими ноздрями.

— Разумеется, разумеется... можно и так сказать, — загрустил Иона, но сразу вновь воспрял: — Договорились! Швейцарский. Это даже упрощает дело... Значит, плыть нам нужно в мае или июне. Именно в мае, мой

капитан, именно в июне следует брать молоко для швейцарского сыра. Именно в мае при нашем климате, после первой травы, именно в июне, когда трава загудит от соков, в молоке слезкинских коров, да и во всей округе наблюдается наивысшее содержание капаказеина Б, мой капитан... Я это выяснил втихаря; одному тебе пока рассказываю. Я потому и прикупил втихаря в Слезкино избенку... И как только мы с тобой причалим там втихаря — немедленно займемся подпушкой. Ты человек морской, значит, суровый, мой капитан?.. Очень хорошо! Ты зарежешь мне теленка, возьмешь желудок, промоешь его, и мы замочим его потом в сильном уксусе, часа буквально на четыре. Пока он мокнет, можно и рыбачить, так уж и быть, капитан... Но уж потом — за дело. Сполоснем желудочек в сыворотке, натрем с двух сторон меленькой солью, растянем на речках — и пусть он себе сушится... Потом намочим его в сыворотке, можно и в кислой, но я предпочитаю свежую, — в тепле подержим, и очень скоро станет эта сыворотка самой простейшей подпушкой... Давай что ли, выпьем, капитан, за твой швейцарский сыр с ноздрами.

Мы выпили.

— ...Но это, капитан, еще только подпушка, это еще не сыр. Твой сыр, капитан, только начинается... Покупаем ведро парного молока от слезкинской домашней коровы и вливаем в него сливки с того ведра молока, что мы купили с тобой, допустим, загодя, еще вчера; берем чистейшую кастрюлю; вливаем; ставим на горячие угли; греем; льем подпушку и мешаем, мешаем, мешаем, обязательно деревяшечкой, пока не отделим от подпушки творожок, — ты за процессом следишь, капитан?.. Следи внимательно. Сняли мы кастрюльку, слили мы сыворотку, выжали ее остатки из творога — но осторожно, чтобы не размяк, иначе не видать тебе никаких ноздрей, — сложили мы творог в тряпочку и в деревянную формочку с дырочками на дне. Накрыли дощечкой, положили сверху камушки, помаленьку прибавляя и прибавляя камней... Держим сутки, можно и дольше — пусть себе сохнет. Вынимаем, солим, натираем меленькой солью, кладем в корзинку с редкими прутьями — и пусть себе зреет. Два раза на дно переворачиваем, ну и, разумеется, отгоняем мух... К началу августа, капитан, твой сыр будет готов. И только посмей мне тогда сказать, что ты не любитель.

Тут уж и я предложил Ионе выпить. Мы выпили, и он сказал:

— Как ты понимаешь, одна голова твоего эментяля с ноздрами выйдет самой дорогой головой в стране. Возьми стоимость теленка, молока, да и все проживание в Слезкине, пока твой сыр зреет и все твои дела стоят... Но я бы все сейчас отдал, капитан, ради одной этой сырной головы. Я бы к бесу все бросил, даже баржу, я бы отправился в Слезкино даже пешком, с тобой или, черт с тобою, даже без тебя, если ты и впрямь — не любитель... Потому что я устал, капитан.

Мы оба устали и разошлись по каютам. Остаток ночи я напрасно пытался уснуть в тесном, пропахшем ржавчиной закутке, на жесткой и узкой койке. За фанерной перегородкой спал Серафим; фанера дрожала от его храпа возле самой моей головы. Под утро, когда храп наконец-то стих, над головой начали ходить и долбить клювами палубное железо речные грубые птицы.

Утро было бодрым. Я искупался в холодной реке. Взятой из дому щеткой почистил зубы. Наметив себе большой круг, пробежался кругами по влажному лугу; потом ко мне присоединился Иона, и не было в нем, упруго бегущем, ничего от ночной усталости, даже тени не осталось в его кавказских твердых глазах от ночной мечтательной жалобы... Марина и Серафим еще не просыпались, когда Иона предложил мне разогреть коней. Я отказался: не было седел, да если бы седла и были — я никогда не сидел в

седле. Иона, выбрав вороного, забрался, босой, на его хребет и резвой рысью, держась за холку, поскакал в сторону леса. Жеребятя увязались за ним. Оставшиеся со мной кони смотрели на меня каждый одним равнодушным глазом, поворачивали ко мне морды и дышали на меня. Иона вернулся шагом. Говорил со мной о лошадях, но я слушал его вполуха, с накотившей вдруг грустью ожидая пробуждения Марины, печально предугадывая, как она появится, свежая и чужая, на облитой солнцем барже, — и вскоре она появилась: ударами рынды позвала нас завтракать. За обычной яичницей и чем-то там еще мы сидели почти молча, скучно. Простились буднично. Марина потрепала меня за загривок, коснулась губами моей щеки.

— Ты подумай, подумай о моем предложении, — скорее вежливо, нежели заинтересованно напомнил мне Иона.

Мне не надо, не надо было поддаваться ей вновь, корил я себя уже в машине, когда шофер Степан Михалыч вез меня и Серафима в город; мне уже не к лицу — по мановению не моей и предавшей меня женщины хватать зубную щетку и непонятно ради чьей и какой корысти пастись потом на чужом лугу!.. Чем помогло тебе, *холстомер*, это *ночное*, язвил я себя и клеветал на себя, лишь бы было больнее, лишь бы не впустить в себя жалость к себе, — что нового о себе узнал ты на этой дурацкой барже? Ничего нового ты не узнал, ты лишь окончательно убедился в том, о чем умело и бережно молчал сам с собою все свои одинокие годы. Ты очень скоро, может быть, станешь настоящим капитаном, но у тебя нет своего будущего. Если в каком-нибудь ином достоверном будущем, кроме предложенного тебе Ионой, ты сам за всю бессонную ночь не сумел себя убедить, значит и нету у тебя, одр, никакого иного будущего. Но и на барже тебя не дождутся, это было бы слишком. Потому что не дождутся. Потому что никому, даже женщине, разлюбить которую невозможно, баржу прощать нельзя.

— Эй, полегче! — закричал Серафим, перекрывая визг тормозов встречных автомобилей.

Мы неслись по разделительной полосе, расходясь с ними впритирку.

— Бойтесь? — удивился Степан Михалыч. — Даже странно. Я вас везу, а вы бойтесь.

Мне тоже показалось странным, что вцепившийся сзади в спинку водительского сиденья Серафим боится быстрой езды... Почему это должно быть странным, спохватился я через минуту, — я тоже лихачества не выношу, пусть и не кричу... но я и не сын Розы Расуловны: это о ней, это о ее лихости говорил со мною Иона, когда рассказывал мне перед завтраком о своих конях, а я слушал его и не слушал, думая, как всегда, о Марине. Он говорил мне о самых ранних своих годах, проведенных в доме деда и бабки, об их самом любимом общем воспоминании... Двадцатые годы, Дагестан, конные соревнования полка, в которых юная уроженка тамошних гор Роза Расуловна участвует наравне с мужчинами. Верхом она приходит к финишу четвертой, в джигитовке она всего лишь седьмая, но уж зато в состязании на тачанках ей нет равных... Почти отпустив поводья, почти весь заезд стоя во весь рост, она первой оказывается у череды сложных и крутых, обозначенных лозой поворотов, проходит каждый из них мощным галопом, не опрокинув тачанку и не задев лозы; проходит тесные ворота из украшенных кумачовой лентой жердей, не придерживав ничуть, лишь точнехонько направив коней меж жердями и, завершив скачку под грохот труб и литавр полкового оркестра, получает призовые часы из рук командира полка. «Я их еще помню; они ходили и громко тикали; дед был с ними на фронте; потом он их подарил кому-то в память о бабке», — сказал мне Иона, пояснив затем, что коней он завел тоже в память о бабке, в память о том, как он, маленький и пугливый, завидовал ее воспоминаниям.

Шофер неохотно сбросил скорость. Прежде чем вернуть меня матери, он отвез Серафима в его промзону. Выйдя из машины, Серафим погрозил шоферу согнутым в крюк дрожащим пальцем, пробурчал мне что-то вежливое и поднялся на проросшее одуванчиками и крапивой крыльцо своей городской избы.

Он проживет в ней еще множество дней, день ото дня все более тихих, потому что экскаваторный закроют через год со всем его молотобойством, а радиозавод всегда был тих, лишь ранним утром и по вечерам несильно шумел у своей проходной приливом и отливом рабочей смены, — радиозавод останется, как и был, при деле, но поредет и притихнет поток людей у его проходной. Зато появятся стальные склады, с вывесками и без вывесок, днем безмолвные, гремящие по ночам замками и засовами, зудящие моторами транспортеров и электропогрузчиков, пугающие вспышками прожекторов и автомобильных фар. Шоссе союзного значения станет шоссе федерального значения, расширится до шести полос, и по нему пойдут, бампер в бампер, автопоезда с адресами, телефонами и рекламами их иностранных отправителей на брезентовых фургонах, хлопая брезентами и, как ветер в горах, непрерывно и ровно гудя над головой.

Тихие дни и беспокойные ночи приучат Серафима подолгу спать днем и лишь к вечеру выходить из дому; дотемна просиживать в любом из пабов Варшавского бульвара или в любом бистро на набережной за кружкой темного ирландского в ненастье или немецкого светлого пива при ясном и безветренном закате. Возвращаться домой он привыкнет за полночь, с тем лишь, чтобы занавесить окна и сразу включить в сеть подаренный ему Ионой ко дню выхода на пенсию музыкальный центр, перебрать нетерпеливыми пальцами лазерные диски и пластинки и, пережив тяжкую минуту выбора, поставить Вебера или, нет, Орфа. Хор легко перекроет ночные грохоты промзоны и будет звучать до утра, пока рассвет за окном не проявит цвета орнамента на занавесках, пока не придет время принимать валокордин и забираться с головой под одеяло... Пару раз во время бессонницы он забредет в планетарий: с любопытством послушает лекцию о Нострадамусе, прочитанную заезжим академиком и магистром некоей Всепланетной академии сокровенных наук — под музыку, в полной темноте, под кружащимся над головой и уже кое-где заштопанным бархатным звездным небом, и проповедь пастора из Акапулько — тот будет со слезами уговаривать Серафима не убивать себе подобных, не обижать животных, чтить родителей и никогда не брать что плохо лежит. Пару раз он погостит у сына на барже, но каждый раз накоротке: закоренелый пешеход, он даже на середине озера будет страдать на барже от тесноты, скованности и скуки. Зато ему доведется, благодаря индивидуальному туру, подаренному Ионой и Мариной, вволю побродить по итальянским улицам и холмам.

— Какова Флоренция? А Фьезоле? А Падуя, черт возьми?.. На Севере были? До Венеции, я спрашиваю, добрались? — восторженно пытала его Марина, вместе с Ионой встречая его в московском аэропорту, ностальгически вздыхая и ожидая в ответ благодарных вздохов.

Он и вздыхал, но молчал. Марина не унималась:

— Хорошо. Теперь соберитесь и отвечайте. О чем вы думали, садясь сегодня в самолет в римском аэропорту Леонардо да Винчи? О чем вы думали, когда вам объявили посадку в Шереметьево-два?

— Я думал: они были правы, — с неохотой признался Серафим и отвернулся, молча глядя в окно такси...

Они уже плыли в дымном потоке по Ленинградскому проспекту; проспект ныл и задыхался, изнуренный своим неостановимым движением; над ним нависали слева, как отроги, кирпичные корпуса институтов, теснились

лодочки лотков, сбивались стайками машины на стоянках; чугунный Тельман в кепке грозил кулаком, толпа стекала в метро...

— Не спите; извините: кто?

— Те, что сожгли Джордано Бруно. Те, что судили Галилея.

— Эк тебя повело, — нахмурился Иона.

— Их мир был слишком мал, слишком прекрасен и слишком хрупок, хотя и груб, — пояснил Серафим. — Они чувствовали: новая истина — эти новые небеса — была бы слишком для него тяжела. Этот прекрасный и хрупкий маленький мир не мог выдержать этаким тяжести, а ведь он, этот мир, был им мил...

— Истина Бруно все равно победила, — сказал Иона.

— Вот именно, — атакуя, подхватила Марина. — И Флоренция стоит, как и стояла. Венеция стоит, как и стояла. Рим стоит!.. Прекрасный маленький мир не рухнул, в чем еще вчера вы могли убедиться сами...

— Он рухнул, — спокойно сказал Серафим. — От него остались одни скорлупки, как и прежде, очень красивые. Внутри нет ничего... Там пусто — одно лишь эхо голосов таких вот, как я, пенсионеров, бродяг и бездельников...

— Ладно тебе, пусть Флоренция — скорлупа для бездельников, пусть Венеция, Падуя, Мантуя — скорлупки для бродяг, — недовольно закивал головой Иона. — Что же тогда весь остальной мир, живущий под небом Бруно и Галилея? Что же мы все?

— Мы промзона, одна промзона, — ответил Серафим.

— Это тебе так кажется, — уверенно сказал Иона. — Это все потому, что ты у себя один; даже телевизор не смотришь. Старый давно выкинул, новым не обзавелся... Подарю-ка я тебе телевизор.

— Это лишнее, — сухо сказал Серафим, и замолчал, и до самого возвращения в наш город не прооронил ни слова.

Пусть и не вышло меж ними размолвки, но с тех пор они виделись редко. Серафим был празден и замкнут. Иона и Марина жили делом; дело стремительно набухало наконец-то народившимися в России живыми деньгами, боязливо и жадно льнувшими к живым деньгам, спешащими туда, где их больше, где им, стало быть, нетревожнее и надежнее, то есть в «Деликат», — целые дни уходили на то, чтобы их принимать, размещать и пристраивать. Редко теперь выдавался свободный денек; ржавела баржа у городской пристани; если дело и отпускало, то в архивы, где Иона, все еще не потерявший надежды когда-нибудь сварить свой сыр, разыскивал изображения и чертежи старых русских сыроварен, пытаясь найти среди них ту, которая, если ее наконец построить, воссоздавая, как оно было, каждое бревнышко, каждый наличник и каждый гвоздик, лучше других вписалась бы в городской пейзаж и убедительнее прочих могла бы сойти за прадедову сыроварню. Поиски шли медленно, тихо, отчего и стал для всех сюрпризом день торжественной закладки ее фундамента в Цыпляевом переулке: при большом стечении народа, при свечах и хоругвях, с молебном, речами, шампанским и льстивыми частушками в исполнении перепоясанных кушаками работников молокозавода. Иона сказал речь. Поблагодарил за частушки. Пообещал, пока сыроварня строится, заняться розысками утерянных рецептов старых русских сыров... «Если позволит время, — честно добавил он, прерывая аплодисменты, — если позволит время...» Посмотрел на часы, выпил шампанского и улетел в Москву на открытие столичного филиала банка «Деликат».

Покуда строилась по старым чертежам, венчая дело «Деликата», сыроварня, само дело пошло трещинами. Отпал Семен Семеныч Ползунков, отломив его кусок и сказав: «Я уважаю Иону Серафимовича, но не люблю сыр. Мое дело деньги — и не потому, что я жаден, а потому, что в них мое призвание». Потом отпал Скаунников-второй, вдруг нервно заявив о своем *прин-*

ципально не согласии с Ионой и Мариной. В чем вышло несогласие, он так и не сказал, лишь повторял: «Я снимаю с себя ответственность! Пусть знают все: я полностью снимаю с себя ответственность!» Необъяснимая нервность Скакуникова передалась властям; они наслали аудит; тот привел прокуратуру; под суд попал сотрудник Сенюшкин, благотворительностью «Деликата» благотворивший втайне от Ионы АО «Медбрат» — тверскую фирму собственного брата. Пока шел суд, весь город жил на нерве и ждал, притянут ли Иону, но тот остался, кем и был. Нерв унялся, но успел причинить ущерб: опасливые деньги, выжидая, не лгнули к «Деликату» все месяцы суда над Сенюшкиным. После приговора дело задышало, но не было его дыхание, как прежде, легким; из разговоров в пабах и бистро Серафим знал: уже случаются и приступы удушья. Из тех же разговоров было ясно, что трудно дышит не один «Деликат»; у «Деликата» не в пример другим есть преимущество — имя В. В., которое Иона и Марина ничем в глазах людей не посрамили. Серафима раздражали эти чужие разговоры. В них была осведомленность, которой сам он был начисто лишен, в них был живой интерес, ему самому не свойственный, — и потому в них слышался упрек ему, отцу, беспечно попивающему пиво на деньги собственного сына. Однажды, осердясь на себя, он задумался о своем безразличии к делам Ионы. Поспешность, с которой он оборвал мысль, не додумав ее, привела его к открытию: при любой попытке вообразить и понять жизнь своего сына у него назревает тревожное и опасное состояние, сродни тому, что пережил он в неосторожной юности, попытавшись представить размеры и вобрать в себя образ Галактики. Совесть успокоилась; жизнь продолжалась; она шла легкими шагами, не озираясь больше, не оглядываясь, не глядя под ноги и не заглядывая вперед, лишь тихо радуясь любому из своих одинаковых, размеренных шагов, — и вдруг споткнулась на неясной злобной фразочке, услышанной Серафимом на аллее аттракционов Нахимовского сквера.

Две немолодые мамы или, скорее, няни болтали на лавочке под фонарем, покачивая перед собой коляски в такт усыпительному скрипу размашистых платных качелей. При виде Серафима они прекратили свою болтовню, проводили его, не моргая, отчужденными неласковыми взглядами, какими привыкли провожать пьяных, и, когда он, все еще чувствуя спиной эти взгляды, прошел мимо, — услышал за спиной внятный голос одной из них:

— *Обули в лапти, как никогда.*

Серафим ощутил, что зябнет в жарком вечернем сквере; потянуло домой, и он поспешил в промзону... Там его ждали. Люди в штатском и в милицейской форме, автоматчики в масках, все как один одетые в полевую форму цвета *поноса на болоте*, как называл этот не в меру модный цвет Серафим, — они слонялись вокруг дома, заглядывали в окна, покуривали, сидя на газетках на крыльце. Встретили его вежливо, но строго. Пройдя в дом, полюбопытствовали, известно ли ему местонахождение его сына и невестки... Ах, неизвестно? А сообщал ли ему, к примеру, сын Иона свои планы на ближайшее будущее?.. Ах, никогда не сообщает? Оставлял ли ему Иона при встрече документы, деньги, вещи или, может, что-нибудь еще?.. Ах, давно не встречались? не оставял?

И Серафиму был предъявлен ордер на обыск.

— Понятые! — позвал предъявитель ордера. — Где вы там, понятые? Время не терпит.

Вошла понятая Семенихина — вахтерша радиозавода; прислонилась к стенке у двери и, не глядя на Серафима, принялась мелко креститься. Вторым понятым был Панюков.

— Не сердись, — сказал он Серафиму, — это не я тебя под выемку подвел — это твой сын, Иона Серафимович.

Погромный обыск ничего не дал, и всероссийский розыск не помог. Иона

и Марина канули, и слухов на сей счет было предостаточно. Серафим стал покупать «Курьер» — там под видом тайной информации или рядясь под журналистское расследование, громоздились эти слухи. Вслед за читателями «Курьера» Серафим и сам занялся гаданьем об Ионе: украл и смылся? не смог расплатиться с кредиторами и исчез? повздорил с компаньонами и вот теперь спасается от мести? убит? — в убийство Серафим не мог поверить. Гаданье выедало душу. Не в силах прекратить гадать, Серафим боялся узнать правду. Не решался читать «Курьер» на улице, и, прежде чем дома раскрыть его свежий номер, принимал валокордин... Ничего достоверного «Курьер» долго не предлагал. Достоверными оставались толпы вкладчиков, наших и иногородних, которые днем и ночью напрасно жгли костры у входа в контору «Деликата». Достоверными были замок и пломба облюрокуратуры на ее дверях. Достоверным был парный портрет Ионы и Марины в криминальной рубрике каждого номера «Курьера», подписанный «Разыскиваются».

Однажды криминальная рубрика выдала за достоверное сообщение о трупе Ионы, найденном в дровяном сарае на задворках Вокзальной улицы. Серафим едва успел справиться с приступом удушья, как в дверь ему постучали и, не извиняясь, пригласили на опознание. Лицо покойника настолько изуродовано, бесстрастно пояснили ему в машине, что опознать его можно лишь по приметам, известным только самым близким людям. Должно быть, оттого, что его не успокаивали, Серафим казался себе спокойным. Всю дорогу он пытался припомнить какие-нибудь особенные приметы и не мог вспомнить ни одной. Мысль всякий раз обращалась к лицу Ионы, цепко вглядывалась в него, отмечая южный загиб тесных ресниц, твердость и темь глаз, смуглость скул, и, спохватившись, в ужасе отшатывалась от этого *изуродованного* лица, от этих, уже несуществующих глаз, скул и ресниц... Укачиваясь в милицейской машине, Серафим ощутил себя пойманным с поличным: я не знаю, Иона, твоих сокровенных примет, я не В. В. и не Роза Расуловна, чтобы знать наизусть твои родинки или шрамы, я не купал тебя в корыте, когда ты был маленьким, мы с тобой слишком редко виделись все эти годы, и что я скажу всем этим людям, и кто скажет уверенно мне самому, жив ли ты еще, тебя ли я вижу мертвым на столе — после того, как я не сумею тебя опознать!.. В морге он не шел — плыл, не чуя ног, в синем свете ламп и в парах формалина мимо столов, клеенок, мимо восковых ступней с бирками на пальцах; его направляли легкими прикосновениями к локтю, легкими и негрубыми подталкиваниями в спину; поставили у стола, встали кругом и, наконец, сняли с трупа клеенку. Сказали: «Теперь смотрите». Серафим смотрел, стараясь не смотреть в лицо: лица действительно нету вовсе; раздавленная грудь покрыта седоватой рыжей щетиной; под левым соском выколот в профиль голубок, под правым — женская головка: на венеринном бугре скрюченного, мотыгообразного запястья синяя змейка обвила кинжал...

— Это не он! — удивленно выкрикнул Серафим. — Совсем не он!.. Весь в наколках — это не он; я не пойму, как вам такое могло прийти в голову? За кого вы его тут все принимаете?.. — победно и злобно смеясь, Серафим оглядел собравшихся вокруг стола: двое в милицейской форме, один в штатском костюме, двое в белых нечистых халатах — они, казалось, не были удивлены, даже не переглянулись меж собой, и Серафим задохнулся: — Вы!.. Вы знали и без меня, что это — не он!.. Знали, а меня сюда привели... Зачем привели? Зачем вам это было нужно, сволочи?..

— Попрошу вас успокоиться. И возьмите себя в руки, — с мягким нажимом перебил его человек в штатском костюме. — У нас были сомнения... Теперь сомнений нет: это не он.

...Какой ужас, бормотал, сиротливо оглядываясь, всю дорогу из морга домой Серафим, преследуемый запахом формалина и, как казалось ему, тор-

жествующими взглядами прохожих; какой ужас, повторял он, глядя себе под ноги и все равно спотыкаясь, все равно попадая ботинками в лужи с расквашенной осенней листвой; какой ужас, твердил он без страха, с одной лишь печалью с тех пор каждый день — раскрывая «Курьер» или глядя на то, как шелестят, подобно пустому хитину умерших насекомых, рекламы и вывески «Деликата» на первом, без снега, морозном зимнем ветру... В его доме стал часто звонить телефон, молчавший доселе по целым неделям. «Нельзя ли позвать *Ионушку?*», «Позовите *Иончика*», «Можно *Иошу?*» — щебетал, чирикал и пел то один, то другой, одинаково беспечный и праздничный женский голосок. «Попрошу Иону Серафимыча», «Иона у вас?», «Передайте Ионе, чтоб позвонил... ну, он сам знает кому», — одинаково угрюмо и деловито бубнили в трубку самые разные мужские голоса... Выходя из дому или глядя в окно, Серафим все чаще видел машину, празднично стоящую невдалеке, с одинаковыми бритыми людьми в салоне, — они всегда курили, пуская дым поверх опущенных стекол, всегда бесстрастно глядели на него своими маленькими сонными глазами поверх черных очков... Не выдержав, он позвонил в милицию, потребовал убрать этих людей и услышал в ответ сочувственные вздохи:

— Это не наши люди вас пасут; это серьезные люди... Если уже и они взялись за Иону Серафимовича, то найдут его хоть в Африке, хоть на Марсе. Ему теперь осталось одно — явиться к нам, и мы уберем... Так и передайте ему при случае.

Когда Серафим выходил из дому, машина с серьезными людьми не покидала своего поста и не пыталась проследить его маршрут, из чего он заключил: кто-то другой непременно идет за ним по всем маршрутам; он даже слышал иногда мягкий и упругий звук его шагов, не похожих на неряшливые шаги обыкновенных прохожих, — резко оборачивался, страхась и надеясь встретиться с ним лицом к лицу, или хитрил, завязывая шнурки и глядя назад из-под руки; ни разу не видел преследователя, но не успокаивался, напротив — убеждал себя в опытности и неумолимости этого, обычным глазом не уловимого человека. В его уверенном воображении этот человек был совсем таким же, каким предстал впервые много лет назад, возле диспансера на Салтыкова-Щедрина, — в той же шляпе, в том же туго перетянута черном плаще, с тем же страшноватым даром исчезать за спиной неизвестно куда, неизвестно в какую калитку.

В мае, в полдень, в затишье, наступившем после праздничной декады, когда улицы города почти обезлюдели и базарная площадь была пуста, Серафим наконец увидел его. Серафим шел с базара, зажав в руке два пучка редиски. Человек в черном плаще отделился от столба автобусной остановки и пошел за ним, не таясь от него, но и не поднимая глаз, прикрыв лицо полями шляпы и соблюдая дистанцию в двадцать с небольшим шагов. Серафим повеселел. Проверил, нет ли ошибки: свернул на Пятницкий, оттуда на Помяловского, затем без видимой цели направился в противоположную сторону, к реке, — человек шел и шел за ним, держа дистанцию в те же двадцать с чем-то шагов, шел спокойно, и лишь когда Серафим пошел берегом к центральной набережной, где сидели на лавочках, подремывая на весеннем пригреве кое-какие люди, он замешкался, даже головой покачал... Боишься, нервно хмыкнул про себя Серафим, не любишь выходить из тени, но и не отстаешь; видать, не велели тебе выпускать меня из виду. Что ж, погуляем. Поглядим, надолго ли таких, как ты, хватает. Не знаю, предупредили тебя или нет, но я, братец ты мой, пешеход со стажем.

И Серафим перешел на походный шаг.

Он таскал черный плащ за собой кругами, расширяя круги и уводя его к окраинам: вел аллеями Нахимовского сквера, где осиротевшие лошади Ионы зарабатывали себе на овес катаньем детей и гуляк и в этот день на-

прасно поджидали седоков, вел дворами, мимо поленниц, помоек и трансформаторных будок, вел шпалерами сиреней, акаций и смородин и лабиринтами развешенного белья, вел огородами, садами, шанхаями сараев и гаражей, вел переулками, вел зияющими коридорами и комнатами сквозь полуразрушенные, подлежащие сносу дома, вел замусоренными зарослями молодой крапивы на задворках вокзальных пакгаузов, — к вечеру вывел за город, на ветреный простор полей, и здесь, в пустых полях, испугался, перестал оглядываться на черный плащ, вжал голову в плечи и, как мог, ускорил шаги. Человек за спиной тоже ускорил шаги, и звук его шагов стал спотыкающимся, дробным, как при суетливой побеге; Серафим с трудом заставил себя не побежать; чужое дыхание за его спиной участилось; человек шел уже рядом, стараясь идти с Серафимом в ногу, он тяжело дышал возле самого уха, а Серафим все не решался на него поглядеть.

— Ох, и умотал ты меня со своей редиской, — голосом Ионы сказал человек.

— Откуда у тебя этот плащ?

Иона удивился:

— Он у меня давно. Просто ты не замечал.

— Редко видимся, — сказал Серафим.

Они сидели на краю поля, возле тропы, на которой сошлись, там, где тропа огибает выступ елового леса, в теплой тени елей, заметно удлинившейся, пока шел разговор и клонился к закату вечер, — сидели и пили виски из фляжки, извлеченной Ионой из кармана черного плаща, передавая фляжку друг другу и заедая редиской каждый второй глоток.

— Куда же теперь? — спрашивал Серафим. — Или мне этого лучше не знать?

— В Польшу, к Марине; она говорит: у нее там родственники, — отвечал ему Иона. — Далее — везде, но тебе этого лучше не знать.

— Неужели нельзя вернуть долги? — без особой надежды спрашивал Серафим. — Пусть не сразу, пусть понемногу...

— У меня ничего нет, и все это знают, — отвечал Иона. — Все эти Ползунковы, Скакунниковы, Боркины, все эти Панюковы, которых я пригрел и выкормил, их кореша, компаньоны, родственники, — все они бросили «Деликат», разбрелись по своим «деликатикам», при этом каждый, как сумел, уволок свой ломоть и все, что к ломтю прилипло. Мне остались крохи... А еще за мной осталось название фирмы и ее долговые обязательства.

— Я должен этому верить? — спрашивал Серафим.

— Ты должен так думать, — отвечал ему Иона.

Фляжка опустела, воздух стал густым и синим; переменился ветер, и ели дохнули холодом в спину.

— Мне седьмой десяток, — сокрушенно сказал Серафим. — И все, что мне осталось теперь, — это каждый божий день слушать звуки охоты на собственного сына: взяли след или не взяли? обложили? убили? стреножили?.. Они не успокоятся, пока тебя не достанут, Иона, ты уж мне поверь. Потому что дело уже не в деньгах; дело всегда не в деньгах... Дело в справедливости, как они ее понимают, а справедливость — занятие азартное... Теперь их приз — не дивиденды. Их приз — ты.

— Их приз — кровушка, — согласился Иона. — Я к тебе не в претензии, отец, но лучше бы ты опознал меня в том неизвестном жмурике. Всем бы сразу полегчало. Все бы успокоились и разошлись по домам — усталые, но довольные... Ты не расстраивайся, не нервничай и поверь: я не какой-нибудь заяц. Меня им не взять. Я постараюсь.

— Да, ты уж постарайся, — вздыхал Серафим, вставая. — Мы больше не увидимся, как я понимаю?

Иона не ответил.

Скоро стемнело; они молча шли в город по полям, освещенным луною, под редкими, но яркими звездами, на которые Иона, скучая, то и дело поглядывал да посвистывал, а Серафим не взглянул ни разу; в устье проспекта Блюхера они, не сговариваясь, остановились и, не глядя друг на друга, пожали друг другу руки. Иона надвинул поля шляпы на глаза, поднял воротник плаща и, сгорбившись, нырнул в темный переулочек. Около получаса Серафим брел пешком под бледными, по-осиному звенящими фонарями проспекта, потом, не в силах совладать с усталостью, поймал попутную машину и за двадцать тысяч рублей, всю дорогу не вслух проклиная жадность водителя, добрался за полночь до дому.

Вечером того самого июльского дня, когда сгорела без причин недостроенная сыроварня в Цыпляевом переулочке, Серафим, со всем городом наблюдавший пожар, вернулся домой весь в копоти, запер дверь, сдвинул занавески на окнах, затем аккуратно разрезал на буковки свежий номер «Курьера». Из буквочек он составил и старательно выклеил на бумаге письмо, придуманное им и продуманное еще на пожаре: «СЫРОДЕЛ ПРИБУДЕТ ПО СВОИМ НАДОБНОСТЯМ В ИЗВЕСТНОЕ ВАМ МЕСТО У ВОДЫ В ПЕРВУЮ ПЯТНИЦУ АВГУСТА НА РАССВЕТЕ ОН ХОРОШО ВООРУЖЕН И ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖЕН».

На следующий день мальчишка-беспризорник передал это письмо серьезным людям, не снимающим своего поста возле дома Серафима, — сунул конверт в боковое окно машины и бросился бежать.

Три недели Серафим не выходил из дому. Запершись на все щеколды и шпингалеты и не зная сна, он торопливо записывал все, что помнил о себе, — о своем детстве, о любви к естественным законам, числам и светилам, о смерти, о голоде, об ужасе познания, о любви к жене, о горе, о рождении сына и о том, как он пытался дать сыну имя... Записи громоздились одна на другую без всякой связи, вдруг прерывались длинными рядами неразборчивых цифр, знаков и символов, «... ну, и так далее» — прерывал Серафим и эти ряды, — «... и так далее, и так далее, и так далее», «...дальше все, кажется, ясно», вслед за прерванными вычислениями тотчас пускался в рассуждения о том, как сложилось бы все на этом свете, если бы он сумел дать сыну завещанное ему имя. «Впрочем, это все из области суеверий», — прерывал он рассуждение и вновь возвращался к детству, к памяти об учителе Пигареве, с которым любил бродить среди кедров по школьной территории, слушая его немислимые в ту пору размышления о нематериальности математики, об ее внеземном, внечеловеческом происхождении, об ее несомненном родстве с музыкой, стало быть, тоже зазвучавшей не на земле и не в человеке, — учитель Пигарев с его раздвоенной бородой и круговыми морщинами вокруг прищуренных бесцветных глаз казался старцем, а ведь было ему тогда ничуть не больше тридцати лет...

Потом Серафима видели на оптовом рынке: в пищевых рядах он скупал консервы, по мелочи торгуясь и придираясь к сроку годности на этикетках, в вещевых рядах он долго выбирал себе плащ у челноков — купил турецкий, черный, чуть великоватый в рукавах, зато самый дешевый.

Поздним вечером последней среды перед первой пятницей августа он запер дом снаружи и, поправив на спине тяжелый рюкзак, двинулся сквозь промзону, затем по Пролетарскому проспекту и по такой же, как проспект, барачной Стахановской улице к городскому автовокзалу. Консервы в рюкзаке, выпирая, давили на ребра. Старый трофейный бинокль В. В. оттягивал шею. Надвинутая на глаза фетровая шляпа В. В. была мала и сжимала голову. Сапоги Серафима тяжело били подметками по мостовой пустынной и темной Стахановской, и Серафим слышал, как за его спиной захлопываются форточки первых этажей. Он успел на последний автобус, через

полтора часа сошел на пытавинской автостанции и, не мешкая, зашагал грунтовой дорогой вдоль берега Озера, рассчитывая прийти в Слезкино незамеченным, еще до рассвета. Дорога в этот час была безлюдной. В самом начале пути ему повстречались две женщины с корзинами, бредущие пешком в Пытавино: увидев его, шагающего навстречу, они боязливо взвизгнули и бросились в прибрежный лесок. Больше ему не встретился никто.

Добравшись до Слезкино затемно, Серафим даже не стал заходить в избу у воды, когда-то купленную Ионой и разоренную вскоре после его исчезновения. Неподалеку от Ионовой лавины он нашел в камышах, где и думал найти, притопленную лодку с обломком весла. Долго вычерпывал воду пустой банкой из-под сардин, стараясь не слишком шуметь, но и поторапливаясь, чтобы не быть застигнутым рассветом. Потом оттолкнул лодку от берега и бесшумно поплыл к барже.

Перед исчезновением Ионы баржа стояла на якоре у самого берега. Ее разорили, обыскивая, разгромили, сорвали с якоря, посадили на мель в двухстах метрах от берега и бросили там до неведомой поры. Серафим тихо подплыл к ней с противоположного от берега борта, достал из рюкзака топорик, поднатужась, взвалил рюкзак на баржу и, прежде чем забраться на борт самому, проломил топориком днище лодки. Затем забрался в нутро баржи, разгреб мусор, сгреб в кучу ветошь, упал на нее и заснул, как убитый.

Варенец пропал; его не было день, ночь и все нынешнее утро; лишь к полудню, когда впервые в этом декабре закружился над Гамбургом и стал падать в оловянную воду Эльбы крупный и мокрый снег, стармех явился на корабль. Был он дымно пьян вчерашним пьянством, украшен синяком над бровью и лишен всех пуговиц на рубашке. Ввалился ко мне в каюту, заметался и завопил:

— Сволочи! Ненавидят нас — и позволяют! Ненавидят и позволяют! Забыли, вот и позволяют!.. Давно их не мудохали, вот они и позволяют!

Шибал дрожжевой перегар; мне хотелось открыть иллюминатор и выставить Варенца за дверь, но я даже не перебивал его, пытаюсь уразуметь, что же с ним произошло, не навлек ли он на нас неприятности, не запрет ли нас на корабле, как в тюрьме, гамбургская полиция. В грязной и быстрой стае воплей и слов Варенца мне не сразу удалось отловить слова и вопли, из которых можно было восстановить кое-как его вчерашний день. Удачно продав румынам микроволновую печь, Варенец весь день пил пиво, к вечеру его повело и привело на Рипербан; в подвальчике «Парадиз» он едва не уснул, сидя с пивом у стойки; к нему подседа *Нелли* («Она такая же Нелли, как я адмирал Нельсон»); пришлось угостить ее *моэтом* («... и хер ли мне знать, почем моэт на Рипербане!»); пошли в комнату; там был диван и свет, как в рентгеновском кабинете...

— ...Только я предложил ей на обозрение все мое хозяйство — входит нагло бугай, который подавал мне моэт, и кладет мне счет — прямо на мое хозяйство! Шестьсот марок, капитан, ты не поверишь, и я не поверил! Триста за моэт, триста — все остальное!.. Не мельтеши, я по-русски ему говорю, мы еще поглядим, стоит ли все остальное триста марок. Да и моэту твоя Нелли пригубила пока на три марки, я его — чуть глотнул... А за наглость твою, говорю, что тыходишь без стука, когда я без штанов, с тебя еще самого, говорю, причитается за моральный ущерб... Пшел вон, я ему говорю, сделаем дело, тогда и сочтемся!.. Он, гад, хватает мои штаны, вываливает оттуда кошелек, а в кошелек — там сотня всего, одной бумажкой!.. Тут и началось. Тут я им и показал!.. Я бы им, конечно, показал, я такой человек, да тесно было, не развернуться — к тому же другие бугаи набежали...

— Ночевал — в полиции? — перебил я его.

— Они и без полиции со мной разобрались, — успокоил меня Варенец,

глотаю мой «Ашбах», — отметили так, что я еле доковылял до Сан-Паули, там и отлеживался всю ночь в парке, чуть почки не отморозил... Будь я японец или даже индус, они бы так не посмели... С русским — позволили! всласть позволили!

— Они точно не заявляли в полицию? — пытался я его перебить. — В кошельке у тебя были документы? Они в документы смотрели?

— Суворов их мудохал? — кричал мне в ответ Варенец. — Александр Невский на льду их мудохал?..

— Шел бы ты спать, Варенец, — прикрикнул я на него, — и благодари Бога, что ты не на нарах!

— Маршал Жуков их в кочевое состояние вернул? Вернул, тебе и крыть нечем, а ты их защищаешь! Они меня бьют, а ты их защищаешь! Потому что нету в тебе совести! Такие, как ты, и профукали нашу совесть! Деньги профукали! Страну профукали! Гены профукали! Детей своих профукали! Проворовали, просрали, пропили, проболтали!.. Но ничего, мы еще вернемся домой. Приберем там, почистим, помоем, все немые морды ототрем с мылом!.. Всех протрезвим без опохмелки, а кто не хочет или не понимает, тех — как котят! как котят! как котят, салажонок, хоть ты мне и капитан!.. И до тебя доберемся: что ты тут пишешь и пишешь целыми днями из-под полы? Мы всюду доберемся, каждый уголок выскребем, и как только станет у нас так чисто, светло, так просторно, что Невскому или Суворову будет с нами не запахло, то есть не стыдно, — вот тогда мы и припомним шестсот марок за блядь и моэт с русского человека!..

Одним махом допив что оставалось в бутылке, Варенец рухнул на мою койку лицом вниз и сразу захрапел в подушку, свесив до полу тяжелую руку с набрякшими синими венами. Мне бы плюнуть, но он меня разозлил. Видал я таких, Варенец, говорил я ему, которые и трезвые грозят и клянутся тем же, чем ты грозишь и клянешься пьяным. Знаю я эту вашу заботу, эти ваши крики о любви к своей стране, эту вашу злобу на нее за то, что она все никак не соберется всплыть веселеньким, как цветной фонтан, градом Китежем и ничуть не желает быть д о с т о й н о й вашей любви... Я гляжу на тебя, Варенец, побитого и жалкого, продавившего своим грузным и даже за сто марок никому не нужным телом корабельную койку, и вижу, как ты или пусть не ты, но кто-то, сильно похожий на тебя, промышляет публичными завываниями о том, что его мать — Жанна д'Арк и святая Тереза с прекрасным лицом и в стигматах, а все прочие матери — обычные тетки, если не бляди; его мать — Семирамида, Екатерина Великая, Суламифь и царица Савская, перед которой все прочие матери — швей-мотористки или женский батальон. Он славословит свою мать на всех перекрестках, с утра и до вечера, грозит несогласным и непонятливым, намекает на то, что она еще и богомать, а вечером приходит, измученный, домой и видит там перед собой свою живую мать, единственную, такую, как она есть: с ее забывчивостью и капризами, с ее морщинами, с ее вставными зубами, с ее неприличной тельняшкой, с ее привычкой крошить хлеб в руках и разговаривать, не прожевав, с ее сирым пучком на затылке и сломанной дужкой очков, — и говорит ей, еле сдерживаясь и сдержанностью своей гордясь: «Я ради тебя весь день на себе рубаху рву, а что-то ты, гляжу, не Жанна д'Арк у меня, что-то ты не святая Тереза, не Семирамида и не царица Савская... Ты подумай о совести и, гляди у меня, *соответствуй*, а не то, ты гляди у меня, я у тебя волосенки твои седые повыдергаю!»... Спи, стармех Варенец, храпи в моей каюте, спи, храпывай мой воздух, выхрапывай свой перегар, — не давали тебе без денег в Калининграде, и ты одалживал их у меня, били тебя на севастопольской танцплощадке по просьбе севастопольских девиц, не давали тебе в Мурманске, Марселе, Риге и Гданьске, не дадут тебе и на Рипербане.

Я вышел из каюты и поднялся на палубу. Снег перестал; было безвет-

ренно, солнечно, влажно. Я вдыхал холодный воздух Эльбы и глядел на корабли... Портовый экскурсионный катер с туристами резво вырулил из-за кормы голландца и, стрекоча, поплыл ко мне. Встал у борта, качаясь на слабой волне. Экскурсовод что-то объяснял туристам, показывая на меня снизу пальцем. Туристы слушали его, кивали головами, глядели на меня и смеялись.

В жизни не был я так свободен.

Стук лодки о баржу отозвался во сне мгновенным страхом пробуждения, и Серафим оттягивал пробуждение, пытаясь удержать и продлить рассыпающиеся в пыль образы сна; детские голоса и топот босых ног по железу над головой вынудили его окончательно проснуться. Деревенские мальчишки и дети дачников приплыли на баржу позагорать, поболтать, понырять в воду с ее кормы. Боясь себя обнаружить, Серафим без малого два часа пролежал без движения на куче тряпья. Пришло время обеда, и они наконец уплыли. Серафим достал консервы, вскрыл и долго ел говяжьё тушенку. Запил ее чаем из термоса, затем поднялся наверх... До вечера он лежал на противоположной от берега палубе, дуря от сильного солнца и ни о чем не думая. Когда солнце, покраснев, стало потихоньку спускаться к воде и вода разгладилась, когда воздух замер и зазвенел каждым отдельным, даже самым негромким звуком, будь то удар чайки о поверхность воды, колодезный скрип, стук топора, звон ведра в деревне, комариный писк самолета в далекой дали или близкий гул комариной стаи, Серафим взял бинокль и, улегшись на животе возле разбитой рубки, направил окуляры на берег. Закат бушевал в окнах домов. Корова шла по берегу, брякая боталом и волоча за собой на длинной веревке колышек. Дым слоился над крышей бани. Женщина полоскала простыни на крайней лавине, потом на лавину вышел мужик с папиросой... Воздух густел; звуки деревни улеглись понемногу; погасло солнце в окнах домов, и окна разом заглоубели светом телевизионных экранов, потом послышался вкрадчивый шум машины. Машина мелькнула белым боком на въезде в Слезкино и тут же скрылась в прибрежном кустарнике. Двое в болотных сапогах и рыбацких брезентах вышли из кустарника, зашагали, не таясь, по деревне, приостановились возле Ионовой избы и как бы ненадолго заглянули в разбитое окно. Затем один, подтянувшись, пролез в окно. Второй дважды обошел избу, огляделся по сторонам и, крикнув, тоже протиснулся сквозь тесную раму... Не прошло и получаса, как из прибрежного кустарника вышли еще двое в штормовках, с рыболовной снастью в руках, устроились на Ионовой лавине и забросили удочки. В кустарнике затеплилось пламя костра. Сколько же вас, подумал Серафим и тотчас увидел другой автомобиль: мятый «жигуленок» кирпичного цвета медленно проехал слезкинскую улицу из конца в конец, затем спустился к берегу и встал у воды. Из него вышли трое в охотничьих куртках с зачехленными ружьями в руках, огляделись по сторонам, в деревню не пошли — скрылись в зарослях у дороги... Стемнело. Окна в избах продолжали голубеть, вода и берег слились с тьмою. Люди на Ионовой лавине стали незримыми, но осязимо присутствующими тенями, неотвязной, лишаящей сна и постепенно заслонившей весь мир навязчивой мыслью, они тревожили душу, блуждали перед глазами даже в брюхе баржи — лишь перед самым рассветом Серафим сумел стряхнуть их с закрытых век и наконец уснуть.

Спал недолго; проснувшись, был бодр, возбужден и странно весел. Ел консервы, пил холодный чай. Затем достал из рюкзака, расправил и надел черный плащ. Туго перетянул его поясом, подвернул длинноватые рукава. Помял в руках и надел фетровую шляпу отца, надвинув ее поля на лицо. Подумал: это смешно, и хорошо еще, что на всей барже не осталось зеркала. Поднялся на палубу, вдохнул, сколько смог, озерный утренний воздух и

встал во весь рост на виду просыпающейся деревни. Женщина с ведрами вышла к воде, зачерпнула, понесла воду в избу, так его и не увидев. Пастух в солдатской панаме погнал разномастных и тугобоких коров из деревни, не поднимая бича и покрикивая на них, потом скрылся за кустами вместе с коровами. Серафим сунул руки в карманы и принялся ходить по палубе, гремя сапогами. Двое в штормовках показались из-за Ионовой избы. Спустились к берегу, умылись и наконец увидели его. Опасливо пригнувшись, побежали трусцой к кустарнику. Серафим прислонился спиной к прохладной и влажной от росы рубке. С веселым любопытством наблюдал, как из кустарника выбежал человек в брезенте и, пригнувшись, не глядя в сторону баржи, пересек всю деревню и скрылся в зарослях у дороги. В огородах деревни замелькали женские ситцы. Автомобильный двигатель завелся, взревел на холостых оборотах, но не смог заглушить суетливый и жесткий звук затвора. *Все это взаправду*, успел удивиться Серафим. Удар по ноге усадил его на палубу; вторая пуля выбила искру и окалину на палубном железе; над баржой прокатилось раздельное эхо двух одиночных выстрелов; завизжали женщины на берегу. *Зачем так больно визжать*, молил, страдая, Серафим; визг помешал ему расслышать избавительный звук затворов; боль поднялась к горлу, уже не давала дышать — и залп снял боль.

Медь ее стриженного затылка вспыхнула в лучах бенеттоновой витрины, я закричал: «Марина!», и я не знаю, мой ли крик испугал ее, заставил шагать, не оборачиваясь и ловко лавируя в неторопливой и степенной, обремененной рождественскими покупками толпе, или она не услышала меня — просто спешила. Я бросился следом, задел кого-то и был обруган, на Адольфплац упустил ее, затем увидел, как она чуть ли не бегом пересекает Ратушную площадь; на улице Ратуши, на подходе к Домштрассе, я ее потерял... Пометался по переулкам, побегал туда-сюда, на перекрестке вблизи Георгплац, под елкой, рядом с вертепом и каруселью, купил себе на три марки глювайну. Согревая ладони глиняным стаканом, вдыхая коричный пар горячего вина, я наконец успокоился — и теперь вообще не уверен, что это была она. Заполненный взрослыми и детьми перекресток пахнет жареными каштанами, вином и орехами. Елка и карусель перемигиваются огнями. Маленький детский хор поет под елкой, повинуюсь строгой и плавной руке тощей дамы в круглых очках:

...und seht, was in dieser hochheiligen Nacht
Der Vater im Himmel für Freude uns macht.
O seht in der Krippe im nachtlischen Stall...

Дети зовут детей поглядеть на небесное дитя, они поют на сыром балтийском морозе, не жалея ломких своих голосов; их горла совсем открыты; эта дамочка в очках не проследила, чтобы они повязали шеи шарфами; мне холодно на это смотреть, но я не могу подойти, отдать им свой шарф, напоить горячим вином, взять за руки и увести в тепло. Не твои это дети, да и где оно, твое тепло... Вино остывает в руках; пора в порт, на корабль. Пора закрывать эту книгу, в которой нету никакого вымысла, почти все домысел и всё — правда. Пора и домой, но домой пока нет дороги. Когда еще попаду я туда, где до сих пор взрывают лед по весне у опор железнодорожного моста и бьют крыльями разнообразными птицами над заповедным островом Качай.

Михаил Айзенберг
Переговорный строй

* * *

Теперь он вырос и увяз в делах.
Но мне начальный помнится размах —
он убежал, а мы его ловили.
Какие выкрики на женской половине!
Помилуй бог, какие танцы на столах.

Какие танцы? Воздух дрожжевой
уже смердел, но тесто не всходило.
Мусолил книжку, ссорился с женой
и за столом как в общей душевой
сидел, узнав, что жить необходимо.

Но прежде чем прикинуться сырой
неаккуратно сложенной горой —
горой вещей, оставленных на завтра, —
он увлекал переговорный строй
вперёд, вперёд — для пушного азарта.

Я не пойму, зачем он столько лет
себе не верил. В наш неяркий свет
всегда являлся с молнией и громом.
Как будто нам другой свободы нет,
чем разлететься облаком багровым

* * *

Два года в квартире живучие тени
на что-то пеняли.
Не всё поделили, остались при деле,
не всё разменяли.
Вздыхали, дышали, работать мешали,
смотрели в затылок
и что-то сдвигали, стучали ковшами,
роняли обмылок.
Никто не поверит, но слышались даже
при свежей побелке
забытые вальсы, победные марши
из чёрной тарелки.
И запах, как будто полвека хранили
чердачное сено,

а возле нательная рвань в нафталине
полвека висела.
Когда-то, наверно, квартирой владела
нечистая сила.
Гулять не ходила, на кухне сидела
и тесто месила.
А после большая семья самоеда
взяла эстафету
и дружка за другом, сживая со света,
ходила по следу.
И где мне доплата, что полных два года
дышал богадельней
да слушал кого-то у чёрного хода
квартиры отдельной.

* * *

Какой-то сад, потом какой-то свод,
пустыни невещественные блики,
а дальше всё пробел, прогал, пролёт...

И только ужас, ужас луноликий
как паутины втягиваю клок
на первом вдохе задохнувшись утром

И я ищу очешник, кошелёк,
испорченный бинокль с перламутром.
Вещицы потемневшие, ничьи
перебираю полыми руками

И колют веки чёрные лучи
И чёрный флаг висит за облаками

6 января 1996

Американский лес.
Сороковой день.
Из воронёной стали сделанная луна.
Ком ледяного света. Мёртвая тишина.

Воздух смыкает ставни с подлинным
«никогда».
Что из руки упало, больше не откопать.
Верю: такого снега не было сотню лет.

На Щельково

1

Уводит поворот реки
в придонный воздух, дно покоя.
Живого снега за рекою
чувствительные бугорки

как будто движутся на нас.
А горизонт покат, огромен.
Тьмой напитавшись, снежный пласт
гляди, очнётся — час неровен.

2

Ясно и мглисто
Медленно-быстро
Снежная искра
Снежная искра летит
в воздухе новом.
И наливается дым
светом багровым,

радужным или седым.
Облако твёрдого пара (кусты)
Волглые дали
Заячьи метки, двойные следы
Где ж мы подобный запас широты
раньше видали?

Красные Ворота (1)

Потемневшая высотка. Охранительная сетка.
Кристаллическая шуба цокольного этажа.
Храм, бетонная беседка.
Бьёт московская погодка как тяжелая вожжа.
Детский сад, но где же дети?
Только ветер за спиной.
На гранитном парапете
белый оттиск соляной.
Помню, и тогда знобило —
в круговой прогулке парной,
в детской упряжи навек.
Так я вижу всё, что было:
сквозь затянутую марлей
форточку смотрю на снег.

Красные Ворота (2)

Голод? Голода не было.
Был до конца концов
в облаке цвета пепла
мелкий набор свинцов.
Съевшие тонну пыли,
сто килограмм песка,
рады, чтоб их лепили

из одного куска,
люди читали, читали,
знали наверняка
строчечный след несчастий,
воздуха трафарет —
облачно-серой власти
самый большой секрет.

* * *

Мы в картине Эрика Булатова,
и зашедший выйти не надеется.
Прямо на ступеньке эскалатора
шёлковый огонь заходит в девицу.
Вот и всё. Но ищет виноватого
мраморно-цветная преисподняя.
Примечает: не годится в дочери.

Оттого всё злее и свободнее
на неё глядит живая очередь.
Вот он, ирод! Вот она, преступница!
И на них идёт людская мельница.
Перемелет — даже не расступится,
ни одним плечом не пошевелится.

* * *

Чтоб ниточка вилась недолго,
о том заботилась игла.
Ты потерялась как иголка,
и ничего не поняла.
Лицо, где выделена смугло
и лакова щека. Скула

так прорисована округло,
чтоб без единого угла.
Почти рисунок на восковке.
Теперь обманчиво знаком:
его пленительные скобки
закрыты внутренним замком.

* * *

Девушка решила, что она пропала.
Томная брюшина широкопружинна —
чем он ей не пара?
Голова муляжна? Ничего, не страшно.

Зарывать в подушку мы себя не станем,
а наймём избушку в царстве обезьяньем.
Деточку-игрушку тоже прикарманит.

Что же это значит? Не зовёт, не плачет.
Душенька довольна.
Значит, стать единым с неким господином
это добровольно?

Это наяву отнимают милых,
нежно-слепокрылых.
И живу не в силах верить, что живу.

Слышен в уговорах загрудинный шорох,
и в глазах черно.
Больше ничего.

Отдавай кровинку, неба половинку
не пойми кому в дальнюю тюрьму.
В яму вековую девочку живую
опускай вдвоём с тёмным бугаём.

* * *

Это то, что известно из книг,
а к себе примеряешь не вдруг:
станционный смотритель, старик,
мешковатых разносчик услуг.
Обязательно под козырёк.
Тихой мышкой туда и сюда.

Только доченьку скука берёт.
И за ней не досмотришь, — беда.
Всё покатится, стоит начать.
Но какая-то выслуга есть.
Шаг на месте. Пора отвечать
за свою стариковскую честь.

* * *

По-советски жить: по-турецки сесть
и уже не встать. Несмешную весть
посылает мозг, принимает кость,
и она для неё пила.
Голова болит. Здоровеет злость.
Не у жизни спрашивать, где была.

Проходя окольным путём спины,
годовыми кольцами стеснены,
мысли пробуют так звенеть:

Где была, там нужно по вкусу слёз
угадать, кто лошадь, а кто овёс.
Жить, стесняясь деревенеть.

«Я не дам себя отправлять в запас.
Только вызови, только тронь.
Я один из нас, меня Бог упас,
а теперь отбирает бронь».

Александра Васильева
Моя Марусечка

повесть

Когда-то мы жили с Марусей на самой окраине города в одном дворе все вместе: папа, брат, Маруся и я. Наши дома стояли рядом под двумя старыми тутовниками, отвернувшись от солнца. Оно жарило их сзади, со стороны забора, куда сносили жестянки с гашеной известью, грабли и лопаты, разошедшиеся деревянные бочки, ржавые обручи и другой хлам. Солнце жарило и жарило и дома, и сад, и пустырь, раскинувшийся до самого канала, где над железной дорогой так нежно-влажно дрожало марево.

Единственные наши соседи после землетрясения получили квартиру, и весь их двор да и разломанный на куски дом заросли травой, в которой можно было спрятаться с головой. Но деревья плодоносили, на огороде среди бурьяна зрели красные тыквы, торчали фиолетовые листья свеклы, пускал стрелы и цвел лук, кусты малины душили беспризорные ульи, пчелы жили самостоятельно, научились зимовать и сами жрали свой мед.

Мы с Марусей ходили на пустырь рвать крапиву, туда, где торчала обугленная, искореженная, как сломанный зуб, колоколенка. Встанешь под стену и крикнешь в небо, туда, где когда-то висел колокол:

— Э-е-е!..

А в ответ укает черт знает что.

Маруся подводила меня на берег канала и, указывая на грязную мутную жижу, рассказывала про коварных русалок, которые затягивают в пучину мужчин, одурманивая их сладкими ядовитыми песнями. Мне-то что, но за папу и брата я все-таки опасалась.

Маруся жила в хлеву. Заложила кирпичами дыры, выбила два окна во двор и одно на улицу, пристроила сени и воткнула кронштейн для света. Хатенка получилась малюсенькая, беленькая, испуганная: «Ой-ой-ой! ну что я вам сделала?..» На окошках висели тюлевые занавесочки, в углу притулилась этажерка, на ней стояли горшок с геранью для красоты и горшок с алоэ для желудка. И еще сувениры из Евпатории: лодка, чайка, скала, а на ней пластмассовый орел, и раковина, которая свистела в ухо вроде как шум волн, а на самом деле просто ветер воеет. Маруся в пятьдесят пятом году ездила в Евпаторию лечить желудок. Даже остались фотографии — оказывается, у нее был длинный серый плащ и черные модельные туфли на каблуках. Это потом она всю дорогу ходила в коленкорových тапках и коричневых кофточках, туго подпоясывалась фартуком и походила на молодую.

Маруся меня любила.

Мы вместе белили дом, красили полы и передвигали с места на место сундук со смертным. Только для меня она отпирала его. Какие красивые

Васильева Александра Алексеевна родилась в Кишиневе. Окончила Литературный институт им. Горького в 1985 году. Живет в Волгограде, работает редактором отдела художественной литературы в журнале «Отчий край». Рассказы печатала в волгоградской и нижегородской периодике. «Моя Марусечка» — дебют автора в жанре повести.

платки там были сложены: и красные по черному, и черные по оранжевому, и желтые по синему, и с бахромой черной, как смола, и шелковые голубые, и сатиновые малиновые, и даже настоящая шерстяная шаль, бордовая, сердитая, вся в пионах, флоксах и болотных лилиях, новая, с этикеткой. Она всего припасла: белье, тапки, снопик свечей — сто штук, купленных у цыганок, у них дешевле, ладан в тряпице, краска-серебрянка в пол-литровой бутылке, чтобы покрасить оградку, стол и скамейку, а на крест у нее была припасена даже золотистая.

— За неделю до Пасхи придешь на кладбище и выдернешь сорняки. Принесешь с собой щепок, подожжешь ладан и обкуришь могилку три раза. А на помин души раздашь то же, что и всегда: по крашеному яичку, по куску кулича и по конфетке...

Так она говорила. А я улыбалась, потому что знала: Маруся никогда не умрет! Вон какая она веселая, сильная, смелая, лазает на вишню на самые высокие ветки и всю ее обирает. Хватает Тарзана за цепь и ведет к ветеринару делать прививку. А Тарзана бояться все, даже папа. А Маруся не боится, уверенно держит его за пасть, пока ветеринар втыкает ему в зад иголку. Тарзан дрожит тихонько, он привык жить в своей будке, больше нигде, и на свободе ему скучно.

Маруся меня любила.

Она совала мне в ладошку конфетку «Коровка». Или абрикос, первый абрикос, какой он вкусный, этот первый абрикос. Или стакан черешни, первой черешни. Или ломтик арбуза, купленного у калмыков. Она подзывала меня и протягивала разрезанный орех со зрелой, полной, уже не сопливой мякотью. Какие они вкусные, эти молодые орехи, как сладко-больно протыкает ладонь съехавший перочинный ножик, с какой радостью я показывала брату проступающую на ней полоску крови. Маруся тут же смазывала ее тройным одеколоном, она очень уважала тройной одеколон. Она же пекла в печурке в глубине двора молочную кукурузу. Никогда не ешьте вареную кукурузу, пеките ее на тлеющих углях: дождитесь вечера, чтобы пожужживали комары, садитесь на мячик или на собственные ладошки и смотрите в огонь, пока Маруся переворачивает початки, и не бойтесь — ловите кукурузу прямо руками. Только брат, если он еще маленький, пусть протягивает подол рубашки. Подбрасывайте ее вверх, она быстро остывает, и не убегайте на улицу играть в штандер, слепую бабу, замри или энэ-бэнэ-шваки, сидите рядом с Марусей: она так интересно рассказывает сказку про лису со скалкой.

Маруся меня любила.

Конечно, не так, как своего Митю. Но Митя сидел в тюрьме, и, кроме меня, некому было писать ему письма. Маруся мне за это покупала пирожное за двадцать пять копеек, дорогое, с шоколадной нашлепкой сверху и стакан какао из титана. Какао — это уже у нее в магазине, в том, что напротив банка. Того самого, который перестроили в органный зал с зеркальными стеклами, посадили перед входом двух каменных львов и выложили ступеньки розовым мрамором. Нарочно для Галины Брежневой. Припоминаете такую девушку с длинными до пояса белокурыми волосами? Так это Галина Брежнева. Она играла на органе и даже гастролировала по городам-портам Средне- и Нижнедунайской равнины. В венгерском городе Секешфехерваре специально для нее изготовили чудесный инструмент. Помню, когда его привезли, даже не ходили троллейбусы. В парке Победы, меж двух елей, повесили гамак, и Галина Брежнева спала в гамаке. Ее посыпали дустом — от комаров. Галина Брежнева не любила комаров, а на дуст у нее был насморк. Шестьдесят милиционеров на лошадях охраняли ее сон. Лошадям от шума надели на ноги войлочные коврики. Маруся видела их своими глазами. Галина Брежнева очень уважала Марусиного директора Витальку. Потому что он вынул — сам говорил — из своего бедра такую тол-

стю жилу, и ее пересадили Галине Брежневой. Она даже приходила благодарить. Причем красивая была. Так вот, когда Галина Брежнева поднималась по лестнице на второй этаж, то уронила бриллиант из уха. А Марусина напарница Оля подобрала его и проглотила у всех на глазах. Все стали махать руками и кричать:

— Оля! Оля! Что это ты проглотила?

— Это я слюну проглотила! У меня слюны много...

Это она так нахально ответила. Шлеп ее под рентген — а бриллиант из уха уже у нее в аппендиците лежит. И до сегодняшнего дня резать себя не дает, говорит, я расту для родины десять детей.

Зато кто встречал Брежнева в прошлом году в аэропорту? Две такие балены — одна белая, другая черная, и Маруся: в сатиновом халате и в переднике. Брежнев даже ахнул:

— Ой! Девочки!

Ее видел в телевизоре весь мир. Ее сфотографировали в журнале «Советская женщина».

— Маруся, как ты попала в аэропорт?

— Все поехали, и я поехала.

В халате, с ведром и тряпкой, ее засунули в «Чайку» и повезли на банкет.

— Маруся, чем тебя там кормили?

— Было десять блюд: горячее, холодное, рыба, пирог с визигой, холодный поросенок, горячие грибы, щука под яйцом и малина, посыпанная сахарной пудрой. Мне не понравилось: даже гречневой каши не сварили...

Маруся. Маруся идет прямо в горком, на бюро, и показывает дырку в кофте: ваша трикотажная фабрика вяжет кофты из гнилой шерсти. Маруся просто так стучит в Дом правительства и требует напиться. Говорит: что это в сквере за парком Победы газеты неправильно вывешивают?

— Какое твое дело, Маруся? Разве ты читаешь газеты?

— Не имеет значения!..

А еще в душе Маруси царит мрак из-за китайской границы: она переживает, чтобы ее укрепили. А то китайцы хлынут на нас и сожрут весь урожай пшеницы. Им кто-то сказал, что пшеница вкуснее риса, а они там одним рисом питаются да еще засахаренными кузнечиками, а у нас хлеб вкусный и дешевый: буханка — двадцать копеек, булка — пятнадцать копеек, а булочки — те вообще пятак. Эти китайцы врут всем, что их там только пять миллиардов, на самом деле их десять миллиардов. Когда кто-нибудь хочет их посчитать, то они прячутся в землю, как суслики.

Зато Оля — телеграмму в Москву: вы там спите, а американцы нам шашеля подсыпают и колорадского жука, и бабочку-капустницу, и мучнистую росу!..

В прошлую зиму первый секретарь выделил ей пять тонн угля. Сахар, а не уголь. Жги, обогревайся. И грузовик отходов со щеточной фабрики. Вы знаете, какие отходы на щеточной фабрике? Вот такусенькие полешки — с ладонь, ни пилить, ни рубить, ни тебе колоть. Кидай в голландку и вари щи.

Олины дети: двое в институте, двое в техникуме, одна девочка замужем за водителем троллейбуса, а малые учатся, как звери, и в балет записались — танцуют по телевизору: он ее за талию держит, а она одну ножку задирает, шеечку тянет и головку náбочок кладет. Хоть и смешно, а все хлопают и умиляются. Пацаны у Оли здорово под оленей ревут, а девочки шьют, вяжут, варенье кизиловое варят, и спартакówki: плавают на время на Комсомольском озере. У всех толстые косы, и крепкие белые зубы, и ямочки. И ни одного Оля ни разу не выпорол — одними бровями воспитывает. Правда, едят много: десять буханок хлеба и кадушку капусты в день.

А вы говорите — Оля!

А у Маруси один сын, и тот в тюрьме сидит...

— Раз, два, три, четыре. Четыре...

Маруся лежала в койке, накрывшись толстым ватным одеялом, и считала, сколько раз крикнет петух.

— Пять, шесть, семь, восемь. Восемь...

Маруся выбросила ноги из-под одеяла и села.

— Сейчас выйду и выпорю петуха! — сказала она, но никуда не пошла, а продолжала сидеть, прикрыв глаза. Протянула руку к выключателю и зажгла свет.

— Вот это лето — свет жгу! Бывало, за три месяца на двадцать копеек не нажигала, а тут за один уже восемьдесят накрутило. Вот это дождь! Вот это лето — голландку топлю!..

Маруся говорила громко и как бы себе самой, но так, чтобы слышали святые. Она не смотрела в сторону икон, но свет лампадки был виден ей с любого места.

За окном раздавались знакомые шлепки дождя по листьям. Было стужено. Маруся надела душегрейку.

Митя.

Она причесала свои мягкие белые-белые волосы гладенько вверх и вбок, закрутила их в тугий узелочек и крепко пришила на затылке. Потом набрала из жестяной кружки большой глоток воды, наклонилась над ведром и отлила сколько-то в сложенные ковшиком ладони.

Митя.

Намылила и лицо, и шею, тщательно ополоснулась, дернула полотенце и грубо-резко вытерлась. Глянула в зеркало, помяла косую складку, тянущуюся ото лба через глаз на щеку: заспала ночью, теперь только в обед отойдет.

Митя.

Рано еще. Маруся села за стол, провела по нему ладонью, огляделась, подняла глаза на потолок. На потолке две балки, беленные подсиненной известью, за одной — пучок засохшего розмарина, уже слабо пахнувший, прошлогодний, за другой — завернутая в газету домовая книга и квитанции лет за двадцать, сохраняемые на всякий случай.

— Вот управлюсь и побелю. Вот на той неделе и побелю, — решила Маруся громко, обула галоши, натянула на голову душегрейку и пошла во двор.

Дождь.

Митя.

Маруся побрела по размокшей дорожке к курятнику. Налетевший ветер обдал ее всею вишнею. Куры, ласковые, ручные, сбежались к ней и тут же встали грязными мокрыми лапками на ноги, еще горячие со сна. У петуха развисли крылья, единственным прямо торчащим пером он бороздил грязь вокруг Маруси, пытался вспушиться, сигнуть и ударить дряблыми шпорами. Маруся попарывала его прутиком, но так, слегка, чтобы не уронить его перед барышнями.

— Курам дала, пойду теперь козе дам, — сказала она.

Коза нежно щипнула за подол, потыкалась губами в колени. Маруся кинула ей травы и протянула корку хлеба.

Тузик лежал свернувшись. На его шерсти висел мелкий водяной бисер. Заметив Марусю, он встал, помахал хвостом и перебрался на другое место. Сухое пятно под ним намокло на глазах.

Маруся прошлась по дорожке — клещей набралась.

— Если вы клещи, то живите в лесу! — сказала она огородным грядкам со свеклой и морковкой, где под струями кипела здоровущая ботва.

Вошла в дом, дверь громко отлипла. Оглядела мокрые вздутые сени. Беда: под домом жил ручей...

— Хочешь, иди у меня в сенях колодец себе выкопай! — предложила Маруся незнамо кому. — На! Еще и заплачу!

В комнате на нее настороженно глянуло зеркало с желтым, перламутровым по краям пятном, как раз на уровне глаз, так что хочешь посмотреться — ныряй пониже.

Митя.

Прислушалась: радио не работает. Опять!

— Молчишь? Давай-давай! — пожурила его Маруся, выглянула в окно и проследила глазами за проводами, которые тянулись через забор к столбу. — Ну вот же, провода целые, не рваные. Чего тебе еще надо? Говори. Пой. За что я плачу пятьдесят копеек? За короткую сводку новостей, за постановку. Ну, где новости?

Радио молчало. Струи дождя били в окно.

Ми-тя...

Маруся встала к иконам боком и сказала тихо так, вроде бы себе, вроде бы никому:

— Ох-ох-ох! Комбайнеры совсем в поле увязли. Как теперь косить пшеницу, не знаю...

Помолчала.

— Все дождь и дождь. Трактористы все как есть уедут в Карпаты валить лес. Некому будет пахать. — Маруся скосила глаза в сторону икон, потом повернула голову немножко, на пол-уха. Щека, обращенная к ним, горела. — Вокзал по третий этаж в воде стоит... — прибавила она — не пойдут же они проверять!..

И то — святые, они же разные бывают: с Николаем Угодником еще можно спорить, пошуметь на него, даже поругаться, а со Святым Петром лучше не связываться. Перекрестилась — и пошла. В прошлом году, по осени, упрекнула его: зачем такие ранние морозы, в колхозе еще свеклу не выкопали, картошку не выкопали, турнепс не выкопали, груши еще везде висят. Не могли там, что ли, с недельку подождать? Так Петр, дня не прошло — отомстил: упала Маруся, на ровной дороге упала, свалилась, как берег в реку, и руку переломила в двух местах.

Но сегодня уж очень грызет тоска. Как не сказать? Три месяца дождь! Ботва — что у свеклы, что у картошки. Виноград — как сучьи титьки, одни усы торчат у винограда. Капустные кочни плохо завиваются, растут дряблые, пухлявые, их точит червяк. Какие-то толстые, жирные гусеницы расплодилось, как стручки фасоли. И каждую ночь ударяют молнии. И сжигают деревья. По двести деревьев каждую ночь! На каждом шагу шаровые молнии. В мясном магазине растопили все килограммовые гири. Чем теперь мясо вешать? Попробуй кинь эту лепеху на весы — покупатель бежит жаловаться в профсоюз. А у нее, в рыбном, вышибли входную дверь и поставили аккурат рядышком на торец. Выжгли на доске соцсоревнований слово «свинина». Кинулись: почему «свинина»? Ладно бы «говядина» или «баранина». А то — «свинина»...

Алюська говорила, что эти молнии подсылают американцы. За Зеленым театром у них выставка работает. То есть они показывают нашему народу: вот у нас есть лодки, лыжи, мячи, мебель, даже кресла. Правда, у них есть много чего. Идите и посмотрите. В тех креслах сидят негры и говорят порусски. Если подойти поближе, то и понять можно, что говорят. Только Алюська сказала, что эти негры ненастоящие, американцы настоящих негров дома оставили. Они их там как били палками, так и бьют.

...Маруся собралась с духом и взглянула на иконы: лики святых — ой-ой! — были обиженные, гневные.

— За весь месяц только два раза выглядывало солнце, и то с ушами и грязное! — Она уже не могла остановиться — будь что будет! Кто-то должен им сказать, а то молчат все, так и потопа дождутся. — В парке видели голубых белок. А голубых белок не было никогда, даже в войну. И вороны летают с перепонками между пальцами. Зачем вороне перепонки, разве она утка? Все вокруг оплели плющ и хмель. В три кольца опахали весь огород, так эта подлая трава под землю поднырнула и таки выскочила с этой стороны...

Маруся замолчала. Сердце вырывалось из груди. А, будь что будет. Она стала жарить картошку.

Святые угрюмо молчали в своем углу.

Радио очнулось и заорало сводку погоды:

— ...Местами непродолжительные дожди!

— Как это непродолжительные?! Когда вот уже...

Маруся подскочила к приемнику и только хотела сказать, что это за брехня, но они там, конечно, плюнули и стали играть на балалайке.

Она села за стол и кинула в рот картошинку. Покатала ее во рту — что делать с этой картошинкой?.. Нет, сейчас она им все скажет, про Дусю, про все!..

— И то: зачем Дусю забрали? Двое детей осталось: Валерику год и десять, а Мите, тому и вовсе семь месяцев...

Маруся отвернулась и стала смотреть в окно.

Дуся померла — мало! Надо еще Митю в тюрьму посадить. Мало им Дуся. А Митя, он не плохой, он просто шутоломный. Его Дуся десять месяцев носила. Семь докторов навалились на ее пузырь: и выдавливали его, и помпой высасывали, и клещами дергали. Ни в какую. Кусочком сахара выманили! Санитарка, староверка одна, присоветовала. А как Дуся померла, не стал есть: одну губу сосет, и все. Стояли наготове три женщины с вываленными сиськами и целились ему в рот.

— Митя, Митя! А вот птичка полетела! — кричала Маруся.

Митя открывал рот за птичкой. А женщины по команде расстреливали Митю молочными струями. Язычок его забеливался, и Маруся скоренько прищипывала ему пальцами губки, как вареник, и прыгала с ним на руках — хоть бы капля просочилась в желудок. Но из уголков губ уже вырастали, надду-ва-лись два белых перламутровых пузыря. Митя пунцовел, тужился и прыскал Марусе в лицо чужое, не мамкино молоко. Эх, чтоб тебя!..

— Митя, Митя! Птичка, птичка! Пчелка, пчелка!

Прыгали все: и кормилицы, и не кормилицы, и праздные свидетели с улицы.

— Может, ему мое молоко понравится? — предлагала женщина по имени Аксинья, отысканная аж за железной дорогой, — у нее были собственные корова, коза и овца, и все дойные.

— Ну, давай!

Защипывали Мите нос, раздирали рот и лили ему молоко прямо в желудок через воронку. Блевал до посиненья, кровью!..

А Валерик возьми и сунь ему, пока никто не видел, падалицу — зеленый абрикос, в песке, в пыли... Съел! И стал есть.

Вот померла Дуся. Схоронили ее. Что делать? Валерика Костик взял, он уже и лопотал, и на горшок просился. А Мите только семь месяцев да еще и не ест. Что с ним делать? Сдать в интернат? Кто ему там крикнет: «Птичка! Птичка!» Дуся, сестра, молодая, ласковая, нежная, в могиле, и все можно?! Так неужели она Дусино дите в интернат сдаст?! Иди своего в интернат сдай!

— Мамка, Тузик тяпнул! Мамка, Валерик в бочке притопил! Мамка, задачка не решается!

Мамка... За «мамку»... Что не сделаешь за «мамку»?..

Валерик, тот тетей называл. «Тетя, можно печенья?» Спокойный, красивый, уважительный. Митя — рыжий, лопоухий, в Костика, глаза белые, бешеные. Сколько она с ним натерпелась. Всю душу ей изгрыз. С дерева падал. Со школы падал. В колодец упал! Насадил себя на штырь — висел, проткнутый, на руке. В городском саду сунул голову в ограду между прутьями, пожарные его оттуда сварочным аппаратом выжигали. Велосипедный руль вошел ему в рот через щеку. Скажи, чья кровь в нем текла? Дуся — как солнце, как хлебушко с маслом, Костик — мешок с травой. Митя — смола кипящая! Играл в пуговицы. Какие пуговицы? А что, у тебя нет пуговиц? Две лежат, а третью между ними, в эти воротца, и проводишь щелчком. Не попал — все три проиграл. Так Митя все пуговицы в доме отпорол и проиграл. А через неделю притащил домой шесть наволочек с пуговицами — отыгрался...

А как дрался. Двадцать восемь пацанов в классе учились — и двадцать семь ходили с фингалами. А двадцать восьмой спрятался в настенный шкаф за политическую карту мира.

Отогнул пожарную лестницу со второго по четвертый этаж. Он бы ее всю отогнул, да позвали взрывать образцы пороха в кабинет начальной военной подготовки. Без бровей остался, глаза красные, как вишни, неделю лежал с чайными тампонами.

Стащил из буфета десять ячеек с яйцами, взобрался на чердак и учинил яичный ливень прямо над парадной дверью школы. А во двор как раз входили директор Филипп Васильевич и завуч Наталья Петровна. Филипп Васильевич ладно, а Наталья Петровна — та сразу милицию вызывает.

Прогулял все уроки музыки с первого по седьмой класс: не терпел ноту си. Как кто-нибудь затянет ноту си, бил наповал. Затащил в кабинет домоводства все велосипеды с улицы Первомайской. Залез на часовню на площади Победы и открутил минутную стрелку. На Первое мая прямо со стадиона украл голубей мира — всю корзину. Там кричат — запускай, а запускать некого, Митя всю корзину сдал в шашлычную на центральном рынке. Пас гуся Мишу на газоне на площади Ленина — сторожил с прутиком в руке.

Приехала делегация немецких коммунистов во главе с Дином Ридом. Дин Рид спел песню: «Да! Да! Да! Йа! Йа! Йа! Йа!» А ему в это время в кабинете директора стол накрыли: стакан какао, мороженое в вазочке и коржик, посыпанный сахарной пудрой. А Митя в форточку залез и все сожрал, опозорил всех перед немецкими коммунистами.

Четырнадцать раз его исключали из школы. Все сходило. Даже когда поджег Комсомольское озеро. То самое, что построил Брежнев. Ладно, строй. Только зачем кладбище топить? Открыл вот такую трубу и пустил воду. А там и Дуся, и мама, и народу-у!.. Сказал бы: народ, берите лопаты, берите тачки и бегите выкапывайте своих покойников. Нет, не сказал. Один Максим знал, сосед. Как гидра, пришел: дайте тележку, мне не на чем уголь перетаскивать. И всех выкопал: Киру, сестер, дядьев, даже дядьев. И в сухое место перезахоронил. Никому не сказал. Плохой человек Максим, помер на той неделе, Бог с ним. Плохой человек Брежнев...

А Митя сел в лодку, разлил керосину там-сям и спичечку поднес:

— Мамке моей там, под водой, Дусе, зябка лежать!

И это сошло.

А Рая из ПТУ № 7 не сошла.

Пришел милиционер и показал конверт, а в нем пучок волос. Волосы как волосы — прямые, красные. И сказал: попытка изнасилования. Хороший милиционер, даже дал Мите чай допить, не торопил, дождался.

Как? Что? Маруся на другой день отыскала и эту ПТУ, и эту Раю. Она нагнула голову и показала маленькую воспаленную плешинку на макушке.

Вижу: плешинка. Ну так ты целая или не целая? А не имеет значения. Вот плешинка, а вот волосы в конверте, а вот мои пятнадцать лет. Пятнадцать лет?! Толстомаяся! Дебелая! С сальными бесстыжими глазами. Задница в юбке вертухается через край. Колени на людях ворохаются. Зачем ты ворохаешь коленями? Ну и пусть ему восемнадцать. Он перед тобой дурак. Он даже на танцы ни разу не ходил. Девочек он просто ну не видел. В беседке? А как он попал к тебе в беседку? Ах, так это ты привела? Значит, просто за пучок волос пять лет?! Они у тебя завтра на место вырастут! Целая же. Он дурак, у него просто сила в клещах бешеная, дубовый стул за ножку поднимает. Что для него твой пучок — паутинка! А зачем у тебя задница наружу? Это что, юбка?! Стой. Ладно. По-другому. По-хорошему. Никак? Никак! Никак...

Маруся очнулась: полседьмого. Задвинула сковородку с картошкой под стол, туда, где всю дорогу мокло и было прохладненько, собралась и пошла на работу. Сегодня ее дежурство. А завтра, ох, санписстанция. Какое горе...

У калитки посмотрела на яблоню, одетую в жалкую мокрую листву: холодная дрожь ветвей передалась ей.

Прошла пустырь — одни лопухи, высокие, как кусты сирени. В сторонке один-единственный прибудный подсолнух, высокий-превысокий. Маруся подошла: шапчонка махонькая, как оладушка. Ковырнула семечко, а оно белесое, молочное.

Под ногами месилось глиняное тесто. Пока дошла до остановки, набрала по пуду глины на каждую галошу.

Старик на подводе вез в центр большой бак с пирожками, алюминиевый столик и буфетчицу, красную, сердитую. Лошадь остановилась у светофора и, пока стояла, спала, потом тронулась. Маруся пошла рядом с ней, шаг в шаг. А у вокзала села в троллейбус и поехала в центр.

Справа «Мясо. Колбасы», слева «Рыба», еще левее — «Молоко»...

Вода так и рычала с крыши. Какая-то толстая трава, росшая прямо из асфальта, брызнула на стену и добралась до седьмого этажа.

Маруся пошла в арку. В арке большая лужа от стены до стены, белесая жижа наполняла ее. Во дворе никого. Стояли деревья. Вроде деревья, с ветками, с листьями, а гнилые: режь их ножом, протыкай пальцем — мякоть, как шоколадное масло. Ступеньки подъездов заросли мхом и лишайником. На подоконниках растет камыш. Скажите, вы люди ученые, разве камыш растет на подоконнике?

Только дуб, большой, старый, стоял, живой, твердый, посреди двора. Оградили его железными кольшками с цепями, цепи покрасили и повесили табличку с указанием возраста. И обязали красить цепи и кольшки и оттирать выскакивающие на нем многоэтажные деревянные грибы. Два года тому жильцы установили дежурство и по очереди поливали его корни крутым кипятком.

Но что ему делается? Уже в марте его крона опушивалась листками и все густела и густела, и до самой зимы ни один лучик не просачивался через нее во двор. В этой кроне застрял и умер ураган. А корни выныривали, где хотели. На первых этажах поднимали половицы, а в Марусиной бендежке вросли в стену и там, где у нее была прибита полочка, выкинули бахрому с отростками.

Но трогать не смей: под этим дубом отдыхали Александр Македонский и маршал Тимошенко!..

И никто слова не скажи. Хоть ты кто. Министр, директор магазина, хоть кто. Не смей брать в руки пилу. Вот Тамара. Такая артистка! Полгода дома не жила — ездила на гастроли. В Испанию ездила! В меховом магазине ей дали напрокат шубу. Все ходили смеяться над этой шубой — такая

дорогая: одиннадцать тысяч! Новыми! На Старой Почте каменный дом в два этажа столько стоит. У Тамары, конечно, полт много — и зеленое, и красное, и другие, а шубы нету. Но не насовсем, на время, и держи строго в нафталине. Тамара одних вееров привезла тридцать семь коробок. Ее закидали бриллиантовыми кольцами. Приходили за кулисы смотреть, настоящие у нее бедра или так, подушечки привязанные висят. А один испанский цыган, богатый, как китаец, встал перед ней на колени, взял ее ногу, обутую в сапог, и поставил себе на плешивую башку...

Но даже Тамара ничего не может сделать. Валялась в ногах перед всем Советом Министров: срубите дуб! У меня от сырости в горле плохой звук получается. А они ей: дуб не смей упоминать!..

Маруся обошла сальные селедочные лужи и наткнулась на два стоящих посреди двора грузовика. Остановилась, принялась: сельдь океаническая, высший сорт, иваси по три двадцать и еще что-то холодного копчения — сейчас-сейчас — мойва! От второго грузовика запахи не подразумевались, просто воняло мокрым брезентом.

Маруся отперла дверь в подсобку, сняла с себя мокрую клеенку. Так, сперва глянуть, где эти шаровые молнии. Нету? Нету. Ой, есть! Три молнии вымела Маруся венчиком к порожку, а четвертая висела высоко под потолком, на карнизе, и шипела. Пришлось поддевать ее длинной шваброй, которой мыли стекла на улице. Молния увертывалась, упиралась и увиливала, но потом все-таки спрыгнула на пол и издала толстый сухой звук. Маруся вымела все четыре молнии во двор: тихонько, тихонько, не дай Бог, еще в глаз попадет, и они, шкварча и шипя, высушили четыре тропиночки к дубу, пошли скачками, вспрыгнули на самую крону и уже оттуда посмотрели на нее, упрямо, настырно, как кошки.

— Маруся... — раздалось сзади осторожно, словно на зуб попробовали.

Маруся испуганно обернулась: Федя! Сроду он подкрадывается. Продавец розницы, торгует на улице куриными пупками, фаршем и свиными брыльями. Тот самый Федя, который подрался с Виталькой прямо на бульваре, где растут два каштана. Федя укусил его за пятку. А потом написал письмо в Центральный Комитет, нахвистел, мол, ворует и путается с Галиной Брежневой. Несчастный человек: жена ему изменяет с продавцом кваса, шурин выиграл за тридцать копеек мотороллер, теперь ездит на нем в лес — хоть ландыши собирай, хоть так просто воздухом дыши, дети Федины болеют чесоткой, а сам он падает: то поскользнется на молочной луже, то на селедочной головке, то на харчке, ни одной целой косточки себе не оставил.

— Маруся, видала, какой завоз! — воскликнул Федя. — Селедка! Оливки! Оливковое масло! Что будет!

— Что?

— Прилавки разнесут, вот что! — засмеялся он и поскребся под мышками и на загривке — у Феде везде почесушки.

— Тебе-то что, ты все одно на улице торгуешь.

— Разнесут-ут! — радовался Федя. — Как в «Нептуне». Маруся, слыхла: в «Нептуне» недостача!

— Да нет там никакой недостачи! — отрезала Маруся. — Там санпостанция ковши грязные нашла и глисты у двух продавщиц.

— Да-а? — протянул разочарованно Федя.

— Оштрафовали директора на десять рублей.

— Повезло, — вздохнул Федя, но тут же ожил: — А вот сегодня Мишаню Давидовича, жидишку, из партии исключать будут, слышала?

Маруся открыла дверь:

— За что?

— На родину дираёт! В Ис-сраиль! Там дожжей не идет. Одна солнца

на небе, и пчелы курлыкают по подсолнухам. А толстозадые жидовки нехтар грудями собирают и кормят молочком своих хилых мужей.

— Как же?.. — прошептала Маруся. — У него же мать парализованная...

— А он и ее, и ее! Посадит в кресло на колесах — и в вагон. Он мне вчера на ботинок плюнул.

— Покажи ему кукиш в кармане, — задумчиво ответила Маруся, заперла дверь бендежки и встала на пороге: Мишаня Давидович уезжает в Израиль. И Мишаня. Зимой Гриша уехал, а на майские — Ритушка. По телевизору фильм показывали, как они там в подвале живут. То есть не Гриша с Ритушкой, про них ничего не известно, другие. Плачут, рыдают, рвут на себе волосы: жрать нечего, одни сушеные кузнечики, арапы ходят с кинжалами, и пирке в поликлинике не делают — плати десять рублей. Зачем же вы, дураки, туда поехали? Это нас родственники наши обманули, двоюродные братья и сестры: дескать, мы сюда приехали, нам плохо, так пусть и вам плохо будет, мы от злости на судьбу вам подлость сделали. Вот какие бывают эти двоюродные...

Маруся огляделась: молний нету? Унитаз журчит, старенький, весь в веснушках, ржавый, никакая пемза его не берет, только кислота, но жалко трубы, они тоже старые, пусть уж так. А и идите на второй этаж, там аж четыре очка. А то повадились — близко же...

Бендежка прибрана: ведро в ведре, веники на шнурках висят, тряпки все мытые, сухие. Шкафчик умненько стоит, в сторонке, деревянный язычок дверки придерживает. И ни одного пятнышка нигде. А подальше у нее и столик есть, и две табуреточки, и широкая низкая лавка, сама ее сладила, на ней даже лежать можно, если живот заболит. Хорошая бендежка, длинная, с поворотом. А за поворотом окошко. Высоко, правда, но ничего, подставь ящик и смотри на улицу.

Митя.

Утро начинается с копошения.

Маруся надела свой черный сатиновый халат и туго перетянулась черным же фартуком. Поставила кипятить большой пятилитровый алюминиевый чайник, взяла ведро, веник и вышла в коридор. В коридор уже затаскивали бочки с кильками. Под лестницей гомозились ранние люди — все больше такие культурные дамы. Ждали Витальку. Блатные. За селедкой, наверное. Какая селедка? Нет, за маслинами да за оливковым маслом. Вон они коробки. Какая красивая гречанка на них нарисована — прелесть, с двумя косами, а сзади греческие поля виднеются, а на них мандариновые деревья спеют...

Девятый час. Оли нету.

Маруся вышла в зал. А за окном народу-у!.. Хвост до самого молочного. И в подсобке шелестят туда-сюда. Витальку ждут. Виталька что ж, он любит народ. Чтобы приходили, крутили пуговицу на пиджаке, гладили по рукаву. Он всегда навстречу пойдет. Главное, чтобы человек был человек, а не свинья. Виталька. За свою жизнь Маруся видала столько директоров, таких директоров, что как цари! С портфелями, в макинтошах, на «Победах». Ну и где они? Нету. Она не будет вам рассказывать, где они, но вам каждый скажет, где они. А Виталька, он, правда, уже двенадцать лет работает. А двенадцать лет не работал даже Григорий Моисеевич. Хотя был очень культурный человек. А Виталька... и еще ничего не слышно... Его знают даже командировочные из Москвы. Женился на этой... на колоратурной сопране, на двадцать один год моложе взял девицу. Женюра зовут. Она родила ему сына и дочь. Виталька назвал сына Женя. И дочку тоже — Женя. Хотел назвать. Теща не дала. А что, крикнешь: «Женя! Сапоги!» И все три Жени несут тебе сразу три сапога... Семейную кровать заказал в Канаде, у

него там дядя, карпатский бандеровец, миллионером живет. По воздуху прилетела. Так говорят. Может, и неправда...

Митя.

Тоска змеей влезла ей под сердце и там улеглась.

А завтра санписстанция. Какое горе.

Всем на свете верьте. Но не верьте санписстанции. Придут, ватку намочут — и по прилавкам, по судкам, по холодильникам. И в микроскоп. И на тебе — штраф! Пять рублей, десять рублей, а то и всю прогрессивку давай...

Сначала Маруся хорошенько протерла капроновой мочалкой плитусы. И щелоком их, щелоком. Потом обдала кипятком из чайника. Панели помыла тряпкой. Полы у продавцов под ногами пошкрябала. Под прилавком полы железные, а под ногами у продавцов кафельные, их просто содой посыпашь и обдаешь кипятком. Милое дело. А в зале, ну что в зале, там цемент, там погоняла шваброй воду, и все. Столы, потом столы. Эти уже с хлоркой, и щеткой их, щеткой. И щелоком. Холодильники. Какая зараза эти холодильники: натекло рыбьей крови. Всю ее тряпкой собери и уже эту тряпку выкинь совсем на помойку. Тут уж что соды, что хлорки — все мало. Без уксусной эссенции никак. А то соскоб на ватку — и под микроскоп. Кто видал этот микроскоп?.. Как болит печенка после холодильника...

Десятый час. Оли нету.

Теперь что? Теперь перебрать картошку. У Витальки в подвале под магазином еще с прошлого года своя картошка хранится, мешка полтора. Теперь тапок зашить, порвался тапок. Постелить собаке в закутке за бочками, оценилась, дура, мало Марусе хлопот. Сбежать в универмаг за батарейками для фонарика и посветить фонариком электрикам на потолке. Теперь что? Таскать подносы и ошпаривать подносы. Подмести двор. Но прежде новую ручку к метле приделать. Теперь сплести для Виталькиной гусыни гнездо, у Витальки гусыня села на яйца. Уложить шланг в кольца. Шланг, он, как человек, к нему подход нужен: воду открываешь медленно, ждешь, пока он весь вздуется, а уж потом берешь наконечник и направляешь струю куда следует. Не так, как Оля: открыла вентиль с размаху, на весь выверт, он ее и шибани наконечником в бровь да вокруг ног обвился три раза, как удав, и на пол кинул. Она теперь к шлангу не подходит. Потом что? Потом отнеси в банк восемь килограмм двухкопеечных монет. Света попросила. Хорошо. А теперь посиди тропки на ящике.

Можно и посидеть. А то все равно сажа ждет: разведи ее с известкой и побели два метра стены в курилке. Синькой нельзя — заплуют. Разве это люди? Нет, грузчики не люди. Потом надень на кадку с кильками еще один обруч, а то подтекает. Вытащи гвоздь из порожка, этот гвоздь тапки рвет. Сбегай в собор за лампадным маслом. Приходила одна бабушка, сказала, дают, только не очень много. А много и не надо. Свяжи веревку. Веревка всегда нужна, а ее и нету. Подтяни струну над окном — занавески висят, как кальсоны. Почисть от грибов торцовую стену. Это дело легкое — граблями. Главное — не давать им деревенеть. Потом разори голубиные гнезда, а то всю витрину закалили, птенцы повзростали — можно. Поставь пять мышеловок и два капкана на бурую крысу. Бог даст, хоть на этот раз попадется. Семь лет не могут поймать бурую крысу. А она сгрызла атласное знамя центрального торгового с золотой бахромой, совсем, вместо уха у Ленина теперь дырка зевает. Ох, Алюся еще не знает. Чем только не приманивали эту крысу: и сырокопченой, и глазированной сырком с изюмом, и вяленой осетринной щекой, и, прости господи, даже просвиркой... Эта крыса такой умный человек...

Одиннадцатый час. Оли нету.

Ой, Виталька пришел! Кудри толстые, тяжелые, словно из камня выточенные, живот, ноги, две сиськи, две такие сиськи! Колени, как волки! Икры,

бедры — все выложил мышцами, сплошная мякоть, ни грамма сала, так, немножко, не ощущается...

Витальку тут же словили две бархатные дамочки, одна с телевидения, а другая красивая, железнодорожная кассирша, и под локотки затанцевали его было на второй этаж в кабинет. Он огляделся:

— Ой! Практиканточки!

Он сделал глаза щелочками: практиканточки! Он зацеловал их взглядом через плечо. Работайте. Про ножи предупредили зайчиков? Острые! Работайте, рыбоньки золотые. Левый глаз крутнулся и наткнулся на Марусю:

— Санписстанция, Маруся, не забыла? Шуруй давай, не стой, как столб!

Маруся подняла с плитки чайник с кипятком и пошла поливать дуб, сегодня ее очередь поливать дуб. Оглядела его с укором и только наклонилась к стволу, как земля расступилась перед ней и обнажились корни: настоящие, живые, работяги, они качали воду, волдыри от ожогов покрывали их...

Маруся отошла в сторонку и вылила воду на тротуар:

— Что мы делали?.. Живой же человек...

Вернулась в бендежку. Села. А дадут посидеть?

— Маруся! Вытри лужу!

— Маруся! Масло разлили!

— Маруся! Плюнули!

— Маруся! Просыпали!

— Маруся! Хлорки!

Никто не крикнет:

— Оля! Хлорки!

У Оли диагноз ног. Оля растет для родины десять детей. Оля ловит ссыкунов, арестовывает их, бьет палкой. Ссыкуны — это хорошо. А кто окна помоеет? Кто витрину помоеет? А ну-ка, чтобы прозрачно! Намахаешься, пока прозрачно. А витрина — это тебе не прошла прическу поправила, витрина — это тебе не форточка...

Ну ладно, витрина. Стекло, оно и есть стекло, его каждый дурак помоеет. А собери-ка муляжи и прополоскай их в щелоче! Резиновые сосиски развариваются, деревянные сыры коробятся, а пластилиновый окорок, тот вообще растаял! «На сыре, на разрезе, должна выступать масляная ка-апля...» Какая капля, когда он деревянный?..

Оля, ну что Оля? Оля и сидит, и дремлет, и — устала. И ноги у нее болят, и пузо пучит, и изжога, и матка выпадает. Оля ходит — понедельник, вторник, среда — лечить лазарем нос. У нее такая аллергия — курице клюнуть некуда, вся в пятнах. Суббота и воскресенье — у нее солей. Только пятница свободная. Но в пятницу у нее матка выпадает.

Оля. Оле всю дорогу везет. Села у себя во дворе пописать — и намыла золотой царский червонец. Машина, в которой она поехала за селедкой, шесть раз перевернулась — в бутылку, а у Оли ни одной царапины. Это же ей в сорок седьмом году подарили таз кишок и таз крови. Вам не надо рассказывать, что такое сорок седьмой год и чего стоили тогда свиные кишки?..

Один раз только ей не повезло. Когда «скорая» приехала делать ей укол от головы и врачаха украла у нее с серванта золотое кольцо. Вот сейчас лежало, а вот сейчас уже не лежит! Ладно, не докажешь. Только с того времени у Оли больше не болит голова — украла ее, боль ту, врачаха вместе с кольцом. Опять, видишь, повезло...

Маруся прошла в зал глянуть, что осталось после очереди. Битый камень, пуговицы, презервативы, пёртсигары, бомба, торт с кремом, выкидыш, сундук, полсвиньи в мешке, двадцать долларов, пакет с облигациями госу-

дарственного трехпроцентного займа, початая бутылка кефира... Отсортируй, что куда: что в урну, а что в кабинет Витальке снеси...

Народ, везде народ...

Кто только не приходит.

Приходит Яша. Денег у него нету, и он ждет, может, его кто-нибудь угостит.

Приходит Андрей с ученой свиньей Машкой. Всегда выпимши и всегда без денег. Вот ему всегда кто-нибудь наливает.

Приходит баба Вета смотреть, как играют в карты на деньги.

Приходит электромонтер Витя. И все лезут на столб на спор. Витя посылает сына Илюшу домой за крючьями, вытаскивает из кармана мятую трешку и важно кладет ее на землю под столб. Яша беретса первый. Он неторопливо застегивает ремни на крючьях, ему дают советы, свинья Машка грызет его за ремень. Высоко поднимая ноги, Яша идет к столбу и смотрит вверх, оценивает. Наверху сидит ворона, чистит клюв и смотрит вниз.

— Шатни-ка столб на меня! — приказывает Яша.

Все шатают столб.

Приходит опереточный певец, исполнитель арии цыганского барона, и ругается матом с продавцами.

Старик с третьего этажа, угловой подъезд, в туфлях на босу ногу, жалуются:

— Маруся! Как я ненавижу Шопенгауэра!

И берет себя за грудки:

— Гордыня! Гнев! Зависть! Лень! Чревоугодие! Ханжество! Слостолубие! Как мы погрязли в них!..

— Да, везде грязь, — подхватывает Маруся, — дождь...

Приходит Виолетта, знаменитая дикторша с телевидения, красавица, умница, та самая, что убила молотком по голове своего любовника, он еще потом целый месяц в больнице провалялся, теперь путается с одной буфетчицей из райисполкома.

Приходит писатель Чингиз Айтматов. Это он по телевизору такой добрый, а на самом деле сидит, молчит, а сам красный-красный. Маруся поднесла ему мизинчиковых пирожков с ливером, так он даже не притронулся.

Режиссер Эмиль Лотяну — то в одном костюме, то в другом костюме. Повешусь, говорит, никак не найду девочку на главную роль. Свеженькую, не старше девятого класса. Оля водила на пробы свою Нелю. Что вы, она чуть не прошла. А прошла, говорят, одна пэтэушница, она училась на официантку. Лотяну честный мужчина, после он на ней женился. Как-то на Гоголя он купил у цветочницы целое ведро гладиолусов и пошел в сторону Зеленого театра. А что дальше было, Маруся не видела.

Знаменитый доктор Тетрадев из третьей больницы, что у полгорода почки вырезал, такой дурашливый — щиплется...

Директор Института геофизики и геологии Анатолий Анатольевич Дорожкин приносит завернутый в газету большой, как футбольный мяч, метеорит. Он теперь у Маруси в бендежке в ведре с керосином мокнет, что с ним делать?..

Приходит Леопольд, маленький, с большой седой гривой и со скрипкой:

— Когда ты, Маруся, придешь ко мне на концерт?

— Что ты, Леня! Какой концерт? Ты мне здесь сыграй.

Леопольд берет скрипку, кладет на нее щеку... Звук взлетает высоко-высоко: на одной ножке постоит, на одном пальчике, на ноготочке, вот-вот свалится, скрутится, пискнет... Нет: по ступенькам, по ступенькам на землю спустился...

— Леня-Леня, — вздыхает Маруся, — играл бы ты на свадьбах, давно миллионщиком стал...

Сын скульптора Рубиновского, который Григория Котовского на коне из цельного куска гранита высек, приносит глиняные свистульки по пятнадцать копеек. Все купили. А Маруся нет, зачем ей?

Кто только не приходит.

Но никто не может помочь Мите...

Одиннадцать часов. Оли нету. Двенадцатый — пришла!

Задом нащупала табуретку.

— Маруся, на Старой Почте татарник съел человека! Правда, он был пьяный, — выдохнула она.

Маруся разводила щелок.

— Маруся, американцы эти, с выставки, нам такого шашеля подкинули: и в муке живет, и ящички с патронами просверливает. Потом уже из этих бомб стрелять нельзя!

— А и не надо стрелять.

Завтра санписстанция, какие еще там бомбы?..

— Маруся, кто целовался с американцами, у всех выпали зубы. Они такой микроб придумали. А американские открытки... Вот занеси их в дом, так мухи уже не залетают. Во-от! Вроде хорошо, а с мухами все-таки спокойнее...

— Да, с мухами спокойнее, — соглашается Маруся.

— Негры их пахнут курами, то есть перьями, почти что подушками. Знаешь, есть негры, так они пахнут мокрой калиткой. А еще есть такие, что просто пахнут: встанешь рядом, а он пахнет, и все. И ходят они, как женщины: задом виляют. Все американцы виляют задом — дескать, вот какие мы богатые!..

Оля надела халат, подпоясалась прорезиненным фартуком, сменила сапоги на легкие спортивные кеды.

— Маруся, вот что я вчера узнала: все немцы евреи!

— Как это?

— Да! Они только притворяются, что они немцы... — Оля прервала себя на полуслове, прислушалась: — Ой! Слышишь? Ссыт кто-то! Ах ты черт!..

Олю как ветром сдуло. Она побежала ловить ссыкунов. А то устроили в арке уборную!..

Оставшись одна, Маруся задумалась:

— Не могут все немцы быть евреями. Нет. Сколько-то немцев есть немцы...

— Маруся! Маруся!

Голос доносился со двора.

— Маруся! Маруся! — передразнила она его. — Чего еще от Маруси надо?..

Она вышла во двор. Дождь вожжами хлестнул ее по плечам.

Кричали сверху, с самого высокого, восьмого этажа. Маруся заслонила лицо ладонью, запрокинула голову: Тамара.

— Душа моя-а! Помираю-у!

«На тебе! Только утром пела на балконе!» — подумала Маруся, а вслух сказала:

— Чего та-ак? Чего болит-то?

Весь как есть колодец двора подхватился и уткнулся носом в окна.

— Все-о! Под ложечкой! Под мышкой! Уши, спина, вены, ногти!..

— Вот тебе и Испания! Не ижжяй больше!

— Поднимись, душа, полечи меня...

Марусю нет-нет да позовет кто-нибудь пройтись по косточкам, по живому мясу, по хребту... И хотя она щемит все подряд наобум и просто делает

больно, тем лучше ее зовут: подразумевают большое мастерство в пальцах. А Марусе что: позвали — иди. За тридцать копеек, за пятьдесят копеек, за десяток яиц или за балкон бутылок. Она их сполоснет чистенько и сдаст в пункт, как-то аж два рубля заработала. А шестнадцатая квартира подарила мешок полтавки килограмм на восемь, правда, с шашелем...

С Тамары Маруся денег не берет. Тамара скостила Мите шесть месяцев. Да Виталька шесть. Да через вахтера в райисполкоме три. А шесть месяцев — это сколько раз по пятьдесят копеек?..

Маруся вымыла руки с мылом, заперла бендежку, а то валят все кому не лень, и поднялась на восьмой этаж.

В квартире Марусю обнюхал мерзкий пес шницель-разин, тучный, длинный, на коротких лапах, с волочащейся по полу сочащейся писькой. Маруся брезгливо отодвинула его ногой.

— Что с тобой, Тамаронька?

Тамара была в черном атласном халате с изумрудными драконами и сине-алыми костерками по подолу. Судя по халату, она сегодня поела тарелочку борща, селедочки, персикового компота и еще что-то рыбное, может быть, даже вареную голову толстолобика.

— Вот, — простонала Тамара, — завернула свои бриллианты, и золото, и все в бумажку, а потом выбросила ту бумажку в окно, в форточку...

— Ай! — всплеснула руками Маруся. — И давно?

— Вчера...

— Не глядела, может, еще лежит?..

— Какое там!.. Я не во двор, я на улицу. Давно уж подобрал кто-то...

Они прошли в залу. Маруся огляделась: стены, какие красивые стены! Обклеенные дорогими штофными обоями цвета топленого молока с кремовыми вензелями. С потолка свисала люстра из цветного хрусталя, укутанная в золотые и серебряные листья. В простенке между окнами как раз уместился небольшой диванчик: по голубой земле серебряная трава и кое-где по незабудке. Посредине дивана, ох, на самом видном месте — подпалина от утюга. Витые, инкрустированные медными волосками ножки изъедены собакой до голых щиколоток...

Стой! Откуда взялись эти старые рогожки? Где пол? Где паркет? Паркет из разноцветного дуба с павлинами и леопардами!..

— Эй, Тамара! Куда полы подевались?

— Все ему отдала!.. Все! Пусть забирает. И еще кооператив куплю, уже договорилась... — простонала Тамара. — Надоело... Я потеряла вкус к подобной любви...

— Какой еще вкус? — не поняла Маруся.

Она посмотрела: полное запустение! Где персидский ковер, тканый из золота и серебра? Где малахитовый столик, а на нем серебряная шкатулочка с перегородочками, обложенная бесценными синими камушками? Ой, зеркало! Нет зеркала... Двух зеркал! Одно в золотом обруче, круглое, в нем по утрам, с полдевятого до одиннадцати, плескалось солнце, и другое, на крючьях в виде львиных клыков... А еще шкаф. Невысокий, трехстворчатый, верх стеклянный, с нарисованными дымчатыми кренделями и капустными листьями и как будто выжженным белым огнем, на полочках золоченые рюмашечки с наперсточек, внизу три выпуклых деревянных пуза с разводами в виде крутых женских бедер. Карельская береза. Рядом стояли часы с курантами, с качающейся медной тарелкой, длинные, как человек...

— Нечего пялиться, — подала голос Тамара.

Один только фарфоровый китаец кивал с подоконника. В стекло бились старые усталые мухи.

— Ты бы ему еще кусок стены подарила! Вкус она потеряла!..

Тамара тяжело вздохнула:

— Маруся, ты знаешь, что такое ревность?..

— Ну что?

— Крыса между ребрами...

— А то ты, Тамара, не знала — все они кобели... Скидывай халат!

Тамара прошаркала в спальню. Маруся за ней.

— Я приезжаю с гастролей... Весь мир мой! В Мадриде толпу перед театром разгоняли быками. В Париже — конями. А в Стамбуле — львами. Меня закидали бриллиантовыми кольцами. Приходили за кулисы смотреть, не накладные ли у меня бедра. А один испанский цыган, богатый, как сто китайцев, встал передо мной на колени, взял мою ножку, обутую в сапожок со шпорами, и водрузил себе на плешивую башку. Одних вееров я привезла сорок семь коробок... И что я нахожу? — Тамара растелешилась и легла на широкую, мурлыкнувшую под ней койку. — Я нахожу эту блядь из кукольного театра. Петрушечницу! Первую городскую проститутку! Шпильки ее тут, волосы, за диваном лифчик валяется!..

— Кобель... — вздохнула Маруся и закатала рукава.

Эти кипенно-белые, алебастровые, ослепительные, скользкие, ускользающие, выскальзывающие ляжки, эти мягкие, словно талое маслице, локотки, эти розовые, наивные, глупенькие, как молочные поросятки, груди, эти круглые, пологие, широкие, полные, белые-белые, словно насквозь белые, плечи, эти ладошки, как оладушки, эти сонные, вылепленные из мягонького бело-желтого фарфора пальчики с узенькими, к концу суживающимися, с вогнутыми, как у курицы, розовыми ноготками, эту шею, белую, толстую, но длинную, без единой морщины, гладенькую, сотканную из нежной белой верблюжьей шерсти, предстояло плющить Марусе своими худыми, высохшими, с твердыми синими жилами, изъеденными хлоркой, щелоком, холодной водой сильными пальцами...

Она утопила их Тамаре в живот, как в снег, и дала легкую затрещину аппендициту. Мысок с воткнутыми, словно в белую глину, паховыми волосками прикрыла простынкой.

— А ты похудала, Тамара, истаяла, — сказала Маруся.

— Посадили на яблочное пюре и воду. Через три дня сунули помидор. Разве я могу петь на основании помидора?..

Маруся посмотрела на выкручивающееся, выщелкивающееся под пальцами сальцо и согласилась:

— Да, сил тебе много надо...

И она начала перебирать кожу мелкими-мелкими складочками.

— В управлении культуры зависть и интриги, интриги и зависть, — простонала Тамара. — «Я привыкла иметь дело с интеллигентными...» Это она сказала мне!! Маруся, эта... из пединститута! Как она могла?! Как она посмела так сказать?!

— Да что сказала-то? — не поняла Маруся.

— Неинтеллигентная!

— Ну-у, это еще не жопин внук!.. — протянула Маруся. — Делов-то! Показала бы ей кукиш в кармане...

— Я!.. Я — Золотая Чю-Чю-Сан! Я — Платиновая Норма! Кто берет мои верхние ноты?

— Кто? — насторожилась Маруся.

— Никто!

Маруся подумала, что Оля и громче провизжит, но вслух ничего не сказала.

— Крестьянин пашет. Строитель строит. Поп молится. Судья судит. А они что делают? Управление культуры!.. А меня знает весь мир! Куда бы я ни шла, звездное небо передвигается вслед за мной. Дороги, по которым я иду, покрыты яблоневыми лепестками. А счастья нету... Племянницу при-

грела, так она притон развела. Нет, вернусь домой. Буду петь в клубе, в хоре...

Тамара разнежилась, пропотела, по ее щекам текли слезы:

— А, Маруся, пока не забыла: снеси шубу в магазин. Помнишь, мне на прокат давали. Она на кухне на табуретке лежит. Возьми, что ли, с них расписку — вещь все-таки дорогая. Один раз только и надела, в Финляндии, прошла полквартиры, никто на меня и не глянул...

Маруся накрыла Тамару простышкой, потом верблюжьим одеялом и тихонько прошла на кухню.

Шуба валялась на полу. На ней лежал пес шницель-разин. Господи. Маруся согнала его, подобрала шубу и встряхнула ее. Серебристо-черный мех, низ подбит черными же соболями, на воротнике серебряные витушки, на рукавах бурая волна по бледно-желтому полю, подкладка мутно-красная, с черными мухами, на широких манжетах и на воротнике по большой блестящей дутой пуговице...

Маруся завернула шубу в фартук и спустилась во двор. Прошла в меховой, он рядом, за молочным, на Ленина, и отругала продавцов за такую дорогую шубу: нате, сказала, вашу шубу, ищите других покупателей! Надумают же шить такие дорогие шубы! На Старой Почте дом трехэтажный с сараями и каменным сортиром дешевле стоит...

Она вышла на улицу. Дождь не дождь, а народ так и шныряет туда-сюда. Маруся оглядела грязный мокрый асфальт, задрала голову, нашла Тамарины окна, провела по воздуху черту от окна до земли и снова пошарила глазами по асфальту, под зеленой от сырости стене. Нет, нету... Ай-ай-ай! Бумажка! Вон какая-то бумажка!

И Маруся подросла в ту самую минуту, когда крестьянин с двумя ведрами вишни поддел ее, уже затоптанную, надорванную, и поволок на галоше пучок золотых цепочек. Маруся цап его за колено и соскребла цепочки. Осмотрела все вокруг, присела на корточки, пошкрябала ребром ладони по тротуару, насобирала сверкающих зернышек, серег, колец, брошек... Под стеной, в воде, лежал огромный перстень. Она нагнулась над ним: ощерившись, на нее смотрел злой паук! Рубин на его спине был тепл.

Маруся сторожко подобрала его, еще укусит, и отнесла и цепочки, и все вместе с грязью обратно на восьмой этаж.

Тамара вышла сердитая: она только что заснула, а Маруся ее разбудила.

— Вот! Возьми свои сережки! Некультурная ты, Тамара! Мусор надо в ведро выбрасывать, а не в окна, на голову проходим...

Тамара равнодушно кинула драгоценности на трюмо и зевнула:

— Возьми вот, сорок копеек, больше у меня нету...

Санитарии сыпучку. Кипятили в баке тряпки. Маруся вспомнила, что ее звали в райисполком за транспарантами. Сходила, забрала. Ой, какие плохие транспаранты! Вроде недолго повисели, а ткань расплзлась. Ничего из них не сошьешь — ни занавески, ни наперника. Только на тряпки и годятся. Да и то один раз по залу пройдешь, и расплзутся...

Санитарии тару.

Пусть будет все на свете. Дождь перестанет. Засветит солнце. Трактористы вернутся домой. Сольют воду из озера и дадут выкопать Дусю и маму. Продвинется очередь на уголь, хорошо бы тонны две отпустили, сразу на два года. Пусть уродится смородина, в прошлом году на базарчике на остановке хорошо разбирали смородину стаканами...

Но Митя там, и ничего не надо...

Адвокат сказал: пятьсот рублей. А Маруся никогда не видела пятьсот рублей. Где взять пятьсот рублей? Сходить на Гоголя, восемь дробь один, ее звали туда убираться на ноябрьские. Дора Лазаревна! Берта Лазаревна! Не

надо окна помыть? Поскоблить чугунок, сковородки? Нет? Не надо? Ох, они теперь сами почему-то моют окна, сами скоблят сковородки.

Позвонить к этим, которые женили сына на директоре центрального универмага. Вам, может, некому посидеть с внуком Даником? А то он выходит на балкон, спускает штанишки и показывает девочкам свою пипиську. Но и они машут руками, что нет, они сами сидят с Даником, выпорют, как следует, и сидят.

Граждане. Люди и дамочки. Даже партийные. Хоть вы и партийные, а не обрядить вам вашего покойника? Спеть причитание? Нет? Не надо. Теперь раз в год, если кто и помрет, то хорошо, а так живут себе.

Кто-нибудь! Может, у вас бородавка? Может, вам выщептать бородавку? Ниточкой перевязать и в навоз закопать... А ладно: вывести вам лишай. Хоть на щеке, хоть в волосах! Берешь слюну на голодный желудок... Перевернуть вам паралитика? Прорыть канаву, дожди вас еще не затопили? Побелить хату? Обобратъ вишню с самых высоких ветвей? Маруся, она легкая, ее каждая ветка поддерживает. Подоить вашу бодливую козу? Рассказать сказку про лису со скалкой? Слушайте, дама, давайте я побрею вам пятки. Это же некультурно — носить такие пятки: трещины, как у верблюдицы! Сейчас не надо? А когда надо? А то я тут недалеко, в рыбном. Крикните: Маруся! И я сразу выскочу...

Пятьсот рублей. Кто придумал пятьсот рублей?..

Маруся прошла в зал и взяла с прилавка два уже расфасованных пакета с селедкой:

— Шас выйду и скажу: четыре восемьдесят! четыре восемьдесят!

Чтобы пятьдесят копеек себе.

Или нет:

— Пять рублей! Пять рублей!

Тогда уже семьдесят копеек.

Маруся пошла во двор, повторяя:

— Пять рублей! Пять рублей!

А когда показалась арка, а в ней куча нервных крестьянок, язык сам собой сказал:

— Четыре тридцать... Два пакета по четыре тридцать...

Опять не получилось. Что у нее за язык? Оля вот за восемнадцать рейсов сорок рублей уже наварила.

Маруся отнесла выручку Васе. Вася, не считая, кинул деньги в кассу.

Прибежала Оля. Запыханная, мокрая. Она успела слетать в универмаг — оторвала десять метров сатина. Всем по пять, а ей десять, она же героиня.

— Скорей, скорей! Медосмотр! Давно зовут!

Медосмотр сдавали на втором этаже, в красном уголке. Маруся с Олей встали смиренхонько у дверей.

— Очередной! Проходите! — крикнули из уголка.

Маруся вошла и видит: в белом халате, в белой шапочке — мальчик. Розовый, улытый, зеленой пахнет, над верхней губой светлые молодые усы.

— А где Эсфирь Соломонна?

Нет-нет, уже нету Эсфирь Соломонны. Вместо нее мальчик с усами.

Сначала он накачал на ее руке грушу для давления, потом как ни в чем не бывало сказал: ложитесь в кресло. Какое кресло, зачем кресло? Сынок, в шисят лет уже не бывает кресло. Сначала надо у людей спросить, у Эсфирь Соломонны. Вот она умеет обследовать болезни: надо мять живот, под ребром мять, смотреть язык, дергать за веко. Эсфирь Соломонна людей сорок лет знает без твоего кресла. Нет — в кресло, в кресло. Вы имеете дело с пищей. Не имею! Имеете! Дайте соскоб! Это у молодых соскоб, а когда, как сейчас, то соскобы все уже заканчиваются...

Сестричка сидела прежняя, Таечка.

— Таечка! Скажи ты ему!

Таечка делала Марусе знаки, но Маруся не понимала.

— Перчатки надел! Эсфирь Соломонна говорила про печень, про мочу, а перчатки не надевала. Она смотрела на язык — и все. Ты лучше скажи, почему ухо свистит, родинка на шее горит, жгет, во рту — как пятак пососала. А нечего перчатки показывать!

Мальчик осерчал и отложил ее карточку. Не подписал в нее какие-нибудь слова. Сказал: отсранить от работы! Ой! Отсрани! Пусть Виталька полы моет, у него все соскобы есть.

Маруся спустилась в сыпучку, протиснулась между мешками с мукой и спряталась там. Ей кричали и Таечка, и Аллюська, и секретарь комсомольской организации, но Маруся не отзывалась.

Оля отыскала ее. Она сникла на глазах и сделалась тяжелобольная. В зрачке легла наготове слеза.

— Ой, у меня такой диагноз ног... — Она сломала слово пополам и начинила его стоном.

— Сейчас у всех диагноз, — вздохнула Маруся.

— Не скажи, вот доктор, у него такое высокое образование...

— Сейчас у всех образование.

— Нет, Маруся, он ходит в церковь...

— Сейчас все ходят в церковь.

— Не говори так, сейчас в церковь ходить нельзя — ругают по партийной линии. Так вот я ему говорю: как поем, так вот тут, под ложечкой, будто кулак вскакивает и мясо само собой, самостоятельно дрожит. А он отвечает: так нам же не семнадцать лет, а уже девятнадцать. Маруся, ты поняла: «девятнадцать»!.. Вот как, старые люди никому не нужны...

Вот влетел! Чуть с ног не сбил. Виталька. А за ним Ленусяка из театра оперы и балета с кривыми, покрытыми черными злыми волосами ногами. И с размаху прыгнула ему на шею. Виталька поцеловал ей сначала пальчики, потом лоб, потом темечко и височек. Да, ему стоило труда отлипнуть от нее. Вот, вдевает ей в уши золотые сережки и цепляет на грудь золотую бабочку. Камушки на ее спинке выстреливают три искры подряд...

Виталька, Виталька... На кого ложится твой слепой глаз?..

Одна была с заячьей губой. Сисикала в разговоре, дергала плечом и тянула шею. Другая скашивала колени внутрь, они терлись друг о друга, ее колени. Правда, у нее была нежная белая кожа. Мелкие стружки волос щекотали у нее за ушами, может, поэтому она все время смеялась. Еще одна была вся в морщинах, как печеное яблоко. Но у нее под старым растянутым свитером подскакивал высокий бюст. Идет, а бюст скачет: налево, направо, вверх! налево, направо, вверх! Носила обувь без каблучков. Переплетала икры ремешками крест-накрест до колен. Ох, и легка же была у нее походка!.. За щекой жевательная резинка, папиросочка на заслонявых губах, пела песни под гитару. Что же вам еще?..

...Виталька сам, своими руками, выкатил на середину бочку из-под килек. И Ленусяка вспрыгнула на нее: задик на откосе, как у пчелы, талия передавленная, узкая, кожа смуглая, матовая. Она вынула из туфелек узенькие ступни, длинные, нежные, пальчики пучком, и отбросила туфельки в обступившую ее толпу. Сейчас она всем покажет!

Виталька рассыпчато захохотал нижней челюстью. Мясо щек его тоже отдельно рассмеялось. Разложенный на три складки затылок покрылся росой. Он зашептал ей на ушко:

— Что я с тобой сделаю!.. Потом... Я с тобой то-то, то-то и то-то сделаю!..

Маруся наткнулась глазами на Федю. Он стоял в дальнем углу, щепил на лбу прыщик и шурил глаза.

Когда она спустилась в бендежку, кто-то быстро пробежал по коридору: билась громко селезенка, жидкость на бегу вслух пахталась... Маруся выглянула в коридор — никого. Она задумалась, потом проскочила в сыпучку, в ее дальнее колено, подставила под окошко ящик, встала на него, оглядела улицу: Федя! На своих утячьих ногах он бежал через дорогу к телефонной будке... Эх, душа твоя с чесноком! Что сейчас будет?..

Маруся поднялась на второй этаж. Все как раз кончили хлопать.

— А тот, он был плохой человек, забудь его! — шептал Виталька Ленуське. — Я приехал сегодня только ради тебя. Я и в театр ходил. Разве ты не догадалась? Мы поедем на лиман купаться и загорать! Там дождя нет. Представляешь: с утра до вечера шпарит солнце! Как в Сахаре. Ах, в Одессе холера? А холера с ней, с Одессой! Поедем в совхоз, на бахчу! Я тебе все объясню: в Одессе холера, в Сочи дорого, поехали на бахчу!

И Виталька повлек Ленуську в Марусину бендежку, на ходу принаравливаясь к ней сзади...

Уже через пятнадцать минут вбежала Женюра: узкое платье из оранжевого бархата, талия на бедрах, на них широким обручем серебряный пояс. Женюрины глаза метали молнии:

— Где Виталька?

Все стояли не шелохнувшись и смотрели на нее обреченно.

Женюра тряхнула головой, и у нее тут же посыпались под ноги все шпильки и заколотые в волосы синие бумажные цветы. Волосы легли на спину большой черной раненой птицей и тяжело дышали. Сквозняк подхватил и высосал в форточку ее тонкий газовый шарфик.

Маруся сунула руку в карман и вынула все, что там было: крошки и сор. Женюра уставилась на Марусю, словно она сейчас вынет из кармана Витальку.

— Мо быть, в банк пошел, — задумчиво произнесла Маруся и высыпала на пол платьевую пыль и крошки.

Виталька вышел из бендежки. Сладкая зевочная слеза затопила его глаза. Он оглянулся по сторонам, потянул по очереди руки и ноги. И наткнулся взглядом на Женюру.

— Па-па, где ты был? — прошептала Женюра.

— Ма-ма, ты же знаешь... — тоже шепотом ответил Виталька.

Женюра хрясь его по мордотрещине! И так три раза. И упала на затылок. Ногами засучила, глаза закатила, заблелала...

Виталька нагнулся к ней и выдернул изо рта пену, как стружку.

— Нежная дамочка жена директора, — проговорил кто-то сзади с легким безразличием. — А нервы тугие, звенят...

— А схожу-ка я в пельменную, куплю тарелку супа, — сказала Маруся и пошла себе, чего смотреть, как Виталька вышел в зал, плача, как ребенок.

Она купила тарелку супа, да только ложку пополоскала: не принимала душа пищи...

Вернулась в магазин — народу никого. Посреди зала стоял Виталька, белый, как белый бык, и шумно дышал через ноздри.

— Где Вася? Где Игорь? Где Давидович? — промычал он.

— Так как День Военно-Морского Флота, то пошли на пруд купаться! — крикнул кто-то невидимый из-под прилавка.

— Купаться?! Где эта лошадь говорящая? Алла Николаевна! Ты парком или говно в стаканчике?! От тебя не то что в Израиль, в Калмыкию удерешь! Народ распустился. Запиши фамилии. Записала? В приказ, сразу в приказ. Так, где Пална?

— У нее нос.

— Что?!

— Пошла лечить лазарем нос — аллергия на дождь.

Виталька задрожал:

— Завтра санписстанция, а у нее нос?! Где Оля? Маруся, где твоя Оля?

— Оля в уборной.

— Где уборная? — Виталька забарабанил ногами в дверь уборной. — Эй, героиня! Ты что там, мемуары пишешь?!

Виталька порвал на своей рубашке оба кармана. На той самой рубашке, которую снял со своего плеча директор американской выставки, и еще ручку подарил, а в ней голая девка по-лягушачьи плавает. А Виталька ему за это — на! — серебряный бочонок с икрой да четверть трижды перегнанного самогона на лимонных корках. Эти американцы пришли одиннадцать человек с одной бутылкой, оплетенной какими-то веревками, не видно ничего, сколько там. По мензурке налили, и кончилась бутылка.

— Сима! Где Сима? Иди сюда. А расскажи-ка, Сима, как это ты покупателя обвесил на двадцать шесть килограмм?..

— Я нечаянно! У меня весы замерзли! Я нечаянно!

— Ох, Сима, устрою я тебе путешествие слона по жопе таракана, первая и вторая серия, а кинотеатр в Мордовии... — прошептал Виталька севшим вдруг голосом и утопил кулак в стену.

Народ, какой еще был, весь разбежался. Виталька прошел вдоль прилавков и скинул на пол ножи, гири и разделочные доски.

Одна Маруся ходила за ним по пятам и подбирала в фартук все, что он кидал на пол.

Виталька повернулся к ней:

— Ты!.. Ты... Старая! Кому, кому ты нужна?! Твой сын сидит в тюрьме! Иди на пенсию! Алюська, в приказ: с сегодняшнего дня Марусю на пенсию!..

— Кабы ты не облез... — грустно ответила Маруся. — И хватит сорить, два раза за тобой убирать не буду. — Она высыпала из фартука ножи и пошла себе.

— Ма...рия Христофоровна!

— Ой!

Алюська то цокает, цокает, а то бархатно подходит, тихонько. А Маруся как раз присела на ящик из-под сардин, эти ящики, если их на торец поставить, то хорошо на них сидеть, ноги не отекают.

— Вот вы, Мария Христофоровна, не переставая, жалуетесь, что устаете. А я, как ни пройду, все вы сидите. Все-таки хорошая у вас работа...

С Алюської нельзя спорить, надо говорить в лад.

— Да, работа моя хорошая.

Алюська газеты читает, а Маруся не читает.

— Вот доктор, — продолжает она, — он молодой, да. Но это не значит, что ему можно хамить, — Алюська смотрит ласково, но от ее взгляда ноют печенки. — А вы не даете себя осмотреть, прячетесь по закуткам, по бендежкам. Вас ищут. За вами бегают фактически весь торг. А доктора не похвалят, если что...

— Нечего в меня пальцы ширять. Мне шисят лет.

Алюська на глазах покрывается чешуей. Ее шея становится цвета обветренной говядины.

— Вы имеете дело с пищей!

— Я имею дело с грязью, — все-таки возражает Маруся.

— Но вы мимо проходите, дышаете на нее...

— Не дышаю, — настаивает Маруся.

Алюська — женщина с жабрами. То есть свистит грудью, когда не по

ней. Особенно когда дело заходит про коммунизм или чтобы сдать кал на анализ. Или ей стукнет в голову этот... Макс. Или Ленин. Тогда все. Она кушает воздух и не может больше спокойно находиться. Очень она их уважает. А Маруся их тоже уважает. Она, когда ходит в парк, то смотрит на них. Ленин сидит. И Макс сидит. У Ленина на коленях кошка лежит. У Макса, у того ничего не лежит, просто руки лежат. Под ноги им тюльпанов посадили. Поливают их. И Макса с Лениным тоже поливают, из шланга. Как придешь, они всегда мытые, чистые...

Слова Алюсйки струятся тихо, сладко, а как газ — тошненько... Но ее не тронь. Чуть что — кричит: псы сионизма, — и бежит жаловаться в профсоюз. Ей можно. Ее обнимал сам Фидель Кастро. И даже по спине похлопал. На другой день Алюсйке сразу холодильник «Днепр» подарили. А Марусе не нужен холодильник, у нее и так под домом ручей живет, прохладненько, никогда ши не прокисают. Поэтому Алюсйка честный продавец. Позавчера гналась за покупательницей по лужам полный квартал, чтобы вернуть пятнадцать копеек сдачи. Всех товарищами обзывает. Гири в руках пестует — боже сохрани подпилить: мы не имеем права на обвес — райком рядом. Алюсйка, конечно, умная и справедливая, ее даже выбрали председателем уличного комитета. Но она научила Марусю врать. Вот она спрашивает:

— Там идет дождь?

А что сказать: идет или не идет? Когда он уже три месяца идет.

— Вроде идет, — отвечает Маруся. — А с обеда уже вроде не идет.

Но душа так и свищет чрез ноздри: что будет?..

Когда умер Сталин, Алюсйка шныряла везде, как ящерица, высматривала, кто плачет, а кто не плачет... А Маруся не плакала: умер и умер, старенький уже. Вон Дуся какая молодая померла. Вот Дусю жалко. А полы кто мыть будет? За грязь ругают, а за слезы никто не учитывает. Алюсйка зло затаила: не плакала за Сталина!.. Тише тени проходит. И глаза у нее плохие: смотрют. Чего смотрют? К ней подходить опасно, и у прилавка, и в подсобке. Зюзит и зюзит: международное положение! международное положение! Зачем Марусе международное положение, когда комбайнеры в поле увязли, а трактористы вот-вот уедут в Карпаты валить лес. Что у гороха, что у фасоли — одни стручки. На Первое мая: «Ну-ка, празднуйте! веселитесь! бегайте в мешках!» Попробуй скажи Витальке: «Бегай в мешках!» Он укусит...

По коридору: шам-шам, шам-шам... Маруся прислушалась: Виталька. Еще раз шамкнуло взад-вперед. Потопталось у двери.

— Христофорна! Ты тут? Открой.

Маруся открыла.

— Где Оля?

— Ссыкунов ловит.

Виталька сел на тумбочку, раздвинул ноги, выдернул из-под себя из тумбочки ящичек.

— Что у тебя тут? Выпить нету?

— Воды дать?

— Ну, ладно-ладно!.. Я знаю, у тебя тут было... спирт на пчелином говне...

— На говне-е!.. На прополисе! От поноса держу, крепит.

— Вот-вот. Закрепи меня, Маруся. — Виталька говорил медоточиво, усталым, покаянным голосом. — Марусь, посмотри, веко красное? Болею что-то...

— Боле-ею!.. — передразнила его Маруся и полезла за прополисом. Она откупила чекушку, в которой плескалась зеленая, мутная, с хлопьями жидкость, отлила сторожку в рюмку, стараясь, чтобы без хлопьев.

Виталька выпил:

— Фу, ну и закрепило!..

Маруся опустила голову и посмотрела на свои сырые, с собранными в складки кожей пальцы.

— Ничего, Маруся, перебедемся, — сказал Виталька.

Маруся ничего не ответила. Ее большая родинка на ниточке горела огнем, она покатала ее по шее, ища место попрохладнее.

— Знаешь, как я болел. Приехал домой, в село, помирать. А матушка мне хлоп четверть кагору! Говорит, пей, сыночка, по пятьдесят грамм, и никакого туберкулеза. Ну, я сел с дружкой. И мы за один вечер эту четверть распили. Распили, и он говорит: «Лучше ешь собак!»

— Ты ел собак?!

— Ага! Стану я есть собак! Перерешили на сурочий жир.

— Помогло?

— Ага! Стану я есть сурков! Сижу как-то утром: рожа всмятку, от кагора только пучит пуп. Матушка мне и говорит: «Виталька, скосил бы ты за огородами люцерну...» Я скосил. Выпил молока. Опять покосил. Опять попил. Все, выздоровел!

Виталька рассмеялся.

— Вот люблю я украинску природу, теплый борщ, холодну воду, толсту бабу, як колоду, и полную пазуху сисенок!..

— Виталья-Виталья... — покачала головой Маруся.

— Маруся! Как надену канареечный пиджак, песочные штаны, кожаные сандалеты да как пойду на Комсомольское озеро кататься на лодке... Знаешь, какие там пловчихи на длинные дистанции тренируются?

— А Женюра?

— Да, Женюра... — вспомнил Виталька. — Все-таки семейное бремя меня удручает. А! Я живу так: пей все, что горьить, и... люби все, что шэвлитя! Ну нет, семья — это семья. Это святое. Маруся, а ведь она меня ни разу не застучала — не сдернула ни с одной женщины. Я ей сказал: «Женюра! Я дам тебе день на подружек. День на парикмахерскую. Я прочту «Гигиену брака». Я был идиот, дурак, псих! Вот тебе ковер на стену! Вот тебе палас на пол! Женя, сынок, у тебя есть папа! Дочка... Такая стервочка растет! Купил ей бальное платье.

Влетела Оля.

— Оля! — вскричал Виталька. — Сойди с ума: купи водки!

— Я расту для родины... — запела свое Оля.

— А я пузо с кишками! — перебил ее Виталька и хлопнул себя по животу.

Маруся пошла в молочный купить стаканчик какао из титана. Положила на тарелочку семь копеек. Света сказала:

— Не надо, Маруся, забери.

Маруся забрала и понесла горячий стакан к себе в бендежку. Развернула сверточек: кусок хлеба, намазанный топленным салом, кусок зельца с чесноком, выложила помидорки — горох, а не помидорки. Поднесла стакан ко рту, вдохнула горячий сладкий дух и отставила: Митя... Мите там сладкого какао с молоком не подадут...

Перед самой Пасхой ей приснился сон. Сон...

Они с Митей долго взбирались по крутой лысой тропинке, цепляясь за торчащие из земли голые сухие корни. Луна светила им в спину. Тени поводырями карабкались впереди. То ли листья, то ли птицы срывались с веток и метили в их белеющие в темноте лица. Грибы-дождевики лопались под ногами, выпуская свой сырой дым. В норах гудел ветер, наверное, они были сквозными. И опять овраг. Пошли по оврагу. Из глиняной стены бил ключ. Глина красная, спелая, сочная. Овраг разветвился на два отвершка.

Свернули направо. Дорога вывела наверх, в поле. Небо взметнулось, подпрыгнуло, и его стало затягивать вверх. Маруся посмотрела на него словно из глубокого колодца.

— Через черту не переходить! — приказал кто-то.

— Какую черту? — спросила Маруся.

— Не черту, а дорогу! — раздался тот же голос.

Оглянулись: и впрямь, дорога. Асфальтированная, в трещинах, в каплях мазута. Вдруг через дорогу перебежала пара — мужчина и женщина. Маруся с Митей тоже перебежали.

Через дорогу все было совсем другое: земля другая — теплая, от нее шел пар. Цветы кругом. Птицы поют. Цветы высокие, по грудь. Деревья, ветки, листья — ничто не шевелится. От невидимых паутин тени видимые. В воздухе летают бабочки — большие, как голуби. С веток, словно на чей-то зов, спускаются вниз бесчисленные паучки. Какое хорошее солнце, теплое. Там серо, темно, а здесь солнце. Дома деревянные. Лавочки у ворот. Люди там-сям. Старушки в белых платочках. Мужики играют в домино. Но переговариваются шепотом.

Вдруг все заволновались. Посмотрели в гору.

С горы спускался старик в грязной вылинявшей одежде.

Народ засобирался, и все пошли по улице в одну сторону. И Маруся с Митей тоже пошли.

И вот они гурьбой высыпали на площадь, окруженную низкими скучными домами. Из подворотен воняло мочой.

— Вот тебе и рай! — громко, на всю площадь сказал Митя.

Маруся охнула: ну что за дите — что хочет, то и скажет!

На обочине дороги, разрытой, в засохшей грязи, на бордюре, прямо на солнцепеке, впрочем, спиной к солнцу, сидел тот старик. Рядом, на ящике из-под вина, на мятой газете, был разложен его обед: длинный толстый парниковый огурец, полбатона, тронутые желтизной луковые перья, в промасленной бумажке — грудочка мелких поджарок серого талого сальца. Старик ел так: щепотью подбирал соль, запрокидывал голову и высыпал ее на язык, потом ломал огурец и впивался в его водянистую мякоть единственным торчащим справа зубом, высоко задирая бледную малокровную подрагивающую губу. Быстро-быстро выгрызал несколько зеленых стружек, потом подхватывал батон и оголенной десной отдирал от него здоровенный кусок. Наконец он поддел поджарочку, осторожно, одним углом, макнул ее в соль и медленно положил на язык, как ягоду. Устало вздохнул, равнодушно оглядел угол выцветшего дома и кусок блеклого неба за ним.

Марусю толкнули в бок:

— Зовет, зовет!

Трепеща от ужаса, она подошла к старику и прикрыла ладонью щеку и висок. Жар поднялся из подключичных ям и залил ей лицо. Маруся заплакала так громко и виновато, что от нее отпрянула прижулившаяся было у ее ног собачонка.

— Ну, что скажешь? — прошамкал старик.

— А что спросишь? — дерзко крикнул из толпы Митя.

Маруся обмерла:

— Молчи... Это же Бог...

— Бог?! — изумился Митя, подбежал к старику и заглянул ему в лицо.

Старик с неудовольствием оглядел и Марусю, и Митю, но ничего не сказал. Из толпы на нее зашикали:

— Иди, иди! Простили тебя! Все, иди...

Маруся пошла, одна...

По обе стороны дороги стояли перекосившиеся избы, сараи, амбары. Из досок сыпалась труха, пауки-путешественники застыли на солнечных пятнах.

Ее догнал какой-то бородатый мужичишка и протянул большую картонную коробку:

— На! Можешь поднимать ее на грудь, на плечо, опускать на живот, только на землю не ставь. Понятно? — торопливо шептал он. — Всю дорогу держи в руках!..

— Что это? — прошептала Маруся.

— Как что? Твое горе.

— Горе... — повторила она за ним, помертвев, но тут же опомнилась: — А Митя? Митя где?

— Он не пойдет, говорит, здесь останусь...

Маруся посмотрела на развешанное невдалеке белье, в голове ее что-то щелкнуло, тут же нависла черная ночь, плотная, густая, и сжевала все звуки. ... Через неделю, на майские, Митю взяли.

Митя-Митя...

Маруся прислушалась — вдруг ей ответят:

— Ну тут я, мам!

Тихо. Только в унитазе журчит вода.

— Митя, Мить... — тихонько позвала Маруся.

Никого.

— Митя, а знаешь, — начала Маруся, — Андрей убился. Купил велосипед: покрасил — продал. Купил уже мопед: покрасил — продал. Купил мотоцикл — поехал кататься. Девчонок покатал, пацанов покатал. А тут на тебе — милиционер на «бобике». Он от него. Тот за ним. Бежал-бежал, кувыркнулся и убился. Схоронили Андрея...

Игорек женился. Ей четырнадцать, ему восемнадцать. Живу-ут! Уже родили парнишечку, и уже с тещей подрался.

Сема в летчики не попал, торгует редиской на рынке.

А Вова, помнишь, с тобой учился, вечно сопливый, он еще описался на уроке природоведения, теперь спартанец: штанги тягает и гири, на той неделе поехал в Болгарию на соревнования.

Эдик тебе привет передавал: мол, передай Мите приве-ет! А я ему говорю: Митя вернется, он тебе такой привет передаст! Я ему, Митя, не смолчу.

Пашка твой приходил, хотел дров наколоть полный сарай. Но Пашка его переманил крышу толем покрывать. Так что он потом и до дома не дошел, у нас ночевал.

Митя, знаешь, на нашей улице асфальт положили. Как хорошо! Только дождь поднырнул и вздыбил его...

Маруся задумалась: сказать про Раю? Она видела ее в воскресенье — мыла под уличной колонкой забрызганные грязью ноги. Ее окружили какие-то сопливые пацаны и жадно следили за каждым ее движением. Ноги жирные, сало толчками билось под кожей... Нет, не стала говорить.

В дверь постучали:

— Марусенька, пусть в туалет!

Федя.

— Марусенька! Это я, Федя...

— Иди на второй этаж.

Маруся проглотила крошку хлеба, в желудке стало черство. Она уронила руки в подол. Из сердца вся жизнь выкачалась...

— Интересно, в Америке овцы есть? — задумалась она, вспомнив негров с выставки, все они были одеты в протертые линялые парусиновые штаны, на складе из такой парусины шили мешки под муку и полтавку... — А худощие! Поди, досыта ни разу не ели. Неужели в Америке нет овец?..

Маруся замерла в оцепенении.

— Пойду скажу: «Вася! А отвесь-ка мне хороший кусок свинины с сарной косточкой, грамм на семьсот!» А не понравится, так и не возьму!

Она встала, но никуда не пошла.

В окошко заглянуло беловатое солнце, больное, хилое, повисело и умерло. Опять заморосило. С неба падали сначала как будто лягушки, потом как камбала, потом как лещи. Дождь...

— Эх, жизнь! Хоть бы какого цыгана подсунул мне, боже... А то кто только меня не пинает! Олю вон никто не тронет. Пусть мужик ее в погреб свалился, пусть глухой, как колода. Оля с ним пальцами разговаривает. А — замужем. А мне жизнь ногой на грудь наступила и утопила ее по колено. Где моя грудь? Зубы повалились все разом, как плетень. Руки...

Маруся повертела руки:

— Как кора...

Ее отвлек шум шагов — твердых, громких. Так никто не ходил, даже в молочном.

Маруся приоткрыла дверь бендежки ровнехонько на один писк: какие-то люди проходили на второй этаж, все в пиджаках — и мужчины, и женщины. В ту же минуту в щель дохнуло курятником: Федя!

— Марусенка! — прошептал он, задыхаясь. — На партком пошли! Щас по Давидовичу пройдутся с песочком!..

— Ну что, и хорошо, раз такое дело... — сказала Маруся и направилась в зал.

В сторону очереди лучше не смотреть, от нее пыхает жаром, как из печи. Она прошла на улицу, постояла под дождем, посмотрела на прохожих: все шли мрачные, с заляпанными грязью ногами. На той стороне на органном зале красная черепичная чешуя, дождем облитая, так и блестела...

Маруся вернулась в бендежку, взяла веник, швабру, ведро, жестянку с хлоркой и направилась наверх, в зал. Постояла под дверью, прислушалась: тихо. Заглянула: услышала вязкий шелест ляжек — Алюська встала из-за стола, широкая, полная, с круглыми плечами, в глубоком декольте, обрамленном на груди и спине веревочкой с приклеенными долгостеблыми пушинками, ее руки, тоже полные, оттопыривались от крупа, шея, белая, мраморная, губы, щеки, торжествующие, ликующие, спокойно-справедливые глаза, брови, одна домиком, другая червяком, голубой от волнения нос, под левой ноздрей бородавка со светленькой бородачкой, волосы, заколотые костяными шпильками, гофрированный щипчиками и вываленный далеко на лоб чуб — ничего, красиво, подхватывая убегающую слюну, она начала говорить про псов сионизма...

Какие-то люди зашторивали окна синими байковыми тряпками, у задней стены устанавливали алюминиевое колесо для показа фильма, как в кинотеатре.

Они сидели, весь торг, на стульях в первом ряду, в пиджаках со значками, колени вместе, локоны за ушами, языки сухие, слюна в желудке, воля в кулаке, кулаки на коленях. А уже вдаль, в фанерных креслах, притулились продавцы из рыбного и мясного, два грузчика из молочного и Марья Петровна из буфета.

— Ой, Марья Петровна партийная, а я ей ругала докторскую колбасу, — прошептала Маруся и поискала глазами Давидовича.

Мишаня сидел в последнем ряду. К нему, наступая всем на ноги, пробирался Виталька.

Алюська села на круглый вертлявый табурет — так ей было удобно следить за экраном, держа в руках длинную костяную указку. У ее ног стояли штабельками натянутые на рамки плакаты и диорамы оккупации палестинских земель и Голанских высот.

Когда погасили свет, Маруся шагнула в зал, волоча за собой мокрую

тряпку на швабре. Она макнула голову в снои света, бьющий из прожектора, переломила его и подошла к Мишане.

Мишаня с Виталькой резались в шашки.

— Бей дамку! — громким шепотом приказывал Виталька.

— Не хочу! — отмахивался Мишаня.

— Бей дамку, я тебе говорю! — Виталька поднял глаза на Марусю: — Мар-р-р-уся! Ты зачем доктора обидела?

Маруся смолчала, у нее и так дыхания мало.

— А вот Оля молодец — она докторов не боится.

Начался фильм. Алюська по ходу фильма то и дело вставляла что-то свое. Говорила она медленно, упруго, каждое словечко друг дружке костылик подставляло.

— Хорошо говорит, — сказал Мишаня, — только немножко подслащивает.

— Щас к ее рту начнут слетаться мухи! — обрадовался Виталька.

Маруся набрала воздуха и начала ласково-осторожно:

— Мишаня, в мясном выбросили сосиски, сделать тебе сосиски?

— А говяжьи или свиные?

— Свиные.

— Ну сделай с полкило.

Маруся помолчала, подбирая слова, не скажешь ведь: что ты, дурак, делаешь на старости лет?!

— Мишаня... — протянула наконец Маруся, — неужели ты едешь в Израиль?

— Да.

— Мишаня, знаешь что, а то, может, ты не знаешь, там арапы ходят с кинжалами...

— Да!

— Мишаня! Ты помни, тебе уже там в поликлинике пирке бесплатно не сделают: плати двадцать рублей!

— Да!

— Мишаня... У тебя же здесь сын похороненный от менингита шести годочков лежит, могилку на кого...

Но Мишаня посмотрел на Марусю так, что она поняла: не надо было говорить про сына. Она нашла неподалеку свободное место, уселась и стала смотреть на экран.

По экрану ходили самые настоящие евреи, то есть вдоль щек у них висели завитые сосульки волос. А девушки были красивые и стройные, из-за плеча у них торчал автомат. «Вот как, мо быть, только у нас они такие толстозадые, а там работать надо, капусту сажать, полы мыть, рубашки стирать», — подумала Маруся, встала, подошла к Мишане, оперлась о черенок швабры и стала слушать, что говорит Виталька.

— Мишаня, берешь печень трески плюс яйца вареные, плюс лук, плюс перец. Не чеснок! Чеснок — это гигантское заблуждение. Плюс пресный творог. Можно резаную мармеладку вместо творога. И лезвийным слоём ее, лезвийным слоём... Сельдь только тихоокеанская. Плюс апельсиновый соус. Мишаня, это сказка для языка! Раков вари в белом вине, возьми хотя бы ркацителы. О, эти вареные раки с трюфелями! Плюс варенье, допустим, кизилевое. Откусываешь — идет кислота... Переживаешь такую палитру вкусовых ощущений! Отдаешься еде, как любимой женщине! В желудке просто экстаз... Ты что, Мишаня, надо есть со знанием...

Виталька поворотил лицо к Марусе:

— У тебя пожрать ничего нету?

— Хлеб с салом есть, помидоры, брынза соленая, только старая — желтая...

— Э-э! Мамонтов откапывали и ели!.. Тащи давай!

Когда Маруся вернулась со свертком, Алюська тыкала указкой в карту, и на ней зажигались малюсенькие красные лампочки: да, мол, ответ правильный.

Виталька поделился с Мишаней, и они, пригибаясь к коленям, начали жадно откусывать большие куски хлеба, намазанные топленным салом, помидоры же высасывали осторожно, как виноград.

— А вот интересно, сколько лет вот той ягоде, вон, первая с краю?

— Сорок два года. Я ее знаю, она в центральном торге работает, — ответил Мишаня.

— Ко мне приходила устраиваться одна такая. На голове прическа, здесь кок, на висках такое фу-фу, и перевернутое страусиное перо от уха к уху через всю голову. Сапоги на помочах во всю ляжку, и кожаные шортики, черные, с металлическими бляшками. Такая женщина! Талия пятьдесят восемь, и бюст третьего размера, и маковые щеки. И, знаешь, такие еврейские веки — толстенькие, глянцевые. В спальне у нее такие обои! Багровые! Даже пурпурные! С огненным отливом, знаешь, с золотой просинью... Я ее не взял, зачем мне неприятности...

— Ты это про куму?

— Про куму.

— Про куму-у?

— Э... Нет, не про куму. Кума приходила потом.

Алюська прочитала по бумажке стихотворение Евгения Евтушенко про ренегатов. Дескать, ренегаты, ренегаты... Голос ее поднимался, поднимался, взгромоздился на крышу, на конек, ой, треснет! Треснул. Расщепился дощечкой. Она тут же сделала глоток воды.

А Маруся подумала: конечно, Мишаня не ангел, вот на Новый год сказал — помой, Маруся, еще и в молочном, а то Зинуля заболела, одну неделю, я тебе потом оформлю. Но так и не оформил. А Маруся не такая, чтобы ходить и напоминать. Убираться в молочном очень тяжело: покупатели кефир разбивают — по сто бутылок в день, пакеты протекают, на столиках лужи от какао, весь день бегаешь с тряпкой. Но так уж и гады...

— А вот если ее голую и на стадион, как ты думаешь, быстро она побегит? — поинтересовался Виталька.

— Быстро, — подумав, решил Мишаня.

Виталька горестно вздохнул:

— Женщина с такими бедрами, м-м, и не замужем...

Алюська предоставила слово директору.

— Слушай, а что говорить? — опешил Виталька.

— Скажи, что государство дало мне два высших образования, — подсказал Мишаня.

— Правда? Что же ты у меня селедкой торгуешь?

— А ты уступи мне свое место...

На трибуне на Витальку напала зевота. Рот его дал широкую трещину, язык вздыбился, весь он раздулся ежом и выдохнул на Алюську ведро чесночно-колбасного воздуха. У Алюски сразу стал задумчивый вид.

— Товарищи, — начал Виталька и вперил глаз в Алюську. — Я ел жмых! Я ел макуху! Я пил воду! У меня щека со щекой слипнулась. Я ходил на танцы в сестрином пиджаке: пуговицы налево и выточки. А бюст у нее был, ты помнишь, Мишаня, десятого размера. Кто я был и кто я есть на текущий момент? Тебе не надо рассказывать? — Виталька снова посмотрел на Алюську. — Завтра приходи за интервью. И всем этим я обязан советской власти. Ну и коммунистической партии. Так вот. Захожу я сегодня в сыпучку, а там кот в мешок с сахаром ссыт. А в ящике с мукой мышь окотилась. На штабелях с сырами спят вповалку пьяные грузчики и крысы. Это

твой отдел, Алла Николаевна? Значит, так. Сейчас мы Мишаню исключаем единогласно... Единогласно, я спрашиваю? Пусть катится. А ты перья свои красивые — ишь, как нарядилась! праздник? — сбрось, сбрось! И шагом марш в сыпучку! И чтобы все там отпедерастила как следует! Через полчаса приду с платочком проверю... Я кончил.

Алюська пошла пятнами. Она оглядела зал слепыми от боли глазами и наткнулась на Марусю:

— Ма...рия Христофоровна! Где вы сидите?

— А она, как чиряк, где захотела, там и села! — хохотнул Виталька, проходя на место.

— Так... закрытое... партийное... собрание!.. — простонала Алюська.

— Да? А я думаю, что такое? Народ сидит, кино смотрит, дай, думаю, я тоже немножко кино посмотрю, — произнесла Маруся, задумчиво оглядела зал, подхватила ведро, швабру, жестянку с хлоркой и пошла на выход.

«После немцев нельзя верить сразу — коммунисткам! — твердо решила она, спускаясь вниз по лестнице. — Нет! Сначала санписстанции. А уж потом сразу — коммунисткам!»

Внизу ее догнал радостный голос Витальки:

— Где этот флейтист? Как он хорошо свистит! Федя! Ты чего не был на партсобрании?

Федя отошел подальше и сразу крикнул, что он не выпимши. А Виталька сказал — нет, ты выпимши! Нет, не выпимши! Ну, садись в машину, поедем в лечсанупр на экспертизу. Федя потупился, одними глазами, не поворачивая головы, косил вправо и влево.

— А! Не поедешь в лечсанупр? Федор, зейн отсюда! — обрадовался Виталька и ушел, довольный.

А Федя остался, он не доказал, что не выпимши.

Стой, Маруся! Как же ты забыла? Максим умер! Надо бежать на кладбище перехватить его. А то ведь это такой человек — все Дусе расскажет про Митю, про все...

Так, полы-то хоть раз она, Оля, помоеет сегодня?

— Дуся, я шас, только вот хлеб в бумажку заверну...

Маруся натянула на себя клеенку и пошла пешком, напрямик, так быстрее.

...Черные дуплистые деревья окружали лодочную станцию. С них срывались черные листья и гонялись за своими черными тенями. Вода брызгала из-под ног. Прямо из скамеек росли грибы на тонких ножках. Маруся одним движением смахнула их на землю. Посмотрела на лодки: густая слизь висела на цепях там, где они окунались в воду.

В будке лодочников никого не было, хотя и горел свет. Маруся не стала их дожидаться, отвязала первую же лодку, села в нее и оттолкнулась веслом. Бережок был атласно-скользким, донная муть возмутилась и подняла на поверхность мягкий нежный ил. На воде качалась большая черная коряга. Две лягушки зацепились передними лапками за нее, вода омывала их бело-зеленые брюшки, золотая травинка извивалась рядом.

Маруся быстро доплыла до середины. Невдалеке перекрыкивались утки. Она осмотрела берег. Где эти ивы? И рядом еще одно неопознанное дерево с сутулиной... Маруся подвела лодку так, чтобы она находилась как раз против этого дерева, уперлась ногами в борта и нагнулась над водой.

Вода потемнела. Она увидела свое отражение, вздрогнула и отвела глаза — таким страшным показалось ей свое лицо. Провела по нему рукой и снова наклонилась над водой. Там, в глубине, постаралась представить себе узкую тропинку в гору, посыпанную мелким бурым песком. Она шла теперь по ней и с наслаждением вдыхала запах цветов, доносившийся с могилы

отца Арсения, обнесенной железным кружевным заборчиком. Рядом покоилась молодая женщина по имени Людмила. Людмила, и больше ничего: овальный портрет, вмурованный в мраморное надгробие, сияющие счастливые молодые глаза... Дальше целое семейство, по фамилии все... какие-то на «овские», что ли. Вот кто молодцы! Кус целый отгородили, застолбили и всех своих кученько хоронят. Милое дело. А то бегаешь по всему кладбищу, покойничков своих, как цыплят, собираешь. Тропиночки красными кирпичиками выложили, водопровод провели, свет протянули — целый столб в землю воткнули. И цветы переменяют по сезону: то тюльпаны, то пионы, то анютины глазки, а в зиму хризантемы сажают — чтобы до самых снегов.

Кто там за ними? Детишки. Малютки. Могилки хоть и без имен, но кто-то же следит за ними: сколько лет, а земля их так и не сжевала.

Дорожка к церкви, узкая, но прямая и асфальтированная. Когда ни придешь, Вера Михална по ней прогуливается с солнечным зонтиком — мужа проводывала в четвертом секторе. Хорошая женщина, культурная. Только баптистка. Баптистки — это вера такая, придумали себе не креститься, только петь. Сколько раз она заманивала Марусю в баптистки, зачем, у вас свое — у нас свое, как родители и прародители наши верили.

А вон в тех дубках Митя, пацаном, в прятки играл. На Красную горку. В этот день всегда дождик накрапывает. Небольшой, умненький, пыль прибивает только. Цыганки ходят толпами, в руках торбы с подаянием. Сунешь ихним детишкам по карамельке, чтобы не цеплялись, а другим — тем по яичку крашеному, тем с охоткой.

А если зимой когда придешь, служка Никита зовет в церковь, в каморку, чай пить с тысячелистником или горячие-горячие щи нальет. Собаки у него большущие, хриплые, но закормленные, добрые.

Маруся пересекла главную аллею кладбища и свернула направо и немножко вбок: третьей с краю лежала мама, рядом с ней Дуся. Оградки у них не было, но сирень у изголовья была самая красивая, самая тучная, самая душистая на всем кладбище. Маруся присела на скамейку между двумя могилами и провела ладонью по крестам: сначала по маминому, потом по Дусиному...

Дуся умерла осенью, в конце сентября.

Вечер. Сели ужинать: мама, Костик, Маруся. Был капусташ со свиными ребрышками, сладкий рулет с тыквой, разрезали большой арбуз. Костик пришел с работы умненький, не хмельной, двор подмел, мальчишек потетешкал, Дусю потетешкал, не знал, кого еще потетешкать. Дуся с Костилом ровнехонько жили, смиренно. Света не зажигали. Сели ужинать. На керогазе закипал чайник.

Дуся замылась:

— Что это мне под сердцем как-то сладко и... дрожко?

— Ну, полежи, — сказала мама.

Мальчики спали: и Валерик, и Митя.

Дуся сползла с топчана на пол так тихо, что на нее не сразу обернулись. А когда обернулись, губы ее были синие и глаза смотрели вверх, под веки, и руку под себя подмяла. Все закричали. А Костик схватил ее поперек живота и потащил на себя, и ударил кулаком маму, а Дусю, как добычу, держал. С трудом выволокли их обоих, спаренных, во двор, кинули на землю подушку, положили на нее Дусю, облили холодной водой, просовывали в рот пилюлю. Дуся еще жила, когда приехала «скорая», еще дышала, она потом умерла, в больнице. Доктор упал на нее, разодрал на груди кофту, крест-накрест махал руки ей, а она брызгала на него молоком, Митиным молоком, так он его больше и не покушал. Все вокруг кричали, думали смерть ее напугать...

Повезли Дусю в больницу.

Костик поехал, и Маруся поехала. А уже в палате Дуся и умерла. Кос-

тик как бросится бежать! Его едва поймали в конце коридора, бог знает, что бы он там натворил. Марусе доктор сказал: все, умерла, говорили ведь вам, сердце плохое, зачем второго рожали, зачем?..

Маруся вышла на площадь перед больницей, постояла там, а потом пошла домой напрямик, через огороды.

Тот день родился сумрачным с самого утра. Нельзя было понять, который час. Низина за больницей наполнилась туманом, его пряди, похожие на белый чад, тянулись к ее ногам. Маруся жадно глядявалась в дорогу в поисках какого-нибудь прохожего — ей очень нужно было узнать время.

Под истончившимися подошвами прощупывался гравий на дороге. Среди покрытой изморозью травы исходили паром коровьи лепешки.

— Надо взять золу от разных деревьев и... — сказала Маруся громко. — И что? Что делать с золой?..

Она огляделась в поисках кого-нибудь, кто бы мог сказать ей, что делать с золой...

К плетням тянулись женщины и смотрели на нее со страхом: они догадались, что Дуся умерла.

На грядках созревали помидоры и перцы — красные, бурые, желтые...

— Не надо! — крикнула им Маруся: зачем они такие красные, когда Дуся умерла?..

Пахло спелой айвой, грушами. Кусты малины были усыпаны поздними ягодами.

Красивая, заспанная, розовая со сна девушка вышла ей навстречу.

— Не надо! — крикнула Маруся девушке. — Не надо! — крикнула она и небу, и солнцу.

Небо медленно обложилось тучами, пошел дождик, тихий, теплый, как летом.

На взгорке, откуда открывался переход на улицу, стояла мама и держала мальчиков под мышками, как полешки. Мальчики не спали, только сопели громко, но не плакали.

— Мама! Ты знаешь, что наделала эта Дуся? Она умерла!

У мамы задрожало лицо, все ее мелкие сухие морщины вмиг затопили слезы.

— Где ж теперь достать селедки на поминки? — крикнула она шепотом, и мальчики стали выskalзывать из ее рук.

Костик заболел и чуть не умер. Спал на Дусиной могиле. По его голове проложили тропки муравьи. В ухе паук сплел паутину и душил в ней осеннюю муху. Его редкие, в три пера волосы дыбились, налетел ветер, подхватил их все и унес в поле. Он был так слаб, что нитью паутины ему чуть не отсекло голову.

А на девять дней пришел с Фросей...

Встал в дверях, круто отвернув в сторону свои розово-перламутровые глазные яблоки. Фрося посадила Валерика на колени к себе и потетешкала его. А на Митю даже не взглянула...

...Маруся очнулась: кругом вода, дождь выбивал на ней большие толстые пузыри. Она пошарила рукой в лодке, нащупала ржавую консервную банку, опустила ее в воду и поквокала: квок, квок, квок... По воде побежали круги, достигли берега и покачали там грязно-зеленую пену и мусор.

— Мама... Дуся... Это я... — прошептала Маруся. — Я из лодки, пришла вас проведать...

Она помолчала, думала, как начать.

— У нас тут потоп. Как в сороковом году. Дуся, хоть ты и маленькая была, но должна помнить. Еще вокзал по третий этаж в воде стоял. По-

мнишь? Так и сейчас. Все комбайнеры увязли в поле, а трактористы уезжают в Карпаты валить лес. Кто теперь будет хлеб убирать?..

Маруся вынула из-за пазухи хлеб, полбублика и выкрошила их в воду. Тут же приплыли мальки и поглотали крошки.

— Дуся... — начала Маруся осторожно. — А что, Максим, он еще не приходил к тебе? Ничего не рассказывал? Про Митю, про все... Дуся, не верь этому Максиму, что он будет тебе говорить. Это не Митю в тюрьму посадили, это Зининого Славика в тюрьму посадили. Ты ее не знаешь, она на нашей улице потом поселилась. Пашка на ней женился. Взял ее с ребенком, вот с этим Славиком. Так это его посадили, а не Митю. Не верь Максиму! Помнишь, как его Кира ревновала меня, а я ни сном... Помнишь, мы только хату побелили, а она забросала стены зелеными помидорами... Ничего, Бог есть: их Женя до сих пор замуж не вышла — кто возьмет ее с такими зубами?..

Маруся оглядела озеро: никого. Хорошо. Никто не помешает.

— Дуся, Митя работает электриком на мясокомбинате, в кишечном цехе. Дух там тяжелый, зато вечером как набьет рюкзак: коровьи хвосты, голяшки, рульки, ребра... Дуся, помнишь, какие щи варила мама из коровьих хвостов?.. Вымя, легкое, мозги... Хоть сколько! Бараньи головы — бери тонну! Заячий ливер, язык ягненка. Одно мясо жрем, даже надоело...

Маруся не замечала, как дождь проливался ей за шиворот.

— Вот он помер, значит, этот Максим. Старый дурак, прости господи! В прошлом году все груши в яме сгноил, никому ни одной не предложил. Груши! Какие там груши? Он один знал, что кладбище заливать будут. Но никому не сказал. Как гидра пришел, тележку попросил, мол, уголь перетаскать. А сам — лопату в зубы и побежал! Всех выкопал: Киру, сестер, дядьев. Даже дядьев! И на горе перезахоронил. Сейчас туда автобус пустили и маршрутку, плати двадцать копеек, и тебя через пять минут до места доведут...

Маруся разогнулась, стала смотреть на дно лодки.

— Дуся моя, — прошептала она, — а ты осталась лежать под водой. Если б я знала, что они воду пустят, я тебя руками, ногтями... выкопала... Теперь над тобой рыбы плавают, парни с девушками на лодках катаются...

Маруся заплакала.

— Плохой человек Максим! Придет — разговаривай с ним холодно!

Она всмотрелась в озерную муть, пытаясь разглядеть, как там, в глубине, цела ли скамейка, кресты... Они же деревянные, ох, сгнили уж кресты...

— Дуся, Костик твой живет хорошо. Фрося за ним здорово смотрит. Всегда завтрак, обед: первое, второе... А пьет, ну, пьет. У Валерика второй мальчик родился. Он так расстроился. Ты помнишь, я рассказывала, как он девочку хотел. А его Таня сорок четыре пары туфель купила! Жадная до нарядов. Но чистюля. Ни у кого на автобазе нет таких чистых, белых маек, как у Валерика. Он теперь на экспрессе работает, ездит в гору, с горы, тесно, скользко, геморрой у него открылся, мучается. А она до денег жадная. Сорок четыре пары туфель по шкафам набила. Один халат купила, другой халат купила, с павлинами, в полоску, махровый! Кто тебя дома видит?..

А Митя, он хороший, спокойный. Не пьет, не курит. На танцы ходит, туда, где мы раньше картошку сажали, теперь там кинотеатр «Искра» и танцплощадка, постоит, посмотрит и сразу домой.

Облака раздвинулись, и на одну минуту проглянуло небо, сначала дряблое, потом подтянулось.

Маруся погребла к берегу.

Маруся не может хранить в тайне свое горе. Думала, донесет этот бидон до конца. Но нет, расплескала... К кому идти, к Оле, больше все равно не к кому.

— Оля, дай в долг...

Нет, не пятьсот, не двести, не сто. Пятьдесят, тридцать... Посылку Мите собрать. Печенье, сахар, конфеты-горошек, подушечки, грамм триста мармелада, сгущенки — сколько получится, сигарет, колбасу только сухую, а то не дойдет, чай — какой есть, индийского нет даже в райисполкомовском буфете, двое трусов, двое носков, десять конвертов...

— У тебя, Маруся, нет гордости. — Оля в долг даст, но прежде, как курица, в ране покопается, золотые зерна горя поклевывая. — Твой Виталька, он же пальцем о палец не ударит, — сказала Оля и ударила пальцем о палец. — Он первый в твой карман залезет. — Оля хлопнула Марусю по карману. — А ты его оливками угощаешь. А оливки кусаются. Что оливки, селедка кусается: два шестьдесят! И у Тамары ты бесплатно убираешься, а могла бы стребовать рубля три. У нее ведь пять золотых зубов... Маруся, правда, пять золотых зубов — это уже нескромно, хоть бы четыре...

Маруся молчит, терпит.

— Какие у тебя в палисаднике флоксы растут! Продавай! Купи в овощном морковки на вес, завяжи в пучки по три, по четыре и разнеси по квартирам. Этим дамочкам лень оторвать задницу от дивана, чтобы на рынок сбегать, так они у тебя все разберут. Не надо цветы дарить, не надо. Богатая какая! Костик карасей наловил полмешка, а ты их по соседям разнесла. А потом ходишь, в долг просишь... Скажи Костику, мол, Митя чей сын? Пускай деньги выделяет: на адвоката, на посылку...

Маруся терпит, хоть смерть как больно.

— Свари холодец. Этот старый дурак, угловой подъезд, второй этаж, зубов нету, язык усох, а все говорить хочет, он холодец любит. Берешь подкопытную говяжью кость, берешь свиные брыли, с полкило, берешь уши, щеки, куриные лапки, петушьи головы — все в казан...

— Оля, дай хотя бы двадцать... — не вытерпела Маруся, перебила, невмоготу же...

— Мару-уся, у меня вот десять детей, а в долг никогда не просила и не попрошу...

Маруся подхватила и вышла. В коридоре Оля догнала и протянула деньги...

В пять часов Маруся не испытывала уже ничего — ни отчаяния, ни грусти, и хотя в груди ее торчала ржавая кирка, ей не было больно. Пошла к Витальке за консервами, у него запас был.

Кабинет его расписывали: одну стену под дикий камень, другую обшивали необшкуренными бревнами. На столе лежала большая дыня, бородавчатая, вся в шишках, и две бутылки вина стояли на подоконнике.

— Маруся!

Мишаня. Веселый, пучливый от счастья, обдав ее запахом дорогого коньяка и шоколадных конфет, кинул на ходу:

— Во дворе стоит машина. Завтра утром Игорь пригонит ее прямо домой, жди, никуда не уходи...

Мишаня замолчал, пригасил глаза, его толстые разлапистые губы сморщились, ужались.

— Весной, когда снег сойдет, перед Пасхой, может, сходишь к Додиду могилку поправить... — сказал он.

— Поправлю, чего не поправить... — ответила Маруся.

Машина? Вышла во двор: в самом деле машина. Грузовая. Под накинутым на кузов брезентом какое-то нагромождение. Подставила к колесу ящик и влезла. Приподняла брезент: два рубероида. Два таких рубероида! На всю крышу хватит. Новенькие. Даже скобки блестят и капельки смолы свежие... Шкаф. Какой шкаф! Дубовый, с зеркалом, в две двери, старый, в

пятнах, но без единой трещинки. Слева полочки, справа жердь для полт, внизу выдвигной ящик с медной ручкой. У Маруси никогда не было шкафа. Платьюшки и кофты она вешала на стенку на гвоздики, за марлевую занавеску... Тахта. Пусть узкая и одного валика нету, обивка выгорела, но прочная-прочная, без износу, и по краям убита густо-густо медными фигурными гвоздиками. Два стула с высокими спинками, сиденья дерматиновые, ножки тяжелые, устойчивые, крепкие. Как хорошо бы они встали по бокам ее белого тумбового столика! Качающееся на двух резных столбиках зеркало, у основания одна большая широкая шкатулка, а над ней еще три, маленькие: хоть нитки клади, хоть тесьму, хоть бусики... В большой картонной коробке посуда: ложки и вилки, настоящие, из нержавеющей стали, у нее сроду только алюминиевые, съеденные, а эти блестящие, красивые; на черенках гроздь рябины. Заварочный чайник с жирными пунцовыми розами и такая же сахарница, пузатая, круглая, на крышечке круглый золотой помпон. Две вазы, одна из толстого синего стекла с голубыми пузырями внутри, другая из глины, с цепляющимися за стенки глиняными же бабочками, стрекозой и листьями. Штора, большая малиновая штора — на, шей из нее покрывало на тахту. Тюля метра три, тканая шерстяная дорожка с оленями, оленихами и оленятами. В узле плюшевый стеганный пиджак, черный, даже не порыжелый, только пахнет тяжело нафталином. Шерстяное платье: зеленая клетка, в клетке мелкие розочки на палочках и серенький дымок по углам. Жилет стеганный, на ватине, на молниях. Боты. Тяжелые, прочные, прошитые, не советские, даже не китайские, может, немецкие. За всю жизнь у Маруси было три пары ботинок, о таких даже не мечтала...

Она не стала дальше разбирать. В душе пусто. Натянула брезент и спустилась на землю. Митя там, и ничего не надо...

Вот и вечер. Вот и ночь. Вышли последние покупатели. Маруся собрала после них последнюю грязь. Вася и Игорь вешали руками селедку на спор.

- Пятьсот!
- Шестьсот!

Подошел Мишаня, попестовал ее два раза:

- Четыреста семьдесят пять!

Хлоп на весы: точно!

- Моя бутылка пива!

Грузчики сгрудились над ведром с кипятком, куда сунули все магазинные ножи, и над чем-то громко смеялись. Алюська, вся пунцовая, с тяжелыми угрюмыми глазами, щелкала на счетах: у нее не сходилась выручка. Федя ходил кругами, слушал, кто что говорит. «Лучше бы ты воровал!» — подумала Маруся.

Она в последний раз оглядела прилавки: посуда, вымытая, смеялась, счастливая...

В зал спустился Виталька:

- Ой! Практиканточки!

Он сделал глаза щелочками: практиканточки! Одиннадцать родничков, одиннадцать подсолнушков, одиннадцать пирожных с кремом!.. Девочки стояли кучкой, все в белых халатиках, в талию затянутые, колени, икры, туфельки! Где надо узко — узко, где по-другому — по-другому! Глазки, щечки, носики — все!

Виталька подкрался и поймал крайнюю за локоток. Он обошел всех и каждую зацеловал взглядом. Отработали? Про ножи предупредили зайчиков? Предупредили. Острые. Ну завтра, если что, у него в кабинете и йод, и бинт, и нашатырный спирт на ватке... Работайте, практикуйтесь, рыбоньки золотые...

Виталька. Ничего ему не делается...

Света шла к контейнеру выбросить коробку.

— Дай мне, Света, — попросила Маруся.

Какая хорошая коробка. Плотная, толстая, из синего глянцевого картона. Клади в нее что хочешь: хоть мотки с пряжей, хоть мешочки с крупами. Не забыть шпагату отмотать, чтобы перевязать, а то несподручно нести будет. Маруся положила в коробку сумку, новый сатиновый халат, такие сегодня всем выдали, полдрулона кальки, кальку тоже Света подарила, заперла бендежку и пошла на улицу к троллейбусной остановке. И только когда подъехал троллейбус и раскрыл перед ней двери, она опомнилась: дождя нет... Нет дождя!

Небо отстоялось, обсохло, стало темным, прозрачным, на нем проклюнулись дешевенькие, крошечные, галантерейные звездочки. Ветер гнал последние зазевавшиеся тучи, верхушки пирамидальных тополей выдергивали из их брюха мотки тающей на глазах пряжи. Листочки на деревьях воспряли, затрепетали на своих хвостиках пряменько и вверх, словно им вдели в кожуцу твердые стальные волосики. Кора на деревьях парилась.

Две шаровые молнии взмыли из-под самых колес троллейбуса, лопнули одна за одной, голубые всполохи огромными птицами распростили крылья, разметались на полнеба и долго не гасли. Тени легли черные, густые, будто крашенные...

Маруся ехала по городу и смотрела на него, как на незнакомого. Короста на стенах домов крошилась и просыпалась, на тротуарах сухой мох уже пошел пузырями.

Из-за здания райисполкома выплыла большая спелая похотливая луна и знойно засветила во все небо, повертываясь и похваляясь своей красотой. Рядом с ней поспешала маленькая сиротка-звездочка, одна-единственная, нежная...

Маруся посмотрела на луну и осудила ее.

Дождь кончился...

Она вышла на конечной остановке и пошла потихоньку в гору, домой. Впереди нее передвигались столбы веселых мошек.

— Что это я так устала? — упрекнула она себя. — День как день. Устанешь, когда потолок побелишь и панели покрасишь. Колени! Зачем вы дрожите? Ладно бы я вас ломала, а то ведь целенькие. Нечего!

Колени как дрожали, так и дрожали.

Тут Марусю отвлекла какая-то возня за гаражами. Что-то там возилось, копошилось и сопело. Гроздь сцепившихся черных людей, спотыкаясь, перешагнула из тени в свет.

— Грабют... — прошептала Маруся.

И правда, двое держали за руки и шею третьего, а еще один в это время шнырял по-за карманами.

— Митя! — крикнула Маруся.

Те трое отпрянули было, но потом устались на нее и не уходили.

— Митя!.. — задыхаясь, прохрипела она им тоже. — Митя...

Мальчику было лет шестнадцать, он был сухоморденький, с белыми от страха глазами.

Маруся на тех троих не моргала глазами, только на него, на Митю.

— Я тебя искала! Где ты был?! — Она взмахнула рукой и хотела было ударить мальчика по щеке, но не достала, мазнула по шее и груди. — А коза что будет есть — камни?..

— Простите, мама, — сказал Митя.

Слезы хлынули из глаз Маруси, как из опрокинутого корыта. И первые слезы были, как яд, а вторые слезы были, как слезы, и принесли облегчение.

— Пойдем домой... — прошептала она.

Сзади, из-за деревьев, к ним вышел старик. В одной руке он держал торбу, в ней звякали бутылки, в другой — палку. Заученным движением он отодвинул кусты, при свете луны блеснул бок бутылки.

— Есть статейка — есть копейка! — прошамкал старик, нагнулся и подобрал ее.

Маруся остолбенела: это был тот самый старик, из сна... Те же руки, глаза, грязные седые волосы...

— Поставь коробку-то! Поди устала держать? — спросил он равнодушно.

— А как же?.. Нельзя же ставить... — откликнулась Маруся одними губами.

— Ставь, ставь. Можно. Земля уже просохла, — сказал старик, повернулся и исчез в кустах.

Марусядохнула воздуху и вытерла мокрое от слез лицо. Те трое стояли в сторонке, курили, сплевывали и не уходили.

— Пойдем домой, Митя... — сказала она мальчику.

Мальчик хотел было понести коробку, но Маруся не дала. Они пошли потихоньку и скоро вышли на улицу, ярко освещенную фонарями. Слева виднелась школа, Митина школа. Там, где должна была быть пожарная лестница, в стене торчали ржавые штыри.

— Мне сюда, — сказал мальчик. — Я живу с мамой в школе, она здесь сторожем работает.

— Ну, иди... Митя... — отпустила его Маруся и подождала, пока он пройдет школьный двор и откроется дверь сбоку от парадного.

Постояла, прислушалась к своей душе: там было чисто, свежо, просторно и пахло травами, как на Троицу.

— Что же так хорошо-то? — спросила она себя вслух. — Хорошо...

Маруся вспомнила, что дома, на полу под столом, накрытая крышкой, ее ждала утренняя жареная картошка со шкварками и укропчиком. В сумке лежала большая атлантическая селедка, малосоленая, жирная — Вася сунул. И пакетик с крупными маслинами, маслины тоже Вася. Сейчас она картошечку разогреет, почистит селедку, польет ее маслом, покрошит луку и съедет ужинать. Ничего не ела сегодня...

Маруся умерла на следующий год, в марте. Снег еще долго лежал. Она вышла на улицу вынести золу, видит: двое пацанов у третьего санки тянут. Разве она не встрянет! Всегда встревала. Душа ее мучилась всякими событиями, потому что живая была. А в этот момент с горки еще один пацан летел. Так вот этот, четвертый, ее и убил: сбил с ног. Маруся ударилась головой об лед и умерла. Правда, еще пожила три недели, потом умерла.

Положите все: свеклы, соленого огурца, картошки вареной, квашеной капусты, горошку — и на холод. Купите баклажанов. Выберите спелые, молодые, узкие и испеките их во дворе на жаровне, так они дымом пахнут. Выдержите их под гнетом, пока не вытечет весь этот черный сок, и порубите густо широким ножом, он висит на стенке шкафчика, сбоку, со стороны окна, у него еще одна дверка не закрывается. А масло... Не поленитесь, съездите на рынок за Армянским кладбищем: как выйдете из автобуса, так там такая пирожковая, только вы туда не идите, а идите прямо на забор, в нем одна доска на гвозде ходит. И рынок. И упретесь в весовщицу, она вешает всех за четыре копейки и туговник продает стаканами, только весы ее, ну их, врут, на целых полтора килограмма врут. Так вот ступайте прямо в яблочные ряды. Там-то он и стоит, бабай этот, и продает масло из фляги в вашу посуду. Он еще уступает двадцать копеек на литр. Поторгуйтесь, уступит, масло у него самое духовитое. Вот и сбрызните им баклажановую икру. Только

чутулечку, так, одну большую ложку и еще на глазок, и все... А еще проследите, когда луковицу будут крошить, чтобы выбрали розовую, даже красную, даже синюю, и чтобы мелко-мелко. Пирог испеките с капустой и творогом, не забудьте пересыпать его укропом, укропа во дворе, как грязи. Яйцо поколите свежее, утрешнее, возьмите в курятнике. Берегитесь петуха — дерется... Голубцы не поливайте томатной зажаркой, они так нежнее. Купите рыбы. Правда, сегодня вы не найдете рыбы. Вот раньше привозили рыбу! Маруся знала, какая это была рыба. Балатонский судак, форель, белуга, осетр, стерлядка... Вот стерлядка. Мясо у нее белое, мягкое, без костей, и икра тоже хорошая. А вот серебряный судак. У него мясо вообще белоснежное, нежирное, и костей нету. Возьмите судака, судак такой нежный. Или форель. Берешь порционную форель, небольшую, грамм на четыреста, сворачиваешь ее в кольцо и вставляешь хвост ей же в рот, а потом жарить в сухарях. Или уха. Какую уху варила Маруся этим бабам в Одессе, в лимане, в пятьдесят восьмом году! Они специально брали ее с собой и давали спать на заднем сиденье в автобусе. Кладешь на дно казанка слой карасиков, потом слой карпиков, на них куски сома, а если нету сома, то и щука сгодится, а уже сверху — самую лучшую рыбу — стерлядку там или судака. Потом перчишь первоклассным красным перцем — и на огонь. И не мешаешь, а только встряхиваешь казанок и оставляешь рыбу плавать в собственном соку...

Все было. Привозили омаров, лангустов, угрей, крабов, живых и копченых, сардины, лососей... Маруся всего покушала. И икру черную со взбитыми сливками или с растертым луком и хорошим оливковым маслом, и вареники, фаршированные легкими, и клецки из мозга, и раковое масло, и суп из абрикосов, и зажаренную, откормленную орехами индейку, и пончики, тающие во рту, легкие, как пена...

Маруся, я все помню. Твою перетертую фасоль, твой суп из куриных шеек, твою кабачковую икру, пирожки с творогом, салатика, хлеб с маслом, чай с раздавленной вишенкой, яблочную бражечку, чесночок с уксусом, жареного карпа, еврейскую щуку, твою манеру резать селедку, твой покрытый выцветшей клеенкой столик...

Ладно, возьмите карпа, хорошо упитанного карпа...

Ладно, не надо карпа, возьмите карасей. Пожарьте их во дворе на решетке до хрустящей корочки, но сначала поперчите красным перцем. Сварите компот. Всего полно: и дуль, и яблок, и изюму. Не забудьте позвать Тонечку, она живет на Старой Почте, у нее еще дочка в прошлом году — хлобысть стакан эссенции, и ничего, живая ходит. Наполните стопки и помяните Марусю. Мою Марусечку...

С прозорливостью присущей он не зря вперёд ушел.
Здесь не может быть подвоха,
Если нам сегодня плохо,
Завтра будет хорошо.

Я вытягиваю шею, ростом вышел не того;
Говорят, мужик он крепкий,
Жаль, что головы и кепки
Заслоняют мне его.

Всё равно ему доверье, достигаем он иль нет,
Потому что, как хотите,
Он вожак и вдохновитель
Наших доблестных побед.

В тесноте, но не в обиде, в темноте, но с огоньком
Мы за ним шагаем в ногу;
На него мы, как на Бога,
Полагаемся во всём.

Набираем темп и скорость, напирает задний ряд.
Эти задние не знают, —
Оттого и напирают, —
Что передние творят.

Есть, конечно, и такие, что покинули б ряды,
Но закон в строю железный:
Трепыхаться бесполезно —
Ни туды и ни сюды.

Темп и скорость нарастают, отдышаться не дают.
Остановишься — раздавят:
Эти задние не знают,
Что передние бегут.

Чем скорей, тем ближе к цели — так ведь надо понимать.
Говорят, что скоро вроде
К краю пропасти подходим —
Крылья будут выдавать.

Что ж, зато, по крайней мере, не свернули мы с пути.
Всё равно ему доверье,
Даже если в пух и перья
Надо будет обрасти.

Всё равно, как нам ни плохо, он — начало всех начал.
Здесь не может быть подвоха:
Подвела его эпоха,
Ну а он — не подкачал!

Не валяйте дурака

Если в жизни не везёт	Факт, что горе от ума.
И пиджак по швам ползёт,	Соловки да Колыма.
А в душе озноб от сквозняка,	Не уснёшь ни на одном боку.
Потерпи, повремени,	Но твердят учителя:
Есть ещё такие дни,	Знание печали для,
Чтобы мы валяли дурака.	А веселье только дураку.
А дурак, он не дурак,	Но бывают времена,
В норме у него пиджак,	Где дурак садится на
И сидит он не на сквозняке,	Царство или президентский стул.
Даже если вместе с тем	И народ идёт к нему
Он и глуп, и глух, и нем,	В цирк, в пивную и в тюрьму,
Всё так гармонично в дураке.	Чужа демократии разгул.
Вянет тело, слабнет слух,	Несмотря на этот мрак,
Но зато крепчает дух	Я смеялся, как дурак,
И не возбуждает женский пол,	Думаю, разэтак вас, растак.
И не знаешь, что порой:	Умники во все века
Биться в стену головой	Не валяли дурака,
Или лучше мордую об стол.	Но зато их всех валял дурак.

Весенний гром

Там, где движется между нами пьяный и мусорный ветер,
А комплексы стен и башен стоят, как ящики стеклотары,
Там, где собрались вместе, бедные люди, как белые тени,
И домашние звери рядом, как младшие братья наши,
С мыслями о фиесте,
Вместе с детьми и песней
Вышли к весне.

А весна, она снова бродит, движется между нами,
То ли клочком надежды машет, то ли объявлена в рекламе,
Говорят, в этом году на ветках вырастут вместо листьев
Акции бирж и банков или компаний новых,
А налоги и билли будут краше
Лютиков и ромашек
В поле чудес.

Снова ласточка стучится в дверь, как нечаянная радость,
Предлагая двигаться вместе с нею в направлении тепла и лета,
Обещает запах жасмина вместо выбросов и бензина,
А запах сирени вместо порохового дыма,
И говорит, что не надо
Нам принимать за канонаду
Весенний гром.

Ночные мотыльки

Ночные мотыльки, зачем вы и откуда
летите к нам на свет, сгорая в тот же миг.
И сам я, Божья тварь, неведомое чудо,
козявка, а с умом, ничтожен, а велик.
И я хожу порой, большой, как царь природы,
и думаю, что прав во всём и всё могу,
а это только сон, улыбка глупой морды,
игра воздушных сил и радуга в мозгу.
Спохватится ли вдруг недремлющая совесть,
чтоб должный дать отпор соблазнам и страстям,
она всегда шумит, за душу беспокоясь,
и поздно, как всегда, и, как всегда, не там.
Гуляет наша плоть, одетая по моде,
до лампочки ей всё, ей всё до фонаря.
Но говорят, что есть поверие в народе:
кто слишком жизнь любил, тот прожил жизнь зазря.
Отбросим мелочь дел, поговорим о главном,
дымит вечерний чай, на даче, как в раю,
ночные мотыльки летят на пламя лампы
и падают, и я себя в них узнаю.

Бывает...

Бывает, человек войдёт и выйдет,
И никакого он следа не оставляет
Ни на снегу, ни в сердце, ни в веках.
А вот улыбка Клавдии Васильевны,
Её окутанные шалью плечи,
Часы архиерейские с причоком,
Крылатые, как бабочки, слова,

Когда-то обронённые за чаем,
Вошли в меня и тихо там живут...
И вот сижу седой я и косматый,
На всё махнул и ничего не помню,
Но голос вдруг её услышу
И смерти не боюсь.

Ольга Седакова
Путешествие в Тарту и обратно

запоздалая хроника

Еще подобно царство небесное дырявому мешку.

Евангелие от Фомы

1

Объявили то, что, в общем-то, уже давно ожидалось: Юрий Михайлович умер. Сам он не скрывал, что оставшиеся ему годы, после смерти Зары Григорьевны, он видит как эпилог — и, вероятно, не слишком пространный.

Эпилог! На языке классической драмы жизнь человека при позднем социализме состояла из двух частей: из несколько затянутой экспозиции — и непосредственно следующего за ней финала, многоступенчатого и многолетнего, финала длиной во взрослую жизнь. Кульминации и развязки не предполагалось: для этих композиционных узлов необходим герой, необходимо действие. Что же говорить об эпилоге. Редко дело доходило до завязки. «Вся жизнь впереди!» пел в своей вечной экспозиции человек тех лет, а про себя знал: ах, давно, давно и необратимо позади. Да, впрочем, и позади — что там было? было ли вообще что-нибудь, как заметил классик этой литературы?

Известие о кончине Юрия Михайловича произвело ясное впечатление, оптическое и звуковое: свет потушен, музыка голосов рассыпалась и стихла, гости расходятся. Ассамблея кончилась. И уже во внешней темноте, где, как всегда, непогода и бездорожье, оглядываясь на опустевшие окна, мы не верим себе, что только что было так хорошо.

Свет — или блеск? возразит мне кто-нибудь: свет ума или блеск интеллекта? Пускай блеск, отвечу я, но попробуйте блистать в наших окрестностях — посмотрим, что у вас получится. В глухие дни нашей юности, во времена тусклые и мутные, среди косноязычия, неуклюжести и тяжелой несообщительности — нет, все-таки не блеснула: сияла нам далекая рабочая лампа в почти иностранном Тарту. Блеск Школы Лотмана, поздний свет Просвещения, грация свободной мысли и прелесть обхождения *своих* людей.

О, грозный быт семидесятых! На передовой линии борьбы за мир, на идеологическом фронте («Работники идеологического фронта! Крепите...» — так приветствовал входящего Институт Информации, куда я носила свои рефераты, секретные обзоры американского достоевсковедения: «Работники идеологического фронта! Крепите...» не помню, что именно следовало крепить.). Вы не забыли еще этих вещей отечественного производства? Каждая мыльница глядела танком, снятым с вооружения за моральную устарелость. Как правило, все эти вещи не очень открывались и закрывались, пачкали руки, прищемляли пальцы, но боевое свое задание они исполняли и на последнем дыхании: они смотрели тебе в душу прямыми глазами Родины: Руки вверх! ни с места!

И вот, среди этих незабвенных мыльниц разного наименования, среди сограждан, выходящих на охоту за мылом и другими предметами первой необходимости, задевая при этом друг друга всеми частями тела и поклажи и неотразимо парируя любой вопрос, обращенный к ним: «своих глаз что ли нет!» — среди всего этого, в казенном помещении с портретом генсека, погребальными скатертями и пехотными стульями — одним словом,

Посреди приемной советской,
Где все могут быть сожжены,
как в последних стихах Блока...

— Сударыня, что я могу для Вас сделать? принести печенья? —
профессор Лотман, *тот самый* Лотман с умной улыбкой стоит передо мной,
приглашая к чаепитию после ученой части.

Кто помнит, как все оно было (боюсь, мало кто помнит, и непременно заметят,
как тогда, что я *очерняю и преувеличиваю*, и, как тогда, обидятся: «А ты-то кто? ты
что, не у нас росла?»), но кто помнит, вряд ли возразит, что простой свет учтивости
был тогда вещь более чем *самодостаточной*. Что ему чего-то не доставало. Тепла,
например. И много ли тепла в Пушкине? Тонкий холод, светлое безучастие.

Колокольчик небывалый
У меня звенит в ушах.

Как славно, что он звенит, не заботясь о нашей пользе.

Ах, не надо мне жечь сердце никакими глаголами, мне не нужно ни жгучей
правды, ни овечьего тепла, и таинственных изгибов неизъяснимой глубины мне давно
не нужно; мне нужно ощутить на лбу холодные умытые пальцы, легкое прикосно-
вение опрятной души. Это значит: сиделка здесь, врач неподалеку, звенит крахма-
лом госпитальная белизна прохладных небесных риз.

На заре алой
Серебрится снежный прах.

Вот что в конце концов я назову свободой: возможность предпочесть чистоту
всему прочему. Не поставить никакого эпитета, если единственно правильный не
приходит на ум.

На заре *морозной* алой,

дописал эту строку композитор Свиридов. Он окутал пушкинские слова зву-
ковым волшебством, которое всякий сразу узнает как волшебство. Конечно, вол-
шебство таким и бывает. Это бесспорно, как и то, что зимняя заря — морозная.
Но Пушкин почему-то этого не сказал! И волшебство его, если это волшебство, так
сразу не узнаешь: оно *небывалое*. Оно не звучит и не действует, а молчит и ждет.

Холод структуралистского словаря и бескомпромиссного рационализма бле-
стел, как стеклянные лабораторные сосуды в воде, как слово «скальпель», как само
это легендарное имя, холодное и светлое на слух: Лотман.

Юрий Михайлович умер. Мутное начало новых времен расходилось все шире.
Город Тарту, некогда Дерпт, когда-то Юрьев, уже не первый год был за границей.

2

Этим обстоятельством объясняется то, что поездка на похороны Юрия Михай-
ловича начиналась в эстонском посольстве. С той любезностью, которую мы при-
выкли называть европейской, и той широтой, которую принято считать российской,
эстонское правительство безотлагательно и бесплатно выдало въездные визы всем,
кого ожидали на похоронах, по списку. Но сложность состояла не только во въез-
де в другую страну: нужно было еще выехать из своей. Для этого также требова-
лась виза, и ее-то никто не собирался давать в особом порядке. Лотман не был даже
российским академиком. Так что разрешение на выезд поспело бы не раньше, чем
к сороковинам.

Если не брезговать деталями, сообщу, что выездная виза требовалась только
тем, у кого заграничный паспорт был определенного типа: такого, как у меня. И
решив, что Бог даст обойдется, что выезд, как-никак, не въезд, тем более, ввиду крайне
скорого возвращения, я присоединилась к удачливым обладателям паспортов дру-
гого образца. Обнаружив, тем самым, что в отношении правового сознания я не
далеко ушла от чеховских мужиков. Может быть, впрочем, право наше ушло даль-
ше: сознанию оно не поддается. Его понимают чем-то другим.

3

Нас было много. Легче назвать, кого там не было, кто из «наших» не ехал в этом вечернем поезде на северо-запад, в недавнюю «свою», а теперь просто Европу. Почти просто. Не было главным образом тех, кто в это время трудился далече, в других университетах, откуда наш запад видится на востоке, а наш почти свободный мир располагается в «пост-тоталитарном пространстве».

В самый раз вспомнить историю и географию. И, конечно, их вспоминали на следующий день, на поминальном обеде. Пока же время шло ко сну.

Мне с детства нравился железнодорожный сон, как нравится не сладкое, а крепкое, как может нравиться болеть или быть в плену, как Пушкину нравилась поздняя осень и чахоточная дева. Странствие и болезнь — лучшие из дней нашей жизни, заметил меланхолический библейский автор, «ибо скоро проходят». И потому еще, что в такие времена можно утешаться собственной невинностью: больше сейчас ничего не придумаешь, ход событий целиком взят из твоих рук. Если жизнь есть сон, то эпизоды болезни снятся на шаткой верхней полке.

Так вот, кто-то из тех, кто ехал сейчас, обсуждая последний доклад Аверинцева и другие умственные новости, назавтра, взяв слово, сказал, что впервые ему не стыдно быть в Эстонии, впервые он приехал сюда как гость, а не как оккупант. Все были солидарны с ним и желали добра наконец-то свободной от нас Эстонии.

Она и прежде была заметно свободнее от нас, чем мы. Это поражало приезжего. Когда в студенческие годы в университетском здании на месте положенных статуй я увидела Еврипида — кажется, я обернулась: не видит ли кто-нибудь, *что* я вижу. Это почище, чем читать запрещенную книгу! Статуи, писал безумный Хлебников, суть основной язык, которым власть говорит с народом. Какая же власть говорила этим вопиющим Еврипидом у входа?

Впрочем, как мне приходилось писать в хронике другого, теперь уже давнего путешествия, и Москва была свободнее от нас, чем Брянск или Челябинск. И Брянск, в свою очередь, не был окончательно нашим. Окончательно, радикально нашими были, вероятно, среднеазиатские хлопковые подвалы, где власть разговаривала с народом не одними только статуями: статуям в ее языке принадлежало скромное место обстоятельства образа действий, а сказуемое и подлежащее были покрепче: под ритуальными изображениями хлопкоробов секли кнутом, а их жен разбирали партийные руководители.

Как помнится, эта первая, теперь уже с трудом различимая в памяти скандальная огласка («хлопковое дело») оказалась началом обвала, лавины разоблачений номенклатурного злодейства. Впрочем, эта лавина, в отличие от вещественной снежной лавины в сванских горах (которая приблизительно в то же время начала ряд природных катастроф), никого не накрыла. Прошла — и оставила всех на своих местах, унеся с собой только кое-какие красные повязки и словарь пропаганды. Она оставила на своем месте даже заляктый непогребенный труп вождя в центре отечества. Эта вещь — продолжая тартуские разговоры — очевиднейшим образом обнаруживает, что кроме знаков и знаковых систем существуют *символы*: единицы силовые, а не семантические, образующие не системы, а силовые поля, мифы, которые никак в *знаки* не превратишь. Они принадлежат не второй или вторичной реальности, а самой что ни на есть первой. Или даже до-первой.

Итак, в уже свободную от нас и от наших непогребенных символов Эстонию ехала элита гуманитарной культуры, к этому времени не опальная, а почтенная разными званиями и приглашенная во власть. Среди нас были депутаты и даже советник Президента! Совсем недавно отгремели выстрелы у Белого Дома. Это и обсуждалось за купейными переборками.

Время плавно, как равнина в низину, впадало в безмятежный путевой сон. В механическое море, в коридоры больной дремы, в ветки ее лабиринта с золотыми площадками в дальней глубине.

4

Но долго бродить по ним не пришлось. В шесть утра поезд остановился, резко и прочно, как останавливаются на государственном рубеже. Печоры Псковские.

— С кем граничит Россия? — спросил меня парализованный.

— Россия граничит с Богом, — ответил я.

Так, с некоторым привкусом югендштиля, писал Рильке. К настоящему моменту Россия вновь граничит с Эстонией, и эта новая граница — такая же военная вещь, как все границы России, и охраняется так же неусыпно. Попробуйте пересечь ее и попасть в любую другую страну из тех, которые с Богом не граничат. Такой попытке и посвящено мое нынешнее повествование. И рассказ мой, как водится, будет печален.

Команда пограничников с сердитым главарем, перелистав паспорта, быстро обнаружила и обезвредила злоумышленников. Нас оказалось четверо, со старыми паспортами без выездных виз. Мы были высажены. Поезд двинулся дальше. К Балтике, в Тарту, на последнее свидание.

5

У благоразумного автора здесь бы и стояла точка. Сюжет исчерпан. На вечернем поезде мы вернулись бы в Москву. Но юность судит иначе, а все трое моих спутников были юны, ученики ЮрМиха (так они его звали) последнего призыва. Они долго не раздумывали. Переходить свежую границу им было не впервой. Они знали, что до эстонских рубежей приблизительно час пути по прямой. Есть другой путь, тайная тропа спекулянтов, но ее-то как раз сторожат пограничники. Сняв нас с поезда, они наверняка отправились туда, так что мы ничем не рискуем.

И мы пошли по шпалам, вслед за поездом, на ходу отыскивая общих знакомых и общие воспоминания. Утро стояло ясное, идти быстрым шагом одно удовольствие. Похороны были назначены на двенадцать.

6

На эстонской границе нас приняли любезно (эту фразу мне еще придется повторить в более драматическом контексте). Пограничники заглянули в список приглашенных, который лежал у них на столе: мы в нем значились. Мои спутники говорили по-эстонски. И это, и, как мне показалось, само наше непринужденное обхождение с отечественной границей доставило хозяевам заметное удовольствие. Среди легковых машин у пограничного шлагбаума они нашли идущую в Тарту и попросили водителя подвезти нас. Водитель, узнав о наших планах, отказался брать деньги. Благоприятный ветер дул в наши паруса. Мы прибыли задолго до начала, так что девицы успели привести в порядок траурные платья.

7

Пели университетские латинские гимны. Играл органнй Бах. Никто не говорил. Так хотел Юрий Михайлович. Прощальное и завершающее слово было передано музыке.

Давайте слушать грома проповедь,
Как внуки Иоганна Баха...

Не говорил даже Президент Эстонии, опоздавший на пять минут.

— Начнем точно в двенадцать, — сказала Анн Мальц, — пусть посмотрят, кто здесь Европа!

Анн, вдохновенная сподвижница Профессора, еще раз готовилась выступить за честь России перед своими соотечественниками.

8

Я не видела Анн почти десять лет. Ее красота стала еще удивительнее и в достоинстве скорби казалась почти невыносимой для глаз.

Пастернак в «Охранной грамоте» заметил, что все прекрасное кажется нам

непомерно большим. Такая аберрация размера происходит у меня с другими вещами. Непомерно большим мне кажется жалкое: вернее, то, что стоит на пороге жалости. Ничтожное и скверное, такое, что естественнее всего было бы ненавидеть, *не видеть раз и навсегда*, но по каким-то причинам это невозможно. И вот его присутствие, его непоправимая видимость, ставящая в тупик, набирает необыкновенную величину и неподъемный вес: Ну сделай что-нибудь со мной! — требует оно от сердца, и сердце находит единственный выход: пожалеть. Тогда это невыносимое и возвращается к размерам, с которыми можно иметь дело. Оно предано земле, оно лежит в жалости. Requiem aeternum. Вечный покой дай им от моего несчастья, от моего раздражения. Земля жалости упокоит их и помирит нас.

Конечно, это худой мир, и я предпочла бы ему хорошую войну. Это как ландшафт без неба, потому что в небе гнев. Чистый гнев — вот что в самом деле ожило бы все это! Чистый гнев, очищающий бич, который вручают пророкам и святым. Нам же остается привычное дело, полудело, безделье: извятие словес, плетение венка, который всегда почему-то оказывается надгробным.

Что до красоты, она не представляется мне ни огромной, ни упоительно маленькой — просто невидимой: стоя у тебя перед глазами, она как будто глядит в спину, в то место между лопатками, которое осталось смертным у бессмертного героя. Вот он входит в лес, и лесные птицы поют на понятном ему языке: Зигфрид! Зигфрид! не забудь про смертное пятно, про мишень на спине... Голос красоты?

Все знали, что Анн не совсем человек и не то чтобы сотрудник кафедры, даже бессмертной Кафедры Лотмана. Она Душа и Муза. Эстонцы обожали ее как саму землю своей земли: дочь последнего Президента свободной Эстонии. Мы писали из Москвы на конвертах в графе «Кому»: Анн Мальц, когда просили выслать очередной том Ученых Записок. Мне кажется, если бы Муза Юрия Михайловича (а у него несомненно была Муза) приобрела наглядную очевидность, получилась бы Анн Мальц. Безукоризненная Анн с ее фантастической прической, напоминающей и о шлеме Афины, и о боттичелиевых хитроумно перевитых прядях.

Сейчас, в час прощания, Анн явилась в той особой — полной — красе, торжественной, едва ли не торжествующей, красоте, которая называется: в последний раз. В последний раз *есть* все, что было — и что никогда не было все разом. Посмотрите, если прежде не насмотрелись. Солнце настоящего выходит из облаков житейского обыкновения, как Анадиомена из вод морских.

9

Итак, все молчали. Почетный караул менялся у гроба, звучал Бах, и множество людей тихо подходили прощаться. Эстонские люди красиво стояли и склонялись у гроба, красиво опускали цветы. Российские ежились и не знали, что делать со спиной и плечами. Ритуальная геральдика поз и мимики давно покинула наше социальное бытие, на этом иностранном языке, на языке телесного этикета они не могли бы сказать ни слова. Церковные люди, конечно, могли бы, но таких как будто не было — или же они, как одна из моих юных спутниц, старались быть как все и приличное происходящему движение совершали только в уме.

Юрий Михайлович говорил на этом языке. Кланялся ли он при встрече или подавал пальто, брал мел у доски или опускал нож и вилку, начиная за столом какой-нибудь очаровательный анекдот о нравах восемнадцатого века, каждый жест его был окружен быстрыми пучками света, как вокруг хрустальной призмы. Эта танцевальная, фехтовальная огранка жестов — как и навыв легко шутить, как бы придерживая смысл фразы, не давая ему рухнуть на собеседника всей тяжестью — все это изящество приобрело особую значительность рядом с его взглядом, не по-светски умным и печальным. Он не любил шутовства и не терпел тени разнужданности. Если кто-нибудь не понял этого сразу... Картель. Выйдем, сударь! Глядя, как он слушает стихи или музыку, я вновь убеждалась в том, что благородство и одаренность рождаются из простодушия, и состоят из простодушия, и лукава и недоверчива только посредственность. Как все печально.

Люди шли и шли. Светская церемония, силой давней университетской традиции приподнятая до какого-то другого, не храмового благочестия, pietas. Где-то — для нас в чужой дали — она уходит в монастырскую твердь Европы, во всеобщую латинскую образованность, раскинутую, как шатер, над народными наречиями. Кли-

рики, потом клерки, миряне, но не совсем: посторонние сословным, политическим, имущественным, национальным интересам. Служители свободных искусств, единого прекрасного жрецы. Этого в России не было: в России все, не только ученые и поэты, но и монахи-затворники, служили России. И вот что удивительно: страна, которой все ее жители так самозабвенно служат, отложив прочее на потом, находя в этом свое первое и священное призвание, должна была бы стать самой счастливой, самой ухоженной страной в мире! И что же: там, где философ занят истиной, а не Германией, или живописец — светотеневыми эффектами, а не Францией, и никто не клянется, что и себя, и дар свой, и деток — как в сказке «Тараканище» — принесет в жертву Родине, там и страна получается покрепче и поопрятнее... Господа! друзья! Вы не заметили? что-то не так вышло у нас с этим служением...

Хлебнув из вселенной Иппокрены, возвращались на служилую Русь люди восемнадцатого века, которых так хорошо знал Юрий Михайлович.

Как в волшебном фонаре, огонь свободного ума, бескорыстного служения Музам и ясного гражданства — и, конечно, дружбы, венца всему — был перенесен в царскосельский Лицей. О, Дружба, вершина классического счастья! «Между низкими дружба невозможна; порочные не дружат, они вступают в сговор», утверждал Стагирит. Дружба, солнце в зените, ключ гармонии, зеленый холм, на который волен взойти каждый, в ком есть чувство и честь: из пещеры уединения, из погребка кровных связей, из трясины обоюдových знакомств, из морозилки казенных отношений, и даже из пламени любовной страсти. Здесь, под солнцем дружбы, на ее открытом воздухе он найдет себе все: и новое уединение, и другую кровь родства, и другую выгоду, и другую службу.

Бог Нахтигаль! дай мне судьбу Пилата
Иль вырви мне язык: он мне не нужен.

И в самом деле, зачем язык, если в дружбе отказано? разве не дружба — родное пространство речи? во всяком случае, речи украшенной и обработанной. Любовь обходится без слов и не очень им верит.

На старом добром структуралистском жаргоне, наша гуманитарная элита в советском обществе исполняла культурную функцию дворянства — как понимал эту функцию Пушкин:

«Чему учится дворянство? независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии качества природные? Так, но образ жизни может их развить, усилить — или задушить. Нужны ли они в народе так же, как например, трудолюбие? Нужны, ибо они *sauvegarde* трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества.»

И венец *сих качеств* — дружба, аристотелевская, томистская дружба, которую в нашем веке знала Ахматова («Души высокая свобода, Что дружбою наречена»), и воспел Эзра Паунд («Здесь место дружбы. Здесь земля священна»), вещь неведомая варварам и рабам. Структурализм созидал дружбу, и это значило не меньше, чем труды эрудиции и эвристический дар.

Но как странно звучит Бах. Как печальна, в конце концов, эта возвышенная задумчивость. Как дым, который стелется по земле. Серьезное и честное размышление обо всем, кроме невозможного. Странно. Кажется, впервые мне так явно слышится, что в Бахе — страшно сказать — нет и не предусмотрено взрыва чуда, что эта звуковая сила движется в замкнутых руслах. Или так: что он проходит *вдали*: в дали высокой и строгой, но самого близкого, самой сильной и секретной мембраны сердца не касается. Может быть, с такой же далью —

И даль пространств, как стих псалма —

могучей и сумрачной — отеческой — далью остался бы Рильке, если бы он не встретил того, что назвал Россией...

Плачу и рыдаю, вот что касается близи: невозможного, безумного, недозволенного. *Житейское море*... Человек склоняется над собой, как мать, и плачет себе, как младенец, не от боли, не от страха, не от горя, а просто от плача, плачет от плача, потому что все плач, все последнее целование и последняя царская почеть, и это

чудо как хорошо в конце концов. Аможе вси человецы пойдём надгробное рыдание творяще песнь...

Понятно. Все это потому, что нет панихиды. Вот что превратило для меня Баха в сумрак и стелющийся дым или в сушу, которая не знает прикосновения прибора. Но почему Рильке? Ах да, «Смерть поэта», о лице и маске:

Лицо его и было тем простором,
Что тянется к нему и тщетно льнет,
А эта маска бедная умрет,
Открыто предоставленная взорам...

Юрий Михайлович не знакомил публику с собственными стихотворными опытами; не знаю, существуют ли они. Но теперь, издали, мне кажется, что лицо его было таким, как представлял себе Рильке лицо Поэта:

Лицо его и было тем простором...

Не простором природного ландшафта, как у Рильке, но простором истории, человеческого творчества, с его холмами и реками, над которыми тоже звезда с звездой говорит. И этот простор как будто сам тянулся к нему, и в устной и письменной речи Лотмана слышалось, что это они, его герои и собеседники, первыми обратились к нему — и через него к нам — с проснувшейся надеждой быть заново услышанными. Текст, говорил Юрий Михайлович, выбирает себе читателя; можно добавить: выбирает и собирает:

Сбирайтесь иногда читать мой список верный.
Мы с радостью собрались — и долго слушали.

10

На кладбище сыновья и ученики кидали лопатами зимнюю землю. Почему-то играл плохой скрипач. Что-то совсем неподходящее, чуть не танцевальное. Гриша смотрел на происходящее из своего буддийского колодца. В его взгляде земля и люди и все, что эти люди делали, переворачивалось и плавало, как в камере невесомости.

Мир! мир! мир! буддийский мир, как океан, держал и качал вещи, готовые вступить между собой в драку, — но волны разносили их и делали всякую встречу невозможной. «Отчаяние, последнее убежище самости», говорят буддисты. Этот бедный шалаш, который многие у нас принимают за неприступную цитадель, или за Фермопилы, которые следует защищать до смерти, даже и зная, что в конце концов победят персы, это утлое и узкое отчаяние давно было снесено неукротимым прибоем: никакого «я» на месте не оказалось, горевать и бунтовать было некому: другое Я, великий Никто, золотой океан, выныривал из вещей, как рыба, плавал в их колодце, как пустая бадья на цепи...

Гриша посмотрел на меня. Да, спасибо, все хорошо, у него теперь есть гуру, и он занимается медитацией.

- А Вы еще сочиняете Ваши стихи? — спросил он меня.
- Больше прозу.
- Хорошо. Все хорошо. Правда? — сказал Гриша.

Тишина кончилась. Вспыхнули разговоры, там, здесь, шепотом, вполголоса, на обратном пути уже в полный голос.

11

Прощай, Тарту, версиловская Европа нашей юности, священные камни, иной мир. Теперь ты наконец совсем иной. Следы советской жизни исчезают с улиц, как будто дом прибирают после долгого и безобразного дебоша. Без нас тут будет хорошо. А без Юрия Михайловича? Здесь жил Мартин Лютер, здесь братья Grimm.

Кстати, о Европе. Заблудившись в Веймаре, я случайно и напоследок увидела в переулке табличку: Здесь жил Эккерман. Почему-то я очень люблю Эккермана,

и была так рада, будто это он сам решил мне кивнуть из окна на прощание. Спасибо Вам, господин Эккерман! Сидя за столиком на виа Мерулана в ресторанчике «Дом Мецената», я обернулась и вдруг поняла, что древняя хижина рядом и есть настоящий дом Мецената. Мецената я тоже люблю: Гораций не хотел его пережить. Спасибо тебе, Меценат. Прощайте, служители свободного искусства. Прощайте, его покровители. Прощайте, Орест и Пилат и Бог Нахтигаль. У нас таких нет и не будет. Клочок вашего вольного простора возвращается в родную стихию из номадского плена. Прощай, старая Европа.

Анн Мальц вернули наследственный хутор, и она собирается уехать, попробовать новую старинную жизнь. На широких холмах парка с латинскими стелами, над темной рекой, чье имя трудно запомнить, на университетской площади, где я впервые в жизни увидела, что ложные окна бывают не только в истории архитектуры и в стихах Блока («Окна ложные на небе черном»), на опрятных улицах среди не по-русски сдержанных людей больше не появится Юрий Михайлович.

И нам здесь появляться как будто больше незначем.

12

На ночь после поминок нас приютила Тамара Павловна, которой с этих страниц я шлю мой низкий поклон и сердечное почтение.

Как в «Синей Птице» Метерлинка Бабушка и Дедушка просыпаются и живут, когда их кто-нибудь вспоминает, так, мне казалось, просыпается и живет Блок, когда на его стихи глядят глаза Тамары Павловны, крылатые, как в гимназической юности. В глазах любого читателя кто-то, создавший эти строки, живет, — но кто этот кто-то? Блок живет в крылатых глазах; в других это будет не он. Мы остались среди других глаз.

И самыми пугающими среди них мне кажутся глаза нового благочестия, светлые и сладкие, как приворотное зелье. Такие присушки варят олонечские колдуны из болотного мха, щепок и лягушачьей кожи на меду. Радиоактивный елей, мертвая зона. Смирись, гордый человек. Ну, говорю, смирись! — Это зелье покрепче комсомольского.

Что случается с Александром Александровичем Блоком в этих глазах, все знают. Что случится в них с Тамарой Павловной, внучкой православного батюшки, расстрелянного красными в 19-м году, вдовой Ивана Лаговского, убитого НКВД в 40-м году, сотрудницей матери Марии, отбывшей за это свои сроки, а теперь справляющей Рождество по новому стилю, «чтобы вместе со всеми»... Как они посмотрят на ее книгу...

Иногда мне жаль, что я не сумасшедшая, а главное, что нет у меня об этом справки с печатью. Тогда, со справкой, я бы не церемонилась, тогда я бы сказала им все, что думаю: Вы ошиблись дверью! Вам не сюда! И не шарьте глазами по углам, не высматривайте: ничего вашего тут нет. Идите к своему преподобному Нилусу, идите, не забудьте свои шпаргалки «В помощь кающемуся». Напугался сам, напугай товарища. Почему вы решили, что это делают здесь?

И подмосковная картинка хрущевских времен встает передо мной. Ранняя весна. Дурочка Лизавета, известная всей округе от Никольского до Салтыковки, стоит у ограды, озирает народ. Великий Пост, первые недели, снег еще не сошел. Лизавета, как всегда, в летнем платье и тапочках на босу ногу. Говорят, у нее два сердца, поэтому она не забнет. Но она говорит, что мы забнем, потому что неверующие. — Ну, скажите: Пресвятая Богородица, согрей меня! Бойтесь, да?

Старушки в вязаных платках, бледно- и буро-серых, опрятные и порядливые, идут от вечерни, упрямывая свою секретную радость, как любимую скатерть, в дальний ларь, подальше от глаз. Но не вдруг у них это получается: там, сям краешек еще виден. Лизавета орет: «И зачем это вы явились? Зачем пришли? Тоже, видите, люди Божии! Своих-то Бог от утробы матери призывает! А вы кто? порождения ехиднины!» Ехиднины порождения тем временем проходят не споря мимо Лизаветы, сокрушенно кивают головами: ведь правду говорит, так все и есть, куда нам...

Что же, прощай, русское Тарту. Скажу ли я и это: прощай, последняя Россия. Тамара Павловна со мной, конечно, не согласится.

13

Кому повею печаль мою,
Кому скажу рыдание?

Вам доводилось слушать, как Сима Никитина поет этот стих об Иосифе? Иосиф знает, кому:

Скажу печаль Иакову,
Отцу моему Израилю.

Кому же я ее повею? Кто вообще кому повею печаль свою на наших равнинах? Здесь, где человек — отдельно взятый человек — никому не знаком и не нужен никому: ни своему врачу, ни своему учителю, ни шоферу, ни портному, ни повару, ни президенту? Впрочем, нет: он нужен — и насущно нужен — всем, кто ему что-нибудь запрещает и куда-нибудь не пускает. Эти любят свое дело. Эти не скажут: «Вас много, а я один!» Чем больше, тем лучше. Подходите, милости просим.

Итак, кому же повею печаль мою? печаль, в серьезность и законность которой и сам-то вряд ли веришь: печалей много, и нас много, всех не выслушаешь, по всем не заплачешься. И что за печаль-то? Чушь какая-то. Грех жаловаться. Сами виноваты. И кроме того: могло бы быть хуже, много хуже.

Но когда-то, давным-давно, зимним вечером, помнится, разбирая гречневую крупу, не то перебирая спицами, бабушка говорила мне этот стих:

Скажу печаль Иакову...

И с тех, четырех, наверное, лет, я все-таки не могу не предполагать, что есть где-то какой-то Иаков, что есть печаль, которую говорят и слушают, и что рядом с ней может стоять дательный падеж: кому, чему. Не сейчас, так через сорок лет, в тощие годы, приведут сюда Иакова, и мы останемся вдвоем в этом Египте, *в земли чуждей*. Тогда я ему все и расскажу. Это не займет много времени. Один взгляд.

— Ну что, очень тебе плохо было здесь?

— Да нет, — скажу я, опомнившись, — ничего, ничего, не огорчайся. Прости, пожалуйста.

14

В вечернем поезде разговоры продолжались. Мы оказались свидетелями агонии того режима, который столько лет ненавидели, как могли, и считали вечным. Было о чем поговорить.

С самого своего почти комического начала, с отмены винопития в России, и вплоть до нынешнего дня, когда я пишу эту страницу, дня дефолта, за которым маячит очередная реставрация, весь этот процесс принял у меня в уме ясную пластическую форму. Группа Лаокоона. С тем усложнением, что и сам троянский жрец с сыновьями, и нездешние змеи, из которых они выпутываются, — это *одно* действующее лицо. Общество выпутывается из себя и себя душит. Общество хочет предостеречь себя от рокового дара данайцев — и хочет ни за что не узнать о его начинке. Боги борются с богами, как в гомеровских песнях. И каждый из нас как этот конь: в какую Троию его ни введи, поминай, как ее звали.

Неразделимость и неразличимость жертвы и мучителя невыносима для рассудка — и толкает разделить их, каким-нибудь известным рациональным способом рассечь, развести по сторонам, отвлечь одного от другого: коммунистов от некоммунистов, русских от нерусских, центр от провинций. Но каждый отсеченный на таком основании «чистый» кусок тут же начинает клубиться знакомой картиной: оплетающие змеи и выпутывающиеся из них подростки и старик.

Есть на свете, однако, и другая прославленная картина, касающаяся змей: Георгий Победоносец. Ветер битвы, складки боевого плаща и безупречная прямая: длинное и крепкое разящее копьё — и жалкий гад в левом нижнем углу. Конечно! Победа!

Может быть, это копьё блеснуло здесь однажды, в августе 91-го. Три дня без змеинного отродья.

По мнению моих спутников, которое особенно горячо отстаивала М., это же копье блеснуло и в октябре 93-го.

— Нечего с ними церемониться! — говорила она. — Прикончить раз и навсегда.

Беседа с приятным ужасом пошла об их злодействах. Как славно было без них. Крапивное семья, шпана, — вспоминал В. Н., — так о них думали почтенные московские мещане. Как тепло было в докоммунарской Москве! Еще до 30-х годов хватило этого тепла. Еврейские соседи угощали православных в свою Пасху, а те носили им в ответ куличи... За воспоминаниями о сладостной патриархальной Москве и о ее вымирании приближалась полночь, мы подъезжали к границе. Печоры Псковские. В купе вошла бригада пограничников: та самая, которая высадила нас позапрошлой ночью.

15

Немая сцена продолжалась недолго.

Нет, не то чтобы все и сразу согласились отдать нас пограничникам. Спорили, убеждали, упрасивали. Минут через двадцать мы, трое отловленных нарушителей (четвертый остался в Тарту), шли мимо раскрытых купе, откуда неслись напутствия.

— Статья УК такая-то: переход государственной границы, два года плюс конфискация имущества, — комментировал подкованный в мерах пресечения известный диссидент.

Критик, похожий на Лермонтова, мелькнул в дверях.

Уже на платформе мы услышали энергичный голос М.:

— Главное, не забудьте сказать, что вы уважаете законность! Что вы не правые нигилисты. Это сейчас *очень* важно.

Втроем мы стояли на длинной, длинной платформе, длинной, кривой и такой голой, какие бывают только в наших палестинах. *Меонической*, подумала я. Рядом урезонивали десантников, высаженных из соседнего вагона за битье стекол в нетрезвом состоянии. Десантники еще шумели.

Когда теплые и светлые вагоны с застеленными на ночь полками и горячим дорожным чаем дрогнули — и уже собирались покинуть нашу меоническую местность — с подножки спрыгнул молодой и никому из нас прежде не знакомый человек.

— Не мог я смотреть на вас троих на этой платформе, — сердито объяснил он. Его звали Сергеем. Он приехал на похороны из Армении.

Поезд неторопливо удалялся.

16

Прощайте, коллеги, прощайте, наставники, доброй ночи, счастливого пути. Меня всегда удивляла география. Почему нам суждено было проститься именно здесь, в пограничных Печорах, где вряд ли и вам, и мне доведется оказаться во второй раз, как в гераклитовой реке. Как известно, *панта реи*. Как еще известно, неподвижно лишь солнце любви. Может быть, еще и дневная звезда дружбы. Но к нашему случаю это не относится.

17

Нас отвели под стражу, в такое же меоническое, как платформа, служебное помещение. Сергею войти не разрешили. Солдаты, изнуренные хронической праздностью, играли в какую-то экзотическую игру: кости не кости, шашки не шашки. Вероятно, стража всегда играет во что-то такое. Но ничем другим на тех, римских солдат наши похожи не были. При них был мешок с белыми сухарями, который они благодушно подвинули к нам. Угощайтесь.

— А какой он был, ваш учитель?

Девочки достали тартускую газету с траурным портретом Юрия Михайловича.

— Понятно. Строгий, но справедливый.

Нас поодиночке стали вызывать для дачи письменных показаний.

— Пишите «я», а не «мы», от первого лица каждая! *Как я пересекла государственную границу.*

«Следуя в поезде номер такой-то, я была высажена на станции Печоры Псковские пограничной бригадой номер такой-то. Не считая для себя возможным не проститься с Юрием Михайловичем Лотманом, я пошла по рельсам и через некоторое время беспрепятственно достигла эстонской границы. На эстонской границе нас приняли любезно...» Добавить, что ли, о моем уважении к законности? Да что там, все свои...

18

Офицер соблюдал общечеловеческие приличия и этим решительно отличался от своего подчиненного (старшины, который кричал в вагоне: «Увидите у меня! Значит, вы образованные, так вам все можно? а мы, значит, люди маленькие?»). Офицер изучил наши отчеты и решил обсудить дело со мной как со старшей.

— Итак, Вы пишете: «На эстонской границе нас приняли любезно.» Почему, как Вы думаете?

— Пограничники располагали списком приглашенных на похороны профессора Лотмана.

— Так. А откуда, Вы думаете, был у них этот список?

— Я думаю, он был прислан правительством Эстонии.

— А почему Вы так думаете?

— Потому что все расходы правительство брало на себя, как было объявлено, и открывал церемонию Леннарт Мери, Президент Эстонии.

— Президент?

— Президент.

Как беден наш язык — и особенно его графическая форма! Музыкальная запись, партитура, быть может, передала бы богатый смысл этого точного повтора, пустого в его буквенной фиксации. *Президент?* офицера, вероятно, выражался бы септимой вверх и был передан тревожной струнной группе. Мой *Президент*, октава вниз, сопровождался бы тихим рокотом ударных. *Piano e maestoso.*

Пре — зи — дент? Пре — зи — дент.

— Хорошо, мы подумаем. Подождите здесь.

Еще час, наверное, мы грызли сухари с солдатами. Наконец дверь открылась и вошел давешний вежливый офицер.

— Обдумав все, мы решили: Ваши намерения были добрыми — Вы хотели проститься с учителем. Поэтому мы не будем открывать на вас уголовное дело по статье УК такой-то (диссидент не спугал!). Вам придется только заплатить штраф в местном отделении милиции.

Рильке, видимо, ошибался: Россия не граничит с Богом, она уже за этой границей.

Твои слова, поступки судят люди,
Намеренья единый видит Бог.

Мы там, где судят намерения. Причем уголовным судопроизводством.

Однако разговор был еще далеко не кончен. Оставалось еще что-то, и поважнее, чем штраф. Внимательно взглядываясь и что-то во мне просчитывая, офицер спросил:

— Итак, у вас есть какие-либо претензии к нам?

— Нет, — не раздумывая, решительно отвечаю я.

— Никаких? — уточняет он.

— Никаких.

Этот повтор должен быть оркестрован иначе, чем предыдущий: утвердительная интонация в данном случае принадлежит вопросу офицера, просительно-тревожная — моему ответу.

— Что же. Иначе... Если у вас есть какие-то претензии... то и у нас... ЕСТЬ — ТАМ! — указательный жест в потолок. Занавес.

Погранбригада в полном составе сопровождает нас в печорское о.м. и сдает дежурному офицеру.

У него такое доброе лицо, какое можно вообразить только у старинного детского врача. Кажется, я не припомню такого кроткого, попечительного и более чем отеческого взгляда с тех пор, как в четыре года на меня смотрел старый доктор с зеркальцем во лбу. Глаза мои невольно искали такого же зеркальца на лбу начальника милиции. Что-то такое там было, на лбу, только не вещественное... Он слушал оперативную сводку.

— Ну и как его матушка?

— В больнице, переломы обеих плечевых костей. Вот здесь и вот здесь.

— Как же это он ее? что-нибудь спрашивал, наверное, узнавал... — вдумчиво и без малейшего негодования предположил главный милиционер. Картина сыновних расспросов встала у нас перед глазами.

Повернувшись к нам, главный милиционер сказал, краснея:

— Ой, девчонки, мне даже стыдно у вас такое спрашивать... Вы уж простите, форма.

— Спрашивайте, спрашивайте, — ободряем мы.

После долгих уговоров он решается:

— Сколько вы... извините, получаете? Это чтобы штраф оформить. Честное слово, я бы не стал. За такое доброе дело еще и деньги брать! Человека хоронить ехали! в такую даль! Но я же им должен квитанции отдать. Вы уж простите.

Размер штрафа за переход государственной границы точно совпадал с платой за постельное белье в поезде. Сколько это составляло тогдашних сот или тысяч рублей, не берусь вспомнить.

Заполнив квитанции, главный милиционер позвонил куда-то и сказал нам:

— Ну вот, нашел для вас место на ночь, в общежитии обещали. Следующий поезд на Москву завтра в полночь.

На милицмейской машине нас подвезли к двухэтажному зданию такого же меонического состава, как платформа, погранзаезда и отделение милиции. Долгая зимняя ночь еще не собиралась кончаться. Полчетвертого.

Участливые глаза милиционера навеяли нам нелепую надежду на сон под одеялом, в постели. Все такие надежды следовало оставить в прошлом.

Дежурная общежития, потягиваясь, сказала:

— Так. До утра побудете здесь. В вестибюле. Комнат нет. Это общежитие для югославов, а вы не югославы. Вон кресла. Устраивайтесь.

В бронированных черных креслах у ледящего входа мы устроились и стали ждать смерти от переохлаждения. Мы не роптали. Все правильно: мы не югославы, с этим не поспоришь. Но Сергей думал иначе. Он поднялся на второй этаж и вернулся с приятным известием: там, наверху, есть такой же холл и такие же кресла: мы можем посидеть и там, все-таки не дуем!

Однако от судьбы не уйдешь; сон дежурной был чуток. Стуча каблуками, она поднялась на второй этаж и закричала:

— Это что такое! Я вам русским языком сказала: вы не югославы. Вам — здесь — нельзя. Вам — можно — только — там.

Ранним утром мимо наших кресел, не оглядываясь, зашагали югославы в спецодежде. Оказалось, они возводят российско-эстонскую границу. Такой исторический момент. Интересно, кто строит границу между частями их империи... Они шли, не сомневаясь в предстоящем завтраке. С вновь вспыхнувшей неуместной надеждой мы поспешили за ними в столовую.

— Только для югославов, — сказали нам. — Вам не полагается.

— А за деньги? Чая, горячего, за деньги?

— Денег не берем! — был неожиданный ответ. — Не нужны нам ваши деньги!

— А без денег, просто кипятка, горячего?

— За талоны. У югославов есть талоны. Вы не югославы. Ну что смотрите, что вам непонятно?

Непонятно было все. На печорских улицах мы стали расспрашивать, где тут столовая, или кафе, или буфет.

— Вон там столовая была. А на том углу кафе. Видите? Вон там еще была

столовая, за тем домом. Недавно. Теперь уже нет. Теперь ничего нет. Теперь приватизация. И *погранцы* на каждом шагу. В автобусе паспорта спрашивают, на рынке. Надоели.

Напоминание о *погранцах* заставило нас поспешить назад в общежитие. Мы заснем в креслах, пока югославы работают, сооружая нашу границу, и будем спать, как микельанджелова Ночь, и не проснемся до поезда.

20

Но все же. Печоры Псковские... Как же не зайти?

Двое из нас оказались агностиками, и мы оставили их, Сергея и аспирантку, похожую на Дюймовочку, в ледяных югославских креслах — и отправились к обители.

Но хронотоп, в который мы, как давно можно было догадаться, попали, назывался: «Оставь надежду!» Во всяком случае, надежду на естественное, казалось бы, поступательное движение событий. Например, на то, что, направляясь к монастырским воротам, ты в них войдешь. «Все должно происходить медленно и неправильно, чтобы не загордился человек.» Иногда Веничка бывает особенно прав. У самых монастырских ворот я поняла, что на мне брюки. Брюк этих, собственно, невооруженным взглядом из-под пальто видно было не больше двадцати сантиметров, но привратник не дремал. Он, как недавний офицер, как все в России, видел не только то, что у меня под пальто, но и то, что под сердцем. То, что под сердцем, ему не понравилось.

— А! — закричал он из своей сторожки, — вижу, вижу, что у тебя на уме: в нечестивом виде не пущу! Не надейся!

Мы встали на пристойном отдалении от входа, ожидая неизвестно чьей помощи. Глаза отдыхали на еще небогатых снегах и совсем голых ветках. Ранней зимой деревья на равнине в самом деле похожи на слепых без поводыря. Куда-то они идут, в долгую, долгую, темную зиму, как будто выставленные за дверь и не стучась в другие, без вины виноватые. Но они никогда не собьются с пути и не оступятся: им ничего не нужно. Северная природа поучительна. Она похожа на подаяние, которое, как говорил Златоуст, прямо из принимающей руки взлетает в небеса, наподобие быстрой голубки с серебряными раменами и золотыми воскрыльями.

Сторожевое рычание не умолкало. Но вскоре на снежной тропинке, ведущей к воротам, появился старый батюшка; он тихонько благословил нас войти в *дорожной одежде* и повел с собой. Привратник не сдавался. Он бежал за нами, чистил, кричал вслед — и напоследок заклял меня:

— Вот, за то, что ты меня искушала и в гнев ввела, будешь теперь за меня молиться каждый день до смерти!

— За кого? — спросила я. — Имя скажите.

— Еще чего! — ответил он. — Так молись.

За привратника, за дежурную, за пограничника, за всех, на чьих плечах лежат охраняемые от нас пространства и помещения. В самом деле, кто за них молится?

Дальше преград не было. Встреченные братья отнеслись с пониманием к нашему виду: еще бы, попробуйте переходить границу в юбке! Им явно понравилась наша история. Они предложили даже отслужить панихиду по Юрии Михайловиче...

— Ну что ж, если некрещеный, ничего не поделаешь. Подайте на помин ваших крещеных.

Нас проводили в пещеры и оставили там.

В конце каждого из длинных и вьющихся ходов горели лампы у образов. Мы шли вдвоем со своими свечами по глубокому, до щиколоток, чистому песку, побаиваясь забыть, откуда и куда повернули. В земной тишине было не тепло, не холодно, не сухо, не сыро: было глубоко. О, человек хочет многого: всего. Они это понимали, создатели и жители пещер, здесь, и в Киеве, и в Кумранских скалах. Они знали, что человек не успокоится ни на чем, кроме всего. Кроме неба и земли.

Пещеры, кажется мне, напоминают о том, что *небо* и *земля*, о которых говорится в первом стихе Бытия, совсем не то, к чему мы привыкли как к «небу» и «земле», то есть не небесный свод и суша (или космос и земной шар). В каком-то смысле

здания, поднимающиеся над поверхностью земли, охраняют от неба, как навес от дождя. Я подумала это под иерусалимскими небесами, через пять лет после того, как мы бродили в печорских подземельях. Но в мысли нет «раньше» и «позже», она покрывает все посещенные места и времена. Поэтому, может быть, и в Печорах я это думала, о том, что небесный шатер и подражающий ему свод, водруженный на стенах, охраняют от неба. И вырытая или вырубленная в нижней глубине каверна открывает ход к нему. Они бежали к небу. В этих темных ходах и подземных горницах мы были явно беззащитнее перед небом, чем под высоким куполом небес. Впрочем, для этого отчетливого чувства я вряд ли подберу слова. *Небом* называется страх и бесстрашие. А *землей*... я не знаю, что называется землей. Она ведь безвидна. Мне нравится, как сказано у Елены Шварц:

Земля, земля, ты ешь людей,
Рождая им взамен
Кастальский ключ, гвоздики луч
И камень и сирень.

Один из этих длинных ходов, похожих на руки, которые не протянуты к проходим, но прижаты к бокам, как у скромных нищих, кончался прекрасным древним образом Спаса. Книга Его на этом образе была раскрыта на стихе: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. По сему узнают...»

Мы переглянулись. *Этого* не перетолкуешь. Какое счастье. Нашему лукавству нет, кажется, предела, и ничего от него как будто не упасешь и не огородишь: но до Твоих слов, Господи, оно не дотянется. «По сему узнают». Как хорошо. Вот граница без сторожей, и ангела с огненным мечом больше не нужно. *Не к тому пламенное оружие*... Первый дар и последний суд, начало и конец.

Два молодых послушника сидели у входа в пещеры и тихо разговаривали:

— Вот я ему и говорю: придешь со службы и магнитофон включаешь. Что же ты делаешь? сколько собрал, столько и высыпал. Как в дырявый мешок.

21

Сергей, как оказалось, тоже тем временем не сидел сложа руки. Он пошел на станцию, и там ему посоветовали, чтобы мы с нашими билетами уехали из Пскова. Там поездов на Москву много, и нам не придется дожидаться полночи в югославском вестибюле. Больше того: около монастыря Сергей обнаружил группу псковских школьников и договорился, что нас возьмет их автобус.

Мы вновь забыли о роковом устройстве нашего хронотопа и поспешили на площадь. Учительница, которая привезла детей на религиозно-патриотическую экскурсию (года три назад она наверняка возила таких же на антирелигиозно-патриотическую), осмотрела нас с головы до ног и не полюбила. Ночь под стражей и в креслах, вероятно, ясно запечатлелась на нас, и она решительно отказалась разделить школьный транспорт с такими, как мы.

— До Пскова ехать два часа. За это время вы можете научить моих детей неизвестно чему. Нет, категорически нет.

— Садитесь, — из-за спины учительницы зашептал шофер и показал подбродком на дверь, — садитесь, что стоите?

Мы не то что вошли, мы просочились в автобус, как струя дыма, как слабый запах или магнитная волна — и постарались и дальше оставаться невидимыми и неосязаемыми. Судя по всему, нам это удалось.

Школьники играли в дурака, что-то друг другу продавали, обменивались информацией и шутками, которые часто оставались мне не до конца понятными. Не до своего, как чувствовалось, опасного конца. Даже если ехать нам предстояло бы не до Пскова, а до Камчатки и даже если бы на нашем месте сидели не мы, а набокковский селадон, честное слово, не знаю, чему *еще* можно было бы их научить. Это были дети новых времен, дети легализации религии и приватизации морали. С некоторым облегчением мы вышли на городскую площадь.

22

В Пскове тоже шла приватизация, сметая с улиц столовые, кафе и другие точки общественного питания. Поезда в Москву и в самом деле отправлялись каждые два часа, но нам, как выяснилось, вход в них был заказан. Вопреки печорскому мнению, мы имели право сесть в поезд только на той станции, на которой были высажены. То есть в Печорах Псковских. Предположение о доплате вызвало такой же гнев, как в утренней столовой:

— Зачем нам ваши деньги?

И правда: зачем?

Вокзальный ресторан, вопреки всему, действовал. Страшная белокурая официантка с лазурными веками открыла блокнот и угрожающе сказала:

— Ну. Что берем.

Дуло, как в вестибюле у югославов. Шел рождественский пост.

— Чаю! — простила аспирантка.

Глаза у нее разгорелись. Незаметно для нас она, оказывается, потеряла разум. Сквозняки и стужа, письменные показания, приватизация, погранцы, югославы и дети-паломники...

— Чаю! только не стакан! Чайник! Лоханку! Много! Чтобы и руки и ноги туда! Погорячей!

— Нет у нас чаю! — с презрением сказала официантка. — Вы куда пришли, не видите?

И в наказание, захлопнув блокнот, пошла прочь.

— Ну что-нибудь горячее и жидкое есть у вас? что-нибудь?

— У нас рес-то-ран. Понятно?

Это замечание вразумило нас.

— Водки?

Официантка обернулась с другими, родными глазами: так вы наши! а я-то, извините, подумала...

— Сколько?

— Пятьсот. Нет. Семьсот пятьдесят.

— Еще что? Есть... — она задумывается, поднимает глаза вверх и выключает силу зрения, как на барочных изображениях мистического экстаза: она видит невидимое, она шарит в нем: нашла!

— Есть салат мясной столичный и щи с бараниной.

— А без мяса, простите, ничего у вас нет?

Первоначальное подозрение вернулось на лицо официантки и сковало его.

— А это по-вашему с мясом, что ли? Или с бараниной? Смеетесь, что ли, надо мной?

С перепуга мы заказываем и то, и другое. Мы заказали бы все, что она велела. Но список, к счастью, кончился.

Из чего состояли щи с бараниной и салат мясной столичный, и состояли ли вообще? идея различения скоромного и постного была здесь явно неуместна. Они были все тем же меоном, из которого выдуты платформы, кресла, книги, мыльницы, вся вещественность, которую нам оставило недавнее прошлое. Но водка была настоящей. К аспирантке на глазах возвращался рассудок.

Пора было уходить. Пора было возвращаться в Печоры Псковские, родные пограничные Печоры. В электричке, на которой мы туда ехали, стекла были выбиты через одно, но водка еще действовала, и аспирантка безмятежно дремала. Снизлась ей вешняя Англия: Чеширское графство, университет, где она провела прошлый год, дикie нарциссы в британской траве, редкие деревья на невысоких холмах.

23

До полуночи оставалось немного. На кривой, голой и длинной платформе уже собирались пассажиры. Молодые люди, как еще недавно сказали бы, комсомольского возраста, обступили старого монаха, который тоже ждал поезда. Он дружелюбно отвечал им.

Под волнистым пластмассовым козырьком на четырех столбах я закурила.

И тут появились *они*. Бригада пограничников, с которой мы уже дважды так несчастливо встречались за последние дни! Они шли так же грозно и так же целенаправленно. Они шли ко мне.

Передумали, решила я. Не дадут уехать. Теперь опять в караулку, опять к сухарям и нардам и, при лучшем исходе, к милиционеру-педиатру и к югославам в вестибюль. К злему привратнику, за которого я и так уже с нынешнего утра должна молиться. К детям-сквернословам. К старой русалке официантке. Это уже не жизнь, подумала я. Это что-то другое. Заело, как пластинку.

— Встать! — сказал мне старшина. — Бросьте сигарету и платите штраф. За нарушение правил поведения в помещении. В помещении курить запрещено.

— В каком помещении? — спросила я, оглядываясь кругом. — Где помещение? Мело на платформе. Мело у меня под ногами.

— Во всяком помещении. Вы не знаете правил поведения в помещении? Сейчас принесу.

В этом человеке что-то творилось. Дело было не во мне. Дело было в исправлении мироздания, немедленном и окончательном. Он знает, как это сделать, и никто не встанет у него на пути.

Он вернулся с толстым потрепанным томом, напечатанным на гектографе: «Правила поведения в помещении.» Он торжествовал.

Я заплатила еще один штраф и отошла курить на дальний край платформы, ближе к Москве, туда, где фонари уже кончились, тьма и стужа набирали силу, ветер выл и снег хлестал так, что никто на свете не назвал бы это помещением.

24. Постскрипtum

Дорогой коллега Д. Б.,
вот я и записала, как Вы просили, историю, которую рассказывала Вам в челябинском аэропорту.

Чтобы завершить сюжет, сообщу, что поезд подошел вовремя и нас, как ни странно, впустили в него без пререканий. Хронотоп мытарства кончился, и дальше все шло, как по маслу. В соседнем купе старый монах беседовал с соседями, и его голос без слов доносился ровно и утешительно, наподобие прибора. Колеса ровно стучали. Когда отбивают членения времени, стучат ходики или колеса, жить как-то надежнее. Время таким образом обнаруживает свою корпускулярную, а не волновую природу (ведь, кажется, у него, как у света, их две), а с корпускулами все-таки спокойнее.

Утром мы были в Москве. Из Тарту позвонила встревоженная Тамара Павловна: Говорят, с вами что-то случилось? Московские спутники не звонили в течение всех последующих пяти лет. Быть может, они считают, что мы еще отбываем заслуженное наказание или бродим по монастырским пещерам. Впрочем, скорее всего они ничего не считают.

Сергей исчез без следа и адреса. Вот и финал.

И хотя я еще долго потом вздрагивала при самом беглом и фигуративном употреблении слова «граница»: «это переходит всякую границу», «за границами моего понимания», «пограничная ситуация» и т.п. — вздрагивала и оглядывалась, ожидая приближения пограничников со старшиной; хотя некоторые книги и статьи мне стало неинтересно читать после этих происшествий; хотя идея *помещения* с тех пор утвердилась у меня в уме; тем не менее, никакого общего урока и морали из всего описанного выше я извлечь не могу. Может быть, таким уроком и выводом могли бы стать какие-то последние долетевшие слова печорского старца, но не буду сочинять: я не расслышала ни единого. Они уходили себе в механический прибор колес, в шум времени, в его открытое — как говорят итальянцы, высокое — море, в житейское море, в смену богатых созвучий, в дырявый мешок.

Август 1998, Азаровка — ноябрь 1998, Москва

Борис Рыжий

From Sverdlovsk with love

* * *

Приобретут всеевропейский лоск
слова трансзиатского поэта,
я позабуду сказочный Свердловск
и школьный двор

в районе Вторчермета.

Но где бы мне ни выпало остыть,
в Париже знойном,

в Лондоне промозглом,

мой жалкий прах советую зарыть
на безымянном кладбище

свердловском.

Не в плане не лишённой красоты,
но вычурной и артистичной позы,
а потому что там мои кенты,

их профили из мрамора и розы.

На купоросных голубых снегах,
закончившие ШРМ на тройки,
они споткнулись с медью в черепах
как первые солдаты перестройки.

Пусть Вторчермет гудит своей трубой.

Пластполимер пускай свистит

протяжно.

А женщина, что не была со мной,
альбом откроет и закурит важно.

Она откроет голубой альбом,
где лица наши будущим согреты,
где живы мы, в альбоме голубом,
земная шваль: бандиты и поэты.

Из фотоальбома

Тайга — по центру, Кама — с краю,
с другого края, пьяный в дым,
с разбитой харей, у сарая
стою с Григорием Данским.*

Под цифрой 98

слова: деревня Сартасы.

Мы много пили в эту осень
агдама, света и росы.

Убита пятая бутылка.

Роится над башками гнусь.

Заброшенная лесопилка.

Почти что новый «Беларусь».

А-ну, давай-ка, ай-люли,

в кабину лезь и не юли,

рули вдоль склона неуклонно,

до неба синего рули.

Затарахтел. Зафыркал смрадно.

Фонтаном грязь из-под колёс.

И так вольготно и отрадно,

что деться некуда от слёз.

Как будто кончено сражение,

и мы, прожжённые, летим,

прорвавшись через окружение,

к своим.

Авария. Лицо разбито.

Но фотографию найду,

и повторяю как молитву

такую вот белиберду:

душа моя, огнём и дымом,

путём небесно-голубым,

любимая, лети к любимым

своим.

* Г. Данской — известный пермский поэт, нечто вроде Кальпиди. (Прим. автора.)

Борис Борисович Рыжий родился в 1974 году в Челябинске. Учился в средней школе на рабочей окраине Екатеринбурга, в 1989 году был победителем городского турнира по боксу среди юношей. Работал в геологических партиях на Северном Урале. В 1998 году окончил Уральскую горную академию по специальности «ядерная геофизика и геоэкология». Очерки о названиях и пространствах России публиковались в альманахе «Urbі», Санкт-Петербург, 1998; стихи печатались в журналах «Звезда» и «Урал». Живет в Екатеринбурге.

* * *

Во-первых, -вторых, -четвёртых,
даже живых-то, чёрт их
знает, что с ними, где они.
А что касается мёртвых,
вовсе сведений мало.
Только спрошу устало:
Эля, ты стала облаком
или ты им не стала?
Вспомню о средней школе —
съездить туда, что ли?
Меня оттуда выгнали.
Ты тоже ушла поневоле.
Прямо с белых ступеней
ушла в царство тэней.
Я распустил нюни
как мудозвон-Евгений.

Опубликовал в «Урале»
рифмованные печали.
Так, чтобы люди разные
плакали и читали.
Объявил, пустомеля:
вот, умерла Эля
в середине апреля.
В середине апреля,
горе мое, прости же
за юношеские вирши,
прими благосклонно взрослые
с меньшей долею фальши.
С большею долей смеха
и культурного эха.
Деревья стоят чёрные
на фоне белого снега.

* * *

Восьмидесятые, усатые,
хвостатые и полосатые.
Трамваи дребезжат бесплатные.
Летят снежинки аккуратные.
Фигово жили, словно не были.
Пожалуй так оно, однако
гляди сюда, какими лейблами
расписана моя теллага.
На спину «Levi's» пришпандорено,
«West Island» на рукав пришпилено.
Пятирублёвка, что надорвана,
изъята у Серёги Жилина.
13 лет. Стою на ринге.

Загар бронёю на узбеке.
Я проиграю в поединке,
но выиграю в дискотеке.
Пойду в общагу ПТУ,
гусар, повеса из повес.
Меня обуют на мосту
три ухаря из ППС.
И я услышу поутру,
очнувшись головой на свае:
трамваи едут по нутру,
под мостом дребезжат трамваи.
Трамваи дребезжат бесплатные.
Летят снежинки аккуратные.

* * *

Оркестр играет на трубе.
И ты идёшь почти вслепую
от пункта А до пункта Б
под мрачную и духовую.
Тюрьма стеной окружена.
И гражданам свободной воли
оттуда музыка слышна.
И ты поморщился от боли.
А ты по холоду идёшь
в пальто осеннем нараспашку.
Ты папиросу достаёшь
и хмуро делаешь затяжку.

Но снова ухает труба.
Всё рассыпается на части
от пункта Б до пункта А.
И ты поморщился от счастья.
Как будто только что убёг,
зарезал суку в коридоре.
Взвэшник выстрелил в висок,
и ты лежишь на косогоре.
И путь-дорога далека.
И пахнет прелою листвою.
И пролетают облака
над непокрытой головою.

* * *

Лысов Евгений похоронен.
Бюст очень даже натурален.
Гроб, говорят, огнеупорен.
Я думаю, Лысов доволен.
Я знал его от подворотен
до кандидата-депутата.
Он был кому-то неуютен.

А я любил его когда-то.
С районной шушерой небрежен,
неумолим в вопросе денег.
Со мною был учтив и нежен,
отремонтировал мне велик.
Он многих, видимо, обидел,
мне не сказал дурного слова.

Я радовался, если видел
по телевизору Лысова.
Я мало-мало стал поэтом,
конечно, злым, конечно, бедным,
но как подумую об этом,

о колесе велосипедном —
мне жалко, что его убили.
Что он теперь лежит в могиле.
А впрочем, что же, жили-были...
В затылок Женю застрелили.

Седьмое Ноября

Ничего не будет, только эта
песня на обветренных губах.
Утомлённый мыслями о мета-
физике и метафизиках,
я умру, а после я воскресну.
И назло моим учителям
очень разухабистую песню
сочиню. По скверам и дворам
чтоб она шальная пронесилась.
Танцевала, как хмельная блядь.

Чтобы время вспять повертилось,
и былое началось опять.
Выхожу в телаге, всюду флаги.
Курят пацаны у гаража.
И торчит из свёрнутой бумаги
рукоятка финского ножа.
Как известно, это лучше с песней.
По стране несётся тру-ля-ля.
Эта песня может быть чудесней,
мимоходом замечаю я.

* * *

Что махновцы, вошли красиво
в незатейливый город N.
По трактирам хлебали пиво
да актёрок несли со сцен.
Чем оправдывалось всё это?
Тем оправдывалось, что есть
за душой полтора сонета,
сумасшедшинка, искра, спесь.
Обыватели, эпигоны,
марш в унылые конуры!
Пластилиновые погоны,
револьверы из фанеры.
Вы, любители истуканов,
прячьтесь дома по вечерам.

Мы гуляем, палим с наганов
да по газовым фонарям.
Чем оправдывается это?
Тем, что завтра на смертный бой
выйдем трезвые до рассвета,
не вернётся никто домой.
Други-недруги. Шило-мыло.
Расплескался по ветру флаг.
А всегда только так и было.
И вовеки пребудет так:
Вы — стоящие на балконе
жизни — умники, дураки.
Мы восхода на алом фоне
исчезающие полки.

* * *

Больничная тара, черника
и спирт голубеют в воде.
Старик, что судил Амальрика
в тагильском районном суде,
шарманку беззубую снова
заводит, позорище, блин:
вы знаете, парни, такого?
Не знаем и знать не хотим.
Погиб за границей Амальрик,
загнулся в неведомых США.
Тут плотник, таксист и пожарник,
и ваша живая душа.

Жизнь, сволочь в лиловом мундире,
гуляет светло и легко,
но есть одиночество в мире
и гибель в дырявом трико.
Проветривается палата,
листва залетает в окно.
С утра до отбоя ребята
играют в лото-домино.
От этих фамилий, поверьте,
ни холодно, ни горячо.
Судья, вы забыли о смерти,
что смотрит вам через плечо.

* * *

Мой герой ускользает во тьму,
вслед за ним устремляются трое.
Я придумал его, потому
что поэту не в кайф без героя.
Я его сочинил от уста-
лости, что ли, ещё от желанья
быть услышанным, что ли, чита-

телю в кайф, грехам в оправданье.
Он бездельничал, «Русскую» пил,
он шмонался по паркам туманным.
Я за чтением зренье садил
да коверкал язык иностранным.
Мне бы как-нибудь дошкандыбать
до посмертной серебряной ренты,

а ему, дармоеду, плевать
на аплодисменты.
Это, бей его, ребя! Душа
без посредников сможет отныне
кое с кем объяснить в пустыне
лишь посредством карандаша.
Воротник поднимаю пальто,

закурив предварительно: время
твое вышло, мочи его, ребя,
он — никто.
Синий луч с зеленцой по краям
преломляют кирпичные стены.
Слышу рёв милицейской сирены,
нарезая по пустырям.

* * *

Когда менты мне репу расшибут,
лишив меня и разума и чести
за хмель, за матерок, за то, что тут
**ЗДЕСЬ САТЬ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ
СТОЯТЬ НА МЕСТЕ.**

Тогда, наверно, вырвется вовне,
потянется по сумрачным кварталам
былое или снівшееся мне —
затейливым и тихим карнавалом.
Наташа. Саша. Лёша. Алексей.
Пьеро, сложивший лодочкой ладони.
Шарманщик в окруженьи голубей.
Русалки. Гномы. Ангелы и кони.
Училки. Подхалимы. Подлецы.
Два прапорщика из военкомата.
Киношные смешные мертвецы,
исчадье пластилинового ада.

Денис Давыдов. Батюшков смешной.
Некрасов желчный.

Вяземский усталый.
Весталка, что склонялась надо мной,
и фея, что мой дом оберегала.
И проч., и проч., и проч., и проч., и проч.
Я сам не знаю то, что знает память.
Идите к чёрту, удаляйтесь в ночь.
От силы две строфы могу добавить.
Три женщины. Три школьницы. Одна
с косичками, другая в платье строгом,
закрашена у третьей седина.
За всех троих отвечу перед Богом.
Мы умерли. Озвучит сей предмет
музыкою, что мной была любима,
за три рубля запродаанный кларнет
безвестного Синявина Вадима.

* * *

Я пройду, как по Дублину Джойс,
сквозь косые дожди проливные.
Где когда-то бывать мне пришлось,
попроведаю точки пивные.
Чего было, того уже нет,
и поэтому очень печально —
заявил бы уральский поэт.
У меня получилось случайно.
Подвозили наркотик к пяти,
а потом до утра танцевали,

и кенту с портакoм «ЛЕБЕДИ»
неотложку в ночи вызывали.
А теперь кто дантист, кто говно
и владелец нескромного клуба.
Идиоты. А мне всё равно.
Обнимаю, целую вас в губы.
И иду, как по Дублину Джойс,
смрадный ветер вдыхаю до боли.
I am loved. That is why I rejoice.
I remember my childhood only.

* * *

Довольно я поездил в поездах,
не меньше полетал на самолётах.
Соль жизни в постоянных поворотах,
всё остальное тлен, вернее прах.
Купе. Блондинка двадцати двух лет
глядит в окно, изрядно беспокоясь:
когда мы часовой проедем пояс,
то сразу потемнеет или нет?
Который час я на неё смотрю,
хотя упорно не смотреть стараюсь.
А тут обмяк, открыто улыбаюсь:
— А как же, дорогуша! — говорю.

Екатеринбург

«Надо аккумулировать душевную энергию...»

Письма Арсения Тарковского к Евдокии Ольшанской

Одним из самых больших подарков Судьбы для меня было знакомство с Арсением Александровичем Тарковским, которое со временем переросло в дружбу. Свидетельством ее остались, в частности, 166 писем Тарковского, адресованные мне с 1969 по 1987 год.

В первые годы письма приходили очень часто, в последние 2–3 года жизни Арсения Александровича — редко: по его свидетельству тех лет, ему все тяжелее было «доставать самого себя из себя», болезнь и горе после потери сына заставили его все пристальнее взглядываться в себя и как бы изолировали от окружающего мира. Но и самые последние его письма свидетельствовали о его доброте, чуткости и заинтересованности в переписке.

Мы много встречались лично: я не менее раза в год приезжала в Москву, чтобы повидаться с Тарковскими.

Арсений Александрович был удивительным собеседником. Слушать его было очень интересно, о чем бы он ни говорил: о гостеприимстве грузин и о Коктебеле, об «Евангелии от Фомы», отрывки из которого опубликовало издательство «Наука», и о музыке Шютца, об астрономии и о красоте Подмосковья. Он обладал удивительным чувством юмора.

Но этот человек, будучи одним из образованнейших людей своего времени, был в то же время и замечательным слушателем, не подчеркивал своего превосходства, говорил с собеседником на равных, незаметно поднимая его до своего уровня.

Так обстояло дело и с письмами. Каждое его письмо было не «само по себе», а откликом на письмо, только что полученное, — кстати, по возможности он старался ответить в тот же день (а еще чаще — в ту же ночь, когда оставался один на один со своим корреспондентом).

Письма свои он датировал по-разному: то римскими цифрами обозначал месяц, то писал его название полным или сокращенным словом.

Арсений Тарковский хорошо рисовал, и многие письма ко мне украшал рисунком цветка, солнца или своим шаржированным изображением. Иногда рисовал себя в виде пса в очках, протягивающего адресату цветок.

Он ценил то, что я в Киеве еще в 1967 году создала Клуб поэзии «Родник», куда съезжались любители поэзии и начинающие авторы со всего города (кстати, Клуб живет до сих пор и в октябре 1997 года отметил свое тридцатилетие). Тарковский писал клубу письма, был знаком со многими его участниками, давал советы молодым авторам и присылал ко мне всех начинающих поэтов Киева, которые обращались к нему. Сам бережно пестуя своих учеников Ларису Миллер, Александра Радковского, Марка Рихтермана, Михаила Синельникова (в скольких письмах он мне писал о них и их стихах!), он никогда не упрекал меня за то, что я слишком много времени уделяла своим «родниковцам», как это часто делали иные известные поэты, считая, что я занимаюсь клубом в ущерб собственным стихам.

Большое значение Арсений Тарковский придавал моему многолетнему сборнику материалов об Анне Ахматовой и подарил для него несколько бесценных книг и документов.

И при встречах, и в письмах Арсений Александрович часто говорил о литературе, о нашей общей любви к Анне Ахматовой, которая, собственно, сдружила нас. Я очень любила стихи Арсения Тарковского, почти наизусть знала его книгу «Земле — земное», но написала в декабре 1968 года свое первое письмо Арсению Александровичу лишь затем, чтобы попросить у него автографы его стихов, посвя-

ценных *Анне Ахматовой*. Он очень тосковал после ее смерти и во мне увидел человека, который так же беспредельно предан ее памяти.

В письмах он писал о своих любимых поэтах прошлого и о наших современниках, о первых книгах, прочитанных им, о своих личных делах, о своей жене *Татьяне Алексеевне Озерской-Тарковской*, известном переводчице с английского, с которой у нас тоже сложились добрые отношения.

Недавно часть этих писем была опубликована в моей книге «Поэзии родные имена».

Читателям «Знамени» я предлагаю некоторые из писем, оставшихся неопубликованными.

8 августа 1969

Дорогая Евдокия Мироновна!

Получили ли Вы мою книжку? Пожалуйста, напишите — что Вам не понравилось в ней? Интересно — то ли это, что не нравится и мне? Или — что-нибудь другое?

Как Ваша книга? В каком она состоянии? Неужели в Киеве вся редакционная процедура тянется так же долго, как и у нас — годами? <...>

На этом вопросительная часть письма кончается — и я остаюсь в состоянии всеушия (от слова УХО), — приготовился выслушать ответы на анкеты.

Спасибо за стихи ААА¹. Я их не знал. Надо, все-таки, читать журналы, чего я из-за лени и усталости от печатного слова не делаю.

О Ваших стихах:

«О киевские добрые леса» — целиком хорошо. «Числовник» — сомнительное слово, Вы его изобрели, Вы соединили число и слово, а надо бы — **численник**. Виноват — Бухенвальд — не рифма, а пифма. <...> Вообще в «Раздумьях» не все четверостишья равноценны: в некоторых больше философствования, чем философии, но многие из них утешают и радуют слух. «Киевские леса» — лучше, потому что в этом стихотворении природа и автор, объект и субъект сходят в синтез.

А вообще Вы прелесть, и на Вас трудно нарадоваться, все Ваши прекрасные душевные качества стоят за стихами и их, благодаря стихам, воспринимаешь, как первоисточник.

Что же до перспектив, то надо аккумулировать душевную энергию и энергию ума с тем, чтобы занять новую, более высокую ступень творчества; у Вас прекрасный запас возможностей для этого: врожденная одаренность (как у некоторых — плаучесть), недавнее горе, обилие впечатлений, что Вы получили в Ленинграде и в Москве (в то время, когда Вы могли сидеть у нас и скрывались вестив где), душевный опыт и очевидная способность к выходу из области личного в область сверхличного (идеал — Гете). Простите, что я впадаю в дидактику, но у меня — старческое стремление пасти народы (литераторов) и изрекать прописные истины.

Татьяна Алексеевна шлет Вам привет и радуется на воспоминания о Вас (не очень грамотная фраза, не правда ли?).

Будьте здоровы, пишите стихи и не забывайте московских друзей.

Ваш старый друг А. Тарковский

Стихов не пишу, пишу переводы, отчего попискиваю.

18.2.1969

Дорогая Евдокия Мироновна, пожалуйста, не отвечайте мне на это письмо, да оно и слишком коротко для этого. Мне очень бы хотелось, чтоб у Вас все было хорошо и обошлось благополучно², но как помочь Вам отсюда, из Москвы, я не знаю. Жизнь вообще состоит гл.<авным> образом из внезапно накатывающихся огорчений, тревог и несчасть, очень редко перемежающихся чем-то противоположным, чему даже названия трудно подобрать из-за редкости этих счастливых перемен. На кольце Соломона было написано — с одной стороны — «Ничто не про-

¹ Я послала журнальную публикацию стихов *Анны Ахматовой*, которую мы в письмах сокращенно называли А. А. А.

² Это письмо написано в ответ на мое сообщение, что у меня очень тяжело больна мать и я в настоящее время вряд ли смогу поддерживать переписку.

ходит», а с другой — «Всё проходит». Но Вас это, конечно, не утешит, единственное, что Вам поможет — это время. Я уже давно стал полагаться на его способность всё сглаживать, — что же иначе делать?

Мне очень обидно, что я не знаю, чем я могу быть Вам существенно полезен, но всё же, если Вам что-нибудь от меня понадобится, во всех случаях прошу Вас помнить, что я ещё существую на свете. Не трудитесь отвечать на это письмо по долгу вежливости, я не буду в обиде, если Вы напишете мне спустя любое время.

Уважающий Вас

А. Тарковский.

11. VII. 1969

Дорогая Евдокия Мироновна!

<...> Мы больше месяца были в Литве, я туда с Таней убежал работать, потому что мое положение — ужасно и близко катастрофе — так я затянул все переводы по договорам. В Литве я работал, как ломовая лошадь в старину, напереводил кучу, но всё это — намного меньше того, чего ждут от меня издательства. <...>

Стихи у Вас очень хорошие и в большей части мне близки.

В Литву мне прислали сигнальный экземпляр книжки, опечаток немного, но одна уж очень компроментантная. Если книга выйдет, я её в Вашем экземпляре исправлю. Вы увидите, как она неприятна.

Приехали мы вчера вечером, собств<енно> говоря — прилетели. Прилагаю при этом прошении, в котором я умоляю простить меня за молчание, вырезку из вильнюсской газеты — три стихотворения на одну тему¹. Эти стихи будут, если всё будет хорошо, и в «Дне поэзии».

Книжка у меня² внешне всё же лучше, чем я ожидал — беленькая и не очень худенькая. Такой и должна быть, как утверждают авторитеты, — блондинка.

Ваша повесть о посещении Комаровского кладбища разрывает сердце. Милая Вы, очень хорошая, очень Вы чистый человек, сердце у Вас — сокровище, и умница Вы, и большое у Вас дарование. Мы с Таней оба счастливы, что Вы были с нами — хоть и мало, а всё-таки и это хорошо³. Не сердитесь на меня, не обижайтесь на то, что целый месяц и даже больше молчал, как рыба: я ведь работал, как лошадь, и уставал, как цирковой медведь, а завтра снова начну ржать и рычать (медведь и лошадь), но больше молчать не буду ни при каких (не слишком неблагоприятных) обстоятельствах.

Берегите себя, не тревожьтесь, не думайте слишком много о плохом, есть ведь и много хорошего на свете, не болейте и пишите стихи!

Всего Вам хорошего. Таня шлёт Вам сердечный привет, как и я.

Ваш А. Тарковский

24 ноября 1969

Дорогая Евдокия Мироновна! Мне ужасно жаль, что во время Вашего приезда в Голицыно я оказался при предпоследнем издыхании и не был способен на то, чтобы произнести хоть одну осмысленную фразу, меня совсем замучил мой араб: одно утешение, что он в XI веке и не может пристать ко мне со своими арабскими поучениями воочью.⁴ Всё-таки, перевод это совсем не писание стихов, которое создаёт праздник, а действительно сыпнотифозный принудительный бред, от которого изнемогаешь, как лошадь, ходящая вокруг кола, в 12 часов дня, если её рабочий день начинается в 6 утра и кончается за полночь. Я араба ещё не кончил, потому что на меня навалили ещё новых 200 строк: пришёл ко мне арабист Фильштинский и мы с ним наделали подстрочников превыше моей бедной головы.

С М<атерью> Марией у Вас не неудача, а это уже не лирическое стихотворение, но ещё не поэма, потому что тут нельзя отделаться импровизацией, и поэма

¹ Три стихотворения под общим заглавием «Как сорок лет тому назад».

² Арсений Тарковский. Вестник. М., «Сов. писатель», 1969, 291 стр.

³ В мае я приезжала в Москву на неделю и сжидневно бывала в гостях у Тарковских.

⁴ В начале ноября 1969 года я приезжала к Арсению Тарковскому в Голицыно. В это время он усиленно работал над переводами арабского поэта аль-Маари (973—1057).

требует длительного труда. Вы сидите над ней, дописываете, переписываете, и увидите, какая прелесть получится при 10-м приложении сил.¹ <...>

А я почему-то рассчитывал, что Вы ещё до отъезда доберётесь до Голицына, и всё ждал Вас, да так и не дождался.

Не пойму, почему Таня взвалила на Вас бессмысленную работу — отбирать мои стихи. Не стоят они этого, Бог с ними, надоели они мне.

У нас погода как раз такая, чтобы спянуть от неё с ума: полу-туман, полуболака, проходящие на уровне носа, что-то моросит сверху, с боков и даже, кажется, снизу. А в Киеве тоже не сахар? Или ещё можно жить?

Как я умудряюсь в Москве жить, как затворник, никого не видеть и ничего не слышать — и сам удивляюсь. Хочется поехать на бал, потанцевать немножко для развлечения. Или в салон Зинаиды Волконской пойти на Тверской бульвар? Или на кухню пойти — чай пить? Пожалуй, сделаю именно последнее, авось пообреет от пару хлебнувшая чаю душа. А не пообреет, так живот согреется изнутри.

Я Вас очень люблю и Таня тоже, и это происходит потому, что Вы добрый ангел, а ангелов теперь недопроизводство.

Целую Вашу ручку.

Преданный Вам А. Тарковский.

5. XII. 69

Милая, хорошая, родная Евдокия Мионовна!

Только сейчас пришло Ваше письмо, что Вы написали ещё 30-го/XI — ничего себе работает почта! На лошадях-то было поскорей! Хорошо, что мне не 18 лет, а то бы по юной пылкости свихнуться можно было бы! Вы так умно поступили, что целый день провалялись на диване с книжками; я, когда впадаю в хандру, просто сплю; как сурок в норе, потому что лучший утешитель сон. А сегодня я не работал и не спал на законном основании: приехали из радио и записывали меня, как селёдку — на экспорт: это наше радио для редакций на иностранных языках. Непонятно, зачем они заставили меня — кроме болтовни — ещё и читать стихи, и так как они очень запоздали с приездом — на два часа — то я устал до их приезда от них с их микрофоном и дурацкими вопросами редактриссы, которая, впрочем, оказалась красоткой.

А с арабом вот так: пришли из Гослита с арабистом и сделали мы с ним ещё 200 строк сверх головы, которые надо тоже перевести, иначе всё уже было бы кончено. Но конец виден, отчего весело, с этой мукой всё кончается.

Я очень верю в Вашу поэму: быть может, нужно поясной написать, что за подвиг она совершила. Поэма требует (всякая, не только Ваша) большой работы; вот я по старости лет прособираюсь сочинять поэму, и теперь жалею. Но после **такой** порции переводов я больше ни на что не способен, разве что на мечты о какой-нибудь любой больнице с отдельной палатой, конечно, лучше бы психиатрической больнице. Боже мой, сколько я напереводил стихов за свою жизнь! Вряд ли стоило родиться для этого не лошадыю.

А с Вами, может быть, если всё будет хорошо, мы увидимся раньше. Ко мне приезжал мой гимназический друг из Житомира, он был там художественным руководителем театра, Н. Дм. Станиславский, и умоляет летом приехать к нему на клубнику, и Таня загорелась клубничным пламенем, поэтому в клубничное время не избежать путешествия на Украину. Вот мы с Вами и увидимся. А теперь ожидание и невозможность увидеться с Вами год — это слишком много даже для старца, который привык считать время десятилетиями, как я.² <...>

Я Вас часто, очень часто вспоминаю, вернее, помню всегда. Милая Евдокия Мионовна, Вы не сердитесь на меня за глупейшее это письмо, прошу Вас только выбрать из него то хорошее, что относится к Вам, а всё остальное презрите.

На ночь я перечитываю теперь Лескова и радуюсь, как малый ребёнок, каждому его шутовству и его невероятной доброте. Это чуть ли ни единственный писатель в мире, у которого все хорошие и добрые; я бы ввёл его изучение обязательным предметом в школах и Вузах, чтоб знали, что человек произошёл не только от злой обезьяны, но и от обезьяны доброй; кстати, в детстве я считал себя обезья-

¹ Я в то время работала над поэмой о матери Марии.

² Я обычно приезжала в Москву один раз в году, чаще всего — в мае.

яной, и притом доброй. Мне кажется, что Лесков — киевское чтение с «Печерскими антиками» и киевскими архиереями. Попробуйте перечитать, увидите, как лучше станет жить на свете.

Не забывайте нас, простите меня за почерк, испорченный переводами, и характер, испорченный ими же.

Целую Вашу руку и желаю Вам доброго здоровья. Не печальтесь, не болейте, милая, хорошая, родная, будьте здоровы и счастливы сверх всяких возможностей.

Ваш А. Тарковский.

Таня шлёт привет и бешенно переводит каких-то зарубежных господ для трёх издательств.

В первом № «Простора» (казахский журнал) будет немного моего араба и её перевод детектива А. Кристи.

Ваш А. Т.

Сейчас выберу Вам марку по красивей.

12.1.70

Дорогая Евдокия Мироновна! Только что пришло Ваше милое письмо, и я сажусь (ложусь) писать в ответ, потому что очень Вас люблю и всегда радуюсь Вашим письмам не столько за себя, сколько за Вас и Ваши душевные качества: Вы всегда хотите порадовать корреспондента, уделить ему конфетку, которую он (я) всегда съедает с удовольствием. Спасибо Вам за цитату из Вашей приятельницы. это и впрямь приятно, хоть я или недостаточно, или слишком честолюбив (последнее, всё же, менее вероятно): я недостаточно радуюсь в таких случаях. А, м.б., я просто стар становлюсь и всё это — слишком поздно? Мне бы это лет в 25! Спасибо Вам за цитату, за Вашу доброту, а Вашей приятельнице за незаслуженно высокий отзыв!

Мне действительно не понравилось стихотворение N. об ААА — уж очень оно какое-то нескромное: тоже мне борец за ущемление прав ААА! Во 1) её прав нельзя ущемить, во 2) «отмщенье, государь, отмщенье» уж никак не соприкасается с нею, в 3) её поэзия превышает нынешних оценок и поэзия эта прямо от нас отправилась в будущее — рядом с лучшими нашими поэтами — Тютчевым, Баратынским — и, стало быть, ни в какой защите <...> не нуждается: настоящий поэт — высший суд не только себе, но и окружающему. И относительно её поступили по неведению: если б **заранее** было известно кому-надо, что такое поэзия ААА, то никто не стал бы действовать во вред своей репутации современника поэта. <...> Вся неприятность впечатлений о мнимой трудности жизни ААА пройдет, — и довольно скоро, а поэзия не может не остаться «доколе жив будет хоть один поэт». АА переживала тягостные дни своей жизни м<ожет> б<ыть> тяжело житейски, но легко как поэт, а теперь это (поэзия!) её существенная суть, как бывает в искусстве: бессмертие поэта в его стихах, а не в том, что он при жизни не был достаточно счастлив. Я вообще не уверен в том, что поэту нужно ещё какое-нибудь счастье, кроме его собственной поэзии — и поэзии его любимых соседей и предшественников (по искусству). А всё остальное проходит и не стоит разговора. <...>

Я понимаю, что Дантес — пакостник и пройдоха, но плевать на его могилу бессмысленно и от своего и от Пушкинского имени, и такое поведение естественно легко могло бы стать питательной пищей юмористу вроде Аверченки. <...>

А у АА были милые черты в характере, позволившие сказать одной даме, что «Аня так и умерла гимназисткой». Несмотря на внешнюю позу в ней было много детской милой несерьёзной склонности к лёгкому отношению к своей беде и столь же детское величавое самосознание — и — уверяю Вас: всё было ей непочём: то, что Пушкин видел в Моцарте:

Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь, — в ней это было, и даже когда она иногда начинала угадывать в себе божество, то радовалась этому тоже по-моцартовски. А стали бы Вы судить чёрного человека, который заказал Моцарту, страшно напугав его (до смерти!) Реквием? В жизни всё нужно, что происходит, особенно — в жизни поэта, поэт это сложный образ, составленный из его стихов, его духовной личности и его куска истории. <...> И вообще: всё идёт своим чередом, и функция — разбираться в больших поэтах — дело будущего, а не настоящего, и очень отдалённого будущего: даже теперь, спустя 132 года после смерти Пушкина, мы ещё в нём как следуем не разобрались. <...> Может быть, я не прав, не знаю;

горечь, обида и пр. — мелки и жалки над такой поэзией. И «Божественной комедии» Данте несомненно бы не было, если бы у него во Флоренции всё обстояло благополучно для него.

Вот сколько я написал по поводу стихотворения *Н. Я. Вам надоел*. Я болел какой-то ерундой — головной болью и прочим, что происходит из-за отложения солей у (возле, при, под; в основании) головы, эти соли сузили протоки, по которым кровь поступает в мозг, ему крови не хватает, и он то болит, то вращается вокруг своей оси, как колесо немазаной телеги, то вообще ведёт себя не так, как тогда, когда мне 30 лет или даже меньше.

Спасибо Вам за тёплые слова о Тане, она тоже всё время поёт Вам дифирамбы. <...>

Будьте здоровы и радуйтесь самой себе, как Вы радуете Таню и меня.
Ваш А. Тарковский.

P.S. Дорогая Евдокия Мироновна, только что я получил письмо от киевского мальчика, он учится в 8 классе, жалуется на какой-то «кризис» и просит отзыва своим совсем детским стихотворениям. Это, видимо, хороший мальчик. Я ответил ему, просил его обратиться к Вам. Мне кажется, что он очень нуждается в попечении. Пожалуйста, не откажите ему, если он Вам напишет. Простите меня, что навязываю Вам новые заботы. Посмотрите, что это за ребёнок, м.б. он стоит заботы. Правду говоря, в его возрасте все стоят заботы. Не сердитесь на меня! Целую Вашу руку. А. Т.

4 апреля 70

Милая, дорогая Евдокия Мироновна!

Вот и вышла в свет Ваша книга,¹ и пришла в Москву — слава Богу — в хорошую погоду, сейчас солнце смотрит в моё окно. И суперобложка совсем уж не такого плохого цвета, и напечатана она хорошо, а что до того, что Вы не всеми стихотворениями довольны, то давно уж известно, что книги никогда не бывают такими, чтобы авторы ими были довольны. У Анны Андреевны в Гослитиздате была издана книга, которую она брала от отвращения двумя пальцами, словно паука. В Вашей — нечего не любить, можно только жалеть, что в ней 90 страниц, а не 300. Но будет еще книга и в 300!

Пока же спасибо Вам за книгу, за надпись, за добрую память. Я не писал Вам совсем не по тем соображениям, какие приходят Вам на ум, а потому, что я совсем болен, уже давно, я очень плохо себя чувствую, у меня постоянные головные боли, и мне очень худо. Лечат меня какими-то мерзостями в бутылках, пилюлях, кислородом в саркофагах и даже кислородным коктейлем, правда, без коньяка. Мне даже запретили работать, — хоть я и работаю, — и всё это из-за древнего араба, который и сам не знает, что съел меня, как соловей муху.

Книга у Вас получилась живая, добрая и несомненно нужная человеческой душе. И даже суперобложка такого цвета, какой Вам к лицу, как платье. Мне очень радостно, что она оказалась толще, чем я ожидал, вняв Вашим жалобам. И так — с книгой всё совсем, совсем хорошо. Теперь Вам с печатанием станет легче.

О Вашем горе я не писал и потому, что уже не могу заставить себя взяться за перо, и потому что Вам было не до моих утешений. И без слов Вы знаете, что и я, и Тanya Вас очень любим и что Ваше горе — наше горе.

Поезжайте в Феодосию, только опасайтесь солнца, в Крыму это — сумасшедшее солнце. Хоть может быть там ещё не так, как летом.

Не думайте, что я совсем вышел из строя, меня ещё подлечат и приставят голову к тому месту, от которого она произрастала раньше.

Итак — поздравляю Вас с книгой, желаю ей широкого и радостного пути, желаю ей, чтобы она проложила путь и для следующих книг. Вы начнёте получать признательные письма от читателей, потому что любовь — единственное, что ждёт Вашу книгу.

Приезжайте в Москву. Мы очень, очень любим Вас.
Ваш А. Тарковский.

¹ Евдокия Ольшанская. Диалог. Киев, «Радянський письменник», 1970.

14.XI.70

Милая Евдокия Мионовна!

Спасибо Вам за сочувствие, за маленькую статью об АА и за её фотографию с собакой. <...>

Если всё будет благополучно, то 25-го (XI) мы с Таней поедem на Блоковские торжества, чтобы я там произнёс нечто о Блоке и проветрил свои мозги. Вряд ли мне удастся второе и я не справлюсь с первым.

Вы не радуйтесь за меня по поводу договора (возможного) и аль-Маари в плане Гослитиздата: ещё я накаркаю себе что-нибудь, из-за чего не состоится ни то, ни это, — правда, у меня уже вырос черепаший панцирь, но полностью не затвердел.

Плюньте на всё, приезжайте к нам, поживите у нас при первой возможности, то-то нам будет хорошо. Постарайтесь так, чтобы Новый год встретить с нами, а потом, если будет всё благополучно, разъедемся в разные стороны. У нас был Гр. Абашидзе, мой старый приятель, предс. Груз. СПисателей, зовёт нас в Грузию после Нового года, вероятно — так и будет, поедem, потому что Таня устала бороться за свои переводы <...>, хочет отдохнуть, а мне необходимо разделаться со старым долгом грузинам: старый договор на перевод лирики В. Пшавела. Я уже не понимаю, как у меня хватило сил покончить с переводом аль-Маари. И ещё надо покончить до Нового года с одним длинным-длинным хвостом, а потом ещё Важа. Ну и ну!

Сейчас моё время, ночь, у меня перестало болеть всё, что болело днём, и я, старый филин, посылаю Вам своё «Гу-гу! Гу-гу!», сидя не на суку в лесной чаще, а в постели. Старый у Вас друг, дорогая Евдокия Мионовна, до того старый, что родился ещё в IV веке. И всё-таки хочется писать стихи — свои, а не за покойников грузинского и арабского происхождения, потому что, как сказал Ильф — писатель должен писать. У меня графоманский зуд в пальцах. Ещё полгода — и я разделаюсь с хвостами и буду вольная птичка с тетрадкой под мышкой. Престарелая птичка страус. Или, верней, аист: этот чаще стоит на одной ноге.

В Москве не погода, а сплошная грипповщина, правда, про грипп не слышать, но слякоть чудовищная. А в Киеве? Забрался я на север, как сосна в «на севере диком» у Лермонтова, переведшего стихи Гейне по собственному желанию. Странные бывали на свете поручики.

Таня спит, но, как я предполагаю, кланяется Вам, шлёт Вам привет и целует Вас во сне.

Я Вас очень люблю.

Ваш брат и дедушка А. Тарковский

Будьте здоровы и веселы.

27-VII-70

Милая, дорогая, очень любимая Евдокия Мионовна!

Только что пришло (с запозданием на много дней) Ваше письмо с таким дорогим для меня маленьким стихотворением¹ и чудесной грустной фотографией. Я гляжу и радуюсь, что у меня такая красивая, и добрая, и умная новая сестра. Напишите, пожалуйста, полностью ли дошло заказное толстое письмо с разными вырезками и рукописями.² К нему приложен список всех этих мелочей. М<ожет> б<ыть> кое-что (кроме Е. К. Лифшиц) окажется Вам незнакомым? У меня есть надежда, что я отыщу у себя что-нибудь ещё из того, что может Вас заинтересовать. Я уже нашёл — слишком дорогое для нас обоих — чтобы посылать по почте и рисковать тем, что эти бумажки затеряются, — ведь бывает же, что бумажка почта забывает отослать по адресу.

Несколько дней я занимался усталостью и болезнями — провалился в постели. Затем меня ододела приборка моей медвежьей берлоги, заваленной книгами и пластинками. Порядок наведен далеко не окончательный, но навести его в должной мере невозможно при тесноте, созданной невольно мной самим. Насчёт болезней, м<ожет> б<ыть>, я ошибаюсь в определении, и это не болезни, а старость?

¹ Стихотворением, которое я посвятила А. А. Тарковскому.

² Арсений Александрович прислал для моего Ахматовского собрания, которое очень оценил, много уникальных материалов, в том числе и воспоминания Е. К. Лившиц, вдовы Бенедикта Лившица, о похоронах Анны Ахматовой.

Да, чтоб не забыть: мне звонил Шаповалов, о котором мы так тепло говорили, и сообщил мне, что его редактор забраковал мою рецензию на Вашу книгу, п<отому> что Киев не входит в зону его внимания, и тогда Шаповалов вонзил её (рецензию) в журнал «Молодую гвардию», и будто она там и появится, в чём он мне присягнул. Я (как и он) только не знаю, в каком номере. Дай Бог, чтобы появилась!

Я часто вспоминаю Киев и Ваших друзей — и ежеминутно Вас. Книги А. Ларкиной и милому ужгородскому Вашему другу послал одновременно с толстым письмом Вам — по адресам, что Вы написали своим милым почерком.² Может быть, Вы приедете в Москву и остановитесь у нас? А мы будем с Вами нянчиться и хвалить Вас?³ <...>

У нас мерзкая дождливая погода и 12° холод, который почему-то называется теплом. Моего араба технические редактора готовят к печати, которая, кажется, скоро последует; издатели клянутся выпустить её из печати в 1971 году, но год у них, как известно, состоит минимум из 3000 дней.

Итак — мы Вас очень любим. Целую и крепко жму Вашу руку, дай Бог Вам счастья.

Ваш А. Т.

К конверту я приклеил зелёную марку, чтоб получилось солнечное лето⁴ и Вы немного погрелись на солнышке. — А.

Приписка карандашом [Е. О.]:

Таня Вам, верно, отдельно напишет, она ушла из дому на свою гимнастику, и тогда письмо сегодня (28-го) уже не уйдёт. Будьте здоровы, милая Евдокия Мироновна, Бог Вас хранит.

9.1.71

Дорогая Евдокия Мироновна!

Милый мой дружок! Спасибо Вам за письмо, за армянскую Анну Андреевну, за поздравления Вашего Клуба поэзии, за Вас, которая всегда в запасе у моей преданной по-собачьи души, за Вашу доброту, за Вашу памятьливость. Как-то Вам живется в Вашем прелестном Киеве? Что-то я всё тревожусь за Вас, дай Бог, чтобы понапрасну! Всё ли у Вас хорошо, у Вас и у Ваших родных? Как стихи? Пишутся ли? У меня что-то застопорило, что-то написал — вялое. Ещё четыре месяца холодов, а я живу только летом, циклотимик дурацкий. Никак не могу ничем заняться по-настоящему, всё валится из головы, как у иных из рук. Таня всё пытается меня развлечь, водит иногда в кино, но я на эти пейзажи и позитуры смотрю как сквозь сито и воспринимаю всё не мозгом, а вроде спинным хребтом, превращаясь в какую-то рыбу. Заметили ли Вы, что появилось много никогда не бывших до сих пор рыб с чудными названиями, которые и запомнить нельзя: палтус, ещё что-то и арсениум? Это я — арсениум. Всё-таки вот Вам стихи:

Земля пересохла, как губы,
Обмётанные сypняком,
И засухи дымные трубы
Беззвучно гудели кругом.

И высохло русло речное,
Вода из колодцев ушла.
Навечно осталась от зноя
В крови ледяная игла.

¹ Михаил Шаповалов, поэт, работал в журнале «Сельская молодёжь», предложил А. А. Тарковскому поместить там его рецензию на мою первую книжку. Рецензия появилась в журнале «Молодая гвардия», 1971, № 3.

² А. Н. Ларкина была архитектором и поэтом, жила в Киеве. «Ужгородский друг» — известный писатель Феликс Кривин, в Киеве встретившийся с Тарковским.

³ Реминисценция на слова Анны Ахматовой Арсению Александровичу по телефону после их размолвки: «Вы знаете, я подумала: нас так мало осталось — мы должны друг друга любить и хвалить».

⁴ Зеленая марка была приклеена на желтый конверт.

Качается узкою лодкой
И целится в сердце моё,
Но, видно, дороги короткой
Не может найти острый.

Есть в круге грядущего мира
Для засухи этой приют,
Где души скитаются сиром
И ложной надеждой живут.

Посылаю Вам эти плохие стихи в доказательство того, что я, хоть и впал в отупение, но, может быть, что-нибудь ещё вернётся мне летом.

Юнна Мориц прислала мне свою книгу. Там есть много очень хорошего, есть и послабей, она никак, видно, не может выпутаться из веревок, которыми связала самое себя, а она ведь такая даровитая, и умница, только очень уж безумна. Если у Вас нет её книги, напишите, я вышлю, у меня появился второй экземпляр, кто-то принёс мне. У меня книжный праздник: мне достали том рассказов (всех) Эдгара По, изданный Академией наук; По был первым автором, которого в детстве я прочитал своими глазами; потом были «Страшная месь» Гоголя, потом «Стёпка-растрёпка» (не знаю, чей), потом какая-то сиреневая книжка о том, что солнце расчёсывает гребнем деревья, и дивный «Пиноккио» Колоди (из лучших книг на земле). Я перечитал всё, что у меня есть, по истории Рима, в надежде написать поэму про Калигулу. Видно, я как-то не рассчитал, что к (в) старости редко у кого душа-мозг-лимфа-перо застопориваются и шестерёнки ходят так туго.

Я Вас очень люблю, и всё, чем Вы живёте, мне мило, словно это лучшее воспоминание.

Таня шлёт Вам привет.

Напишите мне подробное письмо, хоть Вы и устали, и Вам хочется спать. Сначала поспите, а потом и напишите немножко. Целую Вас.

Ваш А. Т.

Пожалуйста, передайте привет Вите и сообщите, как её имя и отчество, чтобы я мог написать и поблагодарить за поздравление.

Примечание: на свободной странице цветными карандашами нарисован цветок. [Е. О.]

16 августа 1971

Дорогая Евдокия Мироновна!

Только что Вы написали про Глёкина¹, как Глёкин обнаружился, написал письмо, будто я его потерял, потому что мне в нём что-то не понравилось, а дело, верно, в том, что я очень устал и мне трудно держать в сердце слишком много людей. Тем не менее — он человек милый и приятный. Я написал ему тотчас же и попутно в ответе объяснился Вам в любви. Глёкин выносил из морга ящик с гробом Анны Андреевны, он был ей очень предан. А у неё он назывался Читатель. — «Анна Андреевна, к Вам Читатель пришёл!» У неё для всех были прозвища. Л. К. Чуковская — Лидесса. Маршак — Дутый-надутый. Что-то в страничке из Гл. воспоминаний мне показалось несовершенно по записи — пожалуй — интонация неверна. А что АА приятно обо мне высказалась² — конечно, обрадовало меня ещё раз — с запозданием на годы: поехало назад и слилось с давними временами.

У нас дома очередное вверх-дном, идут хлопоты с устройством очередной квартиры для Алёши³ и второй комнаты для меня (по Пастернаку):

¹ Георгий Васильевич Глёкин (1915) — биолог, физик. В последние годы жизни Анны Ахматовой часто общался с ней, автор интересных и точных записей встреч и бесед с нею, в пышнейшее время уже почти полностью опубликованных.

² В записках Г. В. Глёкина приводятся отзывы Анны Ахматовой об А. А. Тарковском.

³ Алексей — сын жены А. А. Тарковского Татьяны Алексеевны Озерской от первого брака, в то время живший с ними вместе.

Зимой мы расширим жилплощадь,
Я комнату брата займу.

Я проявил свойства делового человека и достал несколько справок: доставание справок одно из самых неплодотворных и утомительных мероприятий на свете — вроде участия в соревнованиях по катанию горошины носом на скорость и на дальность. Представляю себе — сколько в мире идёт бумаги на эти справки!

Кстати о трате бумаги. Не помню, писал ли Вам, что в Польше вышла переводная книжка моих стихов, очень мила внешне, выбор очень хороший, а о качестве переводов мне судить трудно, потому что я не Адам Мицкевич и польский знаю плохо. Получил я очень мало экземпляров из Польши, но заказал в «Демократической книге» 20 экземпляров, и когда получу (они обещают), непременно для курьёза pošлю Вам. Название поляки придумали сами, оно с оттенком польского гонора — «Первородство». Это что-то вроде «Париж — то есть маленькая Варшава».

Если с Алёшей всё получится, у Вас будет постоянное пристанище у нас со спокойной комнатой, где Вы сможете спать по ночам в полном уединении и слушать вместе с нами хорошую музыку, а я буду сидеть с Вами и смотреть на Вас во все глаза, думать — и откуда это такой ангел из логова Змиева, из города Киева? Я по Вас очень соскучился.

Спасибо, что Вы не обиделись на меня за дерзкие слова о Вашем стихотворении, да я и не думал, что Вы обидитесь, ведь Вы такая умница, такое золотце, такая прелесть.¹

Уж так мне хочется, чтобы Вам было хорошо на свете, чтобы ни Вы, ни Ваши близкие не болели и были счастливы.

Вашему очередному Клубу поэзии книжку я непременно вышло, как только разберусь в книжном глетчере, заполнившем мою комнату.

Господи, когда я наконец опять увижу эту поэтессу, обитающую на Большой Подвальной!

Целую Вашу пишущую руку (не ручку в этом случае), Ваш

Арсений Тарковский

Подпись вверх ногами должна символизировать писание в постели: я уже лёг спать.

[Пояснение Е. О.]: Внизу листка нарисована кровать, на подушке лежит пёс и пишет письмо.

6.II.72

Милая Евдокия Мироновна!

Сегодня был Саша², я передал ему Ваше письмо и фотографии, мы с Таней водили его в Дом литераторов смотреть смешной фильм.

Саша отдал мне Ваш подарок — книгу про Киевскую Софию, книжка прелестьна, но мне жаль, что Вы её у себя отняли. Очень я порадовался Софии, тем не менее. Написали Вы мне и письмо, — не помню, кто сказал, но верные слова о том, что у нас женщины, не в пример мужчинам, умеют писать чудесные письма, — и правда! <...>

Пришло мне и милое письмо от Л. С. Первомайского, — похоже на то, что он очень одинок и очень грустен. Утешить бы всех, да как?

А у Вас ещё холодно? Или уже потеплело? Как Вы перенесли эти невероятные холода, что всё-таки и на Украину пришли?

Как мне хочется на Украину, в Киев и в мой Кировоград, — я поехал бы на родину за слезами, больше мне в мой город ехать не за чем. Да разве ещё за детством, которое так нужно в старости. Верно, в моём возрасте впадают в детство по

¹ В предыдущем письме А. А. Тарковский высказался о присланном мною стихотворении, что оно «было бы совсем хорошо, если бы не было написано «под Ахматову».

² Александр Радковский побывал в Киеве и привёз от меня Арсению Тарковскому письмо и книги. По почте я прислала Тарковским письмо, а в конверт вложила фотографии А. Радковского, снятые во время его выступления в Клубе поэзии «Родник».

влечению сердца. Если и я впаду в него, не удивляйтесь, есть не только пространство — родина, есть и время — родина.

Ну — будьте здоровы и очень терпеливы, пишите стихи во всех обстоятельствах, стихи для нас — это воздух, которым дышит душа, — пусть она дышит!

Целую Вашу правую лапку, левую тоже.

Таня Вас целует и говорит, что очень вас любит.

И я Вас очень люблю.

Ваш А.

31.III.76

Дорогая Евдокия Мионовна!

Опять у меня, у Тани ничего не вышло из возможной встречи.¹ Вы транжирка времени — когда речь идет о других, а не о нас. Неужели вызнать в Риге об А. А. Ахматовой нельзя было за два — ну за 3 дня, а нам — хоть один день, если не два? Мне прислал свои стихи «киевский грузин» (авторрекомандация) Кухалашвили, я ему написал, чтобы он нашел Вас. Это не Ваш ребенок?² Объясните ему, если он Ваш родниковый, чего он не понимает, он написал стихи о моем Сквороде, но рифмует «на» и «ня», что неприлично. Я насочинял много (для меня) стихов в этом переделкинском литфондовском монастыре с дурной репутацией, в том числе и о моем Сквороде (моей Сквороде). Очень бы хотелось Вам всю эту кучу изложить изустно, но Вас нет, Вы где-то там, где, уж верно, потеплей, чем у нас, в глуши среди полярных снегов. Впрочем — сейчас солнце за окном, — вот как пойду на улицу, под свет! Так как я давно ничего не переводил, то обеднел, а то бы мы поехали в Киев. Таня, впрочем, возится со своим переводным романом, с машинистками, которые ее обманывают на каждом шагу, как гусары: она все равно поехать бы не могла, а я без нее боюсь шаг ступить — ну, думаю, — ступлю — глядь, очередную кость сломаю. Стар я стал и нелеп.

Антокольский, тоже старик, ему в июле 80 годков, здесь, в Переделкине. Мы с ним кряхтим в два голоса; кажется, я его догоняю по тернистой дорожке возраста, что-то мне все неможется, да то тут, то там скрипнет, то тут, то там щелкнет, то тут, то там то то, то это. Такая все внутри неразбериха, я бы сказал — разруха и беспорядок.

Препровождаю Тане это письмо, чтобы она что-нибудь нежное Вам приписала, а я Вас всегда помню и очень Вами дорожу, Вы мне приятней ананаса: он стихов не пишет, а Вы пишете, но не присылаете.

Здравствуйте!

Ваш и Олегов³ А. Т.⁴

9.II.1977

Душенька наша, серденько наше Евдокия Мионовна!

Скажите умное и правдивое слово: понравилась Вам, или нет, а если не целиком то или другое, то чем и что, и почему понравилась или не понравилась Вам поселковая поэма «Чудо со щеглом»? Ради Бога, без дружеской снисходительности, а с придирчивостью во вкусе Писарева — прочитайте ее — и, пожалуйста, напишите Ваше компетентное мнение.⁵ <...> Если Саша еще в Киеве, и Вы встретитесь с ним, спросите его, почему я вдруг впал в неистовство в несвойственном мне жанре юродивого.

Мне было очень весело писать «Щегла», но я боюсь, что от него весело мне одному. Косвенная причина рождения птички та, что мы уж очень пересерьезнили поэзию и улыбаемся только после того, как дантист скажет, что зуба можно и не вырывать. <...>

Вчера вечером мы с Таней были на Андреевой премьере «Гамлета»: вообще

¹ Я ездила в Ригу встречаться с родственницей Анны Ахматовой Х. В. Горенко.

² Т.е. не член Клуба поэзии «Родник», которым я руковожу с 1967 года.

³ Мой муж Олег Степанович Рычуп.

⁴ Далее следовало письмо Т. А. Озерской-Тарковской.

⁵ Машинопись поэмы «Чудо со щеглом» нам привез Александр Радковский с дарственной надписью: «Дорогой, любимой Евдокии Мионовне и Олегу на память — с любовью и пожеланием здоровья, возможного и невозможного счастья. А. Тарковский. Февраль 1977».

хорошо, плохи только некоторые актеры, центральные — хороши. Спектакль очень (режисс.), очень хорош, жаль, что Вам нельзя его показать так, чтобы Вы смотрели в Киеве, а играли в Москве.¹

Со страшными волнениями и трудами, ссорой с магазином получил Ахм<атову> в библиотеке поэтов под ред. Жирмунского. Там «Поэма без героя» полностью со всеми готическими пристройками, вариантами и прочими подробностями. Она была великий поэт, и я подумал, что очень многие до своего полного величия не доживали, потому что его возраст — где-то между 60 и 80 годами. А вообще, есть у меня противоречащее этому — вот что: каждый поэт, когда бы он ни умер, полностью осуществляет свой общий замысел, и больше не может быть ничего, что он мог бы написать. Не обращайтесь внимание на противоречие. Кто-то из афористов опубликовал в две колонки афоризм «а» и афоризм «б». Последний («б») утверждал совершенно обратное относительно «а». Так — к раввину пришли двое. Один утверждал нечто — и раввин сказал ему, что он прав. Второй утверждал нечто противоположное. Раввин сказал, что и он прав. Тогда жена раввина спросила: как могут быть правы и тот и другой? Раввин сказал ей: — Женщина, и ты права. Диалектика по Гегелю. Прав ли я, полагая, что Вы хорошо ко мне относитесь? Не придете ли в Москву? Мы Вас любим и скучаем по Вас.

Таня спит, иначе велела бы Вас заочно поцеловать, что я и делаю. Привет Олегу.

Не болейте, родная! Всего Вам доброго.

Ваш А. Т.

4 августа 1978

Дорогая Евдокия Мироновна!

Я с испугом узнал, что после Голицына Вы оказались в больнице. Вместе с этой невеселой вестью прибыли в Вашем письме милые и веселые звери. Спасибо Вам за них. Спасибо за то, что Вы содействуете нелепой старческой новой страсти к почтовым маркам.² Я надеюсь, что больше Вы не будете тратить деньги на мое маразматическое хобби. Есть еще один человек, который действует подобно Вам. Он прислал мне марки государств, названия которых я прочитал на них впервые — и ни мне, ни кому-нибудь другому их место на земле незнакомо. В этом письме Вы найдете несколько марок, которых, может быть, у вас нет. Вероятно, лучшее, что можно с ними сделать — это оклеить ими бабушкин сундук внутри. Представьте себе, какой получился бы сундук? Я прочитал, что теперь в Америке развелись сумасшедшие, коллекционирующие сундуки, даже не обклеенные марками, и цены на сундуки очень высоки, чем старше, тем дороже.

До сих пор я все чаще вспоминаю нашу экспедицию в Звенигород и Большие Вязёмы — а там ведь и вправду было хорошо и, верно, понравилось бы Анне Андреевне. Она, кажется, хоть и жила одно время в Голицынском Доме творчества, а ни там, ни там не побывала.³

Вот умерла Марецкая, она была на год старше меня, я знал её до войны, мы за одним столом играли в какую-то карточную игру (в Тарусе) и были в одной игрецкой компании с нами Виталий Жемчужный, что с Дзигой Вертовым снимал «Стекланный глаз», М. М. Морозов (шекспировед) со своей красивой тогдашней дамой — этакой русской красавицей, покойный Володя Бугаевский (переводчик) и еще кто-то. Верных 90 % из них уже на том свете. Жаль Марецкую, она была такая хорошая актриса — суховатая, сдержанная, какие мне нравятся. Храни Господь Раневскую, она совсем старенькая!

У нас всё по-прежнему, все более или менее здоровы <...> Стихи никак не хотят расписаться. Книжка в Грузии⁴, кажется, на мази. Оказывается, Гослит («Худ.

¹ Спектакль «Гамлет» был поставлен Андреем Тарковским.

² Арсений Александрович в то время увлекся коллекционированием марок, и я прислала ему какой-то иностранный красивый набор марок с изображением зверей.

³ По приглашению Тарковских я в июле гостила у них в Голицыно, и они возили меня на машине показывать красоты Подмосковья.

⁴ Книга А. Тарковского «Волшебные горы» (переводы с грузинского и избранные стихи) вышла в конце 1978 года.

литер.») издаёт подарочного аль-Маари, что меня очень радует: они хотели, чтобы я прочитал корректуру, но поездки в Москву и обратно... Старик Тарковский сослался на болезни и упросил их сделать это за меня. Так и поступили. Это уже вёрстка. Ну, Бог с ними, я уверен, что они вычитают лучше меня. Книга эта денег даст очень мало, потому что старик-араб выходил один раз в плохом виде, потом в томе Библиотеки Всемирной Литературы, а там тираж был колоссальный. Мне будут платить копеек по 20 за строчку. Я так люблю старика, что это меня почти не огорчает.

Ну вот Таня сдала, наконец, своего Теккеря, теперь переводит чьи-то среднего качества рассказы, но радуется и тому; она чудовищно работоспособна, любит переводить и всё боится, что не будет работы.

И она, и я очень любим Вас и радуемся, что у Вас есть Олег, которого мы тоже любим, и есть кому о Вас позаботиться.

Таня шлёт Вам поцелуи, приветы Вам и Олегу, я тоже, и целую Вашу ручку. А насчёт стихов — то, что Вы сказали о своих — неправда и я их жду, ибо они мои племянники, раз Вы моя названная сестра.¹

Ваш Арсений.

Р. С. Вы от нас уехали слишком рано, у нас идёт яблочный град (яблоки почти созрели), они съпятся, как говорят, от старости. Тепло было только один день, а этого мне очень мало, да и всем в наших местах тоже. Я наспециализировался печь яблоки в духовке — с сахаром и мёдом, и жалею, что Вас нельзя ими накормить.²

17 августа 1982

Дорогая Евдокия Мироновна!

Мы обитаем теперь в Доме ветеранов кино: это в Матвеевском под Москвой. Дом этот невероятно комфортабельный, с ванной и прочим в номерах, с кухней, лучшей, чем в Переделкине, с розарием во внутреннем саду, с парком и прочим, и прочим. Тут же врач (врачиха) и несёт числа всяким роскошеством, с кино, хоть теперь кино и не показывают, потому что механик в отпуске. Но писать нам лучше всего на московский адрес.

Завтра ко мне придут киевские телевизионщики снимать меня (во второй раз: в первый неудачно из-за технических неполадок). Я должен говорить об (к столетию) украинском театре — потому что моя тётка Надежда была женой Карпенка-Карого, а детей Тобилевича (и внуков) я хорошо знал, как и Саксаганского. Один раз киевские телевизионщики меня замучили, но им этого мало.

У меня вышла книга — большая, стихи и переводы. Я поеду за ней в Москву в пятницу, после чего она будет послана Вам. В ней — зное количество опечаток, которые в книжке, высылаемой Вам, будут исправлены. Так — вместо ресница напечатано — десница и прочее. Это отравляет мне относительное удовольствие, которое я должен получить от книги. Если бы не опечатки, я был бы доволен книгой.

Мы оба очень скучаем по Вас и хотели бы повидаться и с Вами, и с Олегом, очень уж Вас не хватает в моей старости. Танюше тоже (в ее молодости). <...>

Танюша продолжает увлекаться бесконечной починкой нашей «Волги», для чего отыскался некой благодетель Михаил, который замечателен тем, что всегда берёт меньше на 5 рублей, чем то, что ему дают. Даже странно. <...>

Так и живём. А Вы помните, что мы Вас очень любим — и Вы у нас — родная.

Таня Вас обнимает крепко, очень Вас часто с нежностью вспоминает, да и я тоже.

Вас всегда не хватает. Кланяюсь Олегу.

А. Тарковский

Р. С. Я давно уже ничего (стихов) не написал. Мучусь этим, хожу сам не свой, пожалейте меня!

Ваш А. Т.

¹ На просьбу Арсения Александровича, чтобы я прислала ему свои новые стихи, я отвечаю, что ему и без моих стихов хватает забот.

² Внизу письма — рисунок: стоящий на задних лапах пес в очках протягивает в передней лапе цветок.

(Начало марта 1984 г.)

Дорогая и горячо любимая Евдокия Мироновна!

Горячо благодарю Вас за Ваш бесценный подарок — альманах библиофила с Вашим интервью об Ахматовой. Спасибо Вам за упоминание обо мне — я не стоил этого, потому что не знаю, как Вас благодарить за него.¹

Когда Вы приедете к нам? Мы теперь обитаем в Матвеевском — это недалеко, это один из районов располневшей Москвы. Как вы найдете нас? Бог что волнует нас обоих сейчас. Наш телефон здесь — 442-48-36. Пожалуйста, позвоните нам! Очень прошу Вас об этом.

Каковы теперь Ваши дела? Зажили ли Ваши последствия операции? Мы Вас очень любим — я и Т. А., очень дорожим Вами — Вы мне как сестра, а как Вы доводите Т. А., я и понять не могу.

Дай Вам Бог, чтобы Он помог Вам изжить все Ваши неприятности, чтобы Вы были вполне здоровы и счастливы, ничего, кроме этого, я не желаю.

Спасибо Вам за Ваши драгоценные подарки. Как хорошо, что Вышеславский сделал это интервью. Большое спасибо ему!

Любящий Вас А. Тарковский.

Чего только стоит Ваше признание в любви к этому несравненному поэту! Я Вас люблю не только потому, что Вы высказали эту мысль, но и за то, что Вы собрали такое огромное количество ее книг, которому по нынешним временам и цены нет. Благодарю Вас за то, что Вы для нее сделали. <...> Кланяюсь и благодарю Олега Степановича за то, что он так хорошо ухаживает за Вами, Вы более чем заслуживаете этого. Передайте ему мой низкий поклон.

А. Т.

(Октябрь 1987)

Дорогая Дусенька!

Я не писал Вам, потому что хворал. Тяня тоже не очень хорошо себя чувствует. <...> Я очень соскучился по Вас, благодарен Вам за Ваше письмо и стихи.

Как грустно, что мы так редко можем видеться.

Надо думать, как нам показалось, что Вы не рассердитесь за то, что мы дали телефон и адрес одному довольно симпатичному поэту-харьковчанину. Хочется думать, что у Вас все благополучно, что Вы здоровы и мы еще увидимся, даст Бог.

Пока мы еще живем в Доме ветеранов кино, а наш дом безнадежно погряз в капитальном ремонте.

От всего сердца желаю Вам и дорогому Олегу главное здоровья и благополучия во всем.

Очень любящий Вас Арсений.

*Публикация, подготовка текста, предисловие
и примечания Е. М. Ольшанской*

¹ В № 18 «Альманаха библиофила» было напечатано интервью Л. Н. Вышеславского со мною, в котором я рассказала о своем Ахматовском собрании. Там я упомянула об А. А. Тарковском, подарившем для этого собрания несколько ценнейших книг и других материалов.

Сергей Баймухаметов

Переселенцы

записки человека из телевизора

Тупик

На усадьбу к Пузенкам вдруг появился глава местной администрации Климов и приказал:

— Выселяйтесь. Хватит.

— Как так? — опешили братья. — Нас сюда председатель заселял!

— Мало ли что — «председатель»! Дом-то не колхозный, а государственный. Так что собирайте вещи. А нет — через суд выселю.

Действительно, переселенцев из Казахстана братьев Виктора и Вячеслава Пузенко с женами и детьми в этом большом каменном доме поселил председатель колхоза Бирюков. Раньше здесь была начальная школа, построенная на хуторе Семяновка, кстати, переселенцами из Черкасской губернии. А раз школа — значит здание государственное, не колхозное. Но кто тогда разбирался в этом, кто против председателя колхоза слово бы молвил? Не сельсоветчик же, то бишь председатель сельсовета. Кто он тогда был? Да никто. Фикция. Бумажки выдавал о рождении-смерти, семье и браке, прописке-выписке.

И вдруг — все изменилось. Разоренные колхозы, оставленные без государственных дотаций, вместе с грозными своими председателями как-то на глазах скукожились, превратившись в захудалые артели и кооперативы, а бывшие невзрачные сельсоветчики стали называться Главами сельской администрации. То бишь — начальник целого округа. Государево око. Никому не подчинен и неподотчетен, кроме как главе района. О как!

И взялся местный глава Климов являть власть на своей территории. И в первую очередь подступил к семьям Пузенко: или покупайте дом — или... будем судиться.

Обоянский районный суд постановил: выселить. А как? Тут ведь тупиковая ситуация. С одной стороны, семья Пузенко подпадает под указ Президента России о переселенцах. Более того, старший из братьев, Виктор — отставной офицер, инвалид Советской Армии, что приравнено по уровню прав и льгот к инвалидам Отечественной... А с другой стороны, хозяин дома — администрация. Никто не может занимать дом против ее воли. И Курский областной суд подтвердил: выселить.

Безвыходная ситуация, говорил я в передаче. Но ведь люди, семьи Пузенко не виноваты в том, что раньше на этой земле полновластным хозяином был председатель колхоза Бирюков. Таким полновластным, что даже не вникал во всякие «глупости» вроде права собственности, владения и прочее. И почему *тогда* еще Климов не возразил ему? Почему *тогда* еще не заявил о своих правах? Теперь за их тогдашнюю райкомовско-советскую систему субординации расплачиваются ни в чем не повинные люди. Шутка ли, четверо малых детей...

После выхода передачи Бирюкова и Климова вызвал к себе глава района Воронов и спросил:

— Вы что, мужики, не можете по-человечески решить вопрос?

Сергей Темирбулатович Баймухаметов родился 10 января 1950 года в г. Петропавловске, Северо-Казахстанская область. Закончил Литературный институт имени Горького. Член Союза писателей. Автор сборников повестей и рассказов. Цикл его передач «Переселенцы» выходил на первом канале в эфире Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» с 1994 до 1997 года.

— А как?

— Очень просто, — постановил Воронов. — Снять здание бывшей школы с баланса администрации и передать на баланс колхоза, то есть кооперативного сельхозпредприятия. Вот и все.

Что и говорить, тупик был хоть и современный, но типичный, расейский, когда все правы и в то же время все виноваты, а концов не найти, но если разбираться по закону, то крайними всегда оказываются самые слабые, беззащитные, проще говоря — простые люди, пузенки... Однако и выход из него нашелся еще более расейский: мол, что бы ни решил суд, а будет так, как скажет большое начальство.

Воронов, конечно, поступил в духе тех самых традиций. Но согласимся, что и ситуация нетипичная, куда ни кинь — всюду клин. В конце концов, на то и дается власть, чтобы разрубить запутанные узлы.

Особняк

Пока мы сидели в квартире Вали Честиной и слушали ее рассказ, все было ясно. Но когда выехали на съемки и своими глазами увидели недостроенные особняки, называемые коттеджами, тут ребята из моей группы и смутились. Замотали головами, забормотали: нельзя снимать, не так поймут...

Когда Валя Честина и Петр Жуков с детьми переехали из Молдавии в твердое село Хорошево, областная миграционная служба выдала им на обустройство ссуду в четыреста тысяч рублей. Деньги по тем временам большие. Валя говорит, что хватило бы на дом с участком, который они и собирались купить. Однако тогдашний директор совхоза Румянцев отговорил их. Мол, что вам домик, я тут коттеджи строю, сдавайте деньги на коттедж. Местные, сельские, издревле народ сверхосторожный ко всяким новинкам, не больно-то рвались сдавать кровные деньги на экзотические хоромы, а Валя и Петр быстро смекнули, что это — шанс разом занять настоящее жилье. И отнесли полновесные четыреста тысяч в совхозную кассу. Но жизнь все изменила по-своему. Стройка — дело долгое, а инфляция — тут как тут. Совхоз разорился, их деньги превратились в ничто, директор Румянцев ушел на высокий пост аж в областной центр, оставив Валю и Петра у разбитого корыта. А новый директор издал приказ: вернуть деньги с учетом процентов за три года. Получилось всего — один миллион семьсот тысяч, по нынешнему — тысяча семьсот. И он, новый директор, считает, что это единственный честный выход в данной ситуации, потому как никто не виноват, кроме государства, которое своей ценовой политикой разорило сельское хозяйство, спровоцировало инфляцию и т.д.

Валя и Петр не согласились, написали, как водится, в редакцию; мы выехали в Хорошево. И тут ребята из съемочной группы, операторы Игорь Чесноков и Саша Терентьев, как увидели коттеджи — так и сникли. Трехэтажные особняки со встроенными гаражами, банями и прочим обиходом. Какие тут четыреста, извините, тысяч! Если мы снимем и покажем это, то зритель поневоле насторожится: значит, переселенцы хотят за свои жалкие четыреста тысяч хапнуть такой коттедж?! Нет, нельзя это показывать, заговорили ребята, зачем страсти нездоровые возбуждать, да и бесполезно, у героев наших нет никаких юридических прав.

Это точно. Прав — никаких. Ведь работника-сварщика Петро Жуков даже договора с директором Румянцевым не заключал.

Однако... Посмотрела сюжет Майя Орлова, юрист из «Гражданского содействия», общественного комитета помощи переселенцам, и заключила: можно подать! В приказе нынешнего директора о возврате денег есть фраза о том, что деньги были внесены «на строительство коттеджа». А это — уже зацепка! По закону о защите прав потребителя, противная сторона в таком случае обязана возместить ущерб. Если в то время на четыреста тысяч можно было купить дом с участком, то и сейчас Честиной и Жукову обязаны вернуть сумму, достаточную для приобретения такого же дома с участком. В общем, суд рассмотрит все...

Не знаю, воспользуются ли Валя и Петро советом юриста. А было бы здорово. Хватит нам ходить вечно обманутыми. Только одно вносит смятение в мою совковую душу: ведь тогда получится, что за недалёковидность Румянцева (а если уж занимаешь директорскую должность, изволь быть дальновидным!) будет рас-

плачиваться совхоз, коллектив. А с *господина* Румянцева, равно как и с предыдущих ответственных *товарищей* — как с гуся вода! То бишь разные-всякие честины-жуковы, ивановы-петровы да сидоровы-баймухаметовы как были, так и остались глиной, по которой протаптывают свои замысловатые тропки извечные и непотопляемые *товарищи-господа*.

Нестерово

У них здесь круговая порука: все воруют, пьют не просыхая, никто не работает, телята на фермедохнут. А Гуля и по должности (работала сторожем на ферме), и по характеру своему воровства терпеть не может. Борется. Потому и выжидают ее из деревни. Председатель со всеми заодно: придрался к чему-то и уволил, грозит выселить. А она беззащитная, потому как переселенка из Узбекистана и здесь у нее никого нет...

Вот такое письмо получил я из деревни Нестерово, что в Старицком районе Тверской области. И хотя наша работа приучает не верить на слово, все равно ожидал я увидеть деревенскую разруху и мерзость запустения, зыбкие фигуры и невнятно расслабленные улыбки мужичков, не знавших трезвости последнюю пилетку. Согласитесь, знакомая картина. Потому и представилась так живо.

На самом же деле деревня Нестерово оказалась совсем другой. Сразу — о повальном пьянстве. Мы приехали без предупреждения. И надо же так попасть — нестеровцы готовились назавтра отправлять двух парней в армию. Ну, раз такое дело, особенно в маленькой деревне, рекрута по обычаю неделю пьют-гуляют, а с ними заодно гудит и вся деревня. Случись и здесь такое — никто б не удивился: уважительная причина... А тут — обыкновенный рабочий день. Вплоть до того, что и сами призывники, трезвехонькие, что-то там доделывали, договаривали с кем-то. И только матери их дома на кухнях жарили-парили, готовили торжественный ужин.

Вот вам и обычаи. И вообще, деревня Нестерово показалась мне уютным, ухоженным уголком тверской земли. Каким-то ясным и светлым. Это ощущение ясности, доброжелательности исходило от людей. Они собрались на крыльце маленького деревянного клуба не на сход и не на собрание, а просто на разговор. Спокойные, уверенные в себе. Никак не похожие на ограбленных приватизацией, затюканных жизнью и начальством. Видно, у них приватизация пошла по-другому, потому что нестеровцы чувствуют себя хозяевами. На весеннем сходе, например, отказались от зарплат. Вернее, решили повременить с нею. Деньги в кассе были. Но если их выдать — надо брать кредит. Перебьемся до осенней сдачи молока и мяса, решили нестеровцы, лишь бы не влезать в долги. Потому что кредит надо возвращать с процентами. А деньги теперь вроде свои, а не государственные и не «председатели». Кстати, председателем впервые за многие годы выбрали не пришлого, а местного, Бориса Корешкова. Он здесь родился, пастухом работал, трактористом, механиком. Но избрали его не потому, что «свой», а потому, что толковый. Здесь, похоже, на «своих» и «чужих» не делятся: почти половина рабочего люда в деревне — приезжие. Есть и армянские беженцы, и переселенцы из Литвы, Туркменистана, Молдовы. Они — полноправные члены артели, входят в руководящий совет. В общем, народ здесь открытый, доброжелательный. О Гуле Казаковой говорят с сожалением, но — отстраненно, как о человеке, с которым знаться особо не желают. Хотя и не работает она в колхозе, но пусть живет в колхозном доме, ею, кстати, занят самовольно. Пусть, человеку податься некуда. Но только оставила бы нас в покое, а то ведь четыре года строчит жалобы во все концы, и четыре года сюда наезжают комиссии: собирают людей, спрашивают. А одна корреспондентша прилетела, ни с кем, кроме Гули, не поговорила и ославила деревню на всю область: мол, притеснители, угнетатели здесь живут. Думаете, приятно такое о себе читать? Да, бывает, что доярки с фермы уносят бидончик молока. Дело житейское. А городские на конфетной фабрике не уносят конфет? Если это называть воровством, то ведь и Гулю с бидончиком застали однажды...

Такой разговор шел на клубном крыльце. Правда, не обошлось без крика. Это когда Гуля подошла и с ходу принялась всех обличать. Женщины, не выдержав, тоже взвились, шум поднялся, гвалт.

- Чего ты хочешь? — спрашивали Гулю. — Скажи, чего ты хочешь?
- Правды хочу! — кричала Гуля.

— Какой?

— А такой, что надо прямо сказать, кто честно работает, а кто по блату!

Через плотное кольцо пробился совсем молодой парень, как мне потом стало известно, председателев сын, и остановился перед Гулей:

— Ну что ты мне хочешь сказать, я с шестнадцати лет работаю.

— Так тебя отец по блату на трактор посадил! — выкрикивает в запале Гуля.

Тут все начинают смеяться: да, хорош блат, в шестнадцать лет сыночка на трактор... И, посмеявшись, расходятся.

Чужой монастырь

Несколько дней провел я в Нестерове, не раз говорил с Гулей, был у нее дома. Конечно, она человек конфликтный, неуравновешенный, в общем, тяжелый случай. Но... В поездках я не раз встречал таких людей среди переселенцев. Может, есть какие-то общие корни? А именно: когда отцы и деды нынешних переселенцев уезжали строить каналы и заводы в Узбекистане, Туркмении, Казахстане, им никто не говорил, что там они попадут в другой мир, в другой народ, и надо как-то подлаживаться под тамошние законы, нравы, традиции, обычаи. Не говорили им об этом. И вот спустя полвека их внуки возвращаются на историческую родину, в Россию, и точно так же некоторые из них не думают, что приехали в другую страну, в другой народ, живущий по своему укладу. И к этому укладу надо приспосабливаться, вращаться в него, вживаться. Особенно в деревне. Иначе ничего не получится. Нравится или не нравится, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Не знаю, насколько я прав, но какое-то зерно тут, наверно, есть.

Еще там, в Нестерове, я понял, что передачи может и не быть. Это написать можно все, изменив фамилию, найдя наиболее мягкие слова, интонацию. А экран — он *все покажет*. Он покажет Гулю, одетую, как нарочно, во все черное, в черной кепке с длинным черным клювом. Гулю, худую, с черным воспаленным лицом, что-то ожесточенно кричащую — в окружении нарядных, в пестрых сарафанах нестеровских женщин; некоторые из них по-деревенски дородны, и все без исключения — с улыбочивыми ясными лицами. Если будет передача, нельзя умолчать и о детях Гули — сыне и дочке. Сын, устроившись в Москве по лимиту, попал в дурную компанию, угодил, что называется, в историю, и теперь живет, прикованный к инвалидной коляске. Дочь, родив ребенка в семнадцать лет, оставила его Гуле и подалась из деревни неизвестно куда. А Гуля отправила внучку к родичам в Узбекистан, рассудив справедливо, что в ее доме, в этих условиях маленькому человеку не выжить.

Вот такая судьба. И как бы я ни смягчал, а передача получится жесткая. Жесткая.

Поделился я своими соображениями с нестеровским электриком Леонидом Неросликом, авторитетным там человеком, членом совета артели, кстати, переселенцем из Туркмении.

— А нас не жалко?! — спросил он. — Мы ведь, вся деревня, так и живем, облитые грязью. Угнетатели, мол, притеснители! И она ведь не успокоится, будет строчить жалобы! Ее жалко, а нам-то как быть?!

Так и лежат до сих пор те кассеты с записями из Нестерова. И я не знаю, что с ними делать. Не знаю.

Жистянка

Наверно, многое из моих поездок-встреч, передач и переживаний с годами забудется. Но Семяновка вспомнится обязательно. И не только из-за переселенческой судьбы братьев Пузенко, в общем-то похожей на сотни таких же переселенческих судеб, но и потому еще, что не уходят из памяти две встречи с Зинаидой.

Поставили мы камеру в центре хутора и стали ждать, разговоры разговаривать. А народ деревенский — осторожный. Мы-то уедем, а начальство — останется, с ним жить. Вдруг в наши лукавые перемолвки-недомолвки ворвался мощный, сильный голос — подошла Зинаида и с ходу вступила в разговор.

Ставлю кассету, смотрю — вот она появляется в кадре. Резко входит, уверенно. И сразу же занимает сцену. И фигурой, и голосом заполняет все.

— А что переселенцы?! Хорошие люди! Работают, не пьющие, с нами уважительные. За что их выгонять на улицу с детьми малыми! Это что творится на свете, это ж какую волю получило начальство, если такое с людьми творят! А?

Высокая, статная женщина. Сильная. Громкая. Уверенная. Никого и ничего не боится. Никто и ничто ее не сломит. Могучий человек. Да, именно так: могучий, мощный.

Приехал я через полгода снимать продолжение передачи, зашел во двор к Зинаиде — и не узнал ее. Передо мной была низенькая, старая женщина с тихим, неуверенным голосом.

Что случилось? Как мог человек так измениться?

Оказывается, внук. Семнадцать лет. Учился в местном профтехучилище. И там, в общежитии, повесился. Ни записки не оставил, ничего. Просто повесился. Любимый внук.

Никогда не знаешь, с какого бока она ударит, жисть проклятая, жистянка...

Тьма

Осенью и весной, в бездорожье, на хутор Семяновка не проехать. Даже мощный грузовик-хлебозов не всегда добирается. Хотя хутор не далекий какой-нибудь, не глухомань, в пятнадцати километрах от Обояни. До околицы — асфальт, а в сам хутор не въехать. Потому и ждала нас машина на дороге, и добираться до нее надо было через луговину.

Поздним ноябрьским вечером, закончив съемки в доме, мы собрали аппаратуру и вышли на улицу. Дверь за нами захлопнулась, отрезав последний луч света.

Дом большой. В этот момент вся семья собралась на одной его половине, так что свет горел только в окнах, выходящих в поле, на темный лес вдали. А с нашей стороны — ни огонька. И мы оказались во тьме...

Вчера вечером нас окружали огни Москвы, ранним утром — Курск, потом — Обоянь. Световым днем мы были на хуторе, вечером сидели-разговаривали в доме. И вдруг — кромешная тьма.

В городе, в поселке ли, человек никогда не остается в полном мраке: где-нибудь вдали да светится окно, огонек на столбе мерцает. Просто мы их не замечаем. А здесь — абсолютная темнота. Мы замерли, ошарашенные. Но провожавшие нас Слава Пузенко и его жена Вероника, привычно сориентировавшись, пошли вперед, повели нас за собой. Через минуту и я определил: там, где под ногами светлеется, там вода в колеях или застывший лед, там — дорога. Промозглая, черная ноябрьская стынь, невидимая черная грязь под ногами.

— А как вы думали? — заговорила Вероника, будто прочитав наши мысли. — Мы ведь тоже городские люди. К самой грязной работе приспособились, а вот к этой тьме хуторской — никак не привыкнуть.

Привет из Северомуйска

Звонок раздался примерно в шесть утра. Междугородный. «Ответьте Северомуйску!» — крикнула телефонистка, и в трубке что-то затрещало. А потом совершенно отчетливо раздался голос: «Привет, это Слава Пузенко, помнишь? Я сейчас живу на БАМе. Приезжай, есть материал для передачи, для разбирательства...»

Вот как. Значит, Славка теперь на БАМе. Ну да, он же проходчик, а там туннели, самый большой, кажется, именно в Северомуйске.

Какой план жизни имели в виду Пузенки, проезжая в Россию? Ведь они всем кланом снялись: престарелые отец и мать, два родных брата: Виктор и Вячеслав, да еще два двоюродных.

Впрямую мне они не говорили, но по отдельным репликам я представил... Думалось так: в России дают землю фермерам (в Казахстане тогда еще не давали), но затюканные российские мужики землю не берут. Ну а они же — городс-

кие, грамотные. Будет у них громадное фермерское хозяйство, будет труд беспрепятственный, но будет и жизнь богатая, на американский манер.

Все они правильно думали, только не учли, что их примут здесь враждебно. Хорошо, после телепередачи глава районной администрации вмешался. Но дом ведь так и остался казенным. Председатель колхоза Бирюков не соглашается на приватизацию. Семья Пузенко — ровно половина рабочего люда на хуторе Семяновка. Получат они дом — уйдут из колхоза. А кто тогда работать будет?

И оказались братья в тупике. Свобода без крова над головой — хуже тюрьмы. Но и дом, который привязывает их к колхозу — тоже не большая радость. Что же теперь, до конца дней влачить подневольную лямку на ферме да на свинарнике, за жалкие гроши, которые к тому же и не платят? О том ли думалось, когда переезжали?

Старшие, Виктор с Галей, еще в Казахстане приноровились к работе на земле. А вот Слава и Вероника — из промышленного Темиртау, там корову разве что по телевизору увидишь. Профессия у Славы была самая уважаемая — машинист проходческого комбайна. Элита, аристократия горняцких городов. И после этого — рядовой свинарь?

Значит, Славка подался на БАМ, в туннельные проходчики. И снова у него какие-то проблемы, с кем-то он там борется. И ничего не поделаешь: если человек однажды выбился из налаженной колеи, его еще долго будет трясти по ухабам жизни. Веронику жалко. И дочку маленькую. Она уже здесь родилась, в России.

Одинокая Лидия

Она кричала в объектив видеокамеры: «Будь моя власть, я бы всех нерусских из России выгнала! Если я приехала сюда из Латвии, если оставила там трехкомнатную квартиру, то пусть из России выгонят латыша, а мне дадут его квартиру! Пусть мне здесь плохо, трудно, но я здесь морально отдыхаю!»

Тяжело такое слушать. А еще тяжелее своей авторской волей транслировать на все города и веси: и без того в мире злобы через край, так еще и я добавляю. Но все-таки решился, включил ее слова в передачу. Потому что женщина эта, Лидия Стремалова, олицетворяла, на мой взгляд, крайнюю степень трагедии современного переселенчества. В ее сознании чудовищным образом переплелись посулы и ложь политиканов, и боль разрыва с родными, и горечь возвращения на историческую родину. И — собственная ложь. Потому что Лидия лукавит: трехкомнатную квартиру в Риге она не «оставила», там живут ее муж, дочка с внучкой. Другое дело, что ей здесь «морально хорошо», в этом лагере переселенцев неподалеку от села Сергеевка Губкинского района Белгородской области. В недостроенных корпусах пионерского лагеря, на бетонных полах, в непролазной грязи весной и осенью, в лютую стужу зимой — ей все равно лучше, чем в трехкомнатной благоустроенной рижской квартире. Потому что там она постоянно ощущала себя чужой, а в последние годы ощущение «чуждости» обострилось до предела.

Ведь за сорок три года жизни в Латвии она не удосужилась выучить хотя бы одно слово на латышском языке! Кто виноват? Наверно, она сама, взрослый человек, должна думать и понимать. Но вспомним, какой настрой был среди русских людей, которыми после войны заселяли Прибалтику. Чуть ли не в открытую им говорили: да здесь все враги, фашисты, правильно, что их в Сибирь сослали, жалко, что не всех. Так было, было, как ни горько вспоминать.

И Лидия Стремалова — жертва тех самых законов и морали. Пожилая женщина скитается по свету. Муж и дочь остались в Риге. В дни, когда я вел съемки в лагере переселенцев, там как раз гостила ее дочь. Она пыталась урезонить Лидию: «Ну что ты кричишь, кто тебя гнал? Мы вот живем и не чувствуем никаких притеснений!» А Лидия в ответ: «Вы меня не поймете! Мне здесь хорошо, я здесь морально отдыхаю!»

Зато плохо ее сыну, Владу. Говорит, что еще годик подождет, когда исполнится восемнадцать и он станет юридически самостоятельным, и тогда вернется в Ригу, к родным и друзьям, потому что «Родина моя там!». А здесь, в этом лагерном лесу, не будет жить даже под страхом расстрела.

И останется тогда Лидия Стремалова совсем одна, с горечью думал я, слушая ее перепалку с детьми...

Легкомысленный Лошак

Но тут к Лидии подошел молодой мужчина и с застенчивой, даже виноватой улыбкой сказал: «А ведь это ты меня сюда сманила...»

Слово за слово, и я узнал, что Лидия Стремалова, оказывается, не сразу приехала на Белгородчину. Вначале она подалась в город Заравшан, что на узбекской земле, там у нее сестра. Однако не прижилась. Услышала, что в Белгородской области землю чуть ли не сразу дают — и сагитировала сестрина соседа, Николая Лошака. А Николай с детства, в отличие от городских сверстников, мечтал не о машинах и кораблях, а о своем хозяйстве. С годами эта тяга окрепла. Но вот беда — в Заравшане участки не давали никому. Ведь личная земля требует полива, а там каждая капля воды на государственном учете.

И Николай, покинув родителей, вместе с женой и полуторогодовалым сыном устремился за Лидией. Мало того, что сын крошечный, так еще и жена вторым ребенком беременна, буквально на сносях. Как Николай говорит: «Должна была в дороге родить, но, слава Богу, доехала...»

Тут я, признаться, опешил: что за легкомыслие такое? Или это счастливое свойство молодости — не думать о последствиях? Николай здесь ох как трудно: с двумя малыми детьми зимовать в лесу — это, знаете ли... Однако он не унывает. Говорит, если и дальше так продолжаться будет, то они соберутся и уедут в Заравшан, к родителям. Действительно, нет проблем. Молодость...

Политиканы и прочие

Далеко не все так легко кочуют по жизни, как Николай Лошак с женой и двумя детьми. Так ведь у них в Заравшане остались родители, дом, куда можно вернуться. А большая часть переселенцев снялась со своих мест раз и навсегда: дома и участки проданы, родители тоже перевезены... Наверно, можно и надо говорить об определенном советском легкомыслии, иждивенчестве, привычке к государственной опеке. И потому почти в каждой передаче я предупреждаю: не торопитесь, не срывайтесь с места наобум, здесь вас никто особо не ждет, парткомов и месткомов нет, пусть вначале мужчины все разведают, твердо договорятся о работе и жилье, заручатся гарантиями. Не надо менять жизнь только для того, чтобы горе мыкать на российской стороне.

Однако, при всем легкомыслии некоторых переселенцев, не будем забывать — их *позвали*. Разве не Президент России публично заявил: Россия примет всех соотечественников? Разве не известный думский деятель начал шумную кампанию по «защите русскоязычного населения» в ближнем зарубежье? И разве не на этой демагогической волне его партия получила немало голосов при выборах в Думу?

То-то и оно. Особо — о журналистах, поддержавших и продолжающих ту кампанию. На мой взгляд, отношения новых государств и народов, отношения людей разных национальностей внутри новообразованных государств — сложнейшая, деликатнейшая тема. Тут и история, и политика, и вбитые в кровь и плоть предрассудки, и амбиции отдельных личностей, как всегда, особо активных. И во всем этом надо тщательно разбираться.

Какое там — разбираться! Сколько я знаю случаев, когда судили и рядили о тех или иных краях, ни разу там не побывав, пишут, говорят в эфире — как шашкой рубят, наотмашь, походя оскорбляя государства и народы, взвинчивая в людях самые недобрые, низменные чувства.

И вот что интересно: не один год езжу по деревням, где нашли приют переселенцы, а никого из тех политиков и журналистов, которые до сих пор бьют себя в грудь и кричат о любви к соотечественникам, там не встречал. Хотя, казалось бы, чего проще! Вот вам живые русские люди, о судьбе которых вы громко радуете с трибун, экранов и газетных страниц — защищайте их, помогайте, радуйте! Ан нет... Тут ведь нервы и душу рвать надо... Зачем, когда можно кричать о любви на расстоянии, и чем больше расстояние, тем лучше. А вот эти, которые доверились и приехали, они только омрачают картину и портят редакционный и политический воздух запахом нескладной жизни.

Коммуна,
или
О чем я боюсь делать передачу

Они организовались еще дома, в столице одной из азиатских республик. До сих пор вспоминают те дни как лучшие. Потому что тогда были только планы да мечты, не омраченные грубой прозой жизни.

Собрались в их группе люди разные. Но в основном интеллигенция — с высшим образованием. Был там и физик-ядерщик, и даже художник — автор герба и флага суверенного государства, откуда он и собирался сейчас уехать в Россию, на историческую родину.

Безусловным лидером считал себя Савосин. Конечно, были там люди и позначительнее, но Савосин был первым, кто начал сколачивать товарищество. Да и они, значительные, не потянули бы. А простоватый инженер-металлург Савосин отличался поразительной энергией, напористостью, некоторой даже одержимостью.

Все понимали, *что* им предстоит. И осознанно готовились переселиться от письменного стола и кульмана на трактор, вместо рейшины взять замасленные железные рычаги. Главное — вместе. А когда вместе, ничего не страшно.

К переезду приступили организованно и продуманно. Вначале договорились с руководством дальнего района Тамбовской области, зарегистрировали там товарищество «Отчизна», которое между собой называли просто общиной. Затем туда выехал отряд самых подготовленных мужчин. Разместились в старой бане и нескольких полуразрушенных совхозных домах. Местные власти им отвели аж две полностью заброшенные деревни с сотнями гектаров прилегающих земель.

На деньги, полученные за проданные квартиры, купили здесь колесный трактор, грузовик, инвентарь. В первый сезон все поля засеяли картошкой — работа, знакомая и городским. С того урожая и пошла новая жизнь: кредит взяли, дома начали строить, семьи перевозить, развивать настоящее сельское производство.

Пережили все. И глухую неприязнь начальства, и «загадочную славянскую душу» местного населения, которое то раскурочивает по ночам комбайны «чужаков», срывая уборку, то слезно молит взять на работу своих детей, потому как иначе «они с нашими мужиками с малых лет сопьются...»

Пережили. А беда пришла оттуда, откуда никто не ожидал. Изнутри. Группа переселенцев подала на Савосина в суд. Обвиняли в хищениях, злоупотреблениях и прочем. Суд его оправдал. Но жизнь, как говорится, дала трещину. Вскоре товарищество разделилось. Благо, и деревни как раз две, каждая сторона получила свое. Однако на этом раскол не кончился. Что-то тлеет внутри: пересуды, перетолки, косые взгляды, настороженность.

Ищут причину. Одни говорят, что виновата зависть. Мол, вчера еще все были равны, а сегодня один по колено в грязи свеклу выкапывает, а Савосин в машине мимо проезжает....

— Нечего было Савосину в вожди лезть, — возражают другие. — С его-то культурным багажом и кругозором...

— Это вы виноваты, образованные, — говорят третьи. — Не умеете вы подчиняться. Это вчера Савосин был как все, а сегодня он *обязан* приказывать, нравиться вам или нет. На нем — *производство*. Понимаете вы, *производство*.

Только все это частности. Никто не говорит, а может быть, не осмеливается даже подумать, что происшедшее — неизбежность. Потому что — *коммуна*. Забытое слово. В двадцатые годы они были, коммуны. И точно так же развалились изнутри. И суды-пересуды были те же: о вождизме, о справедливости, о зависти, о дисциплине и «шибко умных».

Распад любой коммуны неизбежен. Потому что жить там могут только фанатики. Нормальный же человек, как и любой нормальный зверь, имеет свою неприкосновенную территорию.

И я боюсь делать передачу о расколе в переселенческих общинах, потому что такой передачей я *разрушу переселенческий миф*.

Считается: если ехать не поодиночке, а коллективом, — тогда выжить легче. И вначале многое получается. Но потом вступает в силу *закон распада коммуны*. Всегда я говорю об этом. Хотя — обязан. Если видишь опасность — должен предостеречь людей.

Заложники

«Оказывается, мы жили при коммунизме, — говорит Николай Онищук. — Только мы этого не замечали, не ценили».

Он сидит на грубом табурете посреди громадной комнаты. Стены выщерблены, в грязных потеках, штукатурка на потолке местами обрушилась, гнилая дранка зияет, как рваные раны. Шкафами, занавесками отгорожен закуток — «комната» тещи. Повсюду ведра, кастрюли, тазы с опущенными туда большими кипятильниками — семья большая, не настираешься, не наготовишься. Обычный, увы, переселенческий быт. В липецком селе Конь-Колодезь два таких полуразрушенных, заброшенных двухэтажных дома. В них размещали городских, приезжающих на картошку. Потом «шефство» отменили, но бараки не остались без обитателей — в них и устроили беженцев и переселенцев.

Николай Онищук — не просто столяр, а краснодеревщик. Здесь он работает ассенизатором.

Татьяна, жена Николая, — дамский мастер, парикмахер высшего разряда. Работает уборщицей. Наверно, женщинам в Конь-Колодезе не полагается носить красивые прически.

Когда Николай говорит, что раньше был коммунизм, но мы его просто не заметили, это не «художественный образ», это — всерьез. Отсюда, из ассенизаторского быта без зарплаты, из полуразрушенного барака в Конь-Колодезе, его прежняя жизнь — действительно рай, мираж, сон. Судите сами: благодатная Киргизия, уютный городок Узгень, что близ Оша. Николай — известный во всем районе мастер-краснодеревщик, все узгенцы с ним за пять шагов здороваются. Семья устроена. У тещи — двухкомнатная квартира, у свояченицы — тоже двухкомнатная, им дали трехкомнатную, да не в простом доме, а в особняке на четыре семьи. Легко представить, как отделал ее Николай. А раз особняк, то есть и двор. В сарае Николай устроил мастерскую. Он как раз столярничал, когда на улице раздался шум, крики, возникли толпы, загремели выстрелы... Так началась для него кровавая распря между узбеками и киргизами, вошедшая в историю как «события в Оше».

В первые дни люди в повязках, вооруженные ножами и железными пиками, кричали: «Русских не трогать! Русских не трогать!» Мол, они тут — сторона, это наше дело киргизов и узбеков. Только это недолго продолжалось. Стали допытывать: «А вы за кого, за нас или за них?!» А потом... В общем, многие русские в Узгене и Оше тогда поняли: надо уезжать...

Здесь же, в Липецкой области, в селе Чечёры, нашла приют семья Галины Пешехоновой из Душанбе. Ей повезло: получили они квартиру в новом доме и работа нашлась по ее бухгалтерской специальности. Но все равно — село, да еще такое старое, как Чечёры, — это ведь не южная столица.

— Одного я не могу понять, — говорила мне Галина. — Считалось ведь, что таджики — дружный, сплоченный народ. А какой год идет кровавая резня — уму непредставимо! Какая-то злобная молодежь понаехала в город в первые же дни, на всех перекрестках стали кричать, что во всех их бедах русские виноваты... Ну, уехали мы, большинство; им что, лучше стало? А Таджикистан мы часто вспоминаем, плачем: там мы прожили хорошую жизнь, там остались могилы родителей...

В последние годы много говорят о действительных и мнимых обидах русских людей в странах Средней Азии, Прибалтики, Закавказья. Именно так: есть и действительные случаи тайной или явной дискриминации, а есть и чрезмерная мнительность, вызванная долгой привычкой к покровительственной роли «старшего брата». Но одно совершенно очевидно: там, где вспыхивает война, которая, как известно, развязывает самые низменные инстинкты толпы, — там русские невольно и неизбежно попадают между двух огней.

Другие русские

Это не я придумал, это сказал Виктор Цапенко, шофер из Бишкека. Разговор наш происходил весной 1992 года. Да, Фрунзе тогда уже был переименован в Бишкек, но словосочетание «новые русские» в языке еще не появилось. Такие вот ориентиры и приметы времени...

— Поймите, мы — *другие русские!* — доказывал мне Виктор Цапенко, когда зашла речь о настроениях русских людей в Киргизии. Тогда подобные разговоры

велись на каждом углу. Ведь только что, на глазах, распался *нерушимый* Союз, многие еще и не осознали, *что* же случилось на самом деле. Не жизнь, а сплошные вопросы: что будет, как быть? Поймите, у нас тут всегда была конкуренция, — объяснял Виктор. — Слева у меня сосед — немец, справа — кореец, по фамилии Хван. Недавно он провел на усадьбу природный газ, поставил газовую колонку и теперь каждый день принимает горячие ванны, как в благоустроенной квартире. А я что, хуже? Я тоже начинаю рыскать по поселку: где, что, с кем надо договориться... Ну, а как немцы ведут дом и хозяйство, каждый знает. А ведь мы соседи, в гости ходим! Да жена меня запилит, если наш дом по сравнению с ихними отставать будет, вот в чем дело! Мы тут *работаем, упираемся*. А у вас... — Виктор махнул рукой. — Был я у вас, ездил присмотреться. Не знаю, как в городах, а в деревнях... в трех побывал, главное — *пить и не работать*. Так что я жене сказал: там делать нечего, будем жить здесь, пока не выгонят...

Оставляю резкость оценок на совести Виктора. Могу только сказать, что за прошедшие семь лет кое-что у нас изменилось. Как только картошка и моркошка обрели на рынке *цену*, так и у нас появился смысл не только для себя выращивать, но и на продажу. Теперь и в российской деревне немало людей *упирается* на подворьях и участках.

Но одно в словах Виктора безусловно: это — *другие русские*. Так исторически сложилось. Так они себя чувствуют. Даже если бы их здесь принимали очень тепло, не чинили препятствий — все равно. Там, на окраинах бывшей империи, — вечное *движение* людей, и потому там все считают друг друга *своими*. А города и села срединной России — с устоявшимся бытом и населением — очень консервативны. Здесь ярославцы архангелогородцев считают пришлыми. И наоборот. Что уж говорить об остальных.

Раньше приезжий человек сразу же входил в *систему производства*, где он был необходим. Все остальное считалось *лирикой*.

Сегодня же любому производству *своих некуда давать*... Многие переселенцы это сразу поняли и свою судьбу взяли в свои руки. Я просто диву даюсь, не понимаю, как они сумели за короткое время, при недоброжелательном отношении местных властей и местного населения создать свое *производство*: заводы, мастерские, пекарни... Вы их встретите по всей России. Только в моем блокноте — более полусотни адресов.

Андрей Захватов из Таджикистана — кирпичное и деревообрабатывающее производство в Суздале.

Марина Агаева из Баку — хлебопекарня в Боровичах Новгородской области.

Ольга Бойко из Латвии — швейная мастерская в Пскове.

Петр Соколов из Латвии — оборудование для телефонных станций в Пскове.

Станислав Бортвинов из Молдавии — производство стеновых материалов и переработка сельскохозяйственного сырья в Белгородской области.

Игорь Шаталов из Казахстана — переработка сельхозсырья в Самарской области.

Я называю только имена руководителей предприятий. За ними десятки, а то и сотни их земляков. Скажем, в древнем городе Борисоглебске переселенцы из Таджикистана создали не просто отдельное предприятие, а многопрофильный концерн, который и товары производит, и жилье строит, и газету свою выпускает...

Итак, все у них свое. И заводы, и дома, и газета... Осталось еще Переселенческий банк создать, о котором, кстати, уже заходит речь. Поговаривают уже о переселенческом профсоюзе. А там, глядишь, недалеко и до партии...

В общем, так и обозначилось разделение: мы и они, они и мы. И видит Бог, не переселенцы в том виноваты. Может, даже и хорошо, что так. Нам, особенно в маленьких городах и селах, *поучительнее и нагляднее* другое знание, другое отношение и другой уровень требований к жизни, наконец, другой опыт.

Верно. Правильно. Но все равно почему-то грустно.

Идея

Жизнь показала, что коренного, местного крестьянина сподвигнуть на фермерство не удастся. Редко кто решается. Сельский мужик мыслит реально и ясно представляет, какие «приключения» сразу же найдет на свою шею. Да и вообще, разом всю жизнь перевернуть — это же не шутка.

А вот беженцы, переселенцы — они ведь все равно уже стронулись, сдвинулись с места, им уже нечего терять. Так почему бы эту инерцию не использовать, не продолжить это движение, но уже в фермерском направлении!

Вот какую идею родили в городе Липецке еще в 1992 году «далекие от практической деятельности интеллигенты-демократы», пришедшие тогда к власти. И разработали под нее специальную программу «Переселение». Ведь идея-то, с точки зрения социальной психологии, просто гениальная.

Программу одобрили в Москве и *выделили на нее деньги!* Особые, федеральные, целевым, как говорят, назначением.

Планировали построить фермерские поселки с мини-заводами. И лишь после того, как будет создан весь агрокомплекс от поля до цеха и прилавка магазина, вселяйся, фермер-переселенец, хозяйствуй, радуйся жизни и свободному труду!

Но тут грянула инфляция, затем сменилась власть, затем — снова кризис... И все утонуло в болоте нашей жизни. И даже забылось...

Шанс

Многие очень удивятся, узнав, что переселенцев сейчас меньше, чем во времена Советского Союза. *Меньше!* Вообще, миграция — своеобразный индекс благополучия. Чем лучше жизнь, тем больше людей переезжает с места на место. Надоело в Чикаго — перебрался в Детройт. Сдал ключи соответствующей фирме — она все и устроит, а ты налегке, с зубной щеткой и пижамой... Это ведь у нас один переезд равен трем пожарам.

И потому, чем тяжелее жизнь на постсоветском пространстве, тем меньше люди склонны покидать насиженные места. Но если переселенцев стало меньше, то почему же столько проблем, столько разговоров, столько горя и слез? Потому что изменились мы. От уборщицы до директора. Приезжих из Молдавии или Киргизии мы стали воспринимать как чужих. И система исчезла, в которой человек был хоть и винтиком, но необходимым государству винтиком.

Но есть место, где рабочие руки более чем нужны, и где жилье не такая проблема. Это российская деревня. Ведь одни старики остались. Поля заросли бурьяном, фермы зияют провалами черных окон, безлюдье и запустение. На этом фоне беженцы и переселенцы, быть может, последний шанс. Принять их, закрепить, дать работу, жилье — и мы вдохнем новую жизнь в угасающие села.

Тут и доказывать нечего. Но ведь и в деревню их не зовут. Власти, похоже, вообще наплевать на село. Видимо, там думают, что хлеб растет только в Айове, а куриные окорочка — только в Монтане. Общество толком ничего не знает. Но почему молчат газеты и журналы, молчит всемогущее телевидение, исключая «Мир»?

Письма

Грустные получают записки. Ну так что ж, не грустнее, чем сама жизнь. Хотя есть тут некоторая поправка. Ведь пишут мне в основном те, кому трудно, у кого болит. Благополучные, как правило, в редакции не обращаются. Вот я и попросил в одной из передач: напишите, расскажите, как вы устроились, нужен, черт возьми, положительный пример! — заговорил я забытым языком *партийной печати*.

Письма пошли сразу же.

Николай Кудеев из Пензенской области, переселенец, завел крепкое фермерское хозяйство, а еще надумал разводить на Пензенщине страусов, но его не понимают, смеются, вот Николай и зовет меня к себе, просит поддержки.

Олег и Татьяна Верба из тверского села Красная Гора пишут, что обосновались прочно, отремонтировали большой дом и сейчас там уже восемь семей.

В тамбовской Андриановке местные с приезжими перероднились, сыграли уже четыре свадьбы, готовят пятаю и ждут в гости...

В общем, есть хоть какой-то свет в окошке. Бог даст, обязательно поеду.

...МИНУС СЛОВО?

Русская культура всегда была культурой литературоцентричной («славяне... стали «словесным племенем», «построили литературную цивилизацию», как писал об этом несколько лет назад на страницах нашего журнала академик А. М. Панченко). Но в последнее время наблюдатели отмечают существенные перемены: вербальность, сюжетность, жанровая основа и, кажется, даже «смысл» уходят из живописи (и вообще изобразительных искусств), из музыки, уходят из театра и кино. Отказ от смыслового словесного выражения встречается и в литературе. Что это — знак глобальных культурных перемен, временное явление, веяние моды (влияние компьютерной техники, «визуализация» жизни и т.п.)?

Мы попросили ответить на эти вопросы людей, работающих в различных сферах современной культуры.

Юрий Арабов

Мультика

Впервые с феноменом «исчезновения слова» я как литератор столкнулся на изломе восьмидесятых годов и поначалу не придавал этому особого значения. Под «исчезновением» я подразумеваю прежде всего иссякновение смысловой наполненности, когда слово, отделяясь от закрепленного за ним значения, начинает существовать столь свободно и «самовито», что становится, в общем, совершенно необязательным. Как людям моего поколения представлялась эта проблема десять лет назад?

Достаточно просто. Агонизировала советская эпоха. «Новая поэтическая волна» с удовольствием и сладострастием играла в своих стихах советскими штампами, идеологическими «мультиками» и «феньками», сознательно подчеркивая языковую бессмысленность уходящего прочь времени. Аудитория в залах смеялась и рукоплескала нашим новациям, не замечая, что подобный текст, в лучшем случае, становится пародией, в худшем — спекуляцией на отжившем, спекуляцией на калек-эпохе, которая находится в инвалидной коляске и уже не может постоять за себя. Раньше поэты (например, Хармс) расплачивались за подобные вольности жизнью. Нам же угрожал, поначалу, лишь донос в КГБ, а позднее вообще ничего не угрожало, только внимание отдельных критиков (груз, конечно, тяжелый, но и его можно сбросить).

Тогда же внутри поэтической волны возник некий водораздел: одно крыло (концептуализм) пошло в своих «мультиках» еще дальше, не только лишая слово какого-либо смысла, но и разрушая его звуковую организацию. (Подобным занимался и Хлебников. С той лишь разницей, что хлебниковские опыты по де-структуризации были лишены смехового начала хотя бы потому, что были направлены на созидание, то есть на расширение границы слов, на поиск универсального значения разных, на первый взгляд ничем не связанных между собой звуков.) Другое крыло «новой волны», группировавшееся вокруг метареалистов, стало до-зирать в своих стихах игровое начало, а иногда совсем изгонять его, всерьез задумываясь над тем, что происходит. Если поначалу казалось, что мы хохочем, «рас-

ставаясь со старьем», то ныне совершенно очевидно, что обесмысливание привычного языка — общемировой процесс, имеющий физиологические, исторические и даже метафизические причины.

Любой физиолог знает об относительной сложности усвояемости слова по сравнению, например, с изображением. Это нашло, кстати, выражение в пословице: «По одежке встречают, по уму провожают». То есть обращают внимание поначалу лишь на внешность (изображение), а уже потом на ум (на то, к примеру, что человек говорит). Визуальный сигнал «находит» нас быстрее, может быть, из-за скорости распространения света. Звуковой же дешифруется значительно медленнее (скорость звука на несколько порядков уступает скорости света). При том, что дешифраторы, считывающие визуальные и звуковые сигналы, находятся в разных участках головного мозга, можно с известной долей условности заявить, что целостной картины мира в нашем восприятии не существует вообще, мы постигаем этот мир относительно несинхронно. (Заранее извиняюсь за некую наукообразность.)

Визуальный образ более ярок, более конкретен, быстрее усваивается сознанием, чем образ звуковой. Слово имеет абстрактно-усложненный характер, и когда мы говорим: «Тяжело доходит...», то наша жалоба вполне естественна.

Данные физиологии по слухоте и глухоте еще более парадоксальны. Несмотря на то, что визуальное ярче и «быстрее» доходит до адресата, словесное действует «глубже».

Последнее качество закреплено в мифологии. Среди слепых множество ясновидцев — Тересий, Ванга (хотя последняя уже не мифология), великий Гомер также, по преданию, был слепым. То есть отсутствие зрения отнюдь не мешает ясному видению и метафизическому взгляду на вещи, даже наоборот, является для этого желательным условием. Конкретность и сила визуального образа как бы затемняют его метафизический характер. Поэтому лучше видеть «внутренним оком». Слепых провидцев, таким образом, при всем желании не назовешь неполноценными людьми.

Не то происходит с полной глухотой. Физиологи говорят нам, что среди глухих больше так называемых неполноценных, — потеря слуха приводит к атрофии речи, что в свою очередь сказывается на работе отдельных участков головного мозга.

Таким образом, известные в культуре понятия приобретают дополнительный смысл. Например, «В начале было Слово»: Бог — это Слово, Христос — это Слово. Именно Слово, а не визуальный сигнал, не «картинка». Становится ясным также запрещение в иудаизме живописного изображения Единого — визуальный образ слишком «легко доходит», слишком конкретен и слишком поверхностен для выражения духовной глубины, его материальность целиком вытесняет метафизику. Позволю себе также слегка кощунственное предположение, сделанное с точки зрения теории восприятия: не случайно, что чудеса у Христа часто предшествуют проповеди. Они привлекали внимание толпы, фокусировали ее зрение, чтобы после этого началось чуть ли не самое главное — устные проповеди Спасителя, оставшиеся в веках и во многом не дошедшие до людей по сей день, ведь словесное «поздно доходит»... Зато «оседает глубже».

Похоже, что человечество на исходе второго тысячелетия христианской эры, «устав от смысла» слов, целиком переориентируется на изображение. Культура как бы описывает круг, — несколько тысячелетий назад мы начинали с наскальной живописи, подобными же «наскальными» рисунками и заканчиваем. Например, в кинематографе, искусстве с ярко выраженной визуальной доминантой, можно обходиться, в принципе, без звука, что доказывает эра «Великого Немого». Но еще более переориентация на изображение заметна в виртуальном мире компьютерных технологий. Психологи только приступают к изучению того, как компьютер влияет на душевный мир его пользователя. Здесь пагубна не только наркотическая зависимость от электронных значков (попробуйте оторвать виртуального странника от страны под названием «Интернет»), но и так называемое «файловое сознание». Оно состоит в том, что целые пласты культурной жизни человечества можно свести к одному условному обозначению. Например, что такое кинематограф? Кинематограф — это Тарантино. Что такое Бог? Бородатый мудрец с нимбом на голове. Любовь? Контрацепция. Не годится такое обозначение? Тогда сменим бирку: любовь — это Ромео, истекающий кровью...

И дело здесь не в имени файла (Тарантино можно сменить на Эйзенштейна или Родригеса, не в этом суть), а в том, что обладатель «файлового сознания» никогда этот самый файл не «открывает». То есть удовлетворяется биркой, ярлы-

ком, обозначением глубоких и обширных явлений, не вникая в «подробности», которые, собственно говоря, и объясняют все. То же самое происходит с компьютерными пользователями — внутри электронной программы, в «диспетчере файлов» множество названий-бирок, обозначающих пласты информации, но нету времени, чтобы в эту информацию залезть и покопаться... Поверхностное сознание? Может, и так, а точнее, иссякновение этого самого сознания.

О метафизических причинах подобной ситуации излишне распространяться хотя бы потому, что сие — область веры. Замечу только, что Князю этого мира (в христианской терминологии) необходимо вытеснить Христа из всех пор и молекул. А поскольку слово и есть Бог, то теперешняя девербализация имеет, конечно же, глубоко мистическое значение. Христианская культура испаряется, ее загоняют на периферию мира, с которой оно (христианство) когда-то начало свое внешнее триумфальное шествие.

Россия же... Что сказать о ней? Наша страна одновременно и часть описываемого планетарного процесса, и его авангард, ибо похожа на старую телегу. Там, где «Мерседес» цивилизованного мира лишь качнется, телега затрещит и развалится по швам. Мы уже сами не понимаем языка, на котором говорим. Что значит, например, та же самая «мулька»? «Мулька» значит «фенька», но лишь отчасти. А что значит «фенька»? «Фенька» значит «мазута», «лапша», но не до конца значит, а частично. Что такое «лапша», достоверно знают лишь «фрики» и «отморозки». «Отморозок» не равен «фрику», в чем-то превосходит его, но в чем-то и уступает. Здесь нам лучше прерваться и замолчать совсем.

Русский философ и культуролог А. Ф. Лосев написал однажды:

«Если слово не действительно, (...) не есть фактор самой действительности, наконец, не есть сама социальная (в широчайшем смысле этого понятия) действительность, тогда существует только тьма и безумие, и копошатся в этой тьме только такие же, темные и безумные, глухонемые чудовища.»

Останемся ли мы «глухонемыми чудовищами» или обретем новый язык на основе цифр, «картинок», а может быть, возвратимся к слову?.. Как говорят покойники, будущее покажет.

Людмила Бакиш

Музыка в отсутствие литературы

Современная музыкальная ситуация меньше всего определяется композитором. В культуре вообще ослабла роль автора. И композиторы разделили судьбу прозаиков, поэтов, драматургов... Эта проблема неоднократно обсуждалась. И все-таки ощущение непроясненности остается.

Мы привыкли перемены в искусстве связывать с событиями реальной исторической жизни. Вехами здесь служат революции, войны, съезды партии, распад государств и т.д.

Из истории музыки видно, что ослабление роли автора — это результат длительного исторического процесса, а не конкретного социального катаклизма. На протяжении всего XX века постепенно сужалось «поле» авторского самовыражения. Так, например, в середине века выяснилось, что современная опера не приживается на сцене. В этом обвиняли рутинность оперных театров, их руководителей и солистов. Обвиняли также и публику, не желавшую восторгаться шедеврами современных композиторов. Предпринимались героические усилия для постановок произведений И. Стравинского, А. Берга, Д. Шостаковича, С. Прокофьева... Но несмотря ни на что основу репертуара и по сей день составляют оперы Дж. Верди, В. Моцарта, Ж. Бизе и других классиков XVIII—XIX веков. Если в прошлом веке солидный театр должен был открываться премьерой — новым, не известным публике сочинением, то крупнейшими «премьерами» XX века остаются новые спектакли по старым оперным шлагерам. Современники Вагнера воспринимали его оперную реформу как итог развития на грани распада жанра. Спустя сто лет приходится признать, что они были очень не далеки от истины.

Мне приходилось уже писать, что исчерпанность идей, на которых основано

тонально-гармоническое мышление, композиторы ощущали как исчерпанность выразительных средств языка. В конце 60-х — начале 70-х годов в музыкантских кругах горячо обсуждалась проблема «интонационного голода». Авангардные эксперименты увели музыку далеко от простых, доступных интонаций бытовых жанров — песни, танца. В этот период многие авангардисты резко повернули в сторону традиций — и не только европейских, но и азиатских, и африканских. И даже шли на контакт с джазом и роком. Интонационная палитра расширилась до бесконечности. И тем не менее последним крупным событием российской симфонической музыки стала Первая симфония А. Шнитке, написанная в середине 70-х.

Богатство музыкального языка не может компенсировать образной и идейной «недостаточности». Трагическое ощущение, что в музыке «все уже сказано», стало общим для композиторов разных поколений в середине 80-х. Тогда-то и начался массовый отъезд музыкантов за рубеж — в страны с крепкими музыкальными традициями, где эта проблема ощущалась не так остро.

«Я потеряла своего слушателя», — призналась С. Губайдулина в одном из первых своих интервью в Германии.

Можно добавить, что и слушатель потерял...

Ослабление позиций автора — это не только ослабление интереса к *созидающей личности*, но и к миру идей, к рациональному познанию. Это — симптом кризиса европейского гуманистического сознания, ставящего человека-творца в центр мира. Человека, который своей волей преобразует мир и устанавливает гармонию (порядок) сообразно своим представлениям.

Но сказанное отнюдь не означает, что творчества современного автора вообще не существует. Еще живы классики XX века — Я. Ксенакис, М. Кагель, П. Булез, К. Штокхаузен, крупнейшие российские (советские) композиторы — та же С. Губайдулина, Г. Канчели, А. Пярт, В. Сильвестров... Им заказывают оперы, балеты, концертные произведения, которые непременно ставятся и рекламируются как крупные события. В последние годы даже появилось новое понятие — «мировая премьера». Москвичи помнят события такого рода — ораторию К. Пендеревского, заказанную ТВ-6 на юбилей Москвы, или музыку греческого композитора М. Вангелиса с участием Монсеррат Кабалье для исполнения в Кремле с колоколами Ивана Великого. Опус Пендеревского написан в традициях советского славильного кантатно-ораториального жанра и вполне отвечает поставленной задаче, повторяя многократно обкатанный канон. Менее мастеровитый Вангелис обратился к другой традиции — массовой советской песне. Даже при большом желании назвать эти сочинения событиями в отечественной, а тем более мировой музыке невозможно. Но свою задачу композиторы выполнили. Светские события состоялись. И никто не был разочарован...

Однако вне зависимости от отдельных удач или неудач нужно признать, что общего музыкального процесса, поиска новых художественных идей и их борьбы сегодня нет. Из музыки исчезло само понятие *актуальность*.

Роль личности в искусстве никогда не подвергалась сомнению. Мы приписываем художникам сверхчеловеческую интуицию и талант, но принадлежат ли они им? Сегодня как будто иссякла магическая сила притяжения целой плеяды творцов.

Некогда представлялось, что вдохновение — это мистический дар. Божественные строки диктует Муза или Гений. В XX веке появился другой образ: «Не следует ли остановиться и спросить себя: я ли это творю на самом деле или воображение — это не более чем магический аппарат, подобный тому, что в технике называют антенной?» (Г. Майринк, «Белый Доминиканец»).

А что, если и впрямь это не просто метафора и трансляция уже закончилась? Или она идет по каким-то другим волнам?

Вместе с эпохой уходят и ее герои. На наших глазах раскололось время, и трещина прошла через сердца ...

* * *

Музыка XX века наконец-то обрела свою постоянную нишу в концертах. Она звучит рядом с классикой прошлых столетий и воспринимается как необходимая острая приправа к основному блюду. В контексте общеевропейской классической традиции она привлекает только одной своей стороной — стремлением к эксперименту, нарушением известных канонов. Сочинения перестают восприниматься как

часть авторского мира и превращаются в некий знак обобщенного «стиля» XX века. То есть — в *мифологему*. Радикальные новаторы в восприятии публики мало чем отличаются от эпигонов.

Но и классика мифологизируется. Все авторское искусство последних нескольких столетий — творчество Шекспира, Чехова, Бетховена, Малера, Шостаковича... — отрывается от исторического контекста, превращаясь в некое подобие культурных мифов.

В триаде композитор — исполнитель — слушатель ведущее место теперь принадлежит *исполнителю*. А это значит, что *творец* — создатель собственного авторского мира — уступил лидерство *интерпретатору*.

Это — показатель перехода к другому *типу культуры*.

Идея мифотворчества вызрела целое столетие. Конец века показал, что миф и авторство несовместимы. Миф — творение *коллективное*. Автор рассказывает историю, выражает свой взгляд на мир. Миф повествует о вечном и общезначимом. Именно поэтому в центре внимания сегодня оказались звезды-исполнители. В этих мифах они играют роль *живых героев*. Так звезды *актуализируют вечность*.

Интересно сравнить эту ситуацию с театральной. Драматург на протяжении всего XX века вытеснялся фигурой режиссера (Станиславский, Мейерхольд, Таиров, Любимов...), который претендовал на авторство в театре. Сегодня заговорили о конце эпохи режиссера. На первое место выходит актер.

Нынешний механизм возникновения актерской славы показателен. Часто популярность не зависит от сыгранных ролей, потому что актер стал интересен не как создатель конкретного художественного образа, а как носитель «имиджа». Разница между этими понятиями гигантская (хотя *image* в переводе с английского и есть образ), ибо образ несет в себе характер, судьбу, историю. Понятие «имидж» ставит в один ряд актера и топ-модель, а Феллини не отличает от Версаче. Все они — герои праздничного мира вечного сказочного бала.

Литература в основном занимается конкретным человеком в конкретной социальной и исторической ситуации. Миф — типическими богами и героями в типических обстоятельствах, с четким указанием делать жизнь с кого.

Поворот к мифу провоцирует вывод о возврате к *архаике*. Тем более что архаизация проявляется не только в искусстве, но и в общественной жизни, и в политике. Не хочется приводить примеры, они слишком хорошо известны. Очевидно, это неизбежная плата за переход к другим парадигмам культуры.

Миф органически связан с синкретизмом, что означает ломку перегородок между жанрами и видами искусства.

Все чаще на концертной сцене появляются странные смежные гибридные жанры, объединяемые словом «шоу», что далеко не всегда синоним шумного развлечения. Не только эстрадные и цирковые артисты, но и академические музыканты стали испытывать тоску по зрелищу. В театре идет встречный процесс.

Крупным европейским явлением последнего десятилетия стали спектакли молодого английского режиссера Саймона Макберни, созданные в соавторстве с его братом композитором Джерардом Макберни. Представления театра «Комплистэ» — свободные фантазии. Здесь вырабатывается какой-то особый язык, позволяющий перенести на сцену не конкретное произведение, а сам дух прозы или поэзии. В Москве несколько лет назад можно было увидеть «Улицу крокодилов» по Бруно Шульцу, где в роли персонажей выведены и сам писатель, и его герои. Разыгрывается поэтическая метафора творчества, в котором реальность и фантазия неразрывны. Участники действия — то ли драматические актеры, то ли певцы, музыканты, танцоры, циркачи — с необыкновенной легкостью перескакивают из жанра в жанр, из одного вида искусства в другой, ни на секунду не выпадая из общей атмосферы...

В искусстве идет поиск новых форм. И это требует становления другого *типа творческой личности*.

Идея авторства в итоге породила узкую специализацию. Еще лет двести тому назад человек, не умеющий ничего, кроме писания нот, вряд ли мог считаться музыкантом. Композитор И. С. Бах был и органистом, и скрипачом, и хормейстером. Логика развития культуры привела к тому, что каждая человеческая способность инициировала рождение самостоятельных видов искусства и жанров. Образовалась пропасть не только между композитором и исполнителем, но и между драматическим и музыкальным театром, актером и певцом. А самих певцов разделила на камерных и оперных, солистов и ансамблистов... Сколько служителей Муз навсегда,

как рабы, прикованы к маленьким кусочкам металла или дерева, называемым трубой, флейтой, скрипкой! «Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя», — заметил Козьма Прутков.

Искусство, наука, техника, при всей изолированности друг от друга, тем не менее представляют единую культуру с общими парадигмами. Та же тенденция сказалась и в научной, и в производственной деятельности, и в медицине, где до сих пор актуальна шутка о двух разных врачах — по правой и по левой ноздре. В конце концов конвейер — не только порождение технической мысли, но и результат развития этого типа культуры. Поставив в центр мироздания творящую личность, она в итоге привела к жуткому ограничению человеческих возможностей.

Крупнейшие художники начала века — Скрябин, Шенберг, Кандинский мечтали о синтезе искусств. Станиславский, Мейерхольд, Арто — о новом типе «синтетического актера».

Движение к синкретизму означает поворот в сторону *универсализма*. «...Идеалы универсализма давным-давно поблекли и потускнели. Они растаяли в жарких лучах честолюбивых устремлений и одержимости техникой. Человек давно стал носителем одной идеи, потому что он владеет каким-то одним оружием», — с унынием писал Честертон («Универсальная палка»). Тогда казалось, что в этом повинен прогресс, который не только порождает узких специалистов, но и окружает человека множеством предметов одной-единственной сферы применения. Электрическая лампочка только светит, но не обогревает; по телефону можно только звонить; скальпелем, в отличие от простого ножа, можно делать операции, но неудобно резать сыр и строгать палку...

Но развитие цивилизации движется усилиями людей, мыслящих определенным образом. И случайно ли, что стремление к синкретизму в искусстве совпадает с массовым распространением компьютера — этого универсального инструмента, равно пригодного и для физика, и для хирурга, и для композитора, и для полицейского?

В обществе возникла потребность в универсальной личности, и она непременно появится. И это неизбежно скажется во всех сферах человеческой деятельности. Вполне возможно, что среди наших потомков окажутся новые Леонардо да Винчи и Микеланджело.

Конечно, это не более чем прогноз, который может показаться не слишком обоснованным. Но черты незнакомого нового можно разглядеть на горизонте. В искусстве явно зреют ростки другого языка, которые свидетельствуют об ином круге идей, о предощущении какого-то нового времени.

* * *

Общепризнано, что ослабление позиций слова связано с усилением зрелищности. У А. Вознесенского есть строчки «Музыка воспринимается через глаз. В мочке уха находится акупунктурная точка зрения».

Самым расхожим знаком новой цивилизации становятся клипы. Простые эстрадные тексты типа «Ваня любит Машу, а Маша любит Пашу» сопровождаются каким-то фантастическим видеорядом. Мелькают сюрреалистические образы: вселенский огонь и адские бездны, холод пустынь и морские водовороты. Герои то появляются в поднебесьи, то падают с крыши дома, плачут, и из глаз вместо слез струятся реки. Белый рояль с упавшей вазой и алой розой погружается в воду, и клавиши продолжают играть последние аккорды...

Образы сменяются, как в калейдоскопе, один другого неожиданней. Этот перебор видеоряда никак не соотносится с примитивом песни, по которой клип снят. Но при этом сказать, что музыка здесь не нужна, — невозможно. Попробуйте ее выключить — вся постройка сразу же развалится на отдельные картинки.

Чем же нам интересен клип как явление новой культуры? В первую очередь тем, что здесь возникает *рассогласованность* (неиллюстративность) зрелища и музыки. Это и есть показатель возникновения абсолютно нового качества мышления.

Мы привыкли скептически относиться к тому, что происходит в массовой культуре. Но ведь обычно она сигнализирует, пусть и в примитивной форме, о сдвигах в сознании. Потому что подлинники ее создатели — не авторы и исполнители (не смотря на всю свою «культуемость»), а коллективное бессознательное.

Принцип рассогласования зрелищного ряда и музыки встречается и в высоких образцах искусства — кино, театре. Вспомним хотя бы знаменитое «Кафе Мюллер» Пины Бауш. Спектакль воспринимается как кошмарное сновидение. Он — об одиночестве. По сцене, как тени, бродят люди, каждый со своей бедой, и не находят друг в друге поддержки. Тему одиночества Пина Бауш обостряет до предела, когда кажется, что и сочувствие бессмысленно. Музыка возникает параллельно, не вступая с действием ни в какие отношения. Ария покинутой Дидоны Перселла с ее гармоничной и полнозвучной печалью звучит чужеродно в этом мире богооставленных людей...

Параллелизм существования действия и музыки по сути противоречит классическому принципу *согласованности* литературного, зрелищного и музыкального рядов, который вырабатывался в искусстве на протяжении веков и на котором это искусство держится.

Литературные образы всегда инициировали образы музыкальные. Конфликт сценический обозначался конфликтом музыкальным, герой характеризовался своим лейтмотивом или целой системой лейтмотивов. У Вагнера музыкальные характеристики получили даже предметы — копьё, меч, огонь, воды Рейна, золото... Драматургия музыкальная складывалась в тесной связи с литературными понятиями — экспозиция, конфликт, завязка, развязка. Если сцена о любви, то в музыке лирика, томительные предчувствия. Если на сцене бой, то и в музыке накал борьбы.

На принципе соответствия литературы, зрелища и музыки вырабатывался интонационный язык. В опере можно не слышать слов, но легко понимать происходящее, так как каждая музыкальная интонация обросла своим ассоциативно-содержательным рядом.

В конце концов, благодаря литературе и театру родились и собственно музыкальные формы — концерт, симфония, соната, содержание которых понятно и без слов.

На основе принципа согласования музыки и действия сложилась целостная система тонально-гармонического мышления, которая сама по себе есть философия. Все диссонансы разрешаются благозвучно, ибо добро всегда побеждает зло. Низкое всегда уравнивается чем-то высоким. Скорбный минор — ликующим мажором. А любой сюжет (каким бы он ни был кровавым) в музыке всегда обретает благоприятные черты гармоничной уравновешенности. Лишь в XX веке — в период распада этой системы — мог появиться такой текст:

«— Заметили ли вы, что современная музыка стремится главным образом к тому, чтобы сделать сносными и даже приятными известные аккорды, которые мы изначально считали диссонансами?

— Разумеется, — отпарировал я, — все должно свестись к гармонии, слиться в гармонию.

— В гармонию! — повторил он, пожав плечами. — Я не вижу в этом ничего, кроме желания приучить ко злу, к греху. Чувствительность притупляется: чистота тускнеет: реакции становятся менее живыми: все терпят, все принимают...»

А. Жид. Роман «Фальшивомонетки» (1926)

Тонально-гармоническая система — продукт деятельности европейской цивилизации. Она сложилась в результате эволюции этой культуры. И в ней отразилась та картина мира, которая объединяет всех европейцев. Она говорит о том мироустройстве, в котором человек способен управлять хаотическими силами. Через всю европейскую историю прошла мечта о бесконечно длащемся благозвучии, не омраченном никакими диссонансами. «Непрерывный совершенный аккорд, да, именно совершенный, непрерывный, гармонический аккорд... Но вся наша вселенная во власти диссонансов» (там же).

Принцип соответствия литературного, музыкального, зрелищного рядов связан с идеей гармонизации жизни во всех ее проявлениях. Для того, чтобы добро победило зло, а высокое уравновесило низкое и режущий слух диссонанс разрешился в консонанс, они должны существовать в единой системе координат и поддаваться какому-то разумному обоснованию. Принцип соответствия апеллирует не только к чувству прекрасного и гармоничного, но и к разуму.

Рассогласованность зрелища и музыки, *эмансипация* музыки от драматического действия знаменует поворот в сознании современников к каким-то новым горизонтам. Это — сигнал возникновения иного способа мышления. За абсолютной рассогласованностью видится движение к *полифонии содержания*, где на рав-

ных сосуществуют рациональное и иррациональное, сознательное и бессознательное, реальность и сон.

Четко обозначенные границы света и тени размываются.

Меняется классическая картина мира и человека в нем.

* * *

Ростки нового художественного мышления еще очень редко приводят к полноценным результатам, которые тонут в массе мишуры и дешевых поделок. Это дает повод говорить о деградации в искусстве. Однако не стоит забывать, что мы переживаем глобальный поворот в сознании, который может длиться не одно десятилетие.

Из истории музыки известно, как развитое полифоническое мышление уступало натиску простейших гомофонно-гармонических форм. Сложнейшие каноны и фуги — и элементарные песенки с аккомпанементом!

И лишь спустя столетия появились Моцарт, Бетховен, Шуберт и вся последующая музыкальная классика.

В конце XX века время течет с другой скоростью.

Или это нам только кажется?

Аркадий Итолитов

Добыть моллюска из раковины

Старая, неразрешимая проблема — что первично, яйцо или курица, может быть поставлена и по-другому: что важнее — яйцо или курица? Рассуждая о приоритете слова или изображения, мы поступаем именно так, ибо они столь тесно переплетены и находятся в столь сильной зависимости друг от друга, что все разговоры на эту тему представляются столь же поучительными, сколь и бесполезными.

В паре яйца и курицы слово вроде бы должно играть роль яйца — по определению оно более емко и отвлеченно. Слово может содержать в себе образ, может оказаться пустым, может оказаться самодостаточным. Родит ли оно петуха или курицу, чернушку или рябу — неизвестно. Изображение более определено и более подробно. Слово «курица» как яйцо, предполагающее множество вариантов, изображение курицы, пусть даже и самое схематичное, уже обладает некоторой конкретностью.

До нас дошли изображения двадцатитысячелетней давности, в то время как язык пещерных людей нам абсолютно неизвестен. Однако ни у кого нет никаких сомнений, что для того, чтобы изобразить быка, нашему предку понадобилось его идентифицировать с неким абстрактным понятием «бык», загоревшимся в его мозгу подобно светящейся табличке со словом «выход» в темноте туннеля. Этот отвлеченный звук не имел ничего общего с реальным огромным мохнатым зверем, как неоновый знак не имеет ничего общего с дверью, но именно он дал возможность создания этого быка в новом пространстве — пространстве сознания. Прежде чем заменить реального быка произнесенным звуком, надо его увидеть, отделить от лошади, дерева, камня, т.е. осознать его индивидуальное отличие от остального мира и удержать в мозгу этот зрительный образ, чтобы слить его со словом.

Утверждать, что в Древнем Египте культура была изобразительной, на основании того, что слово мыслилось как изображение, столь же опасно, как и утверждать, что она была логоцентрична, так как любое египетское изображение является иероглифом. Пик европейского пластического восприятия, до сих пор не превзойденный, — классические Афины и древнегреческая скульптура и архитектура столь неразрывно связаны со словом, что мало кто бы решился утверждать приоритет ценностей Праксителя над ценностями Платона, и наоборот. Итальянское Возрождение представляется нам временем, когда абсолют пластики вроде восторжествовал над словесным эквивалентом, но не будем забывать, что это стало возможно

лишь при невероятном культивировании словесности, признававшейся в эпоху Возрождения гораздо более важной, чем изобразительные искусства.

В нашей культуре и слово, и изображение оказались заимствованными. Первый раз это было заимствованием у Византии, причем заимствование слова и изображения произошло чуть ли не одновременно во время реформы, по сравнению с которой реформы Петра — лишь небольшие внешние изменения. Как восприняло древнерусское сознание введение православия — мы еще до сих пор не осознали. Тем не менее из-за близости Византии в Древней Руси главными храмами были храмы Софии, то есть Мудрости, представляющей высшее единение образа и слова, в то время как Западная Европа была не готова к подобному синтезу, воздвигая храмы конкретно Богоматери и конкретным святым. Понимали ли в этой мудрости что-либо наши соотечественники — неизвестно. Сейчас большинство верующих уверено, что София — это тоже какая-то святая, но несмотря на то, что коллективному сознанию греческие премудрости остались чужды, уважение к абстрактной силе образа осталось. Поэтому второе заимствование слова и изображения, произошедшее в петровское время, наложило на так и не преодоленный разрыв заимствованной сложнейшей культуры, остававшейся вещью в себе, и массового сознания, которому ничего не оставалось, как только верить. На новом языке, основывающемся на западных заимствованиях, заговорили единицы.

Расцвет русской литературы в XIX веке и достаточно скромный вклад отечественной живописи в мировую культуру повлек разговоры о логоцентричности национального духа. Если учесть, что на протяжении столетий подобной логоцентричности на Руси не наблюдалось, то утверждение приоритета слова над изображением как перманентной константы русской духовности, мягко говоря, сомнительно. Скорее это феномен, происхождение которого пока еще не осознано. Возможно, что оно обусловлено тем, что западная изобразительная культура долгое время вообще была для России языком очень ограниченного количества людей, не менее эзотеричных, чем принятый образованным обществом французский язык. В то же время распространение лубка и его необычайно важная роль для России в XIX веке свидетельствуют о том, что изображение вовсе не отходило на второй план. Забавно иметь малограмотную логоцентричную культуру.

В советское время лубок расцвел полным цветом. В плакатах и листовках слово и изображение переплетены, как в пещерах Альтамиры. Постсоветский концептуализм всячески эксплуатирует эту благодатную почву, и в данном случае кажется, что, наоборот, слово полностью подчинило себе изобразительное искусство. Большинство современных проектов, все еще по традиции проходящих по ведомству изобразительных искусств, к изображению относятся как нельзя более наплевательски, существуя и утверждаясь исключительно за счет словесного описания.

Само собою, возрастает роль критиков и историков искусства. Они по определению логоцентричны — рисуют плохо, фотографируют неумело. Живя за счет изображения, как червь за счет яблока, они часто провозглашали, что образ — это ничто, а интерпретация — это все. Сегодня ситуация, кажется, меняется.

Толстые журналы и монографии с черно-белыми картинками все больше отесняются иллюстрированными еженедельниками и альбомами. Видеоклипы и рекламные ролики, эти жанры нового сознания, ориентированного на проглядывание, а не на прочтение и рассматривание, паразитируют на изобразительной традиции. Вместо лозунгов пришла реклама. Многими это воспринимается трагично, однако пепси-кола ничем не хуже славы КПСС, даже намного человечней. Литература сейчас приспособляется к просматриванию, став более аморфной и подвижной, как романы Павича или Барикко. В отечественной литературе столь же аморфен чрезвычайно популярный Пелевин. В моей области, области искусствознания, публика необычайно консервативна по определению. Привыкшее к существованию в самом себе, искусствознание, считающее себя наукой, закопалось в ворохе специальной литературы и массы ссылок, превращающих тексты в бюрократический документ. Вроде бы в искусствознании а priori господствует слово. Современные потребности, однако, выковыривают искусствоведческих моллюсков из их раковин — необычайная важность выставок и ориентированность современного искусствоведения на создание каталогов требуют от данной науки мобильности иллюстрированных еженедельников и способности словесного текста быть конкурентом изображению. Успешность выполнения этой задачи зависит от индивидуальной одаренности, а не от приоритета яйца или курицы.

Виктор Куллэ

Перстень из Геркуланума

В сущности, все уже было. Если рассматривать результаты культурной деятельности в качестве творимых посредников между индивидуумом и его метафизической проекцией, таких посредников в конечном счете будет два: образ и смысл. Маятник изначально раскачивался между культурой мифа (образа) и культурой смысла (слова), то есть между культурами синкретической и аналитической. Справедливости ради следует отметить, что первотолчок маятнику задан был первой из них. Наскальные рисунки и ритуальные пляски древнее самой краткой надгробной или амбарной надписи. Даже надписи, увековечивающей деяния первого заводателя.

Культура слова отличается от своей соперницы заведомой победительностью, ибо все произведения последней, так или иначе, артефакты. То есть подвержены если не набегам варваров, то воздействию времени. Древние понимали это довольно хорошо. Недаром девять дочерей Мнемосины ответственны в первую очередь за искусства словесные и музыкальные (аналитические) и лишь в качестве их практического применения — за театр и танец. Скульптура и живопись (именно в силу своей утилитарности — культовой либо общественной) подобной чести не удостоились. В самом деле, разница между подношением жертвенного барашка или воздвижением храмовой статуи определялась лишь размерами мощны дающего. Подлинное же искусство, вспомним Уайльда, бесполезно. И потому неуязвимо.

Принципиальная нематериальность культуры слова, ее движение по направлению к абстракции имеют своей целью непременно жизнь вечную. Они же, в своем апогее, означают размах маятника, конечную точку амплитуды, предел которой положен разрешающей способностью человеческого сознания. Тупиком упомостигаемой абстракции, дальше которой — пифагорейская музыка сфер.

История человечества изобилует примерами крушения материальных носителей культуры. Не суть важно: от стихийного ли бедствия, по детской непосредственности очередного аттилы или — страшнее — старческой волей новоявленного катона. Но и при самых страшных катастрофах культура образа была спасаема культурой слова: очередной Гесиод оставлял любопытствующим «Теогонию», очередной Павсаний бродил по Элладе, составляя инвентарный перечень павшего величия. Самый же беспамятный осколок культуры слова, в конечном счете, обрел свое Шампольона.

В истории каждой цивилизации существует конечный отрезок времени, когда искусство слова и искусство образа состоят в гармонических отношениях, порождая совершенные синтетические формы. Обычно его именуют «золотым веком». Последующим векам из менее ценных драгметаллов свойственны клиширование классических образцов с неизменной тягой к монументализму в сфере визуальной (материальной) культуры и максимальная изощренность риторики в сфере культуры словесной. Портнику Пергамского алтаря наследует Максенциева базилика, поэзии — философия.

Перстень же из Геркуланума, вдохновлявший великого поэта, вырванный из контекста погребенной под вулканическим пеплом материальной культуры, принадлежит уже целиком культуре словесной.

Сказанное имеет касательство к современности с весьма существенной оговоркой. Парадокс заключался в том, что аналитическая по природе культура слова зрелой античности имела в своей основе синтетические (т.е. выражающие грамматические значения формами самих слов) языки: греческий и латынь. Аналитическими были языки синекожих бриттов, длинноволосых кельтов и косматых германцев — т.е. варваров, похоронивших античность. Наследовавшие римлянам победители были обречены развивать собственную культуру слова посредством изощрения синтаксиса. Эта особенность аналитических языков, открывая необычайные риторические перспективы, одновременно ограничивала семантические возможности лексикона.

Понятия вербальности, сюжетности, жанровой основы применительно к европейским литературам модифицировались по направлению к всевозрастающему

совершенствованию (усложнению) синтаксиса. Одновременно усложнялся, обогащаясь новым катастрофическим опытом, понятийный и эмпирический мир современного человека. Итогом стала литература абсурда, упраздняющая, на первый взгляд, привычные понятия смысла, сюжета, даже жанра. Некоторая смена ракурса, тем не менее, открывает, что все эти понятия в литературе сохранились — перейдя, в соответствии с логикой языка, на иной синтаксический уровень. Уровень в каком-то смысле нечеловеческий, поскольку восприятию его мешает психическая «бритва Оккама».

Одним из способов усложнения синтаксиса является включение в структуру текста невербальных единиц — будь то визуальные объекты, знаки чужих культур (иероглифы у Эзры Паунда) или самая непредсказуемая атрибутика чтения-хеппининга.

Отечественная культура, обладая языком синтетическим, двигалась в совершенно ином направлении. Источник развития синтетического языка лежит в сфере семантики. Уточнение и углубление порождаемых словом смыслов, перекрещивание этих смыслов, их видоизменение, оттенение одного другим и т.д. — и есть история русской поэзии: от «первого звука Хотинской оды» до «Осеннего крика ястреба».

«Я — смысловик...» — с гордостью констатировал Мандельштам. Слово в синтетическом языке — суть пустая фонетическая оболочка, чреватая множественными смыслами. Поставленное в контекст стихотворения, оно способно порождать эхо, порой для стихотворца неожиданное или даже нежелательное. Писание каждого последующего стихотворения, соответственно, с оглядкой на элиотовский *objective correlative*, становится все неизбежнее и невозможнее.

Забота поэта о языке заключается не в увеличении числа словарных гнезд, но в их углублении. Практика показывает, что заботу об увеличении их числа с успехом берет на себя государство. Стоит ли напоминать, что вторжение политики в сферу языкознания неизбежно чревато катастрофой?

Мне уже доводилось писать, что знаком едва ли не всей русской поэзии второй половины XX века стала своеобразная «смещенная» лексика, точнее, нетрадиционное ее употребление. Интеллигенция, вернувшаяся из сталинских лагерей, вышла оттуда победительницей во всех отношениях, кроме лингвистического. С какого-то момента восходящий к воровскому жаргону сленг стал более полноправной частью обыденной речи, нежели литературный язык. Тем паче, что официальный язык эпохи оказался скомпрометирован советизмами, бюрократизмами, всем тем «новоязом», которым заразила его «лингвистическая революция» соцреализма.

Стихотворцы последующего поколения (того, что ныне называется «параллельной культурой») ориентировались на сленг как на некую разновидность «кружкового языка» (термин Ю. М. Лотмана) и, соответственно, обречены были отменить прежнюю этимологию советского воляпука и совместными усилиями сотворить новую. Произошло грандиозное обновление лексики, ее переосмысление, присвоение новой (иногда диаметрально противоположной) семантики внелитературным словам — архаизмам, англицизмам, арготизмам, советским бюрократизмам и т.п. Это нетривиальное, почти экзистенциальное употребление лексики ныне стало лингвистической реальностью, возведенной в жанр литературного языка опытом самых разных поэтов, и Бродского, и концептуалистов. То есть двумя наиболее влиятельными и диаметрально противоположными эстетиками.

В свете вышеизложенного проблема «кризиса смысла» в современной отечественной поэзии представляется достаточно искусственной. Проникновение жанровых калек из ориентированной на синтаксическую изощренность европейской поэзии может быть вполне плодотворным для русской поэтической традиции (пример Бродского служит тому подтверждением), но ни в коем случае не губительным. Еще не закончился стремительный процесс формирования нового поэтического языка, уже не ориентированного на «эзопову феню», но и не могущего игнорировать полученные уроки выживания.

Специфика синтетического языка заключается, прежде всего, в том, что его семантические гнезда сами по себе достаточно образны. Вспомним хотя бы классический пример с «животрепещущей рыбой» и «животрепещущим» вопросом. Наша культура действительно литературоцентрична, но определение ее как «культу-

туры Слова» представляется не вполне корректным, метафорическим. Под Словом подразумевается, конечно же, *Слово-Образ (Логос)*. Со специфической природой родной речи так или иначе связаны поиски поэтических школ начала века. В первую очередь — символизма и футуризма. В самом деле, дистанция между Прекрасными Дамами, Туманами, Зорями (неизменно с заглавной буквы) и идеей «самотитого слова» не столь уж велика. *Логосом* в итоге становилось **все**: взбесившийся язык, занятый непрерывным самовоспроизводством, отменил «в первую очередь» эстетические критерии.

Призыв Мандельштама к «сознательному смыслу слова» («Утро акмеизма») прозвучал как бунт против гипертрофированного, самодовлеющего Логоса. Акмеисты, «любящие существование вещи больше самой вещи», не посягали на святая святых отечественной культуры — природу Слова-Образа, но имели своей целью «благородную смесь рассудочности и мистики и ощущение мира как живого равновесия». То есть напоминали языку о его обреченности на автора, на поэта. Присутствие Автора само по себе предполагает присутствие в тексте смысла и — пусть чрезвычайно потаенного — сюжета. По направлению к прозаизации и психологизации лирического текста развивались все представители конвенционального стихосложения второй половины века: от Бродского до поэтов «Московского времени». Первый, кстати, ушагав довольно далеко вперед, замкнул круг: его Хронос (также с заглавной буквы) полемически родствен Зорям символистов. Концептуализм — как отказ от идеи авторства (в традиционном понимании) — стал ответным бунтом языка, по своей природе стремящегося освободиться от авторского диктата.

С поэтами концептуализма часто оказывается в одной критической обойме и Геннадий Айги — по признаку сложности, «заумности», бессюжетности etc. текста. На деле они скорее противоположат друг другу: предельная конкретность — и экзистенциальная абстрактность, анонимность — и суверенность авторства. То, что их объединяет, сокрыто в самой природе синтетического языка. Ориентированная именно на *синтез* образной и смысловой составляющих, она не страшится самой крутой зауми. Ибо истинная заумь кристаллизуется, в конечном счете, из перенасыщенного семантического раствора.

Отсутствие же какого-либо смыслового выражения — признак не искусства, но прикладного рукоделия (возможно, обладающего терапевтической функцией). Вероятнее, все же функцией коммерческой. То есть попсы. Попса асемантична по определению.

Бродский любил цитировать слова Монтале о поэзии как «искусстве безнадежно семантическом». Семантические возможности, предоставляемые отечественной поэзии современным лексиконом, достаточно уникальны. Как язык синтетический, русский язык неизбежно переплавит прививки и инновации новейшей истории и, отбросив шлак, выведет из катастрофы обогащенным не только семантически, но и экзистенциально.

Какой перстень обнаружит великий потомок под залежами лингвистического шлака?

Валерий Фокин

Параллельный театр

В том, что театр уходит от текста, от слова, нет ничего нового. Подобные процессы уже происходили, очень активно, в начале нашего века. Театр стремится утвердить свою специфику, свои законы.

Конечно, в русском театре приоритет слова всегда был велик. В театр ходили, как на митинг, ходили послушать слово — и театр делал акцент именно на произносимом (или подразумеваемом) слове. Многие продолжают упиваться этим и сейчас, однако, увы, уже в очень плохом исполнении. Но театр должен уходить от сюжета, от воспроизведения прозы. Когда я говорю «сюжет», я не имею в виду вообще сюжет — в отсутствие сюжета спектакль построен быть не может. Я имею в виду литературный сюжет. Театральный сюжет — другой. Он может и должен выстраиваться, что называется, «поперек» литературы. Это сюжет чувственный, он

должен воздействовать прежде всего эмоционально. Вообще театр — это некое эмоциональное действо, к которому ты должен подключаться, сопереживать. «Поперек» текста режиссер выстраивает часто свой параллельный сюжет. Это делал Мейерхольд — называю режиссера, который мне наиболее близок, не по внешним приемам, а по смыслу; делали и другие, в конце прошлого и в начале нынешнего века. Сегодня, в конце уже нашего столетия, мы переживаем подобный же момент: произошла усталость, очередная усталость от слова — его заболтали, оно девальвировалось. Люди утратили доверие к политическим деятелям и идеям, утратили доверие к самим себе — мы часто не верим в то, что сами говорим. Призывность слова, его митинговость, накал — все это ушло в прошлое. Нам столько было наобещано, нарассказано, нас столько вели, вдохновляли, завлекали (да и продолжают), что мы устали, у нас уже аллергия. Это первая причина ухода слова из театра.

Вторая причина (связанная с первой) — возникла ситуация, при которой, в силу смены исторических и общественно-политических условий, появилась необходимость в рождении новой драматургии. Я знаю, что происходят неожиданные и интересные процессы в нынешней прозе; надеюсь, что появятся — или уже появились — и новые драматурги.

То, чем я занимаюсь, — театр не диссидентский, а параллельный ныне существующему. Мне неинтересен сегодня традиционный подход: вот пьеса, вот персонаж, вот сюжет, и в развитие этого сюжета у них там что-то происходит. Меня же интересуют возможности театра, лежащие в области театра, то есть непосредственного эмоционального влияния на зрителя. В конце нашего ужасного кровавого века мы все совершенно больные люди, мы надорваны, нормально разговаривать не можем. Совершенно ясно, что, как говорил господин Треплев (а его устами Чехов), нужны новые формы. Сегодня театр должен вернуться к себе, вернуться к своим истокам, то есть вернуть природу театра, которая основана не на слове. Слово является одним из очень важных компонентов театра, но его может и не быть. Говоря об истоках, я имею в виду не какой-то конкретный исторический период, конкретную культурную ситуацию; я имею в виду эмоциональные процессы, которые происходят в органике актера. Сила театра в том, что в эту секунду на твоих глазах — я имею в виду зрителя — что-то происходит, рождается. А слово возникает уже потом. Я отношусь к нему как к важному элементу театра — но такому же важному, как изобразительный ряд, музыкальный ряд и т.д. Один из недавних наших спектаклей — «Татьяна Репина». Там актер молчит-молчит, живет, а потом произносит фразу, и удельный вес этой фразы становится необыкновенно весом, ведь надо ее не просто сказать, но сказать со смыслом, точно в тоне и как результат твоего пятнадцатиминутного молчания, активного внутренне — это очень трудная задача! Тут должна быть особая культура и особый профессионализм.

Назову еще двух режиссеров, которые, на мой взгляд, успешно работают в этом направлении. Это Кама Гинкас в Москве и Григорий Козлов в Санкт-Петербурге.

Сергей Ильин
Моя жизнь с Набоковым

Сегодня, 18.XII.1998

Сегодня, 18.XII.1998 года, мне исполнилось пятьдесят лет. Пожалуй, можно подвести кое-какие итоги. Не окончательные, надеюсь.

Далее коротко изложена история человека (моя), жизнь которого неуследимыми шагами меняется, и, как в конечном счете оказывается, изменяется кардинально, вследствие случайной встречи с великим писателем, а точнее сказать, с его сочинениями. Случайной или не случайной — это вопрос личной оценки происшедшего. Человек, настроенный более или менее мистически, а такие имеются среди моих знакомых, сказал бы — да уже и сказал, и не раз, — что тут сыграло роль некое предопределение. Я же предпочитаю использовать слово «предрасположенность».

То, что я расскажу, может оказаться не всегда верным в деталях, потому как не все же можно запомнить в точности, что-то со временем смазывается, что-то приобретает черты романические, но, думаю, рассказанное будет в основном правдивым.

И вот еще что. С самого начала я должен был решить для себя — называть ли мне все имена подряд или не называть никаких, что неудобно технически, или одни назвать, а другие оставить втуне. Я решил так: людей, к которым у меня есть претензии, а их подавляющее меньшинство, я называть не стану, а прочих — отчего же? Люди хорошие, и лишний раз помянуть их будет приятно.

То же, примерно, и с датами. Последовательность событий я худо-бедно помню, а вот даты — очень приблизительно. Так что, если в чем совру, прошу у всех прощения.

Имя: Набоков

Когда я его услышал впервые, сказать теперь трудно. В памяти застряли два обстоятельства — какое из них шло первым, не помню, так что последующая нумерация чисто условна.

Первое. В 70-е годы обыденное чтение наше в значительной степени состояло из фантастики и детективов. Приметную роль играли в его потоке приятно увесистые тома, выходявшие, кажется, в издательстве «Прогресс», в серии «Современный зарубежный детектив» или что-то в этом роде. Так вот, в одном из томов, а именно в «Современном румынском детективе», напечатан был роман, в коем расследовалось убийство некоего господина свободной профессии, адвоката, что ли, совершенное на его же собственной «вилле». Следовательно, исчерпывающая характеристика которого содержится в одной из песен Высоцкого — «чекист, майор разведки и прекрасный семьянин», пришедши на место преступления, обнаруживает на

В развитие нашей традиционной рубрики «Литературный пейзаж» мы открываем новую — «Человек в пейзаже», где предполагаем рассказывать о судьбах людей, в силу тех или иных жизненных обстоятельств вовлеченных в творческое созидание современного культурного контекста.

столе в гостиной «Опасные связи» и «Лолиту». Последнюю он брезгливо перелистывает. Дело ясное — здесь развращали девиц, малолетних и не очень. Кажется, фамилия автора второго из сомнительных сочинений не называлась, но мне она к тому времени была уже известна. (Детектив этот запомнился еще тем, что следователь, затребовав справку о рядовой бухарестской домашней хозяйке, через десять минут получал из архива ее личное дело листов в семьсот.)

Второе. В родном моем Саратове имелся один-единственный букинистический магазин, вокруг которого толклись лица еще одной свободной профессии — книжные жучки. Никакого самиздата там, во всяком случае на виду, в заводе не было, но уже после того, как я в 70-м году укатил студентом четвертого курса физического факультета завершать высшее образование в Дубну, случилась в Саратове громкая история — местные майоры разведки изловили на этом пяточке трех-четырёх лиходеев, торговавших из-под полы все той же соблазнительной книжонкой, несколько экземпляров которой означенные безобразники откопировали в нашей университетской библиотеке. (О библиотеке стоит сказать особо. Посвятим ей следующую главу.) Самая главная из двух саратовских газет, «Коммунист», разразилась по этому поводу статьей, а вернее, тем, что на журналистском жаргоне носило, а может, и поныне носит пыточное название «подвал» — нечто в жанре «К позорному столбу». Года три-четыре негодяи, конечно, получили.

Так что имя Набокова стояло у меня в сознании в одном ряду с запретными, известными мне лишь по разговорам родителей да по сварливым статьям «Литературной газеты» именами Живаго и Солженицына. Надо сказать, что человеком я к тому времени был уже довольно начитанным — в мере, в какой оная начитанность допускалась властями предержавшими, — но при этом безнадежно советским. Не думаю, что формула «Пастернака я не знаю, но одобрить не могу» была мне стихийно близка, однако и претензий никаких я к советской власти не имел, напротив, одобрял всемерно. Не одобряя одновременно Сахарова (так у него же просто-напросто комплекс Оппенгеймера) и Дубчека (какая такая свобода? разве можно жить в обществе и быть от него свободным?). Помнится, первый в моей жизни культурный шок идеологического характера я испытал уже много позже, году в 76-м, когда, порывшись в каталоге абонемента Библиотеки иностранной литературы, что на Ульяновской, и не обнаружив там ни единого интересовавшего меня автора либо названия, услышал от знакомой девушки, работавшей в этой библиотеке да, собственно, меня туда и приведшей, что процентов, кажется, семьдесят, не то девяносто поступающих к ним книг уходит в закрытый фонд. Ясно помню ноябрьский вечер, газовые фонари на Солянке, по которой я, едва ли не глотая слезы, топал в сторону ЦК КПСС и матерно ругал неведомо кого: «Суки, они мне еще будут указывать, чего я могу читать, а чего не могу!»

Тут стоит сказать, что я к той поре уже прошел в Дубне аспирантуру и что была в этой Дубне замечательная городская библиотека, в которой я впервые прочитал Заболоцкого, и Мандельштама, и Пастернака, и Цветаеву, и Ахматову, и, наконец, Платонова. Не говоря уж о Кафке, Бёлле и Маркесе. Дубне же обязан я и тем, что волей-неволей пристрастился читать по-английски — преимущественно научные журналы и книги, но все же, все же. И может быть, окончательно подготовил, так сказать, почву Московский кинофестиваль 71-го года, на котором я, увидев «Березняк», «Беспечного ездока» и много чего другого, сообразил вдруг, что проблематика искусства и его язык не исчерпываются тем, что было мне до того известно.

Так что, когда году в 75-м я получил «Приглашение на казнь» — на одну ночь, от теперешней моей жены Ленки, в которую был тогда влюблен, скажем так, почти платонически, эта самая почва была уже в должной мере удобрена.

Отступление: Саратов, родители, библиотека

Я родился на свет в Саратове, почему-то ставшем в русской литературе, от Грибоедова до Ильфа и Петрова, знаком и символом глухой провинции. Между тем, к началу нашего столетия это был город едва ли не европейский — со своей консерваторией, с превосходным оперным театром, с лучшим в российской провинции художественным музеем и с университетом, построенным архитектором Мюфке, как тогда шутили, «между тюрьмой и казармой» — что было чистой правдой. Вот

на территории этого университета я и родился, в деревянном домишке, бывшем до революции крольчатником, а после нее вместившем сначала семью университетского садовника по фамилии Уйба (он был финн и умер уже на моей памяти), а там и одного из ректоров университета. Ныне нашу квартирку занимает какая-то химическая лаборатория, а стоило бы вместо нее устроить мемориал — именно в ней была сооружена первая в Саратове отопительная печь, работавшая на местном газе.

К моему времени университет официально титуловался так: Саратовский ордена Трудового Красного Знамени университет имени Н. Г. Чернышевского, а попростому — СГУ. То же имя украшает и наш оперный театр, откуда я заключаю, что с Набоковым у меня изначально имелась хотя бы одна общая точка. Зато театру драматическому было присвоено имя Карла Маркса — видимо, из уважения к уже изведенным тогда немцам Поволжья. Не повезло в этом смысле лишь консерватории, носившей имя Леонида Собинова, да Театру юного зрителя, и вовсе безымянному.

Мама была родом «из служащих». Ее мама, а моя бабушка, Валентина Казимировна Шостакович, на руках которой я подрастал лет до пяти, приходилась двоюродной сестрой великому Дмитрию Дмитриевичу, с коим виделась в жизни один раз, дореволюционной девочкой — на семейном съезде в родной Казани. Дед, Константин Немков, рано оставивший семью, стал потом профессором химии в Свердловске, где в 91-м году вышла моя первая книжка. Сохранившаяся у нас фотография свидетельствует о его удивительном сходстве с Буниным, не думаю, впрочем, что в этом кроется какой-либо возвышенный смысл.

Отец родился в городе Белеве, что в Тульской губернии. Его отец, железнодорожник и большевик, брал в 17-м московский Арсенал, а затем Кремль, и после, начальствуя в Белевской ЧК, реквизировал имение Одоевских. Ко времени моего появления на свет мама заканчивала после долгого перерыва химический факультет СГУ, а отец был первым секретарем университетской партийной организации. В самом начале 53-го года его из партии вычистили — за длинный язык, засорение кадров и потерю партийного билета, в нетрезвом, сколько я понимаю, виде. Мама тоже хотела выйти из партии — в знак солидарности, — но товарищи из парткома ее отговорили. Лишившись таким образом средств к существованию, отец определился лектором в Общество по распространению знаний да заодно уж написал единственную и по сей день историю Саратова, изданную в 56-м, кажется, году. Он очень гордился тем, что в Британской энциклопедии имеется ссылка на эту книгу.

Но я, собственно, хотел сказать об университетской библиотеке. Созданная еще до революции, она пополнялась в голодные 20-е книжными собраниями быстро вымиравших университетских профессоров и другими, реквизируемыми у буржуев. Так что библиотека была богатая.

Научившись читать то ли под конец четвертого года жизни, то ли в начале пятого, я был отведен в нее отцом и скоро стал ее завсегдатаем. Поначалу я навещал еще старое ее помещение, располагавшееся в одном из выстроенных Мюфке корпусов. Новое здание строилось на моих глазах. Правила библиотекой Вера Александровна Артисевич, с которой я познакомился лет, наверное, в девять. Год или два назад я увидел в газете «Культура» посвященную ей страницу. Вера Александровна как раз отметила тогда два баснословных юбилея — что-то вроде 95-летия жизни и 70-летия директорства. Отец называл ее Верочкой. Лет восемь или десять подряд мы каждый июль и август жили с нею в соседних палатках летнего университетского лагеря, стоявшего на изрезанном протоками и уставленном рощами волжском острове Чардым. Там же я познакомился с одной из ее давних сотрудниц, имени которой теперь, увы, не припомню. Муж этой женщины в 30-х работал в «органах» и отвечал, в частности, за уничтожение запрещенных книг. Служившая в библиотеке жена составляла для него списки книг, которые следовало сохранить непременно, он под полой притаскивал их домой и прятал под кровать, в чемоданы и Бог весть куда — на этом пороховом погребке они и дожили до «оттепели», по наступлении которой вернули все спасенное на библиотечные полки. Муж, впрочем, успел и повоевать, потерял на фронте руку, что не мешало ему во время моего с ним знакомства с увлечением ловить на Волге рыбу.

Новое здание библиотеки, трех- или четырехэтажное, двукрылое, «Верочка» выстроила в начале 50-х, украсив его изнутри мрамором и отбитыми у Метростроя бронзовыми, в полтора человеческого роста светильниками. Но главное было

не это. Главными были книжные хранилища с кондиционерами и лифтами и «право обязательного экземпляра» — библиотека получала каждую книгу, издававшуюся в нашей огромной стране.

Вот в этой роскоши я и купался лет с пяти и до двадцати с лишком, беспорядочно читая все подряд — один автор тянул за собой другого, другой — третьего, и так далее. Меня, еще мальчишку, пускали даже в отдел редких книг. Собственно, книг хватало и дома — чего стоила одна энциклопедия Брокгауза и Ефрона, которая и в эту минуту глядит на меня из-за компьютера. Был Гоголь, был Толстой, был замечательный полный Пушкин в одном томе, выпущенном в 49-м году, много чего было. Но это был горячий резерв — однажды, загрипповав, я за две недели пропорол восьмитомного Шекспира. Большую же часть чтения доставляла мне библиотека — первая моя духовная родина. Второй стала Дубна. Однако пора возвратиться к Набокову.

Как тогда читались книги

Итак, «Приглашение на казнь». Ощущение было как от удара в солнечное сплетение. Да нет, не от одного. От умело проведенной серии. Первый выглядел так: «Сообразно с законом Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обмениваясь улыбками». Последний: «...где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему». Для одной ночи, пожалуй, многовато. Но так мы тогда читали книги. Ленка — еще до знакомства нашего — получила вот так же на ночь «Лолиту» и прочитала часам к шести утра, а в девять была на работе. Уже людьми женатыми мы разжились — на три дня — «Доктором Живаго», и за три долгих вечера я целиком прочитал его вслух жене и теще, потому что, читай мы его по отдельности, ни один нипочем не поспел бы.

В таком чтении присутствовала своя романтика, прикосновенность к тайному сообществу вкушающих запретные плоды и чающих движение воды. Как сладко было, сидя в вагоне метро, читать томик «ГУЛАГа» — карманного формата издание не то «Имки», не то «Посева», отпечатанное едва ли не на папиросной бумаге, — читать и думать про себя: когда же черт возьмет тебя? Риск, авантюра, молодость, и бездны мрачной на краю. И те немногие счастливицы, которые владели этими книгами, кто одной, кто двумя, те отдавали их не иначе как «на ночь», потому что иначе и невозможно было. Разве возможно иначе? Это ж никому никакого удовольствия не будет. А при невозвращении в срок приезжали к невозвращенцу домой — корить его и водку вместе пить. Или портвейн. Так возникали виртуальные подпольные организации о двух, трех, четырех соратниках, возникали и распадались, чтобы тут же возникнуть в ином составе и снова распасться. Борьба с ними было так же бессмысленно, как лупить из дробовика по зарастающим паутиной углам. Дырку-то в паутине проделаешь, но ведь она опять нарастет. Да никто особо и не боролся. Разве попадет какой бедолага под красное колесо и получит за ксерокопирование пяти недостающих ему страниц того же «Приглашения» года четыре «химии» (история, случившаяся, рассказывают, в Ленинграде году уж в 87-м — несчастливец отсидел все, что ему назначили, и вышел на свободу едва ли не после «путча»).

Описанным манером я прочитал лет за пять всего русскоязычного Набокова, сиречь Сирина — вкуче с прочими авторами, от которых он, пожалуй, отворотился бы, причитая сюда Миллера (этого читал ночью в ванной комнате при помощи фотоувеличителя, поскольку достался он мне на множестве фотопленок), Оруэлла, Замятина, от большинства их мало что осталось в душе. Зато, когда разразилась перестройка и всех их понемногу начали печатать, выяснилось, что никаких особых новизн не предвидится, большей частью все уже прочитано. Что до Набокова, то за «Приглашением на казнь» последовала «Машенька», за ней «Отчаянье», потом «Возвращение Чорба», потом «Дар», в коем я обнаружил вдруг собственные детские кошмары с бесконечно роящимися многозначными числами, отчего испытывал потребность повесить в доме портрет автора и ежеутренне бить перед ним поклоны. К началу восьмидесятых у меня уже стояли на полочке ксерокопии почти всех его русских вещей, добытые самыми разными путями и способами, имелось там и два или три настоящих, в Париже не то в Нью-Йорке выпущенных издания. А потом объявился «Pnin».

«Pnin»

Году, наверное, в 81-м близкому моему другу (привет, Лялька!), преподававшему в ИНЯЗе английский язык, довелось обучать языку русскому группу американских студентов. На прощальном вечере, состоявшемся в «Славянском базаре» («жлобский ресторанчик», — сказал самый «продвинутый» из Лялькиных учеников, привычно обсчитанный официантом), ей подарили стопку английских книжек. Между Агатами и Соммерсетами затесался и نابоковский «Pnin» из «Пингвиновской» серии с дикими картинками на обложке.

В ту пору я уже перебрался в Москву и, после недолгой интермедии — преподавания физики в ПТУ, расположенном прямо у прославленной мифической ерофеевской матерщиной станции Карачарово, — осел в «ящике» в качестве м. н. с. («не-что менее собаки», по счастливому выражению барона Брамбеуса), оказавшись оторванным от хороших библиотек, саратовской и дубнинской, отчего и повадился таскать с Лялькиных полок английские книжки, каковые читал через пень-колоду. В 80-м родился сын. Сидя в ванной и присматривая за стиравшей пеленки машиной, я нечувствительным образом одолел 500-страничный роман «Сегун», по окончании коего сообразил вдруг, что способен читать по-английски без словаря.

Все это время я, так или этак, а писал диссертацию — занятие, быстро мне надоевшее. Если бы не мой институтский начальник, я бы наверняка эту тяготию забросил, благо, понимал уже, что ученого из меня не получится. Но начальник, Александр Михайлович, дай ему Бог здоровья в теперешних его Соединенных Штатах, неуклонно внушал мне, что на 90 рублей зарплаты минус алименты долго не прокукуешь, и таки сотворил из меня кандидата теоретических наук, закрепив попутно привычку к сидению за письменным столом. В итоге, как раз к явлению «Пнина» в моем повседневном распорядке образовался некий пробел — кандидатом наук я уже стал, привычка водить пером по бумаге осталась, а применить ее было не к чему.

«Пнин» произвел на меня впечатление сокрушительное. Это был новый Набоков — теплый, нежный, влюбленный в своего героя. С большинством прочих он, как мне тогда представлялось, обходился довольно безжалостно. («Подвига» я в то время «не любил», то есть ничего в нем не понял. Сейчас-то это мой любимый роман. Есть у меня личное определение: «формообразующая книга». То есть такая, дочитав которую смутно ощущаешь, что ты уж не тот. «Уже не девушкай ушла из этого угла», как пела переведенная Пастернаком Офелия. «Подвиг» — из них, хотя действие его сказалоь на мне в «дальнем поле», если прибегнуть к терминологии прежней моей профессии.)

Да, так вот, «Пнин». Русского Набокова мы с Ленкой проходили вместе, по-английски же она не читала, и я, естественно, попытался как-то передать ей новые мои впечатления. Затея была, разумеется, глупая. Попробуйте-ка пересказать своими словами хоть «Домик в Коломне». «Ну хорошо, — сказал я после третьей попытки, — давай я его переведу, и ты сама увидишь».

Картина, стало быть, получилась такая. Часам к восьми вечера, вернувшись из ВНИИОФИ (здание этого института и поныне нависает над Востряковским кладбищем, а мы тогда жили в Перово — конец неблизкий, если кто не знает, ездить на работу и обратно приходилось электричкой, в которой мне однажды раздавили ребро), я, вооружась словарем Мюллера, единственным тогда моим орудием, переводил, испытывая незнаемое до той поры упоение, две-три-четыре страницы и, как это ни удивительно, к концу 83-го года перевел роман целиком. Результат, сколько я теперь понимаю, получился ужасным. «Или разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц». Друг Юрка отозвался о нем так: «Нет, хорошо, но Ильина тут больше, чем Набокова». И все же, все же. Присутствовал в этом переводе некий «щенячий», по Ленкиному выражению, восторг перед автором и перед текстом, искупавший хотя бы отчасти несовершенства сотворенного мной. И это был первый шаг по дороге длиною в тысячу ли, в конце концов приведшей меня в «пиратские переводчики» — формула совсем уж недавно предложенная для применения ко мне подобным одним известным заграничным жителем («пиратский переводчик — пиратский переплетчик — пиратский издатель — квартальный надзиратель», такую гегелевскую триаду с отращенным ею впрок диалектическим хвостиком набормотал я себе в утешение), — в автора «контрабандных переводов», как выразился другой, тоже давно уже заграничный житель, известный несколько менее. Этот,

сдается, и вовсе забыл русский и прочие языки, в которых контрабандой именуется нечто, незаконно ввозимое через границу вовнутрь страны.

Впрочем, дальнейшее развитие событий от меня, как я теперь понимаю, уже не зависело.

Дальнейшее

Дальнейшее понятно. Перевод нашел двух-трех-четыре читателя. А вслед за тем и награда, как в то время любили писать газеты, нашла героя. Понемногу ко мне стали стекаться английские тексты Набокова. Их приносили друзья, прочитавшие первый, потом второй, потом третий перевод. Происходили они — книги, не друзья — из самых разных источников. Скажем, учился в МГУ иранский или алжирский студент, то ли физик, то ли математик. Поскольку книги научного содержания были тогда в нашей стране удивительно дешевы, он собирал их, обменивая на привозимый из-за бугра ходовой книжный товар. От него я получил через общего знакомого «Bend Sinister» и «Nabokov's Dozen», отдав взамен три или четыре тома «Таблиц трансцендентных функций». «The Real Life of Sebastian Knight» сыскался на полке у друзей моего друга. «Pale Fire» достался от человека с биофака МГУ, который неожиданно для себя оказался сыном американского подданного и, следовательно, американским гражданином, и радостно отваливал в США. «Аду» я получил (с увещанием ни в коем случае ее не переводить) от одного меломана неправильной сексуальной ориентации. Откуда взялся «Look at the Harlequins!», теперь уж и не упомню. «Transparent Things» подарила мне дачная подружка жены, перебравшаяся в Канаду, но летом как ни в чем не бывало выезжавшая оттуда на подмосковную дачу.

Сказавши «а», надлежало произнести и прочие буквы. И я, переведя для разминки сборник рассказов «Дюжина Набокова» (отвратительно, кстати сказать, переведя), взялся за «Bend Sinister». Теперь у меня уже был фразеологический словарь, а Лялька дала мне на подержание двухтомный словарь Гальперина с дарственной надписью автора — ей, Ляльке, конечно, а не мне. За «Под знаком незаконнорожденных» последовал «Себастьян Найт», поначалу показавшийся мне слишком сухим, но потом отчего-то начавший звучать в душе подобием тихого напева. Переводя его, я еще занимался понемногу поэмой из «Бледного пламени». Это, впрочем, отдельная история, требующая и отдельной главы. Но сначала следует рассказать о творческом кризисе и еще кое о чем.

Творческий кризис и как с ним бороться

Не знаю, как других, а меня завершение каждого перевода приводило тогда в странное состояние — меня словно надували пустым воздухом. После «Пнина» я вообще отчасти сошел с ума — дня три или четыре меня обуревали необычайно яркие и точные, но совершенно беспорядочные в отношении хронологического воспоминания едва ли не обо всем, что со мной когда-либо происходило. Я почти не спал. На работу, помнится, тоже не ходил — в отпуску был, что ли. Спиртное не помогало, возможно, потому, что количества я потреблял недостаточные — на достаточные же попросту не хватало средств. В конце концов я решил, что, раз во мне проснулся такой гений памяти, следует приспособить его к доброму делу — сесть и написать воспоминания о пережитом. Решение оказалось благотворным. Промучавшись три часа, я написал столько же страниц и с удовлетворением обнаружил, что память у меня не то чтобы отшибло напрочь, но как рукой сняло — это точно.

Однако настоящий, доброкачественный творческий кризис навалился на меня по окончании третьего перевода — «Подлинной жизни Себастьяна Найта». Все случилось по писаньям — мне стало казаться, что занимаюсь я ерундой, ничего моя самостоятельность не стоит, в чем легко убедиться, пробежав несколько русских страниц переводимого автора (а я, надо сказать, закончив перевод, давал ему отлежаться с месяц и во все это время читал Набокова русского в поисках сходных мотивов, тем и нужных мне оборотов, после чего, надышавшись, начинал перевод редак-

тировать). Да, так о кризисе: друзья и знакомые, конечно, хвалят мной содеянное, но ведь не раззнакомливаться же им со мной — сочувствуют сироте, вот и хвалят. Их это характеризует, разумеется, с лучшей стороны, да мне-то с того не легче. Любого графомана кто-нибудь да хвалит. В общем, надо попытаться получить мнение независимого эксперта. Вопрос в том, где его, эксперта, взять.

Времена стояли перестроечные, год 87-й. Журнал «Москва» уже напечатал «Защиту Лужина». Но то была не первая публикация Набокова в Стране Советов. Первая тоже оказалось почему-то шахматной — журнал «64» тиснул посвященный шахматному композиторству кусочек из «Других берегов» с предисловием Фазиля Искандера. И вот, в самый разгар описанного выше кризиса я прочитал в «Юности» его же, Фазиля Абдуловича, эссе о Пушкине. Помнится, одной из важных для него черт пушкинского характера Искандер называл открытость чужому дарованию. Я решил, что лучшего «эксперта» нечего и искать — писатель из первейших, Набокова знает и любит да еще вон чего говорит. Так если у меня есть какое-никакое дарование, он от меня, наверное, скрывать этого не станет. А на нет и суда нет. И я написал прямо в «Юность», на его имя.

То, что за этим последовало, и поныне представляется мне святочным рассказом. Нечто из Диккенса или Куприна. Примерно через неделю Фазиль Абдулович позвонил мне и предложил привезти на просмотр что смогу. «Что у вас есть?» Я назвал три переведенных мною романа. «Пнина» я уже читал, привозите два других». Я отвез романы в дом, который и ныне стоит невдалеке от станции метро «Аэропорт». (В последние несколько месяцев я, отправляясь на заработки, неизменно прохожу мимо него — из одного удовольствия, потому что есть путь и покороче.) Дело было часа в три дня. На следующий (!) вечер Искандер снова мне позвонил. Он уже прочитал «Найта», и ему понравилось. Кажется, даже очень. Второй роман прочитает в ближайшие дни, а потом поговорит в нескольких журналах, в той же «Юности», где он — член редколлегии. Последние сказанные им в этом разговоре слова я помню точно: «Спасибо за хорошее чтение».

О чувствах, мною испытанных, распространяться, наверное, не стоит, как и о чувствах, и поныне питаемых к Фазилю Абдуловичу. Могу лишь сказать, что по завершении этого разговора я вспомнил фразу из письма Чехова к брату Александру, сказанную, кажется, на собственный счет — что-то вроде: «Кто мог подумать, что из нужника выйдет гений?». Если меня когда-нибудь произведут в дворянское достоинство, я настою, чтобы ее, в виде девиза, начертали на моем гербе.

Потом мы еще перезванивались и раза два встречались на вечерах, которых много тогда устраивалось в московских домах культуры — вечерах, посвященных Галичу, нобелевскому Бродскому, Эйдельману. Переговоры с журналами ни к чему, разумеется, не привели: «Ничего они там не понимают», — сказал Фазиль Абдулович о той же «Юности», — но это было не столь уж и важно. Главное, можно было работать дальше.

Поэма

Вернемся, однако ж, к поэме. Писать о ней мне сложновато, потому что один раз я это уже делал для газеты под странным названием «Поэзия» — повторяться не хочется, но, видно, придется.

Так уж вышло, что стихов я никаких никогда не писал и тем более не переводил. Решая, как мне быть с поэмой, вокруг которой построено «Бледное пламя», я сначала надумал остановиться на белом стихе — все-таки с рифмами не маяться. Уже потом я прочитал у Давида Самойлова, что белый стих из всех труднейший, и порадовался тому, что меня мимо него пронесло. А пронесло оттого, что, пока я размышлял да прикидывал, в голове моей непонятно как образовались две первые строки — рифмованные и мне показавшиеся приемлемыми. Первый блин всегда комом — вот и в этих строках присутствовал характерный для опрометчивого дилетанта ляпсус: птичка свиристель была в них обозначена в неподобающем ей женском роде.

Ну, а дальше строка пошла цепляться за строку. Я выписывал на листок три-четыре двустушия и на ходу (в метро, в летней дачной электричке) прокручивал их в голове, стараясь сохранить в переводе по возможности больше из сказанного автором — в английском, увы, краткосложных слов больше, чем в русском, так что

соблюсти героический размер подлинника я и не посягал, удалось бы смысл дотащить.

Самыми продуктивными получались ночные прогулки с нашей дворнягой по имени Трефа — я старался не возвращаться домой, не слепив хотя бы двух строк, разве что очень уж замерзал по зимнему времени. Впрочем, несколько раз случилось мне застревать на строках особенно злоупорных. Две такие пришлось завести в Ленинград, где я их и умучил одной ночью в дымной забегаловке у Московского вокзала — под коньяк и рассказы только что освободившегося из заточения мужичка о горестном лагерном житье.

Так оно и текло помаленьку, и к завершению «Найта» три Песни поэмы из четырех были у меня готовы. Между тем, жизнь вокруг помаленьку же менялась. Основная моя работа, в общем и целом не лишняя интереса, мало-помалу отходила, по внутреннему моему восприятию, на второй план. Через год-другой мне предстояло расстаться с нею совсем, обратившись в лицо свободной профессии, в программиста-надомника, что, кстати, снабдило меня, наконец, компьютером, отделенным от пишущей машинки примерно такой же дистанцией, какая отделяет эту машинку от стила и глиняных табличек.

Бросить все на свете и заняться настоящим моим, как я уже понимал, делом я не хотел и не мог, поскольку и самому мне и семье нужно же было чем-то кормиться. Творческим человеком со всеми вытекающими отсюда последствиями я себя не ощущал и ныне не ощущаю. Говорю это безо всякого кокетства. Переводчик не творец, он интерпретатор. Занятие его схоже с вышиванием по канве, отчего и не дает ему никто ни Букеров, ни Антибукеров, и правильно делает — при том, что иной переводчик приносит отечественной словесности пользу большую, чем принесла половина лауреатов Ленинской премии. Задача, решаемая переводчиком, состоит, как я себе понимаю, в том, чтобы по возможности точно (следуя собственному чувству, тем паче, что других в его распоряжении не имеется) передать ощущения, пробужденные этой цели он вправе позволить себе почти все — кроме заведомой отсебятины. Ощущение, разумеется, вещь переменчивая, плывучая, особенно полагаться на него не стоит. И однако ж, если ты, перечитывая итоговый текст, начинаешь вдруг припоминать, как оно все у вас было в первый раз, значит, ты все же попал — если не в самое яблочко, то близко к нему.

Публикация I: шаг вперед

«Приятно, сидя под акацией, поразмышлять о публикации», — так писал я из Коктебеля (вот, к слову, земля обетованная, данная Богом интеллигентным россиянам, даром, что и она теперь — за граница) Ляльке, переселившейся на время в Японию. Поразмышлять, конечно, приятно, но надо же и самому как-то вертеться. О попытке, совершенной Фазилем Абдуловичем, я уже рассказывал, однако предпринимались и другие. Все та же Лялька свела меня с Виктором Петровичем Голышевым, который, вообще говоря, к Набокову относится прохладно. Виктор Петрович прочитал «Под знаком незаконнорожденных», и перевод ему не понравился некоторой искусственностью слога. Причина последней состояла, полагаю, в том, что поначалу я пытался, без всякого успеха, сымитировать слог «Приглашения на казнь». Прочитал и «Найта», который как раз понравился настолько, что он попробовал прямо в моем присутствии (это было второе наше свидание) пристроить перевод в «Новый мир». Ничего, разумеется, не вышло. Времена стояли уже относительно либеральные, однако первым высказывать в большие либералы никто не спешил, опасаясь, и безосновательно, первым же и получить по шапке. Начинать полагалось провинциалам. Их все едино дальше Сибири не пошлют, а они, если смотреть из столицы, и так уже, почитай, там.

И я приступил к правильной осаде литературных журналов, всех, мне известных, за вычетом уже отработанного «Нового мира». Писал письма, получал приглашения забрести и показать, забредал и показывал и по прошествии должного времени выслушивал вежливый отказ и шел себе жить дальше. Иногда получалось забавно. В «Звезде», скажем, истомленно курившая дама сказала направленной мною туда за рукописью приятельнице: «Что вы хотите? этот Солженицын нас совсем задал, ни для кого больше места не остается».

Значительное разнообразие внесла в этот рутинный процесс «Иностранная литература». Там со мной беседовал господин с некоторой неправильностью лицевого устройства. «Какой из ваших переводов вы сами считаете лучшим?» — спросил он. — «Бледное пламя». — «Что ж, оставьте». Пауза месяца в два, звонок: «Приходите, поговорим». Прихожу.

Внутреннее содержание разговора было, примерно, таким: я понимаю, что говорю вам полную чушь; я понимаю также, что вы понимаете не только это, но и то, что я это понимаю; однако существуют определенные формы литературного и иного общепития и давайте их соблюдать, то есть мы скажем, что полагается, а вы, как полагается, выслушаете и пойдете себе с миром. Сказано же было примерно следующее: поэма, как говорит наш эксперт, — без имен, без имен, — переведена очень неплохо, проза же никуда не годится. (Чего по указанным выше причинам быть никак не могло, во всяком случае, первого.) Впрочем, если переведете еще что-нибудь интересное, заходите непременно. А как же, почту за приятнейшую обязанность.

На том мой роман с «Иностранной литературой» и завершился — до прошлого года.

Интересно получилось и с «Литературной газетой». Извилистыми путями туда попал один из рассказов и был благосклонно принят. Что такое значило в то время напечататься в «Литературке» да еще для человека с улицы, объяснять, полагая, не нужно. И все же, когда я, слишком поздно, как оказалось, увидел окончательно отредактированный текст, я ощутил себя — в перспективе — Наташей Ростовой, которая, приехав на первый свой бал, обнаруживает вдруг, что вырез ее платья, тот, что сзади, спускается примерно до подколенных впадин. Я позвонил в газету, попытался что-то изменить, но номер был уже едва ли не набран, изменить ничего было нельзя, и я рассказ, как это называется, «снял», за что и поныне отношусь к себе с глубоким уважением.

И все же кое-что начало понемногу сдвигаться. Откликнулся «Урал». Приехавший по собственной надобности из Свердловска милейший человек, Андрей Матвеев, оказавшийся при близком с ним знакомстве прозаиком, и хорошим, забрал у меня несколько переводов. Больше всего ему понравилось «Бледное пламя» (он его и издал-таки в 91-м году там же, в Свердловске), однако из соображений политических он порекомендовал «Уралу» напечатать «Под знаком незаконнорожденных». И по прошествии должного времени «Урал» этот перевод напечатал. На следующее утро я проснулся не знаменитым. Утр этих было еще много и, хочется верить, еще будет не меньше.

Должен повториться. Хронологическая последовательность событий совершенно смешалась в моей голове. Я не помню, что было раньше — «Урал», «Звезда», «Иностранная литература» или «Литературная газета». Человек, проникнутый титаническим самоуважением, сделал бы из такой запамiatливости вывод, что времени не существует. Но я теорий не создаю. Что мгновенно и ставит меня на одну доску с Ньютоном. Все-таки нужно себя постоянно одергивать, не правда ли?

Интерлюдия: Ахтуба

К развитию основной нашей темы это, пожалуй, прямого отношения не имеет, однако вспомнить отчего-то хочется. Наверное оттого, что дальше придется рассказывать о вещах малоприятных, связанных с моим родным Саратовым, — вот я и тяну время, убредая в сторону, также с ним связанную. Летом 84-го года мы провели месяц на Ахтубе. Местоимение «мы» обозначает в данном случае меня, Ленку и нашего четырехлетнего сына Юрку, который по приезде на место влез в реку и утонул бы, если бы не жена ближайшего моего друга. (Увидев и услышав недавно в телевизоре Олега Табакова, когда-то давным-давно игравшего с моим старшим братом в драматическом кружке при саратовском Доме пионеров, я вдруг понял, что манера называть близких тебе людей Витьками, Вовками и Наташками является, скорее всего, областным нашим обыкновением, избавиться от которого саратовскому человеку не удастся до конца его дней.) Что до Ахтубы, то это рукав Волги в нижнем ее течении, получивший самостоятельное название от татар, пришедших с Чингисханом с востока и принявших рукав за отдельную реку. На Ахтубе стояла некогда столица Золотой Орды, теперь она называется Ленинск. На ней же распо-

лагается и тот самый Капустин Яр, из которого был в 57-м запущен первый искусственный спутник Земли. В верхнем течении Ахтубы я уже побывал в 74-м году, с первой моей женой Викой проплыв на байдарке вниз от Волгограда километров сто — сто пятьдесят. В Ахтубинске, вышедши за продуктом, я узнал из «Красной Звезды», торчавшей на двух железных ногах посреди пустынной и пыльной улицы, о том, что Никсон подал в отставку. Немалое впечатление произвел на меня, пролетавшего мимо на сильном течении, Ленинск — высокий обрыв, уставленный поверху деревянными ретирадами и пивными, в последних сидели, воздымая кружки, явственные персонажи тогда еще мной не читанного Венички Ерофеева, и усыпанный понизу разнообразнейшим сором. Еще более сильное впечатление произвела украинская деревня, в которой мне не удалось купить ни единого яблока и помидора — все отдавали задаром. Быть может, оттого, что одет я был в драные китайские джинсы, препоясанные алюминиевым проводом в белой изоляции. Наверное, скудость этого облачения пробуждала в давным-давно сосланных туда украинских старухах сочувственные воспоминания. А может быть, они просто были добры от природы.

Университетские мои друзья уже несколько лет приезжали машинами на Ахтубу, ставили на берегу палатки и жили в них месяц-другой. В тот год мы присоединились к ним.

Я переводил тогда «Под знаком незаконнорожденных» — или еще только собирался переводить, но кембриджское издание «Гамлета» с комментариями Джона Довера Уилсона уже прочитал, и впечатления переполняли меня. Помню, как я два часа пробродил по берегу (укрывая в волжской воде сожженные солнцем ступни) с ближайшим моим — и поныне — другом Витькой Хасиным, рассказывая ему о хитроумии, с которым Набоков вплетает в посвященный «Гамлету» разговор двух персонажей романа раскавыченные шекспировские цитаты, о комментариях Уилсона к «Гамлету», о том, как все это невероятно трудно и безумно интересно. Хорошее было время.

Публикация II: два шага назад

Осада, между тем, продолжалась. Но теперь мне было на что сослаться. Однако на призыв мой откликнулась опять-таки провинция — издаваемый в Саратовском журнале «Волга». Перст судьбы, да и только. Знал бы я тогда, в какое место ткнет меня этот перст.

На этот раз главному редактору журнала пришлось по душе опять же «Себастьян Найт». Хвалы были мне отпущены непомерные. Стоял июнь, не то июль. В феврале следующего года журнал намеревался напечатать роман Набокова «Король, дама, валет», но теперь его место предстояло занять моему переводу. Вскоре позвонил мне из Ленинграда некий человек, как-то связанный с журналом, и сказал, что ему заказана вступительная статья, какой там февраль — январь! — «вами открывают год», так не могу ли я как можно скорее прислать текст перевода на предмет цитирования в этой самой статье. Ну конечно, могу.

В конце сентября я приехал в Саратов повидаться с друзьями. И, разумеется, зашел в «Волгу», познакомиться. Мы поговорили, я на всякий случай оставил мой саратовский телефон и откланялся. Дня за два до отъезда в Москву мне позвонили из журнала — есть новости.

Новость оказалась одна и вот какая: от ленинградского господина пришло письмо, из тех, что Лидия Корнеевна Чуковская назвала где-то «подметным отзывом». Три или четыре для чего-то намертво склеенных один с другим конторским клеем листка плоховатой бумаги, второй не то третий экземпляр под копирку, через один интервал. Разнос, и какой! Отзыв содержал некоторое количество действительно дельных замечаний, однако основная его аргументация сводилась к трудноопровержимому: «Набоков так никогда бы не написал». Общая характеристика перевода была примерно такая: «вялый, запинаящийся, ползающий на брюхе текст». А завершалось письмо совсем уж прелестным пассажем, насчет того, что если провинциальный журнал рискнет напечатать нечто подобное, то при неисчислимом множестве знатоков и ценителей Набокова, проживающих в Отечестве нашем, ему, журналу, следует ожидать «кампании в центральной прессе», от которой ему будет ой как не сладко. В общем, «спасибо за хорошее чтение».

Ксерокс оставался тогда еще опасным раритетом. Я просидел в редакции часа два или три, выписывая «замечания». Вышел я оттуда уже в середине восьмого часа вечера. Темно, холодно, разгар борьбы с предположительными алкоголиками. Я бежал по городу от гастронома к гастроному, все они тогда закрывались в восемь, в девять, все яснее осознавая, что ничего мне не светит — ни в смысле выпить, ни в каких-либо иных. Так и добежал до друзей, у которых нашелся спирт.

Месяц спустя из Ленинграда вернулся текст перевода — без каких бы то ни было сопроводительных слов. А в следующем феврале «Волга» напечатала роман «Король, дама, валет» с припиской: «Публикация...» — дальше стояла фамилия ленинградского набоковеда.

За творчеством его я с той поры внимательно слежу. Однажды он порадовал меня фразой, сопровождавшей опубликованную им набоковскую библиографию: «За некоторым исключением все его английские книги им самим переведены на русский язык, а русские на английский». Набоков так никогда бы не написал.

Впрочем, проистекла из всего этого и прямая польза для меня — я снова перечитал русского Набокова, выписывая слова и фразы, казавшиеся мне необщепотребительными, и завелась у меня в компьютере картотека в полторы тысячи с лишком карточек. Так что позже, когда в издательстве «Северо-Запад» пошла настоящая работа с настоящим редактором, мне уже было на что опереться.

«Северо-Запад»

Весной 90-го или 91-го года мне позвонил из Ленинграда (или уже Петербурга?) назвавшийся Александром Клавдиевичем Кононовым, сотрудником издательства «Северо-Запад», человек и осторожно поинтересовался, не доводилось ли мне переводить Набокова. «Был грех». Так это мой перевод в «Урале»? «Мой». А вот скажите, был еще один такой вариант перевода этого же романа и там к нему кое-что добавлено было, так вот... «Шекспироведческое» послесловие, подписанное доктором Чарльзом Кинботом? Да, это я дурака валял». А предисловие к «Пнину»? «То же самое». А еще вы Набокова переводили? «Да, почитай, всего уже перевел, кроме «Ады», которой сейчас и занимаюсь». Ага. На этом проверка закончилась.

Тут придется сделать отступление. Законченные переводы копировал на ксероксе в количестве четырех-пяти экземпляров один мой приятель. По причинам, указанным в начале этого сочинения, фамилия переводчика в них не значилась. Три первых переведенных романа попали в Ленинград, а когда вернулись, оказалось, что часть страниц заменена фотокопиями. Ну, понятно.

Как выяснилось при близком знакомстве с Сашей Кононовым, который как раз сейчас завершает, по его выражению, «строительство монумента Сергея Борисовича» — издание пятитомного переводного Набокова, в коем переводы всей беллетристики, написанной по-английски, кроме «Лолиты», сделаны мною, — копии тех трех переводов попали к Саше в руки году в 86-м. Он тогда возглавлял издательство «Бедный Йорик» и выпустил их тиражом в четыре экземпляра — больше издательская «Эрика» не брала. Став же одним из основателей «Северо-Запада», он принял меня разыскивать — затея, при незнании фамилии разыскиваемого, сложноватая. В конце концов Саша пришел к выводу, что я, скорее всего, уже года два как изображаю профессора Пнина в каком-нибудь американском университете. Тут-то ему и подвернулся «Урал».

Придется сделать еще одно отступление, уж больно набоковский получился поворот. В 68-м году власти предрезажи и напуганные, как я теперь понимаю, происходившим в Чехословакии, Франции и США, спустили в вузы директиву относительно организации досуга студентов. Придумано было следующее: используя ресурсы университетских и институтских «Клубов культуры», а также столовых, учредить повсеместно «Студенческие кафе», то есть такие заведения, в которых склонное к буйствам студенчество сможет, сходясь не чаще раза в неделю, отдыхать как ему Бог на душу положит, даже и распивая в умеренных количествах алкогольные напитки — все это, разумеется, под призором парткома, профкома и комитета комсомола. В числе пяти или шести человек, сочинявших такое кафе в нашем университете, оказался и я. Мы снимали посвященные этому процессу комедии (у Витки была 8-миллиметровая кинокамера и даже монтажный столик), поставили до-

шедшую до нас в виде голого либретто оперу «Дубинушка», в которой я исполнил все основные партии, и, разумеется, потребляли упомянутые напитки, а именно местной выделки портвейн, который тогда продавался в Саратове трехлитровыми банками. За «Дубинушку» нас, кстати сказать, потянули в партком. Мы в ней пели один хор на мотив «Марсельезы», и уже в парткомовском предбаннике я провел с исполнителями краткий инструктаж — «Марсельеза» де была не наша, родная, а французская, разницу можем напеть. Витька, услышав меня, сильно удивился и объявил, что он вообще-то пел на мотив песни «Я — Земля, я своих призываю питомцев». Дяденьки из парткома оказались людьми благодушными, хоть и тоже немзыкальными. Нас пожурили за неуважительное использование «Варшавянки» и отпустили с миром. Видать, директива еще не выдохлась. В общем, развлечений нам хватило на целый год. Да, а название для нашего кафе придумал я: «Бедный Йорик».

Итак, в скором времени Саша приехал в Москву, и мы подписали договор на всю мою, как выражался Набоков, продукцию. Саша же отыскал и редактора, Наталью Ивановну Толстую. В вышедшей в конце концов книге фамилия ее отсутствует, она сама попросила об этом. Пожалуй, стоит объяснить, как я это понимаю, — с Натальей Ивановной мы эту тему не обсуждали. Дело в том, что я был не один такой умный, Набоковым занималось в стране еще некоторое количество переводчиков, в том числе и профессиональных. Общее помягчение климата пробудило надежды на то, что долго хранившиеся под спудом рукописи удастся напечатать, и кое-что по этой части действительно случилось. Наталья Ивановна, дружившая с Еленой Владимировной Сикорской, сестрой Набокова, гостившая в Швейцарии у Веры Евсеевны и Дмитрия Набоковых, была в кругу этих людей своя, а я не был. Ни я никого не знал, ни меня никто. Переводы мои ей, видимо, понравились, но желания ссориться с давними знакомыми, выглядеть в их глазах этакой перебежчицей не было у нее никакого. Вот она и попросила о ней не упоминать.

И это обидно, потому что работу она проделала огромную. Мы состояли с ней в переписке. Она присылала мне через Сашу замечания, я на них отвечал, иногда соглашаясь, иногда отбиваясь и даже язвя. Она язвила в ответ. Замечательный человек. Мне вообще везло на редакторов, и я прошу у них прощения за то, что не перечисляю здесь всех поименно. Когда я теперь слышу расхожую фразу, что-де «редактор — это диагноз», я внутренне пожимаю плечами и думаю, что меня, похоже, оберегали некие силы. Хотя, с другой стороны, много есть разных фраз «На ловца и зверь бежит» — тоже ведь неплохо сказано. И может быть, чаще всего на ловца выбегает тот зверь, какого он заслуживает.

В общем и целом подготовка книги заняла около трех лет. Препятствия возникали самые разные. Кажется, около года мы ждали предисловия, оказавшегося в конечном счете неупотребимым. За это время в Свердловске вышло «Бледное пламя» с рассказами. Первая книга! Сто тысяч тиража! Набрана она была ужасно, обложка какая-то фантазийная, ну да и что с того? Первая! Кто-то сказал мне, что ее продают в киоске Дома художника на Крымском валу. Я поехал туда, купил несколько не очень нужных мне экземпляров и долго сидел, вглядываясь в людей, остававшихся у киоска. Минут через сорок какой-то господин с входившим тогда в моду хвостиком взял мой томик, полистал, хмыкнул и купил. Томик этот лет еще пять всплывал в маленьких книжных магазинчиках.

Тем временем Саша заказал мне, чтобы я не скучал, перевод тетралогии Т. Х. Уайта о короле Артуре. Потом еще кое-что. Собственно, если б не он, я, возможно, и не стал бы переводчиком в настоящем смысле этого слова. Но вот, наконец, летом 93-го года мы всем семейством отправились в Петербург «на презентацию». «Северо-Запад» устраивал их тогда примерно раз в месяц, показывая накопившиеся издания и подряжая для их оценки кого-нибудь из местных литераторов. На той я был представлен томом Набокова и двумя — Уайта. Происходила презентация в Доме писателя, месяца через два сгоревшем. К слову, несколько лет спустя мы в том же составе побывали наконец в Рождественно и тамошний набоковский дом тоже скоро сгорел. Так что больше я по памятным местам не ходок.

Оценивал книги Виктор Топоров. Саша предупредил меня, что от него мне, возможно, придется услышать немало горьких слов — репутация у Топорова была устрашающая, вполне выражающаяся прозвищем «критик с томагавком». И действительно, то, что он говорил сначала (о других, впрочем, книгах), вызвало в зале несколько горестных воплей. Однако, когда он добрался до Уайта с Набоковым,

тон разговора изменился разительно. Он отметил, конечно, дикий ляпсус в начале комментария — человек пять, знающих по-английски, возились с этим комментарием, и все-таки в первом его абзаце утверждалось, что «bishop» — это ладья, а не слон. Но о качестве переводов он отозвался вполне уважительно. Это была победа.

Сухой остаток

Приятно было бы рассказать теперь о том, сколь разительно переменилась затем моя жизнь. Нет, она понемногу менялась, но совершенно в иной связи. Насколько времени я жил в основном переводами, которые заказывал мне Саша. Однако «Северо-Запад» уже угасал и переводы эти оплачивались, но не издавались. Я ушел с одной работы, потом с другой, с третьей меня и вовсе уволили. На недолгое время я пристроился ночным сторожем с уклоном в программирование. Перевел ради куска хлеба дамский роман — омерзительное занятие — и два детектива. Удивительный журнал «Новая юность» напечатал уже изданные в другом переводе «Прозрачные вещи», а следом «Каббалу» Уайлдера. В Петербурге издался, Сашиними трудами, перевод Данливи. Подошел к концу очередной период бедности, я начал переводить техническую документацию в компании «Эрикссон» — низкий ей поклон, потому что без этих заработков я «Аду» так никогда бы и не закончил. Я стал членом международного Набоковского общества — звучит красиво, но дело, в сущности, нехитрое, достаточно подписаться на его выходящий два раза в год журнал. Опять-таки вслед другому переводу, еще лежавшему на прилавках, вышла «Ада» — за что следует поклониться рискнувшему на такой шаг Ирме Мамаладзе и Айдеру Куркчи, первым и последним пока моим московским издателям. Я перевел еще кое-что и сейчас перевожу нечто давным-давно лелеемое, листов эдак на девяносто. Похоже, жизнь сложилась счастливо. Интересно, что будет дальше.

Вл. Новиков

От графомана слышу!

К истории одного ругательства

1. Маленькая железная дверь в стене

Партия и правительство проявляли большую заботу о графоманах.

На Поварской улице (тогда — улице Воровского), 52, сбоку от главных ворот так называемого Дома Ростовых (где раньше было правление Союза писателей СССР), правее редакции журнала «Дружба народов», до сих пор можно увидеть черную железную дверь. Сейчас она заперта изнутри, а когда-то открывалась, и любой советский гражданин мог не только беспрепятственно войти во флигель легендарной усадьбы, но и внести туда собственное сочинение в стихах или в прозе, чтобы сдать его в небольшую контору с табличкой «Литературная консультация». Сотрудники консультации педантично регистрировали каждую рукопись и приглашали клиента зайти через месяц. В течение этого месяца рукопись передавалась на рецензирование одному из экспертов, который возвращал ее вместе с письмом-рецензией, адресованным автору. В большинстве случаев адресатам сообщалось, что их тексты не обладают надлежащими художественными качествами, но иногда самодельные сочинители получали одобрение и рекомендовались к печати. В коридоре консультации была специальная витрина с книгами и журнальными публикациями авторов, получивших зеленый свет именно в этом флигеле: помню, были там «Записки серого волка» Ахто Леви, была напечатанная «Новым миром» мемуарная повесть Тимофея Соколова — о том, как автору удалось добиться оправдания одного ошибочно осужденного юноши, еще что-то... В общем, консультация решала вполне благородную задачу — отделить зерна от плевел, самородков от графоманов (само слово «графоман», естественно, никем там не произносилось вслух).

Работа экспертов оплачивалась из пропорции пять рублей за авторский лист (то есть так же, как «внутренние» рецензии в издательствах). Финансово и организационно консультация входила в структуру издательства «Советский писатель», с ней сотрудничали многие авторитетные критики — Лев Аннинский, Бенедикт Сарнов, Сергей Чупринин (которому, в частности, удалось там открыть прозаика Валерия Есенкова). С дружеской подачи Чупринина в восемьдесят втором году пришел в консультацию и я, радушно встреченный Людмилой Георгиевной Сергеевой, самым опытным и увлеченным работником этой конторы. Кстати, рассказ Абрама Терца «Графоманы» (1960) написан с использованием той информации о натуральных графоманах, которую Андрей Синявский услышал от посещавших его Людмилы и Андрея Сергеевых.

Увы, за четыре года мне не выпало радостной возможности воскликнуть: «Эврика!», все мои рецензии были вежливо-отрицательными. Чтобы подсластить пилюлю, я начинал с пары добрых слов (что, кстати, считаю абсолютной этической нормой всякого отзыва, устного и письменного, настойчиво не рекомендуя своим студентам начинать разговор о работе товарища со слов «Мне не нравится...»). Дескать, из рукописи видно, что человек вы хороший, думающий, равнодушный к жизни и к окружающим, но, уважаемый(ая), литература — очень сложное дело. Вы ведь сами говорите в своих стихах:

Не всякому дано Пегаса оседлать,
То конь для избранных, но как хочю я

Свои стихи хоть вслед ему послать,
Из сердца в сердце вместе с ним кочуя.

Пример — подлинный, подправлена лишь пунктуация. Доказывая, что автор не смог оседлать Пегаса, я всякий раз анализировал только форму: язык, стих, композицию — лишь такие аргументы могут служить вескими доказательствами непрофессиональности письма. Оценивать сам тематический материал, степень «правды жизни» я себе не позволял, уважая чужой житейский опыт. И все-таки однажды дал я промашку: рецензируя стихи отставного военного, процитировал строку: «Шагала рота: «Хрясь! Хрясь! Хрясь!» и заявил, что такое неуклюжее звукоподражание неточно передает строевой шаг. Тут же я получил единственную в своей практике рекламацию клиента, написавшего мне полемическое письмо с надписью на конверте: «Зоилу моему, а также, к несчастью, однофамильцу моих внуков» (из чего можно было заключить, что у самодеятельного стихотворца есть зять Новиков). Кадровый офицер убедительно доказывал, что при определенной влажности и температуре воздуха сапоги, соприкасаясь с мостовой, производят именно звук «хрясь». Думаю, он был прав, и не мне, штатскому, судить о столь специальном вопросе.

Сравнительно скоро я отказался от такого приработка: писать горькую правду самодеятельным авторам, причиняя им неизбежную боль — не самое радостное занятие. Но приобретенный в консультации опыт считаю чрезвычайно ценным: с тех пор я не понаслышке и не по случайным комическим примерам знаю, что такое графомания, как выглядит массив текстов, написанных усидчивыми, но неталантливыми авторами. В этом отношении ведь нельзя полагаться даже на авторитет прославленных писателей, блестяще и остроумно имитировавших графоманские тексты (драматургесса Мурашкина у Чехова, Костя Едыткин в повести Замятина «Алатырь», Гаврила Ляпис у Ильфа и Петрова). Средняя, типичная графомания довольно однообразна, скучна и отнюдь не изобилует безумными парадоксами и непреднамеренными гротесками. Тот, кто многократно дегустировал самодеятельную продукцию, отчетливо ощущает ее отличие от профессиональной. В журнале «Литературная учеба» был некогда «Литературный словарь», в котором многие из нас сотрудничали. Статью «Графомания» написал там один стихотворец «почвеннической» ориентации, старавшийся при помощи тонких намеков объявить графоманку знаменитых «эстрадных» поэтов. Я воспринял это как элементарную некомпетентность: нельзя писать о том, чего ты не изучал, негоже превращать точное название конкретного явления в оскорбительный ярлык для явления совсем иного.

Вместе с тем в потоке самодеятельных текстов нередко проскальзывали любопытные человеческие документы и свидетельства. Помню обширный текст под названием «Вся жизнь в борьбе (Записки бухгалтера)». Довольно догматическое сочинение сталинской ориентации вдруг заканчивалось совершенно внесюжетным финалом. Автор на прощание делился с читателями открытым им простым способом лечения геморроя: достаточно отказаться от какой бы то ни было подтирки и ограничиваться омовением холодной водой. А. Жолковский, М. Ямпольский и другие авторы издательства «НЛО», несомненно, узрели бы здесь полемику с Гаргантюа и с его пристрастием к новорожденным гусьям, однако весь языковой облик текста совершенно исключал малейшее знакомство автора с творчеством Рабле. Более всего, однако, поразил меня один из рассказов бухгалтера о своем дореволюционном детстве. Его мать попросила у околоточного надзирателя какую-то справку. Тот заявился к ней домой и без лишних предисловий повалил женщину на кровать, да еще и в присутствии детей. Но как комментировал этот злодейский поступок повествователь? «А мать и рада, что теперь надзиратель справку ей выдаст бесплатно». Не приходилось мне в высокохудожественной литературе начала века встречать такой нетрадиционный взгляд на нелегкую долю русской женщины.

Попадались и рукописи, от начала и до конца исполненные искреннего и откровенного автобиографизма, представляющие определенную, но в то же время ограниченную информационную ценность. Рекомендовать их к печати не было достаточных оснований: тиражи-то были тогда тоталитарные, не посоветуешь напечатать сто экземпляров. Да и ста, наверное, не нужно для такого явно не художественного текста: достаточно, чтобы где-то в архиве на всякий случай сохранился этот скромный человеческий документ, чтобы его там могли прочитать будущий

историк или писатель — авось, пригодится в работе. «Людей неинтересных в мире нет» — здесь я с Евгением Евтушенко абсолютно согласен. И к таким текстам слово «графомания» я никогда не применю.

Но и объявлять их «невыдуманными романами» тоже крайне неосмотрительно, поскольку такая гипербола на поверку оборачивается элементарной дезинформацией. В прошлом году узкие круги литературной общественности были ошарашены включением в букеровский шорт-лист воспоминаний Александры Чистяковой, записанных от ее имени Владимиром Ширяевым. Андрей Василевский резонно усмотрел в таком решении жюри «искреннее неуважение к премии, к писателям, к читающей публике» («Литературная газета», 23.12.98). Но каковы же были все-таки аргументы столь «стебовой» премиальной акции?

Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Андрей Зорин охарактеризовал текст Чистяковой — Ширяева примерно так: это Астафьев, переходящий в Хармса. При самом прохладном отношении к Астафьеву невозможно не видеть в его прозе тот уровень изобразительно-пластической и словесной техники, к которому упомянутый мемуарный текст, конечно же, не приближается ни на секунду. А Хармс, при чем тут он? Если речь о безыскусных стихах Чистяковой, при помощи которых она заклинает свою судьбу, то с хармсовской парадоксально-космической поэзией у них нет даже минимального сходства. А если имеется в виду остраненно-релятивистский взгляд на смерть в гротескных новеллах Хармса («Вываливающиеся старухи» и т.п.), то применять эту модель к *подлинным* смертям сыновей Чистяковой было бы бесчеловечным цинизмом. Воспоминания Чистяковой публиковались в журнале «День и ночь» под рубрикой «Письмо из Кемерово», пожилая женщина отнюдь не претендовала на статус «художественности» и не оказалась выставленной на посмешище только потому, что о букеровском процессе мало кто знает, за ним следит весьма ограниченный контингент литературной тусовки.

Каждый пишущий (или просто рассказывающий о себе) заслуживает того, чтобы быть прочитанным и услышанным. Но давать имя искусства тому, что им не является, решительно незачем.

2. Грамотная графомания?

Самодельные авторы, приносившие рукописи в консультацию, в большинстве своем были людьми не слишком образованными и начитанными. Как правило, не страдали от избытка культуры и авторы толстожурнального самотека, те незваные посетители редакций, которых там за глаза называли графоманами или «чайниками». «Вы пишете, что я безграмотен, но мои ошибки — это хлеб корректоров», — довелось мне однажды прочесть, работая в журнале. А может ли объективно оказаться графоманом человек образованный и высококультурный, даже связанный с литературой профессионально (в качестве филолога, критика, редактора, переводчика, журналиста, публициста), но не обладающий природным талантом поэта, прозаика, драматурга?

Этот вопрос актуализировался в начале девяностых годов, когда, с одной стороны, была де-юре отменена цензура, с другой стороны, де-факто ликвидированы писательские привилегии и сведены к минимуму гонорары. Творчество все больше становилось свободным и бескорыстным. Класс мало- и полукультурных писателей-конъюнктурщиков, сочинявших проходные «советские» вещи ради заработка, оказался не у дел. «Энергичные люди» либо занялись изготовлением выгодного масскульта, либо переключились на бизнес, не связанный с литературой. Зато для либерально-прогрессивной гуманитарной интеллигенции открылись широкие возможности публикации собственных стихов и прозы — за свой ли счет, с помощью ли спонсоров. В промежутке между путчем-91 и дефолтом-98 широкий массив малотиражных изданий такого рода заполнил прилавки и склады элитарных книжных магазинов. «Партия культуры» получила представительское большинство в ведущих толстых журналах. Но у этого в целом позитивного процесса оказалась и оборотная сторона: отнюдь не все, сочиненное культурными авторами, оказалось привлекательным да и просто пригодным для чтения.

Лет шесть назад, прочитав целый ряд текстов, безупречно (с точки зрения нормативной стилистики) написанных, но невыносимо скучных, я придумал название для статьи — «Грамотная графомания» — и даже заручился поддержкой ре-

докторов, готовых такую статью напечатать. Однако довольно скоро я почувствовал, что статья не сочиняется. Нужны конкретные примеры, а кого из почтенных литературных людей я могу беспощадно назвать «грамотным графоманом»? Есть ли у меня неопровержимые доказательства того, что такой-то прозаик или такой-то стихотворец при всей своей начитанности и образованности не обладает природным талантом? Нет, ни у меня, ни у кого-либо другого таких доказательств нет и быть не может. Мы имеем право говорить только о качестве конкретных произведений, да и то с неременной оговоркой типа «на мой взгляд» или «я считаю». При обсуждении «знаменской» прозы 1993 года, помнится, я все же не сдержался и отнес пару публикаций к «графоманскому уровню». Беру эти слова назад и прошу переправить их во всех сохранившихся экземплярах журнала на следующую формулу: «тексты, лишенные, на мой взгляд, художественной динамики».

Слово «графоман» в критическом споре — примерно то же, что цензурная брань в споре житейском: звучит сильно, но не доказывает ровным счетом ничего. Вот Мария Ремизова, неизменно категоричная в своих оценках, уничтожает в «Независимой газете» Михаила Пророкова: «БГА» — это классический пример графомании, причем графомании «профессиональной»: этот сорт пишущих всегда привязан к сфере своей деятельности, инженер сочиняет об инженере и механизмах, бухгалтер — о бухгалтере и ведомостях, филолог, соответственно, о филологах и академической грызне» («НГ», 15.12.98). Не знаю, на основе каких данных М. Ремизова судит о целом «сорте пишущих», у меня наблюдения совсем другие: из полусотни отрецензированных мною клиентов «Литконсультации» как раз меньшинство описывало свой профессиональный быт, и уже упоминавшийся мною бухгалтер отнюдь не воспевал отчеты и ведомости; в сфере графомании лично мне встречались чаще всего фантазеры. А потом — почему произведение филолога о филологах надо отвергать с порога? Разве на этом материале невозможно исследовать человеческую природу, построить интересные характеры и отношения? Филологический роман 90-х годов (а это отнюдь не один Пророков) — довольно интересная проблема (хочу посвятить ей отдельную статью), требующая непредвзятого обсуждения. Если же всех, кто прочел много книг, знает иностранные языки и любит прибегать к реминисценциям, мы станем ревниво зачислять в «графоманы», то к истине, боюсь, не приблизимся и литературе освободиться от цепей книжности не поможем.

Если Мария Ремизова в открыто-письменной форме бранится самым страшным для критикуемого писателя словом, то некоторые другие мои молодые коллеги, в целом добрые, прибегают к сему ругательству исключительно в устном кулуарном дискурсе: мол, такой-то — графоман. Я, откровенно говоря, и устные обмены мнениями считаю частью литературного процесса, потому пытаюсь найти систему в этом обзывании. И прихожу к выводу, что «графоман» в таком словоупотреблении — это чаще всего означает: писатель, не близкий говорящему. А когда «проклятым заклеянным», графоманом обозванный писатель все-таки утвердится в литературе, то те же самые критики находят для него слова гораздо более вежливые. Так, может быть, стоит нам и в устной, и в письменной речи сразу применять аргументы внятные и ответственные?

Много страданий доставили мне современные русские писатели. Иной раз уж так над вымыслом слезами обольюсь: то и дело прикидываю, сколько еще страниц этого вымысла читать осталось. Тяжело, порой невыносимо, а приходится преодолевать болотные тексты, радуясь редким твердым кочкам, надеясь выбраться на сушу. Нельзя выходить из контекста, нельзя бросать родную словесность в трудную минуту, когда каждый читатель на счету. Так что, дорогие мои мучители, авторы высококультурных, хотя, увы, не очень динамичных текстов, никого из вас грубым словом «графоман» больше никогда не оскорблю. Будем для каждого искать индивидуализированные и конкретные определения.

3. Назову себя Графоман

Но есть еще и такая речевая тактика — заявить: я, мол, графоман и ничего дурного в этом слове не вижу. Название «Графоман» получил в Москве один из элитарных книжных магазинов. Так называлась и телевизионная передача о книгах и литературных новостях, которую вел Александр Шаталов. И то сказать, на-

звание передачи очень рифмовалось с обликом ведущего: крикливых цветов одежда, кокетливое вскидывание рук, почти полное отсутствие дикции, обилие фактических ляпов, обусловленное незнанием филологических азов, — и при этом проблески искренности и здравого смысла, неподдельная любовь к Галичу, за которую Шаталову можно даже простить его собственные худосочные, монотонно-описательные верлибры.

А редактор журнала «Соло» Александр Михайлов даже объявил свое издание органом «энергичной, талантливой и искренней графомании». «Талантливая графомания» — слишком очевидный и хрупкий оксюморон: второе слово заведомо нейтрализуется первым. Реально же говоря, графоманские и даже просто любительские публикации в «Соло» редки, большинство авторов пишут вполне профессионально, отлично ориентируются в эстетской конъюнктуре, знают вкусы западных славистов и являются реальными кандидатами на публикацию в традиционных толстых журналах. И по части энергетики у них такие же трудности, как у литературного истеблишмента, и с наличием (то есть отсутствием) читательского спроса абсолютно те же проблемы...

Попытки реабилитировать само слово «графоман» порой подаются под соусом предельного семантического расширения: все, кто любит писать и постоянно этим занимается, суть графоманы. На мой взгляд, такая трактовка понятия бессмысленна: именовать графоманом каждого активно пишущего — все равно, что всех темпераментных и страстных женщин называть бл... блудницами, скажем так. К тому же тогда под категорию графомании отчетливее всего попадают наши классики XIX века: вот уж были чокнутые, наивно писали и писали до самой смерти, ни имиджем, ни промоушном не занимались, на тусовках бывали крайне редко. Наш же современный литератор — существо по преимуществу малопишущее. В чисто количественном отношении век нынешний и век минувший обнаруживают колоссальную разницу: у кого из нынешних шестидесятилетних имеется листаж, сопоставимый с наследием умершего в пятьдесят девять лет Достоевского, кто к сорока четырем годам наберет хотя бы треть суммарного чеховского объема? Может быть, сегодня вновь плодотворным становится декларированный Юрием Трифоновым принцип «многочисления»? Но этот девиз ничего общего с графоманией не имеет.

Есть, впрочем, в истории литературы одна традиционная линия, основанная на амбивалентной игре в графоманию. Самих слов «графоман, графомания» в пушкинские времена не было, но было пародийное имя «Графов», метившее в графа Хвостова. Потешаясь над графом, «арзамасцы» создали гротескно-пародийный стиль, нашедший затем продолжение у Мятлева, достигший вершины в произведениях Козьмы Пруtkова и «лебядкинских» стихах Достоевского, а в нашем веке давший знать о себе в текстах и творческом поведении обэриутов, Николая Глазкова, Александра Еременко. Эпилогом (а может быть, только промежуточным финишем) этой двухвековой художественной игры в наше время стала практика концептуализма: в прозе — Владимира Сорокина, в стихотворчестве — Дмитрия Пригова. У Сорокина графоманское сознание предельно объективировано, его носителями выступают только персонажи или пародируемые стили, образ же автора лишен каких-либо игровых элементов, это пребывающий вне иронической зоны демиург. Сорокин не называет себя ни гением, ни графоманом, свое имя-отчество-фамилию в тексты не внедряет, стало быть, к предмету нашего разговора относится только по касательной. А вот Пригов, подобно Пруtkову, Хармсу и Глазкову, систематически занимается полуйроническим самовозвеличиванием. Он поставил перед собой задачу спародировать фигуру поэта как такового, демифологизировать этот гордый монумент, низвести его с высот гениальности до уровня графомании: вот возьму накатаю без всякого вдохновения двадцать тысяч стихотворений и утоплю в этом море вас всех с Пушкиным во главе!

Акция была дерзновенная, но завершение, на мой взгляд, оказалось провальным. Пригов в известном смысле «больше, чем поэт», он художник-инсталлятор, известный иностранным искусствоведам и котирующийся на арт-рынке. И он мог предпринять эффектный хепенинг, распечатав все свои бесчисленные стихи на отдельных листках и выложив этими листками, допустим, Красную площадь. Все бы узрели масштаб содеянного, и каждый смог бы унести домой частицу поэзии. Однако поэт-концептуалист пошел самым банальным, традиционно-реалистическим путем — он стал издавать книги. Отнюдь не графоманские, очень профессиональ-

ные — и невыносимо однообразные. Усредненно-иронический взгляд среднестатистического интеллигента на житейскую, политическую и эстетическую реальность передается здесь достаточно последовательно. Прав автор и насчет «милицианера», и насчет коммунистов, и насчет американского президента, и насчет смысла жизни. Что можно возразить на такие, к примеру, строки:

Чем больше Родину мы любим
Тем меньше нравимся мы ей
Так я сказал в один из дней
И до сих пор не передумал — ?

Но предсказуемая ирония без участия свежего юмора неотвратимо прокисает, становится общим местом. При втором прочтении никаких смысловых и эмоциональных оттенков не открывается. Стих одноразового использования. Нет разницы, десять опусов ты прочел, сто или тысячу. И самое главное — не смешно. Чтобы такие стихи произвели комический эффект, нужны фуршет и дрессированная аудитория, хихикающая по наводке организаторов. Один на один с читателем поэт имеет вид бледноватый.

Однако решительно не соглашусь с теми, кто обзывает Пригова «не поэтом» и тем более «графоманом». Это поэт, профессиональный, прошедший большой путь и выпустивший много книг. Как Долматовский или Михалков. Только те советские, а этот постсоветский. Но скоро разница станет совсем незаметной.

4. Что дальше?

Раньше все-таки существовало твердое разграничение: если тебя печатают, значит, ты профессионал, а если не печатают — то ты либо диссидент, либо графоман. Свобода книгоиздания ликвидировала эти границы, а интернет скоро смешает все карты: читаем все подряд, а понравившееся сами для себя публикуем на собственном принтере. Хорошо это или плохо? Для свободы творчества, может быть, и хорошо, но у профессиональных читателей, то есть критиков, редакторов и издателей, жизнь очень усложнилась. Дегустировать тексты приходится без подсказок, без престижных наклеек, на свой страх и риск. Думаю, что это ведет к изменению и журнальной политики, и функции критики.

«Печатаем все, что талантливо» — такая позиция выглядит сегодня по меньшей мере самонадеянной, поскольку стал весьма дискуссионным вопрос о критериях писательской одаренности. Не принять бы за талант культурный стандарт, верность господствующему бонтону и правилам каллиграфии, которые вот-вот устареют! Принесет какой-нибудь «чайник» рукопись с такими примерно «перлами»: «в ней не было теперь женского прилежания к своему телу», «приблизительная невеста отца Никиты», «ему было трудно питаться печальным животным». Завернут эту рукопись на самых объективных основаниях, если «чайник» не признается, что ему сто лет и зовут его Андрей Платонов. В условиях довольно высокого среднего профессионального уровня новое зрение и новый, трансформированный язык вполне могут быть приняты за «графоманию». Выход единственный: следовать не абстрактной «объективности», а своей версии новой литературы, своей отрафлектрированной духовно-философской и общественной концепции, своему пониманию читательских запросов. «Не по хорошу мил, а по милу хорош» — только на таких основаниях может сегодня пробиться сквозь тотальную эстетскую конъюнктуру угловатый и свежий талант.

И нашему брату критику придется отказаться от судейской мантии, от претензии на непогрешимость приговоров: мол, это высокая литература, это беллетристика, это масскульт, а то — просто бездарно. Критика, слишком уверенная в себе, становится, как и любой другой вид литературы, нечитательной и тяготомной. И всякому, кто берет на себя смелость ставить автору или тексту окончательно-смертельный диагноз «графомания», я рекомендую вернуться к названию данной статьи.

И. Г. Милославский
Что такое хорошо
и что такое плохо
по Пушкину

- Пушкин был революционер.
- ???
- Он писал: «Октябрь уж наступил!»

Из старого анекдота

Наверное, празднование юбилея А. С. Пушкина приведет к тому, что его строки будут одними впервые прочитаны, другими перечитаны, третьими заучены наизусть, четвертыми произнесены по радио или с экрана телевизора, пятыми... Однако остается неясным и непроверяемым то, насколько близко удастся в результате этих занятий приблизиться к миру личности Пушкина, к его мыслям, чувствам и оценкам. Мы, разумеется, можем гордиться тем, что многие пушкинские строки выступают для наших современников в качестве прецедентных текстов: *Уж небо осенью дышало, Любви все возрасты покорны, Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил...*

Однако остановимся на минуту и попросим продолжить строфу, начинающуюся утверждением о великой силе любви. Обычно вопрос либо остается без ответа, либо удается услышать продолжение из арии Гремина, к тексту которой сам А. С. Пушкин не имел никакого отношения, как и к задаче, стоявшей перед создателями оперы «Евгений Онегин», — написать эффектную арию для баса. Впрочем, в арии Гремина, утверждающей радость любви для людей любого возраста, содержится мысль, абсолютно противоположная той, которая имеется в соответствующей строфе романа А. С. Пушкина:

...Но юным девственным сердцам
 Ее порывы благотворны,
 Как бури вешние полям...

...Но в возраст поздний и бездомный
 На повороте наших лет
 Печален страсти мертвый след...

А кого именно, *нас*, заметил старик Державин? На этот абсолютно законный вопрос обычно тоже либо вовсе не отвечают, либо сообщают о том, что среди лицейских друзей А. С. Пушкина было немало и других стихотворцев. Н. А. Еськова убедительно разъяснила, что *нас* в этом случае обозначает «автора и его музу». Очевидно, что и в первом, и во втором случае необходимо было хорошо знать те контексты, в которых выступают соответствующие пушкинские строки, последующий — в первом случае и предшествующий — во втором.

Но бывают задачи потруднее. Среди них та, которую поставил С. М. Бонди. Читаем у А. С. Пушкина:

И с отвращением читая жизнь мою,
 Я трепещу и проклиная,
 И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
 Но строк печальных не смываю.

Что значит *не смываю*? Даже и «не пытаюсь» или «не могу, хотя и пытаюсь».

Подобная неопределенность вообще характерна для многих русских глаголов не совершенного вида с отрицанием (*не понимаю по-немецки, не разжигаю костер, не встаю с кровати* и мн. др).

Справедливости ради отмечу, что более вероятным (sic!) является именно первое значение, отрицающее сам факт действия, а не обозначающее его безрезультатность. Однако существенно, что в ситуации с последней задачей недостаточно просто более широкого контекста, необходимо понять, в каком именно значении употреблено А. С. Пушкиным то или иное другое слово.

Бесспорно, язык произведений А. С. Пушкина, хотя и понятен его нынешним читателям, претерпел за прошедшие полтора века существенные изменения. Одни из этих изменений лежат на поверхности, касаясь либо существенно изменившейся социальной или технически бытовой стороны жизни, либо формы языковых знаков.

Очевидно, что пушкинские *вельможи, поручики, статс-дамы, камерюнкеры, возки, свечи, трактиры* не соотносимы с нынешними *дилерами, ядерщиками, спичрайтерами, самолетами, пейджерами, телевизорами* или *Макдоналдсами*. В современном языке не употребительны встречающиеся у А. С. Пушкина слова *любоначалье* или *мелкомыслие*, сейчас глагол *убежать* не сочетается с родительным беспредложным имени (*тленья убежит*), а вместо *натуг* говорят *натуга*.

Однако наиболее важными для глубокого и верного проникновения в пушкинский мир являются те случаи, когда изменялась не форма, но значение тех слов, которые употребляются и в современном русском языке, и в языке А. С. Пушкина. Профессор П. Я. Черных даже составил небольшой рассказ из слов, значения которых столь существенно изменились за последние полтора века, что сама ситуация, описываемая в этом рассказе, понимается нашими современниками совершенно не так, как она понималась бы во времена А. С. Пушкина.

Впрочем, и эти случаи исторических изменений в значениях слов также в определенной степени лежат на поверхности, отличаясь от тех изменений, которые затрагивают не отношения между обозначаемым и обозначающим, но связаны с авторской оценкой называемого предмета, признака, явления, события, факта, с авторским пониманием того места, которое означаемое занимает в круге других, смежных феноменов.

Как известно, живой язык, в отличие от искусственных знаковых систем (например, знаков дорожного движения) или терминосистем (например, математики или химии), не просто называет, но и выражает отношение к называемому: *разведчик* и *шпион*, *команда* и *банда*, *митинг* и *сборище*, *пунктуальный* и *занудный*, *осторожный* и *трусливый*, *принципиальный* и *неуправляемый*, *наглый*, *бессовестный* и *крутой*, *вонь* и *запах*, *запах* и *благоухание* и мн. др. Со временем эти оценки могут меняться. Так, например, слово *судилище*, имеющее в современном русском языке компонент «неодобрение», не обладало таковым в языке А. С. Пушкина; слово *виновник* в пушкинские времена могло обозначать лицо, являющееся причиной как хорошего, так и плохого, а ныне — только плохого, за исключением шуточного *виновник торжества*.

Теряться или приобретаться со временем могут не только те компоненты значения слова, которые связаны с оценкой, но и те, которые принадлежат сущности означаемого. В языке А. С. Пушкина слова *изувер* и *изуверство* означали высшую степень жестокости только на базе религиозной нетерпимости, а ныне означают всякую крайнюю жестокость вне зависимости от ее мотивов.

Будучи многозначным, слово живого языка, хотя и употребляется в контексте обычно в каком-то одном определенном значении, непременно вызывает в сознании читающего или слушающего весь спектр имеющихся у этого слова значений. Теряя или приобретая со временем эти разнообразные значения, слово как бы меняет свою ауру, причем часто весьма существенно. Так, например, в «Словаре языка Пушкина» слово *гад* зафиксировано только в безоценочном значении «пресмыкающееся или земноводное животное» (*И внял я неба содроганье, и горный ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье*), наше время это значение архаизирует, а на первый план выступает резко отрицательное обозначение лица. Слово *замечательный* ныне обозначает «исключительный по своим достоинствам», а в пушкинские времена оно обозначало не только это, но все, что заслуживало быть выделенным, отмеченным в силу своей необходимости (*Прошло несколько времени без всякого замечательного случая*).

Итак, читая Пушкина, современный читатель должен учитывать, что многие встречающиеся ему и вполне понятные слова обозначают у Пушкина не совсем то, что обозначают они в современном русском языке. Только вычитывая именно то и только то, что имел в виду автор, мы получаем возможность следить за мыслями великого человека, а не подгонять их под привычные для нас, читателей, представления.

Ничегонеделание

Лень — мать всех пороков.

Пословица

*Праздная жизнь не может
быть чистой.*

Чехов

В современном русском языке слово *лень* толкуется как «отсутствие желания что-либо делать», «любовь к безделью». *Ленивый* — это тот, кто *ленится*, т.е. «не хочет что-либо делать», «любит безделье». В этом на первый взгляд вполне ясном толковании не совсем понятной остается, однако, та часть значения, которая покрывается глаголом с почти бескрайней семантикой «делать». Какое именно «делание» имеется в виду? То, что это «делание» может относиться к совсем разным сферам, отмечается и у Пушкина: *А просто молодой чиновник, довольно смиренный и простой, ленивый телом и душой*. Это обычное неразличение в русском языке физического и духовного по отношению к словам *лень*, *леность*, *ленивый* породило в нашей общественной мысли множество псевдопроблем. Обломов, лежащий в халате на диване и ужасающийся перспективе переезда со старой квартиры, конечно же, фантастически, карикатурно «ленив физически», хотя едва ли «ленив духовно». Его антипод Штольц, разумеется, физически ни капельки не ленив, зато в сфере духовной он явно прокламирует «нежелание что-либо делать», заявляя жене: *...Мы не пойдем вслед за Манфредами и Фаустами на борьбу с мятежными вопросами*. А вот жители Обломовки, как они описаны И. А. Гончаровым и в отличие от фильма Никиты Михалкова, ленивы и физически, и духовно.

Именно в физическом смысле следует понимать пушкинские строки: *Нехорошо, мой сын, на счет чужой лениться. Советую тебе скорее отучиться от этого греха*. Совершенно очевидно в этом случае отрицательное отношение автора к поведению, обозначаемому словом *лениться*. Зато в другом случае обозначается скорее духовная сущность соответствующего состояния: *Приди, о лень, приди в мою пустыню, тебя зовут прохлада и покой; в тебе одной я зрю свою богиню; готово все для гостии молодой*. То же самое и в другом месте: *Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою, с любовью, леностью провел веселый век*. Существенно, что в обоих последних примерах *лень*, *леность* (в духовном смысле!) получают явно положительную авторскую оценку. Выходит, по Пушкину, что предоставленная самой себе, не отягощенная какими-либо делами, навязанными извне, душа человека пребывает в наиболее желательном для нее состоянии. Именно в таком смысле следует понимать такие пушкинские строки: *Блажен, кто в отдаленной сени, вдали взыскательных невежд, дни делит меж трудов и лени, воспоминаний и надежд*. Впрочем адресованные вельможе (слово, в отличие от современного языка, не имевшее в пушкинские времена отрицательного компонента в своем значении) строки эти можно было бы попытаться истолковать для советского читателя и как обличение паразитизма высших классов. Видимо, по Пушкину, «безделье» для души как для живой субстанции не может означать «отсутствие деятельности» (ср. *мертвые души*), но означает именно такую деятельность, которую она себе сама находит, не побуждаемая внешними обстоятельствами.* Отсюда, как кажется, происходят и другие, более или менее существенные различия в представлениях, стоящих

* Ср. у Н. Заболоцкого совершенно противоположные рассуждения о душе: *«Держи дентайку (подчеркнуто мною. — И. М.) в черном теле... Душа обязана (кем или чем? — И. М.) трудиться и день и ночь, и день и ночь...»*

за смежными словами у Пушкина и у его современного читателя. Это относится прежде всего к словам *праздный*, *праздность*. В современном языке эти слова, обозначая «безделье», «отсутствие полезных занятий», содержат также и отрицательную оценку такого состояния (этимологически связанные *праздник*, *праздновать* семантически очень далеко разошлись со своим предком). В таком же именно значении встречаются эти слова у А. С. Пушкина. Для понимания мировосприятия Пушкина существенно, однако, не то, что слово *праздный* часто имеет у него нейтральное значение «пустой», «незаполненный», «неиспользуемый», но то, что слово *праздность* как квазисиноним *лени* нередко получает у А. С. Пушкина положительную оценку: *Люблю я праздность и покой. И мне досуг совсем не бремя или Я променял порочный двор Цирцей, роскошные пиры, забавы, заблужденья на мирный шум дубрав, на тишину полей, на праздность вольную, подругу размышленья*. И еще. *Цветы, любовь, деревья, праздность, поля, я предан вам душой*. Заметим, что вновь речь идет не о физическом бездействии, но о состоянии души. Нейтральное, безоценочное в современном русском языке слово *досуг* — «свободное от работы время» — нередко получает у А. С. Пушкина весьма положительную оценочную характеристику.

Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга, беззаботной, вольной, холостой жизни, необходимой для писателя или Желать все блага жизни сей, веселый мир души, беспечные досуги. Нередко рядом со словом *досуг* появляется у А. С. Пушкина слово *вдохновенье*: *В соседстве Бештау и Эльбруса живут досуг и вдохновение* или *Рифма звучная подруга вдохновенного досуга, вдохновенного труда*.

И еще одно слово — *отдохновение*. В современном русском языке оно определяется как устаревшее и обозначающее то же самое, что и слово *отдых*. Не совсем то у Пушкина, где *отдых*, равно как и *отдыхать*, *отдохнуть*, употребляются только в физическом смысле (*Остановить войска для отдыха*), а *отдохновение* — в несколько ином: *Скука — отдохновение души. Нам приятно видеть поэта ... и в отдохновении чувств. Не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство... как на отдохновение чувствительного человека*.

Итак, *леность*, *праздность*, *досуг*, *отдохновение* — вот те слова, которыми А. С. Пушкин определяет желаемое душевное состояние человека. И это едва ли совпадает с расхожими современными представлениями о труде как о высшей ценности, а о *досуге* и *отдыхе* как о кратких, более или менее приятных периодах заслуженного трудом ничегонеделания.

Разумеется, слова *работа*, *работать*, *трудиться*, *трудолюбивый* соединяются у А. С. Пушкина с исключительно уважительным, похвальным отношением, но никак ни с восхищением, любовью или страстным желанием (Ср. патетическое восклицание Е. К. Лигачева: «*Чертovski хочется работать*», где, однако, остается не совсем ясным, о какой же именно работе мечтает автор. У Пушкина: *Да, верь ему. Когда князья трудятся, и что их труд? Травить лисиц и зайцев, да пировать, да обижать соседей. Да подговаривать вас, бедных дур. Он сам работает куда как жалко*.) Не вдаваясь в вопрос о пушкинском отношении к труду вообще и различным его видам в частности, отметим лишь весьма сниженные прозаические контексты, в которых выступает у А. С. Пушкина слово *трудолюбие*, имеющее в современном русском языке исключительно высокую положительную оценочную характеристику. *Расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал и доставит мне покой и независимость*. И еще. *Я нажил себе и дом, и деньги, и честное имя — а чем? Бережливостью, терпением, трудолюбием*. Видимо, добродетели, связанные с трудовой деятельностью, отнюдь не принадлежали для А. С. Пушкина к той горней сфере существования духа, пребывать в которой он страстно желал, куда так безоглядно стремился. Что же мешало ему в этом устремлении? Конечно же, разнообразные заботы. Слово *забота* в современном русском языке имеет по крайней мере два значения, поскольку образовано от глагола *заботиться*, предполагающего как объект деятельности, так и ее субъект. Очевидно, что для объекта *забота* является феноменом положительным. Именно в таком смысле употреблено это слово в предвыборном плакате *Сильным — работу, слабым — заботу*. В этом случае предполагается, что субъектом, генерирующим заботу, принимающим на себя малоприятные обязанности, является нынешний кандидат. Вне этих рамок обсуждаемый лозунг по крайней мере неоднозначен. Его можно понимать, например, и в том смысле, что сильные так работают, что слабым этого и не расхлебать.

У А. С. Пушкина слово *забота* выступает со стороны субъекта и, соответственно, обозначает такие отрицательно оцениваемые вещи, как «беспокойство», «хлопоты», «обязанности». Отсутствие забот, беззаботность, беспечность в современном русском языковом состоянии выступают как нечто сродное дурковатости или, на худой конец, несерьезности, неосновательности, ненадежности. Нормальным, естественным для носителя современного русского языка является именно наличие забот. Весь вопрос лишь в том, насколько их количество и важность могут омрачить жизнь человека. Для А. С. Пушкина же отсутствие забот, пусть и нечастое, но вполне естественное, нормальное душевное состояние: *Быть может, уж недолго мне в изгнание мирное оставаться, вздохнуть о милой старине и сельской музе в тишине душой беспечно предаваться*. Или почти хрестоматийное *Друзья мои, прекрасен наш союз!.. Неколебим, свободен и беспечен срастался он под сенью дружных муз!* И еще. *Беспечно и радостно полагаюсь на тебя в отношении моего Онегина*.

Итак, в отличие от современного массового сознания идеал А. С. Пушкина вовсе не в области трудовой деятельности, разумно прерываемой для заслуженного отдыха и досуга и в меру отягощенной различными заботами и обязанностями. Идеальное душевное состояние для Пушкина — это то, когда ничего даже не хочется (*лень, леность*), когда можно ничего не делать, заслуженно или незаслуженно (*праздность*), или заслуженно (*досуг, отдохновение*), когда можно быть свободным от всяких забот (*беспечность*).

В соответствии с этим и многие слова, относящиеся к тому, что можно было бы назвать праздником души, не имеют у А. С. Пушкина обличительных наименований, а оцениваются скорее как милые шалости, заслуживающие не осуждения, но лишь снисходительной улыбки. Рассмотрим некоторые из этих слов.

Повеса. В современном русском языке неодобрительно о молодом человеке, проводящем время в легкомысленных проказах, затеях, бездельничанье. Видимо, для А. С. Пушкина это слово значило примерно то же самое, только легкомысленные проказы и затеи виделись ему не только с неодобрительной стороны, а безделье не всегда казалось ему предосудительным. Иначе как понять следующий отрывок: *«Молва уверяла, что в молодости он был ужасным повесою, и (! не но, подчеркнуто мною. — И. М.) это не вредило ему в мнении Марии Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера»*.

Гуляка. Характеризуемый этим словом человек гуляет слишком много и в силу этого осуждается как нарушитель некоторой условной нормы. У А. С. Пушкина это слово выступает с такими определениями, как *беззаботный, праздный, празднюлюбивый* (см. об этом выше).

Похмелье. В современном русском языке это слово обозначает плохое физическое самочувствие после (и по причине) неумеренного употребления спиртных напитков и имеет множество разговорных и вульгарных квазисинонимических обозначений. У А. С. Пушкина слово это многозначно, причем в двух других, отсутствующих в современном русском языке значениях оно обозначает вещи отнюдь не неприятные, а именно «пирушка, попойка» (*Идет похмелье, гром и звон, пир весело бушует*) и «опьянение» (*Зови же сладкое безделье, и легкокрылую любовь, и легкокрылое похмелье*).

Гораздо менее осудительными, чем для нынешнего носителя русского языка были для А. С. Пушкина слова *ветреный, ветренность*, ныне связанные только с *легкомыслием* и *пустотой*, а для А. С. Пушкина и с *легкостью, непринужденностью, игривостью*. Например, *Здесь город чопорный, унылый; здесь речи — лед, сердца — гранит, здесь нет ни ветренности милой, ни муз, ни Пресни, ни харит. И баловень, по Пушкину, не столько «испорченный слишком свободным воспитанием», т.е. «плохо ведущий себя из-за того, что имел плохих воспитателей», но также «счастливцев, удачликов», «человек, наделенный от природы необыкновенными качествами, способностями, дарованием». И созерцать — «внимательно смотреть, следить глазами», по Пушкину — вполне достойное занятие (*Ангел Рафаэля так созерцает Божество*), оно не дискредитируется противопоставлением научному проникновению в сущность вещей. И даже *врать, враль, враки* для Пушкина не только предосудительное дело, но и занятное времяпрепровождение: *Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина порою той, что названа порою меж волка и собаки*.*

Общежительность

Сладок будешь — расклюют.

Горек будешь — расплюют.

Современная поговорка

Объем значения слова *общежитие* в «Словаре языка Пушкина» и в современных словарях русского языка существенно различаются. В последних — на первом месте «помещение для совместного проживания» и лишь на втором не очень ясное «общественный быт, обиход». Для Пушкина же *общежитие* — это прежде всего «умение вести себя в обществе»: *«Их разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне, конечно не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни острою, ни умом, ни общежития искусством.* Более того. *Общежитие, общежительность* связаны у Пушкина с уживчивостью, уступчивостью, легкостью в общении: *Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые или Они (грузины) вообще нрава веселого и общежительного.* Умение уживаться, мирно жить, ладить с другими людьми, по Пушкину, как кажется, невозможно без такого качества, как *услужливость* — «готовность оказать услугу, подействовать, помочь».

Например, *Услужливый, живой, подобный своему чудесному* (подчеркнуто мною. — И. М.) герою, *веселый Бомарше блеснул перед тобою или Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости.* В современном употреблении слово *услужливый* имеет скорее отрицательный оценочный компонент, как бы намекая на подчиненное положение, вынуждающее оказывать услуги другим ценой потери собственного достоинства либо с чувством обреченности, либо имея в виду тайную корыстную цель. Подобные же изменения в оценочном элементе значения обнаруживаются и в словах *подобострастие, подобострастный.* Современные словари толкуют эти слова как нельзя более отрицательно, педалируя в них такие семантические составляющие, как потеря собственного достоинства и лживость: «раболепный, угодливо-покорный, лживый». У Пушкина же этими словами обозначается искреннее глубокое уважение, крайняя почтительность, преклонение, отнюдь не роняющие чести и достоинства того, кто такое отношение выражает: *Члены встретили его с изъяснениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности, а также Около Пугачева стояло несколько из его главных товарищей с видом притворного подобострастия.* Конечно, трудно точно определить, какое же именно поведение Пушкин называл положительными для него словами *подобострастие* или *услужливость*, а какое отрицательным — *холопство*. Однако, как кажется, наиболее распространенные ныне типы достойного, по мнению общества, поведения несколько смещены по сравнению с пушкинскими понятиями в сторону весьма вульгарно понимаемого демократизма. Пушкину не казались предосудительными или, по крайней мере, подозрительными ни искренние признания превосходства другого, ни готовность оказать другому какую-либо услугу. Существуют и косвенные подтверждения справедливости такой мысли. В настоящее время глагол *угождать* толкуется как несовершенный вид к *удодить* «сделать кому-либо приятное, нужное». За пометой «несовершенный вид» скрывается в этом случае значение «многократно», и это уже создает «перекос», превышение нормы, в результате соответствующее действие оказывается оцениваемым отрицательно. В большинстве пушкинских контекстов *угождают* либо нейтральному (*моде, духу времени, вкусу*), либо дурному (*посредственности, прихотям, неприязни, черни*). Последнее характерно и для современного употребления глагола *угождать*. Но у Пушкина находим и хрестоматийное, хотя для нашего предмета очень важное и совершенно неожиданное *угождать себе: Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать.* И здесь *угождать* уже не имеет никакой отрицательной оценки.

И еще одно. В словаре Пушкина, дворянина, живущего при крепостном праве, почти не находим ни уничижительных обозначений лиц названиями животных, ни *холуя*, ни, конечно же, *опущенного* или *шестерки*. Может быть, пребывающий в полуголовном мире современный русский человек настолько боится того, что его превратят в *шестерку*, что это и заставляет его бежать таких столь важных для здоровой общежительности вещей, как готовность помочь (*услужливость*) и уважение по заслугам (*подобострастие*)?

Перемена приверженности

А Я говорю вам: не клянись вовсе...

Евангелие от Матфея 5, 34.

Как в современном русском языке, так и в языке Пушкина слово *изменник* выступает исключительно со значением минус. Хотя, впрочем, глагол, от которого образовано наименование лица, имеет самые разнообразные значения, в том числе и совершенно нейтральные с точки зрения оценки. Другое дело слово *предатель*. Будучи только отрицательно окрашенным в современном русском употреблении, слово это у Пушкина выступает нередко и в таких контекстах, где отрицательная оценка явно смягчена. Это видно даже в хрестоматийном *На всех стихиях человек — тиран, предатель или узник*.

Пожалуй, категорическая осудительность в слове *предатель* затрудняет в наше время использование его в шуточных контекстах и по отношению к не-лицам (В этом случае мы, наверное, скажем *изменник*). Для Пушкина таких ограничений нет. Например, *Увы мне, метроману, куда сокроюсь я? Предатели-друзья невинное творенье украдкой в город шлют и плод уединенья тисненью предают* (обратим внимание на игру слов *предатель — предать* в значении «подвергнуть действию») или *Досель я был еретиком в любви. Младых богинь безумный обожатель, друг демона, повеса и предатель... Раскаянье мое благослови*. У Пушкина находим *предательную грудь* и *замки, предательскую дверь*.

Слово *отступник* в современном русском языке обозначает человека, который отступил от прежних убеждений, причем таких, которые признаются говорящими правильными. Еще совсем недавно в официальной пропаганде можно было услышать об отступниках от марксизма, материализма, но не от генетики или кибернетики. В последних случаях следовало говорить о перемене взглядов. Что, как, например, перемена вкусов или привычек, едва ли может быть предметом решительного осуждения. Именно в таком неосудительном смысле и употреблял слово *отступник* Пушкин: *Отступник света, друг природы, покинул он родной предел и в край далекий полетел как веселым призраком свободы или Отступник бурных наслаждений, Онегин дома заперся*.

Только в сугубо отрицательных контекстах выступают у Пушкина слова *переметчивость* и *переметчик*, связанные, как кажется, с беспринципной переменой своих взглядов и убеждений, с тем, что в современном русском языке скорее всего следовало бы обозначить как *конъюнктурищик* (с отсутствием абстрактного названия для самого этого свойства). Например, *Сословие журналистов есть рассадник людей государственных — они знают это, и, собираясь овладеть общим мнением, они страшатся унижать себя в глазах публики недобросовестностью, переметчивостью, корыстолюбием или наглостью или Оно выбрало меня в свои члены вместе с Булгариным, в то самое время, как он единогласно был забаллотирован в Английском клубе... как ишион, переметчик и клеветник*. Очевидно, что существующий в современном русском языке просторечный глагол *переметнуться* — «перейти на сторону врага» — не совсем точно ориентирует нынешнего читателя в интерпретации соответствующих пушкинских производных.

Различаются также пушкинское употребление и толкование в современных русских словарях слова *перебежчик*, толкуемое в последних как «тот, кто перебежал к врагу, изменник», а у Пушкина выступающее в значении «перешедший на другую сторону»: *А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость*.

Последнее рассматриваемое в этом ряду слово *переимчивый*, получающее в современном русском языке скорее нейтральное, чем отрицательное наполнение, у Пушкина же выступает скорее как положительное, чем нейтральное: *Волшебный край! там в стары годы сатиры смелый властелин блистал Фонвизин, друг свободы, и переимчивый Княжнин или русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам и, пожалуй, самое убедительное: Переимчивость их (русских крестьян) всем известна, проворность и ловкость удивительна*.

Итак, круг слов, относящихся к обозначению перемены приверженности, у Пушкина устроен не совсем так, как в современном русском языке: от пика отрицательности в *изменник* к *переметчику* и *предателю*, далее к нейтральным *пере-*

бежчику и отступнику и до положительного *переимчивый*. Современные представления более категоричны: от пика отрицательности в *предателе, изменнике, отступнике* далее к отрицательным же *перебежчику* и *переметнувшемуся* и, наконец, единственному нейтральному *переимчивый*. Говорит ли это наблюдение о том, что мы стали более нетерпимыми, менее снисходительными, менее толерантными по сравнению с Пушкиным? Или более принципиальными?

О группах людей

*Народ без интеллигенции
превращается в сброд.*

Б. Васильев

Ни слово *народ*, ни слово *простонародный* у Пушкина никогда, как это показывает «Словарь языка Пушкина», не связываются с отрицательной оценкой ни в каком значении.

Также не имеет у Пушкина отрицательной оценки и слово *стадо* в значении «людское скопление», что, без сомнения, связано с евангельской традицией.

Несколько иное дело — слово *толпа*, употребляемое Пушкиным, в частности, в значении «множество обыкновенных средних людей, в отличие от одаренного, выдающегося человека»*, в котором, конечно же, есть отрицательный оценочный элемент, какой всегда существует в отношении знатока к профану, специалиста — к дилетанту, просвещенного — к невежде, многоопытного — к новичку. Причем этот отрицательный компонент тем сильнее, чем сильнее единство и мощнее численное превосходство. Жаль, что современные словари (в угоду охлократии?) не фиксируют последовательно этого значения у слова *толпа*. Утрата этого феномена в жизни и, следовательно, необходимости обозначать его в языке будет верным симптомом гибели общества.

Конечно же, резко отрицательную оценку имеет у Пушкина слово *чернь*. Хотя остается не совсем ясным, какое именно конкретное значение вкладывал Пушкин в это слово. Однако же заведомо не такое, какое, в частности, находим в одном из современных русских словарей: «В буржуазно-дворянском обществе, высокопарно-презрительно: о людях, принадлежащих к непривилегированным, эксплуатируемым классам». Это определение нельзя принять хотя бы потому, что у Пушкина встречаем *...кто черни светской не чуждался...*, *...ропот знатной черни...* Анализ пушкинских контекстов, в которых выступает слово *чернь*, позволяет предположить: им обозначались такие группы лиц в любом круге общества, которые не ограничивают свое поведение существующими этическими нормами, отдавая приоритет лишь естественному праву, что проявляется, в зависимости от положения лица, в убийстве или мошенничестве, в клевете или плетении грязных интриг.

Итак, без всякой предвзятости относясь к народу, Пушкин понимал, что состоит народ в основном из простых обыкновенных людей, способных составлять толпу, а кроме того, Пушкин видел, что в народе, почти во всех его группах, существуют люди, готовые попирать этические нормы, *чернь*. А разве это отличается от современных социологических представлений, хотя и не совпадает с той русской языковой картиной, которая сложилась в этой области за период от пролетарской революции до развитого социализма?

Без всякой оценки употребляется у Пушкина слово *вождь*, имеющее в современном русском языке положительную оценку, правда, в последнее время несколько поколебленную. У Пушкина *вождь* чаще всего низводится до «проводника»: *Но мудрый вождь тащил меня все дале, дале — И, камень приподняв за медное кольцо, сошли мы вниз* или ограничивается до «военачальника»: *На битву взором вдохновенья вожди спокойные глядят, движенья ратные следят*.

Зато резко отрицательную оценку получает у Пушкина слово *возмутитель*, употребляемое в значении «подстрекатель к бунту, восстанию, мятежник»: *Вероятно правительство удостоверилось, что к заговору не принадлежу и с возмутите-*

* Ср. современные высказывания: *Серость всегда в кучу сбивается* или *Умеют хорошо журавли, а лебедь — не умеет хорошо*.

лями 14 декабря связей политических не имел. Таковую же отрицательную оценку имеет и слово *возмутительный* со значением «подстрекающий к мятежу, бунту, восстанию». С учетом представлений Пушкина о составе народа подобные оценки слов *возмутитель* и *возмутительный* абсолютно понятны.

Заметим, что в современном русском языке слово *возмутитель* имеет в качестве объектов лишь *покой*, *тишину* или *порядок*, субстанции по преимуществу беззочные и, следовательно, нарушение которых также не содержит оценку. Слово же *возмутительный* имеет в современном русском языке лишь оценочное значение «плохой», оставаясь по денотативной сущности совершенно пустым.

* * *

Заблуждения могут сталкиваться с другими заблуждениями, но истины всегда поддерживают друг друга.

С огорчением предвижу раздражение читателя. Разве мы и раньше не знали слов Пушкина *на свете счастья нет, но есть покой и воля*, и поэтому в рассуждениях о лени, праздности и беспечности, по Пушкину, нет ничего нового. Разве мы раньше не знали, как тонок и деликатен был Пушкин с друзьями, уважителен к личности другого человека? А уж на тему «Пушкин и народ» написано столько, что лишь одновременно очень необразованный, очень глупый и очень самонадеянный человек рискнет пытаться прибавить к этому что-то новое, свое! И все же...

Не для пушкиниста, по призванию, по профессии, по подвижническим разысканиям, но для каждого человека «из толпы», обычного, простого, заурядного, хотя и не винтика, не материала для гвоздей и не кандидата в чернь, важно просто читать Пушкина. Причем читать не только глазами, но и умом и сердцем, с максимально точным и глубоким пониманием именно того, что хотел сказать Пушкин, и особенно того, как именно оценивал он ту или иную вещь, событие, свойство, ситуацию. Пушкинские мысли, как и собрание народных пословиц и поговорок, исключительно противоречивы: в них можно найти и оправдание, и осуждение одних и тех же вещей и ситуаций. *Не спеши языком — торопись делом* и *Слово горами движет*, *Без труда не вынешь и рыбку из пруда* и *Трудом праведным не наживешь палат каменных*, *Береги честь смолоду* и *Нельзя у воды быть и не замочиться*. Тем важнее понимать, в каких именно ситуациях справедливо одно, а в каких другое. А понять это возможно только будучи исключительно внимательным к тому, в каком именно значении и в каких именно окружениях употреблял Пушкин свое слово. То самое слово, которое дошло до нас часто совершенно искаженным и ложно ориентирующим, затемняющим ту мысль и чувство, которые вкладывал в них автор.

Наблюдатель

рецензии

За границу барокко

Игорь Клех. Инцидент с классиком. — М.: Новое литературное обозрение, Соло, 1998. — 256 с.

Начнем с фразы, разрастающейся и ветвящейся, похожей на махровую сирень на пустыре (тем более, что о пустыре — склоне заброшенной цитадели — речь и идет): «На кубы сброшенного с обрыва снежного пенопласта, на вылазки отходов и мусора, на разорвавшийся чемодан с пожелтевшим, покрытым испариной на солнце, порченным салом, на минные поля винных пробок, не одним поколением втоптаных в землю, склон каждую весну отвечает штурмом: залпом из сотен стволов на километр, взрывом соцветий и дымовой завесой цветения, парашютными десантами, смертоносным ароматом, карабкающимся по приставным лесенкам, — бесшумными разрывами черемухи и сирени, белыми облачками, зависшими над контуженным городом, — над полем боя, как на старинных батальных гравюрах, — воскрешая те далекие времена, когда две враждующие армии поздней осенью, так и не вступив в генеральное сражение, прерывали кампанию, заключали перемирие и неторопливо, с предпраздничным чувством, расквартировывались на зимних квартирах, поближе к теплу, фуражу, полногрудым ухоженным хозяевам, к кладовым с окороками и колбасами и, разумеется, винным погребам...»

Конечно, это барокко — с его прихотливыми поворотами темы и каскадами сравнений. А еще — риторическое отрицание: «Может, кто-то берется передать эту внутреннюю прохладцу, бьющую из каких-то невидимых ключей в бушующем садах Славянске; этот оставшийся с ночи сырой колодезный воздух, который всей кожей, легкими, жабрами вбирает тело девятилетнего мальчишки..., полупрозрачное почти на просвет — как тело малюка, в животе которого лишь ракушки да мелкие камешки..., кто опишет это утро, сияющее взлететь, оторваться, как наволочка на ветру? Я — пас». А еще — перечни

птиц или посуды на кухне. Или экспедиции в кошмарные сны (ну конечно, «жизнь есть сон»). И явь — с ужасом текущего времени («Сорок. Как вбитый в доску на 2/3, искривившийся гвоздь, который будет добит несколькими мощными ударами. Как повернутый в двери наполовину ключ.») или смертельной тоской («Но нигде так не нужен Бог, как в райцентре. Нигде не искал я его с такой смертной тоской в сердце, как там. В мертвом ящике своей груди искал я его на уродливейшей из площадей — автостанции, с забором, доверху забрызганным автобусной грязью, с сиплым репродуктором, с кассами под стеной пустоглазого костела, где всмятку сапогами разбиты дороги, где швейная фабрика в стенах монастыря...») — порой ужаснее всякого сна.

Игорь Клех — из Львова — с барочной границы России и Запада (есть еще готическая — Прибалтика).

Но это барокко, помноженное на обостренный взгляд человека XX века. Мир Клеха очень предметен (а характерных для барокко аллегорий в нем нет вовсе). Само слово материально: «Засушка строк. Когда они высохнут на солнце и станут ломкими, зимним вечером можно будет приготовить из них что-то на первое». Скорее границы между словом и вещью нет вовсе: «Кузнечики... взлетают над лугом, будто ликующие отглагольные рифмы».

Барокко тяготело к огромному — а у Клеха необыкновенно интенсивно восприятие и самой малой вещи. «Он обжег пальцы, настолько поразила его жизнь спички, — краткое, длиною не больше октавы, сочинение в цвете для всех слепых и глухих, всех отпавших от Бога и упокоившихся, всех заведенно спящих по узкой тропе между спячкой и снами, всех слабодушных и бесчувственных, — и вот уже только обугленный крученный нерв ее зажат между двумя пальцами». И столкновение с самыми обычными вещами на кухне — в которых вдруг обнаруживаются их жизнь, история, воля — столь обжигает, что остается только спастись бегством.

Но и эта вещность — не последнее дно, а «обманчивое ветхое покрывало, оптический фокус, создаваемый интерференцией невидимых, но ощутимых, протекающих волновых энергий, лежащих в основе мира». Мира, попавшего в плен «бесконечной фабрикации материализующихся метафор, обращающихся на глазах в сор. И единственно что здесь важно — это сам длящийся момент трансформации, в котором и заключена искомая и ускользающая, утрачиваемая жизнь». Для уловления ее и нужен такой разветвленный — как щупальца осьминога — стиль. И потому Клех так не любит фотографию, которая «обкрадывает наше настоящее и прошлое, внося помехи в процессы восприятия и памяти».

Стиль Клеха разрастается не только метафорами, но и рефлексией, эссе. Выяснением отношений с архетипами — например, деревом и камнем — при помощи пословиц и сказок. «Отношения русских людей с камнем напряжены и затруднены, — «камень в огород», «камень за пазухой»..., «от трудов праведных не наживешь палат каменных»..., третий поросенок не мог быть русским даже по бабушке. Ни в одном из русских монастырей не стали бы искать «философский камень», по определению». Причем смыслы можно извлекать и из фонетики: «За Пиренеями отмечается некое неизученное заблуждение звука «и». И без того острый, он становится свистящим, словно язык варана или рыболовный крючок, неуловимым, как хвост пригретшейся на солнце ящерицы, и коварным, будто молниеносный выпад закамуфлированного богомола — самого испанского из всех насекомых: Испания, инквизиция, иезуиты, Игнатий...»

А за играющими в домино больными инфекционного отделения встает Dominus — Господь, а «Рыба!» напоминает об одном из знаков Христа ИHTYS. И всякий близкий предмет в родстве с далекими и уводящими вдаль — от горшка дорога к бочке, а от той — к кораблю.

Клех показывает, что можно пользоваться постмодернистской свободой, оставаясь при понимании искусства как авторского, как произведения, а не деятельности «по поводу». «Радио не ставит вопросов, оно — отвечает», — и потому оно — вампир, на которого нужна серебряная пуля. «Голливуд коммунистичен ровно в той мере, в какой он стремится к исполнению желаний», «есть сцены, особенно в конце, построенные по самым кондовым законам соцреализма даже не

советского, а китайского образца» — это о спилберговском «Списке Шиндлера».

Клех пользуется своей свободой для встречи — с Гоголем или Бруно Шульцем (не случайно среди издателей книги — журнал «Новое литературное обозрение»). Для выработки нового языка. И Шульц интересен Клеху не только своей галицийской жизнью или той же барочной пышностью (хотя и ими тоже), но также как один из тех прозаиков XX века, «которые произвели внезапную и стремительную операцию по захвату территорий поэзии, смело введя языковую проблематику в плоть своей прозы, сделав упор на фактуру слова и долготудыхания фразы».

Разумеется, среди такого многообразия найдется то, что покажется лишним. Например, описание секса с сельхозтехницей в духе В. Сорокина. Вполне «капустниковые» шутки о Хрущеве и Черномбыле. Соцартовский текст «О Сталиных». Подражание «Литературным анекдотам». Впрочем, Клех едва ли не знает сам цену этому — один из таких текстов имеет подзаголовок «Упражнение». А с другой стороны, барокко свойственна некоторая избыточность. И почему бы не написать иронический гимн салу или не рассмотреть русский блин как срез мирового дерева.

Клех знает, что «описание — ложный друг прозаика. Оно, как вата в подсолнухе, несъедобно». Но соблазна описательности Клех не всегда избегает. А сколько уже авторов перед зеркалом произносили монологи о непонятности для них отражающегося там человека... Порой Клех говорит о даре, оклике свыше, о болезнях, насылаемых на автора, сопротивляющегося этому голосу, а отсюда уже недалеко до — вполне барочной, но сейчас едва ли состоятельной — позиции автора-проповедника. И Клех поддается порой соблазну говорить притчами — о кривом стекле, например.

Но это не столь важно. И не столь важно — хотя важно, конечно, что выпала жизнь на развалинах, где архитектура загадочнее людей, а одна из задач — собирать обломки.

Важно, что появляется трудное умение жить и на границе времен тоже. На границе Львова позднего средневековья, переполненного жизнью и неродного для всех, величественного и сочащегося нечистотами или вонью бычьих кишок — и современной «тошноты»: «белый лист колышется у него перед глазами. Пытаясь ухватиться за его несуществующие

края, удержать головокружение, он сглаживает вновь подступившую к горлу тошноту — сгусток жеваного папье-маше, в котором одна желчь, слюна, дурная кровь, перемешанная с буквами алфавита». На границе жизни Каллимаха Буонаккорси, итальянского авантюриста? поэта? гуманиста? — и современного усталого и рефлектирующего человека. «Не во времени же тебя занимает встреча с Каллимахом — этим львовским фантомом итальянских кровей... Не во времени ты желал бы встретиться с ним, а в другом месте — там, где стягиваются меха пространства и успокаиваются времена, и можно выпить чаю, и уже ни о чем не надо говорить...»

И сквозь скитания современного человека с сухим воздухом в легких по современному аду коридоров, контор, этажей со свисающими проводами и укутанными от пыли люстрами — прорастает возрожденческий диалог или великолепие архиепископской молитвы: «Гулом отдавались в выстуженном за ночь камне костела первые слова молитвы, заставляя очнуться его пустопорожнее тело, — трением, столкновением и раскачиванием бронзовых латинских шаров, парком дыхания заставляя постепенно разогреться, испариной покрыться его стены и круглые стекла витражей, — и начать вторить человеческим словам, на весу поддерживая, вынашивая и не давая ему коснуться пола, из слов составляя — СЛОВО — шар: давлением сжатый глоток горного воздуха, серебристый пузырек кислорода под водой, что, достигнув критического размера, вдруг отрывается от дна и стремительно уносится вверх, чтобы на ослепительной границе двух миров исчезнуть — на острие, короче сабельного взмаха».

«Строй свой невидимый город, выводи гнутые шпангоуты своего ковчега — баржи мертвых — вот костяк его на распорках белеется посреди континента, маячит в страшной суши, как мираж, обсессия, бред...» А награда — переполнение жизнью, приходящее к человеку здесь и сейчас: «Не в силах больше выносить протекающей через его глазницы внешней силы — большей, чем он сам, большей, чем способность к плачу и доверие к открытости и полноте смысла всего живого и мертвого — он поднес руку к глазам. Под пальцем его на виске билась жилка. Здесь мы и оставим его — на скамейке в Привокзальном сквере, — в лучшую минуту его жизни, готовым ко всему».

Александр Уланов

«А сколько работы еще впереди!»

Новелла Матвеева, Иван Киуру. Мелодия для гитары. — М.: Аргус, 1998. — 416 с.: илл., ноты. Новелла Матвеева. Пастушеский дневник. — М.: Библика журнала «Вагант», вып. 263—271, 1998. Новелла Матвеева. Сонеты. — СПб.: Искусство — СПб, 1998. — 336 с.

1998 год стал вехой в жизни Новеллы Матвеевой. Ей — первой! — присудили отечественную Пушкинскую премию, и у нее вышли три весьма своеобразных «собрания сочинений».

Каждое из них интересно по-своему. Уже при первом беглом просмотре впечатляет «Мелодия для гитары»: твердая красивая обложка, обилие фотографий, ноты к наиболее известным песням, которые вот уже более тридцати лет у многих «на слуху», прекрасный подбор произведений, статья Ивана Киуру о Н. Матвеевой и ее воспоминания — о нем и о матери, стихи не только самой Н. Матвеевой, но и ее мужа, матери, брата, а также интервью — послесловие о творческой лаборатории.

«Пастушеский дневник» открывается весьма характерным предисловием известного ученого-океанолога и «барда» А. Городницкого: «Оглядываясь назад, не могу не признаться, что именно подобные сине-зеленым акварелям, пахнущие морской солью и солнцем, нагретым палубные доски, песни Новеллы Матвеевой заставили меня в свое время навсегда связать свою судьбу с океаном. Мне нестерпимо захотелось увидеть и ощутить наяву так ярко нарисованный ею шумный и многокрасочный мир...»

Сам «дневник», написанный двадцатилетней Матвеевой и фактически являющийся ее дебютом в прозе, кроме владения разоблачающим образным словом («лицо со взглядом, тяжелым, как копыто», «избранное из брани, истинная конюшенная классика»), интересен реалиями ее внешней и внутренней жизни в ту пору («Мы, наша семья, жили вчетвером в шестиметровке и без отопления... я работала без выходных... по девять часов... точно король Лир, много недель провела под открытым небом... мне вообще нравилось — очень! — сравнивать себя с разными персонажами, мысленно погружаясь в другие века и переносясь в другие местности...») Тем более интересны помещенные в «Дневнике» ее сти-

хотворения, написанные в возрасте 10—12 лет.

Сборник «Сонеты» посвящен «Поэту и другу Ивану Киуру, настойчивому воздействию и яркому творческому влиянию которого обязана я этой книгой».

Уже первый из сонетов Матвеевой, написанный в 1958 году, обнаруживает свободное владение этой строгой поэтической формой. Свое личное пристрастие к сонету она выражает с помощью точных и ярких сравнений:

*Нужна узда горячим скакунам,
Обложка — книгам, рама —
всем портретам,
Плотина — разогнавшимся волнам,
Сонет — разговорившимся поэтам.*

В книге 250 сонетов, ранее печатавшихся разве что в специальных изданиях (типа «Вопросов литературы») или же в ранних сборниках — наряду с песнями и стихами для детей.

В том же 1958 году Матвеева заявляет:

*Шекспир — и тот не вычерпал
сонета!
И ковш у родника оставил где-то...*

Но пользоваться предпочитает собственным «ковшом». Для нее сонет — аргумент в споре. Поэтому в преддверии создания «Шекспириады» и «Сонетов к Дашковой» Новелла Матвеева как бы теоретически предвосхищает свой вклад в эту форму:

*Сонет есть реплика.
Один бросок угля.
В жар прений.
Быстрое высказыванье в споре...*

А в предисловии «От автора» она уточняет: «...почти в каждом сонете обоих циклов, посвященных великому поэту, заключается та или иная (спорная или удачливая, но опять же собственная моя) догадка о нем». Таким образом, ее сонет обнаруживает свою вдвойне творческую природу. Так, например, к сонету «Роль тени и тень роли» Новелла Матвеева избирает эпиграфом нечто из услышанного в интеллектуальной толпе: «...ну и выступил он в роли Тени убитого короля, потому что очень уж плохой актеришка был...» Категорически отвергая эту не новую «версию», она пишет сонет «И уж так ли мала эта роль?»

*...Кто ж помнит голос чести?
Дружит с ним?
Кто совести гражданской слышит
зов?
Как видно, слух наш —
не для голосов,
Раз мы считаем страшное —
смешным!
Раз мы согласны, чтобы мир забыл
О призраках, встающих из могил!*

«Так доложило мне Чутье — моя разведка», — сказано у нее по другому поводу. (И если брать самые последние постановки «Гамлета», то «разведка доложила точно»: годы спустя после первых публикаций «Шекспириады» Матвеевой и у П. Штайна, и у Р. Стурра роль Тени отца Гамлета была сочтена важнейшей, а успех в ней М. Козакова и А. Филиппенко всей прессой отмечен как принципиальный.)

В ответ на замечание о том, что в «Шекспириаде» многовато повторов, Н. Матвеева написала: «...Повторы (а вернее — варианты и вариации) тут необходимы, учитывая уже целые столетия недоразумений с Шекспиром. То есть — надо здесь, по-моему, не только повторять, но и долбить что-то! Всесторонне рассматривать даже то, что кажется пустяком, — чтобы опять софисты не увернулись, не сделали вид, что не поняли. Я стремилась не оставлять им лазеек. Другое дело, что все это (или часть) можно было выполнить изящнее, тогда как я сочиняла «Шекспириаду» как будто в горячке! Потому-то и намереваюсь вернуться к ней для дообтесывания углов у некоторых сонетов... сонет не только должен, но даже обязан быть афористичным, а в концовке — особенно!...»

Хлебнув нужды и унижений сама, Новелла Матвеева уже в девятнадцать лет пишет стихотворение «Рембрандт» (см. «Пастушеский дневник»). В нем есть такие строки:

*Он умер в Голландии,
холодом моря повитой.
Оборванный бог, нищий гений...
Бессмертную кисть, точно
жезл королевский, держал он
Над царством мечты негасимой
Той самой рукою, что
старческой дрожью дрожала,
Когда подаянья просил он...*

А к стихотворению «Франсуа Вийон» Матвеева возвращается спустя двадцать

цать лет. Особой болью проникнуты у нее строки:

*Никто и В ВЕКАХ не заступится
За Ваши лохмотья, Вийон.*

И все-таки, преклоняясь перед творцами мировой культуры и сострадав тем из них, кому при жизни не везло, Новелла Матвеева главное свое пристрастие определяет так: «Мой нынешний энтузиазм... — прикованность к сюжетам отечественной истории». Героями ее стихов в разное время становились Фонвизин, Радищев, Жуковский, Пушкин. Но особенно дорог ей XVIII век, а в нем — многими забытая, оклеветанная в справочниках и словарях Е. Р. Дашкова. В своем вступлении к сонетам Н. Матвеева пишет: «Входя в историю Екатерины Дашковой, я столкнулась со столь чудовищными, по моему убеждению, и так далеко зашедшими уже кривоточками о ней, что при всей слабости моих сил и несовершенстве средств я не могла не вмешаться...»

И здесь «догадка» и «чутье» повели автора иным путем, чем в «Шекспириаде». Она обнаруживает в «княгине книг» столько родственного («искры озорства», «смешинки смеха», «нестандартное лукавство», «детскую браваду»), что видит в ней отнюдь не интриганку и участницу переворота (о чем до сих пор талдычат все словари), но прежде всего «придумщицу мелодий и виршей звонких», «тонувшую в партитурах», которые затем «пропали без вести... при всем народе», и так обращается к «двух Академий русской матери» через столетия:

*Так в сердце Вашем, бедном
и геройском,
Сходились, не сходясь,
как войско с войском,
Правдивость нрава
и лукавство века...
...Ваша детская доверчивость —
недуг
Опасный при лобых больших
дворцовых схватках...*

... Под многими созданиями Новеллы Матвеевой — двойная датировка. Это значит, что она возвращается к ним вновь и вновь, «шлифуя» и «дообтесывая» их и пятнадцать, и двадцать, и чуть не сорок лет спустя. Эти «возвращения» — настоящая необходимость для требовательного к себе художника.

«А сколько работы еще впереди!»

(как сказано в одной из лучших ее песен — «Поэты»). «Мне еще многое нужно сделать, — говорит Новелла Матвеева. — Подготовить к изданию книгу Ивана Семеновича (Киуру. — Ф. Н.) — его прозу, стихи. Пишу воспоминания о нем. В этом нахожу силы, в этом вижу свой долг перед его памятью...»

А — перед памятью отца, матери, сестры? Наверное, продолжение мемуаров «Мяч, оставшийся в небе», опубликованных в «Знамени» в 1996—1997 годах? А — выход за привычные рамки, расширение творческого диапазона (ведь только два фильма обогащены ее песнями: «Какой большой ветер!» и «Девочка и пластилин»); пьес было две, а спектакль — только один, хотя и имевший успех, но снятый со сцены; от него остались тридцать три авторские песни, частично опубликованные в «Мелодии для гитары»? А так пока и не завершённый роман «Союз Действительных»? А переводы, один из которых приводит в своей статье «Судьба и песня» Иван Киуру?..

Работы как минимум еще не на одно десятилетие...

Феликс Нодель

Имя Божье на фоне прочих

Юрий Казарин. Поле зрения. Стихотворения 1976—1997. — Екатеринбург: Сократ, 1998. — 336 с. 1000 экз.

На одной из первых страниц сборника наталкиваешься на четверостишие:

*Первый снег еще в охотку
сам с собой шагает в ногу
и на Божьему походку
переходит понемногу.*

Эта «Божьего походка» вызывает поначалу оторопь, а потом радость. Так простенько метафизируется быт и — вместе — обывляются метафизика, бытие. Снег валит не только по воле Бога, но и в ритме, заданном создателем.

Не поминай имя Божье всуе! Для Юрия Казарина Господь — просто сосед, правда, с верхнего этажа. И он поминает его, с годами все чаще — и нормально. Ибо не только глобальный мир может быть назван Божьим, но и мир человеческих подробностей, деталей — того же хозяина. И когда улетающая птица

*забывает, как воздух и Бог,
напоследок в реке отразиться, —*

читатель теряется: забывает, как воздух и Бог, — или отразиться, как воздух и Бог? Или третий вариант — забывает-отражается?.. Такая синтаксическая неопределенность весьма существенна. Ибо, даже не повторяя слово «Бог», персонаж Юрия Казарина — всегда с Богом и под Богом, на нижнем этаже. Воздух и Бог (что часто одно и то же) — вечно отражаются в воде и в стихах. И лишь торопливая птица, рассекая воздушные потоки, изменяет картинку на водной глади, уводя, может быть, Творца за собой, за стаей. Уводя его взгляд, его зрак.

Художественная логика автора, не дерзающего пересоздавать мир, а с большим вкусом описывающего уже созданный, противоречива.

*Свобода — выдох, а не вдох,
в дому — двойной переполох —
оситшей бабочки смятенье,
когда всему дарует Бог
земную муку говоренья.*

А бабочке-то зачем мука говоренья, когда ей дана мука хлопанья крыльями?.. Или то — тоже язык?

Но рядом, хоть и в другом стихотворении:

*С Божьим словом человекье
никогда не совпадает.*

Возможно, слово и дано человеку, чтобы не совпадать с речевым идеалом, чтобы добираться, но не добраться до цели — по-иному, не лишиться ее?

Говоренье — потому и мука, что никогда не совпадает с Божьим словом. «Мысль изреченная есть ложь.»

Самодостаточные тексты Ю. Казарина, следуя друг за другом (элегии, медитации, молитвы), вдруг сбиваются на частушку:

*Кто по ягоды пойдет —
три копейки найдет.*

Да при чем тут копейки, сердится читатель. И тут же забывает сердиться. Ибо копейки появляются все на том же пути к Божьему слову. Когда, устав, измучившись, можно выдохнуть:

*...иногда забываешь о жизни,
иногда вспоминаешь о ней.*

Свобода, как мы только что выяснили, — выдох, а не вдох. Забывать о мирской (прозаической) жизни — значит жить ею. Забывать о ее первопричине. Но, забыв, вдруг проговориться: «И страшно слово лишнее сказать». Такая вот мука говоренья, что лишнее, а тем паче неточное слово пугает говорящего. Тем более что

*Божье слово — оком,
где идешь один вдвоем...*

И опять-таки — по-прежнему нелогично-логично:

*Во чистом поле Бог — и потому
безлюдно...*

Абсолютная идея — то, что нельзя посчитать. С Богом — вдвоем, когда же он один — безлюдно...

Никакой иконописи, но только — попытка обдумать Творца, не выдумывая его, а высмотрев в повседневности, дойдя до него. Или, скажем, увидев, как он шагает.

Может, Юрий Казарин несколько пародирует себя, когда сообщает, например: «Зябнет неспешная Божья нога...» или «Озябли Божьи ноги...» (имеется в виду погода). Понятно, тут попытка сократить расстояние «до небеси». Но слова эти, выражаясь по-казарински, как-то очень не совпадают с Божьим словом, вылезают из плотного и емкого стихотворного ряда. Это даже не те три копейки, из-за которых стоит ходить по ягоды стихотворства. Лубок в икону не превращается! Тем более что рядышком в этих стихах — рассуждение о времени и месте,

*где Божьих и твоих очей
согласованье.*

Поскольку мысль о взгляде, зрачке, зраке, что всегда видит человека, очень свойственна Ю. Казарину, такое согласование, такой морально-оптический «унисон» есть трудное открытие. К этим звездам лирический герой пробирается через тернии любимой природы, любимой жизни на ее милом фоне.

Конечно, Божий взгляд прозревает в человеческом мире новое, прозревает — и так оно становится привычным. А человек обретает новое зрение. И в этом, возможно,

*суть уплотнения и стыка
отраженья и лика Его с высоты.*

Такая сложная теософия, когда божество присутствует в своей двоякости: в проявлении и в отражении. Может быть, тут странен техницизм «стык»... Но как назвать соединение образа и образа образа? Деликатный автор-персонаж, не скромничая, отдает самое трудное и самое ценное Создателю. (А чья это реплика:

И глаза от России болят?

Чтобы заболели глаза, надо увидеть страну всю сразу — во всей ярости, яркости и красоте! Это — точка зрения всевышнего.) Но, понимая свою роль отдающего (чтобы взять назад), поэт восклицает:

*Я писарь твой, Господь,
я поводишь глагола.*

Вот и приехали. Снова мы натываемся на алогичность этой поэтической логики. Поводырь божественного глагола — не только писарь, это уже гортань, это уже рука с пером, это уже, стало быть, сам Бог. В «Поле зрения» отношения «Бог — человек», «Бог — поэт» вполне симметричны. Земную муку говоренья человеку дарует Господь, но человек — тоже творец, с какой буквы ни напиши это слово, и он дает Богу... Что? Возможность наблюдать за тем, что людская походка не совпадает с Божеской... И в результате возникает созвучие, стык, как уже сказано, отраженья и лика Его с высоты... И для этого стоило жить и мучиться мукой говоренья 21 год.

Александр Касымов

«Мы вышли все из литобъединений»

Николай Старшинов. Что было, то было... На литературной сцене и за кулисами: веселые и грустные истории о гениях, мастерах и околелитературных людях. — М.: Звонница-МГ, 1998. — 544 с. 5000 экз.

До сих пор, читая какие-нибудь «прогрессивные» размышления или воспоминания о недавней истории советской литературы, нет-нет да и наткнешься на дежурный вопрос: да кто же они были,

эти легендарные десять тысяч членов Союза советских писателей?

Мемуары Николая Старшинова как нельзя лучше отвечают на этот вопрос.

Впрочем, «мемуары» — слишком парадное и пафосное слово, чтобы обозначить им книжку недавно умершего поэта. Это действительно кое-как собранные «веселые и грустные истории», обрывки литературного быта, заказные статьи, множество фрагментов, начинающихся на «о» («О разумной траге поэтической энергии», «О пародиях и пародистах» и т.д.). Словом, как справедливо указали издатели на последней странице обложки: «Эта книга — живая история нашей культуры, литературной жизни в лицах, событиях, сюжетах, анекдотах, типажах, написанная уникальным человеком».

Не знаю, что имели в виду составители этого анонса, говоря об «уникальности», но я готов с ними согласиться. Обычно малоталантливые стихотворцы бывают людьми тяжелыми — угрюмыми, подозрительными, завистливыми, органически не способными радоваться чужой удаче и тем паче — таланту. А вот Николай Старшинов человеком был, судя по книжке, симпатичным — добрым, веселым, благорасположенным к людям вообще и к собратьям по перу в частности, словом, как это говорится, «светлым», чему не мешали ни «профессиональный» (по слову автора) алкоголизм и склонность к милым дебошам в ЦДЛ, о которых вспоминается с откровенной ностальгией, ни пост редактора альманаха «Поэзия».

Николай Константинович прожил счастливую жизнь, наполненную творческими радостями, встречами с замечательными людьми, общением с молодыми талантами, которым он отечески помогал встать на ноги; не был он обделен признанием, дружбой и любовью близких. Говорю все это без тени иронии, с некоторой даже «белой» завистью. Пусть земля ему будет пухом.

Книжку же он оставил интереснейшую: своеобразный «срез» сознания среднего советского писателя, поскольку, будучи «плоть от плоти» многотысячных писательских масс, сохранил обычно атрофированную у них откровенность и простоту.

Один мой хороший знакомый, критик, писавший о поэзии, прочитав эту книгу, задумчиво сказал что-то вроде: «Странно. Я тоже жил и писал в эти годы, многое помню, но помню какую-то совсем

другую литературную жизнь, не ту, что описывает Старшинов». Мой коллега был совершенно прав — Старшинов поведует о другой литературной жизни, на другие ценности и авторитеты ориентированной, о жизни, где уровень одаренности и литературный успех измерялись по другой шкале, весьма далекой от «гамбургского счета». Где-то у Ильфа и Петрова есть замечательное рассуждение о двух непересекающихся мирах: в одном, большом, избранным, условно говоря, теорию относительности и двигатель внутреннего сгорания, а в другом, маленьком, — иглоку для примуса, ситечко для чайника и игрушку «уйди-уйди». Так вот, в советской литературе тоже было два мира: в большом совершали свой трагический или по меньшей мере драматический путь Ахматова, Пастернак, Тарковский, Мартынов, Слуцкий, Самойлов и многие другие, в маленьком же собирались на пленумы и съезды, обсуждали темпланы издательства, ездили на «декады», «пробивали» рукописи, заседали на редколлегиях, распределяли путевки, шагали по заповедной лестнице «публикация — подборка — книжка — вступление в Союз — избранное — двухтомник» многие тысячи «членов», даровитых и бездарных, но одинаково убежденных в своей причастности к поэзии. Старшинов — весь из этого, теперь как бы призрачного, но тогда очень даже материального мира. И очень интересно наблюдать за ним, когда он — очень и очень редко — обращает свой взор на обитателей другого, плохо понятного ему мира, к которым он относится, прочем, с предписанным почтением. Вот встречается он, например, с Анной Ахматовой, просит у нее стихи для «Юности», где тогда работал, теряется, когда она отказывает, и вообще то и дело удивляется реакциям великой поэтессы. Итог встречи выведен с замечательным простодушием: «Очень современная, подвижная, простая в общении, добродушная и полная оптимизма женщина.

И вдруг:

Сжала руки под темной вуалью...

Я ушел, так ничего и не поняв...

Или вот Юрий Олеша, «запрокинувший крупную седую голову к небу.

— Здравствуйте, Юрий Карлович! — выпалил я умышленно громко, желая вывести его из непонятного мне состояния абстракции.» Оказывается, Олеша смотрит на звезды и находит, что они «в определенное время принимают квадрат-

ную форму». «Я посмотрел на небо. Звезды были как звезды, ничего необычного в них я не заметил. И мы пошли вместе к переделкинскому Дому творчества». «Все-таки он был большим фантазером». «Смех Твардовского», «Улыбка Заболоцкого» — в памяти мемуариста остаются какие-то стертые, бытовые впечатления о действительно крупных людях, с которыми его сводила жизнь. Уровень же понимания того, что они делали в поэзии, ярко выражен, например, в кратенькой характеристике первой книги Заболоцкого: «озорные «Столбцы».

Ну да бог с ними, с великими — Старшинов не скрывает ни своего почтения, ни своего непонимания. Ему с ними не очень уютно. Его среда — талантливые графоманы (этот замечательный оксюморон — «Талантливый графоман» — название одной из новелл Старшинова). Читая книгу, поражаешься — надо же, сколько было в России талантливых поэтов, про которых я ничего не слышал! Нужды нет, что приводимые Старшиновым в подкрепление громким эпитетам цитаты как-то не очень впечатляют. Зато — «достоверные, добротные стихи» (в устах автора — едва ли не высшая похвала).

Одна из главок книги называется «Мы вышли все из литобъединений», и это истинная правда — они все, то есть близкие и понятные Старшинову поэты, вышли из этих странных институций, придуманных «организаторами» советской литературы для уловления талантов и их первичного воспитания в нужном духе. Так сказать, тяжкое наследие «культурной революции» и «призыва ударников в литературу», плод непоколебимой веры в то, что всякий «человек из народа» изначально талантлив, надо лишь помочь ему «овладеть техникой». В этих литобъединениях, существовавших при любой газете, на заводах и в вузах, в воинских частях и собесах, тысячам людей прививали несложные, но стойкие представления о том, какой должна быть поэзия. Она должна быть «понятной народу», «достоверной», ни в коем случае не «книжной» и не «подражательной», «искренней», «гражданственной» и т.д. Поэт должен «знать жизнь», «учиться у классиков», приобретать «опыт», принимать к истокам и не очень торопиться к славе. Вот так примерно и представлял себе поэта и поэзию Старшинов. Замечательно он вспоминает о том, как был руководителем «объединения» при МГУ: «Но бывали

на заседаниях объединения и трудные случаи, когда надо было выступать вразрез с суждениями большинства. В частности, так вышло с Назаровым. Он писал стихи, совершенно оторванные от тогдашней жизни, стихи, созданные под явным влиянием поэзии Игоря Северянина. Но поскольку большинство студентов не имело никакого представления о Северянине, участники объединения, особенно девушки, превозносили Назарова до небес. <...> Мне пришлось призвать на помощь тех молодых, которым уже довелось хлебнуть жизни... Конечно же, ближе всех к настоящей жизни были геологи и географы...» Чудо как сказано! И эпилог прекрасный: «впоследствии В. Назаров, окончив журфак, поехал в Сибирь, окунулся в глубины жизни и написал ... настоящие стихи».

Вот это счастливое простодушие, которым в высшей степени обладал Старшинов, и оплакивают теперь тысячи оставшихся не у дел «членов», точно так

же, как другие, которых миновал поэтический зуд, оплакивают «уверенность в завтрашнем дне», «социальную защищенность» и прочие советские фикции.

Поэтому и «живая история нашей культуры», написанная Николаем Старшиновым, выглядит такой уютной, веселой, устроенной, понятной, «близкой к жизни», а ее персонажи почти неотличимы друг от друга — Пастернак «замечательный поэт» и Владимир Костров «замечательный», «замечательный» Мартынов и не менее «замечательный» Мелехин, и так далее — по оглавлению.

Читать эту книгу и весело, и грустно. Весело — потому что в ней действительно много смешных историй — чувством юмора автор обладал. А грустно потому, что немалая часть ее героев — иногда хороших, добротных людей — занимались не своим делом и, должно быть, мучились этим. Потому что, выйдя «из литобъединений», не смогли от них далеко уйти.

Александр Агеев

ДВОЖДЫ

Отголосок, или О вреде мликрии

М. Ю. Шульман. Набоков, писатель: Манифест. М.: А и Б; М.: Независимая газета, 1998. — 224 с. 3000 экз.

Осилив брошюру М. Шульмана (благо ее объем не слишком велик), я долго не мог отделаться от странного впечатления: мне казалось, что автор этого сюрреалистического сочинения — не кто иной как представитель той идеальной читательской публики, которую не страдающий от избытка скромности Владимир Владимирович воображал в виде скопления людей с набоковскими личинами вместо лиц (см.: Strong Opinions. N.Y., 1973, P. 18) — эдакое столпотворение маленьких набоковых.

М. Шульман настолько «эстетически вжился» в Набокова, настолько безоглядно проникся его мировоззрением, что обрек себя на незавидную роль зеркального отражения, скучной копии, глухого отголоска. С нездоровым энтузиазмом

сокрушая недоброжелателей своего кумира (т.е. всех, кто имел неосторожность высказывать критические замечания в адрес писателя), старательно копируя интонации, стиль Набокова (и, как всякий эпигон, невольно окарикатуривая его безвкусным нагромождением вычурных сравнений и метафор, например: «засалить дыру замазкой бытового соображения» (с. 206); *остаток сна сметается холодом по позвонкам*) (с. 14), автор брошюры незаметно для себя самого ревноплощадается в набоковского персонажа. (Больше всего он напоминает мне повествователя «Истинной жизни Себастьяна Найта», который, как мы помним, в конце повествования сливался с героем своего «биографического» сочинения и потому органически не был способен на беспристрастную объективность.)

Перепевая автокомментарии и эстетические декларации набоковской **персоны** и при этом не желая замечать ни их намеренной эпатажности, ни того, что они не исчерпывают своеобразия многомерной творческой личности писателя (а тем более, смыслового потенциала его

произведений), М. Шульман оказался во власти общих мест современного набоковедения. Неспособный добавить чего-то существенно нового — хотя бы один штрих! — к творческому портрету Набокова, он топчется на уже вытоптанном пятакке и одаривает нас целой россыпью дешевых трюизмов: «*Чистой фактографии в писаниях Набокова нам не найти*» (с. 33) [А у любого другого подлинного художника можем?]; «*Проза Набокова насквозь лирична*» (с. 77); «*Набоков стремился изучать не людей, но человека, его позицию в мире, а не в обществе*» (с. 82); «*Ценность писателя определяется не фактурой изображенных событий и т.п. внелитературных компонентов, — а качеством языка*» (с. 185) — и т.д., в духе чеховского Беликова: «Волга впадает...».

По ходу дела автор «манифеста» (больше смахивающего на плоский панегирик) демонстрирует довольно остроумную систему аргументации — вот вам характерный пример: «...Чтобы доказать это положение, потребовалось бы разлагать самый воздух набоковской прозы. Поэтому мы оставим его голословным» (с. 185) — и допускает множество нелепейших ошибок. Некоторые из них я просто не могу не взять «под критический ноготок» (любимое выражение М. Шульмана). Так, Клэр Куилти совершенно напрасно называется «Джонном Куилти» (с. 152); «Заманиловка» (см.: «Мертвые души», гл. 2) в горячке неряшливого цитирования переименовывается в «Замалеевку» (с. 50); финальная строка набоковского шедевра «Что за ночь с памятью случилось?..» искажается дважды (что не позволяет говорить о нерадивости наборщика): «*ни стула, ни постели нет*» (с. 153 и 195) вместо «ни тела, ни постели нет». Заявление о том, что «русский перевод «Лолиты» <...> написан необыкновенно скорой рукой, когда автор не особенно задумывался над каждым словом» (с. 107), звучит несколько странно, если вспомнить о качестве перевода и учесть то обстоятельство, что работа над ним длилась, пусть и с перерывами, около двух лет, с 1963 по 1965 годы). Да и утверждение, будто все критики русской эмиграции недооценивали Набокова (Сирина) и дружно отказывали ему «в связях с русской традицией» (эта, несколько двусмысленно выраженная мысль М. Шульмана повторяет излюбленный мотив западных набоковедов), также, мягко говоря, не совсем справед-

ливо. Уже рецензенты «Машеньки» причисляли главного героя романа к тургеневскому типу «лишнего человека»; в отзывах на повесть «Соглядатай» уже тогда, в начале тридцатых, но без основания отмечалось, что она написана «в духе Достоевского»; литературовед П. Бицилли в статье «Возрождение аллегории» сравнивал Набокова с Салтыковым-Щедриним; и даже придирчивый Г. Адамович, как ни трепал нервы Владимиру Владимировичу, возводил его литературную генеалогию к Гоголю.

Но главная беда М. Шульмана заключается в том, что, устремляясь в метафизические глубины (и заманивая туда Набокова), он не избежал банальной редукционизма — профессиональной болезни подавляющего большинства набоковедов. Лет десять назад один из них, американец Дж. Мойнаган, утверждал в предисловии к парижскому изданию «Приглашения на казнь», что на протяжении всей литературной деятельности Набоков совершал «круговое движение вокруг неподвижной точки — исходного пункта всего его творчества <...>, описывая более широкие, более отдаленные от неподвижной точки круги». Точно такие же рассуждения — о некоей все покрывающей и объясняющей точке, в которой якобы «сходятся линии набоковских романов» — находим и в разбираемом нами «манифесте». Его автор безжалостно припиливает Набокова, словно злополучную бабочку, к одной «главной» теме — «потусторонности» — и тем самым обесцвечивает, упрощает «цветущую сложность» набоковского творчества.

О том, к каким трагикомичным последствиям приводит подобный редукционизм, читатель может узнать, прочитав книгу М. Шульмана (и попутно представив себе безумного дирижера-экспериментатора, который вознамерился исполнить Девятую симфонию Бетховена, имея в своем распоряжении контрабас, барабан и тубу). Впрочем, стоит ли говорить о том, что для писателя такого ранга, как Владимир Набоков, нет тем «главных» и «неглавных»: они все главные, коль уж звучат в его литературной партитуре, все являются необходимыми элементами не разложимого на составные части целого, — фрагментами, слагающими грандиозную мозаику, из которой нельзя выковырнуть и осколочка, чтобы не испортить всей картины.

И надо ли говорить, что подлинный художник не похож на бестолкового ночного мотылька, с тупым упрямством

вующегося вокруг горящей лампы: «Пошел, пошел! Кы-ш-ш!» Скорее (я позволю себе удовольствие закончить мою добродушную рецензию на умиротворенно-лирической ноте) — это большой дом, комната, где стоит письменный стол с той самой лампой, которая, в гармоническом соответствии с порханием любознательного ночного гостя, наполняет комнатное пространство нервной игрой света и тени, — бледными призраками, смутно трепещущими перед рассеянным взором святого полуночника, совершающего тайную работу творческого созидания: разжигающего этот неверный зыбкий свет в дивный фейерверк оживших воспоминаний и чувств, в ослепительные молнии неожиданных мыслей, в многоцветные картины ярких, восхитительно ярких образов, способных волшебным раскрасить, одухотворить и этот бессмысленный колеблющийся мрак, безмолвно стоящий за спиной, и эту отчужденно мертвую комнату, и этого глупого мотылька, случайно залетевшего на огонек из небытия чужой, недоговоренной цитаты...

Виссарион Ерофеев

Приглашение к тайне

М. Ю. Шульман. Набоков, писатель: Манифест. М.: А и Б; М.: Независимая газета, 1998. — 224 с. 3000 экз.

Среди множества набоковедческихopusов, обрушившихся на головы российских читателей за последние годы, книга М. Шульмана приятно выделяется своей принципиальной «ненаучностью» — нежеланием затаскивать Набокова в прокрустово ложе какой-либо литературоведческой школы, какого-либо «изма», и отсутствием того громоздкого понятийно-терминологического аппарата — всех этих замшелых «бинарных оппозиций», «инвариантов», «пермутаций» и «нонсенс-лекций», — без которого ныне не обходится ни один уважающий себя специалист по литературной вивисекции. Представьте себе: во всей книге (на двухстах с лишним страницах, товарищи!) *ни разу* мне не встретились заветные слова, ласкающие слух всех «продвинутых» отечественных гуманитариев: «дискурс», «интертекстуальность», «деконструкция», «постмодернистская чувствительность»

(или «бесчувственность»?!) [*Негодующие вопли и глумливое улюлюканье в критико-библиографическом отделе «НЛО»*]. *Ни разу* не упомянуты Р. Барт, Ж. Деррида, Д. Фоккема, И. Хассан или, на худой конец, М. Рыклин.

Словно нарочно подзадоривая будущих рецензентов, автор уже с первых страниц заявляет, что его книга — это «личное определение краеугольных камней и ориентиров, где творчество Набокова берется в качестве иллюстрации своим уже готовым, прежде рассмотренным сформировавшимся идеям, а не как объект беспристрастного научного исследования».

Предупреждаю заранее: в этой декларации нет ни капли кокетства. Автор ничуть не лукавит, когда пишет о том, что его работа «в меньшей степени о Набокове и в большей степени о некотором знании, растворенном в окружающей нас жизни, говорящем нам о бытии, которому мы предстоим». Предметом исследования (точнее — лирической медитации, облеченной в форму литературно-критического эссе) являются не столько набоковские произведения, сколько существенно важные для автора (впрочем, так же, как и для Набокова, и для Вас, уважаемый читатель) проблемы, имеющие скорее метафизическую, нежели литературную окраску.

Неслыханное дело: вместо чеканных определений и четких схем, вместо уютного препарирования специально отобранных набоковских «текстов» (извините за этот трогательно-архаичный термин) и методичного их раздергивания на ниточки и волокна «кодов», «срезов» и «вырезов», нам предлагается взволнованный монолог, автор которого (он же — «лирический герой») пытается максимально точно сформулировать и выразить «какую-то трудноопределимую мысль о природе искусства, о том волнении, которое не вторично, а равноценно и даже первично по отношению к жизни, — о положении и должности человека в мире, о той таинственной связи Бог весть с чем, которая и дает только вздохнуть глубоко и начать жить вновь».

Поиску жизненных прототипов набоковских персонажей, интертекстуальному опылению (превращающему произведения писателя в унылые каталоги аллюзий и пародий), конструированию бинарных оппозиций, типа «реальное/воображаемое», «Россия/Запад» (посредством которых, как считают иные ученые мужи, можно исчерпывающим

образом объяснить набоковское творчество) — всем этим увлекательным затеям М. Шульман предпочел иное, более сложное занятие: эстетическое вчувствование, вживание в исследуемого писателя, постижение сокровенного ядра его творческого «я» и в то же время — интуитивный поиск некоего тайного знания, которое одухотворяет лучшие творения Мастера.

Один из немногих авторов, пишущих о Владимире Набокове (тут нужно, скромно потупившись, прибавить, что в силу ряда причин мне пришлось одолеть с десяток набоковедческих монографий и сборников как на русском, так и на английском), М. Шульман не претендует на всеобъемлющие трактовки и по большей части удачно избегает прямолинейных решений. Не доверяясь причинному объяснению (которое еще не означает *понимания*), он подходит к на-

боковскому творчеству как к тайне, изначально непостижимой, неисчерпаемой, не поддающейся ни одной «универсальной» — компаративистской, мифопоэтической, деконструктивистской и проч. — отмычке, и убеждает читателя, что в случае с Набоковым (как и с любым другим настоящим писателем) «определенность, пусть даже близкая к правде, отпугивает истину».

Мудрое смирение перед тайной высокого искусства (а не самодовольство опытного медвежатника от литературоведения), поиск трепетно-живого плода непредвзятой истины (а не выдавливание синтетического джема натужных теорий и новомодных методологий), богатый, образный язык (а не убогий постструктурдуралистский волапук) — все это в полной мере отличает книгу М. Шульмана и позволяет оценить ее как несомненную удачу.

Николай Мельников

АННОТАЦИИ

Наталья Бианки. К. Симонов, А. Твардовский в «Новом мире»: Воспоминания. — М.: Виоланта, 1999. — 192 с. 3000 экз.

Наталья Бианки четверть века проработала в «Новом мире» — техредом, заместителем ответственного секретаря, заведующей редакцией. С 1946 по 1971 годы перед ее глазами прошло множество людей, так или иначе связанных с «Новым миром» — авторов, сотрудников редакции, всякого рода «вышестоящих товарищей» из издательства «Известия» или Главлита. На ее памяти журнал дважды возглавляли главные герои ее книги Константин Симонов и Александр Твардовский.

Наталья Бианки — не историк «Нового мира», не бесстрастный летописец редакционных праздников и будней. Ее воспоминания отрывочны, бессистемны, она никому не давала обещания быть объективной и скрывать свое личное и живое отношение к персонажам мемуаров. Критерий оценки того или иного писателя в книге Натальи Бианки почти всегда один — степень его любви и верности «Новому миру» и Твардовскому. Разумеется, многие по тем или иным при-

чинам такой проверки на верность не выдерживали, чем заслуживали авторское недоумение и порицание. Среди таковых, конечно, на первом месте — Солженицын и его хроника «Бодался теленок с дубом». «На мой взгляд, — пишет Бианки, — его рассказ о журнале — просто-напросто безнравственный поступок. Своими бесконечными упоминаниями о запахах Твардовского он его просто предал. Заодно заложил и редколлегию «Нового мира». Досталось от автора и Евтушенко — за то, что поехал на БАМ в составе бригады, сколоченной «новой редколлегией» сразу после снятия Твардовского. Не стесняется Наталья Павловна и личных обид — например, на Владимира Войновича, который, вернувшись из эмиграции и вошедши в новую славу, не поторопился восстановить прежние теплые отношения; или на Юрия Трифонова, который после смерти мужа Бианки, Александра Письменного, стал реже звонить и вообще «в гости звал редко». Рассказывает Наталья Павловна и о том, как сама обижала — скажем, Фазила Искандера за то, что тот опубликовал неполный текст «Сандро из Чегема»: «После этого разговора он отошел не только от меня, но и от всех своих друзей. Как го-

ворится, замкнулся в гордом одиночестве». Все это говорится, как правило, с несколько наивной, но подкупающей искренностью, за которую можно простить пристрастность и избирательность взгляда мемуаристки. Милые мелочи, детали, подробности, словечки, делающие литературную историю живой и человеческой — всего этого в книге много и все это будет оценено внимательным читателем. А любители документов с интересом прочтут раздел «Редколлегия» — стенограммы обсуждений, редакционные планы, официальные письма и т. д.

Рыцари без страха и упрека. Правозащитное движение: дискуссии последних лет. — М.: Независимое издательство ПИК, 1998. — 336 с. 5000 экз.

Сборник различных материалов о правозащитном движении, опубликованных газетами и журналами в 1996—1997 годах. Сюда в качестве раздела вошла и «анкета» нашего журнала «Диссиденты о диссидентстве» (1997, № 9).

Понятно, что возобновлению дискуссий о правозащитном движении (отнюдь, впрочем, не «жарких», как сказано в издательской аннотации) дала толчок война в Чечне и своеобразный «переход на сторону противника» части российской прессы и, разумеется, правозащитников во главе с С. А. Ковалевым (несколько его статей образуют отдельный раздел сборника). Именно во время этой войны правозащитники оказались, после относительно долгого перерыва, в классической, привычной для себя ситуации открытого противостояния с государством, которое пошло на нарушение еще недавно им же провозглашенных принципов. Однако на этот раз «образованное общество» раскололось — всем был симпатичен порыв правозащитников, все были против войны и кровопролития, однако многие посчитали, что ситуация не так проста, как это пытались представить правозащитники, что они, встав на сторону «свободолюбивого чеченского народа», не приняли во внимание или не захотели принять, того очевидного факта, что вожди сепаратистов по части соблюдения прав человека (и особенно — болезненный момент — прав «русскоязычного» населения Чечни) отнюдь не ангелы.

Словом, вопрос встал так: благо или зло для становящейся и непоследовательной российской демократии бескомпромиссный идеализм правозащит-

ников? Когда горстка этих людей спасала «честь державы» и делала свое «безнадежное дело» без особенной веры в его успех, идеализм и жертвенность были единственной точкой опоры. Предельно проста была и расстановка сил: честные и смелые люди против заведомо преступной государственной машины. Теперь все гораздо сложнее, хотя бы потому, что у правозащитников и правящего режима есть реальные и грозные общие враги, в случае победы которых сама ситуация открытой дискуссии общества и власти станет невозможна. Имеют ли правозащитники право ослаблять власть своей пусть и совершенно справедливой критикой?

Послесловие к сборнику написал Сергей Юшенков. Оно называется «Правозащитник — это не профессия, а призвание». Соглашаясь в основном с пафосом этой статьи, все-таки задумываешься: может быть, вовсе и не вредно «призванным» быть в то же время и профессионалами? Конечно, образ пламенного трибуна, обличающего ложь и злоупотребления властей, привлекательнее, чем образ адвоката-крючкотвора, составляющего бесконечные иски и бомбардирующего «инстанции» мелочными запросами. Но, может быть, пришло время именно такого правозащитника-крючкотвора, занятого ежедневной конкретикой?

Вопросов при чтении этого сборника возникает много. Для того, собствен-но, он и издан.

Н. А. Варенцов. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. — М.: Новое литературное обозрение, 1999. — 848 с.

Еще один том получившей заслуженную известность и популярность серии издательства «НЛО» «Россия в мемуарах».

Николай Александрович Варенцов (1862—1947) — известный в начале века московский промышленник, состояние которого оценивалось в 11 миллионов тогдашних рублей. Он чудом уцелел после революции и в 30-е годы написал обширные мемуары, которые впервые теперь опубликованы (вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии В. А. Любартовича и Е. М. Юхименко).

Этот увесистый том — большой подарок любителям обстоятельного, неторопливого чтения. Российские промышленники оставили, по понятным причинам, очень немного своих мемуаров, по-

этому купеческую среду мы знаем в основном по произведениям А. Н. Островского, П. Д. Боборыкина, Д. Н. Мамина-Сибиряка и других писателей. Здесь же мы имеем дело со взглядом изнутри, взглядом человека умного, наблюдательного, способного увидеть события своей жизни в контексте общероссийской действительности. Дела сводили автора с самыми разными людьми — от эмира Бухарского (Варенцов налаживал поставки хлопка из только что завоеванной Средней Азии в Россию) до Д. И. Менделеева, от А. С. Суворина до С. Ю. Витте. Именной указатель, приложенный к тексту воспоминаний Н. А. Варенцова, весьма внушителен.

Но самое интересное в книге — это, конечно, подробно описанные Варенцовым «предпринимательские будни». Речь вроде бы о сухих, скучных материалах — рублях, процентах, паях, но подано все это так увлекательно, живо, сюжетно, что истории тех или иных предприятий, в которых принимал участие Н. А. Варенцов, читаются как детективные новеллы. Причем весьма и весьма поучительные для нас, наблюдающих не очень-то «веселые картинки» эпохи «первоначального накопления». Чего стоит одна только история аферы, связанной с Обществом «Сталь» в самом конце прошлого века! Тоже что-то вроде «пирамиды» с участием известных персон (например, великого князя Петра Николаевича, оказавшегося изрядным мошенником) и закономерным концом. Варенцов эту аферу разоблачил: «Было больно и обидно за добродушие этих рыхлых москвичей, чрезвычайно хотелось их удержать и предостеречь от входа в это мошенническое дело...». Удержать, однако, удалось не всех, да и по сей день «эти рыхлые москвичи» доверчивы и готовы отдавать свои деньги проходимцам, обещающим невозможные проценты.

Марк Азадовский, Юлиан Оксман. Переписка 1944 — 1954. Издание подготовил Константин Азадовский. — М.: Новое литературное обозрение, 1998. — 410 с.

Казалось бы, что может быть скучнее переписки двух академических литературоведов, да еще пришедшейся на глухие, тяжкие для культуры времена? Кого волнуют теперь перипетии издания какого-нибудь сборника научных трудов, давно пылящегося на библиотечных полках или небольшой рецензии в забы-

том журнале «Советская этнография»? Кому интересны интриги вокруг очередных выборов в Академию или новых назначений в том или ином издательстве? Кому безразличны репутации основательно подзабытых теперь литературоведов и историков — хотя бы Н. Ф. Бельчикова или М. В. Нечкиной?

Между тем переписка М. К. Азадовского и Ю. Г. Оксмана будет прочитана с живейшим интересом и вниманием не только «филологами, историками, политологами, специалистами по истории науки и общественной мысли», как говорится в аннотации. И Азадовский, и Оксман — не только крупные ученые, оставившие ряд основополагающих трудов по филологии и истории, они еще и крупные личности, не сломленные ни репрессиями (Оксман провел десять лет в колымских лагерях, а Азадовский в 1949-м, когда громили «космополитов и низкопоклонников», был отовсюду уволен), ни общей мертвящей атмосферой тех лет, когда их любимая наука приходила в явный упадок. Их многолетняя переписка — обстоятельная беседа достойных и мужественных людей, интеллигентов дореволюционной закалки, блестящих мастеров угасавшего уже тогда эпистолярного жанра. В этих письмах много горечи и грусти, но в них же и пафос непрерывного, несмотря на унизительные препоны и рогатки, творчества, делания, поддержания угасающих славных традиций русской филологии.

Книга, как и большинство изданий «НЛО», прекрасно оформлена и иллюстрирована, а ее справочный аппарат — примечания, комментарии, указатели — позволяет надеяться, что традиции научного книгоиздания у нас не прерваны.

Станислав Куняев. «Прощай, мой безнадежный друг...» — День литературы, 1999. Январь.

Воспоминания об Анатолии Передрееве, непонятно почему оказавшиеся на полосе «Полемика». Полемизировать с давно уже покойным другом, согласитесь, как-то странно. Да еще с другом, с которым простился при его жизни (название публикации — начало «прощального» стихотворения Куняева, где есть замечательные строчки вроде «спасать тебя — предать себя»).

Себя Куняев не предал, спасти Передреева не стал, однако, судя по этим воспоминаниям, ощущает потребность «объясниться» еще и в прозе. Рисует

сначала чуть ли не эпический образ русского доброго молодца, этакая смесь Алеши Поповича с Сергеем Есениным, поются дифирамбы его природному чутью на правду и неправду в стихах, рассказывается, как разные люди, от Смелякова до Александра Яшина, буквально влюблялись в русскую «стать» Передреева, ну и т.д. Делается все это как-то банально, по шаблону — отрабатывается «обязательная программа». Главное же и самое трудное — объяснить читателю, отчего же автор порвал с таким замечательным поэтом и человеком. И таковое объяснение суровый Куняев дает. Не откажем себе в удовольствии процитировать: «Да не покажется то, что я сейчас скажу, смешным, но с конца шестидесятих годов я окончательно понял, что мое будущее — это борьба за Россию. (...) Я начинал чувствовать себя человеком, которому судьба предназначила именно этот путь, путь долгой жизни и тяжелой борьбы. Поэтому меня стало тяготить упоительно-сладостное, самозабвенное времяпровождение с пением Блока и Лермонтова, с чтением Есенина, а Передреев читал его как никто... Но мне все больше и больше становились нужны не просто друзья-поэты, а соратники по борьбе, не пропивающие ума и воли единомышленники, люди слова и долга, готовые к черной работе и к самопожертвованию. Я чувствовал приближение грозных времен, и образ жизни Передреева на их фоне был непозволительной роскошью». И Куняев, разумеется, Передрееву об этом сказал, и разговор, разумеется, «закончился какой-то нелепой дракой».

Словом, не Куняев предал Передреева, а Передреев предал их общее дело — «борьбу за Россию». Как должен был поступить суровый и непреклонный рыцарь России, «насытившийся» «знанием о русской судьбе и русском человеке», со своим ослабевшим другом? Известно, как, — повинувшись здоровым языческим традициям: падающего — толкни, как написал некогда один немец.

Вообще тема «предательства» — лейтмотив этих мемуаров Куняева. Есть там еще один «предатель» — Владимир Соколов. Причем будущее «предательство» Соколова предвидел именно Передреев: «...любя Соколова-поэта, умный и проницательный Передреев видел всю человеческую слабость его натуры, предчувствовал, что Соколов ... рано или поздно отшатнется от нас». Что, естественно, и произошло. «Предательство» же Соколова в том состояло, что отказался

поэт печататься в куняевском «Нашем современнике» «рядом с экстремистами и черносотенцами» (Шафаревичем, Беловым, Кожинным). Замечательна реакция Куняева на эти слова Соколова: «Я был поражен: ну Шафаревич и Белов ладно, но Вадим...» Похоже, и у Шафаревича, и у Белова есть формальный повод подать на главного редактора любимого журнала в суд: они по существу признаны «экстремистами и черносотенцами».

Сам же Куняев своего черносотенства привычно не скрывает, оно у него неизбежно, как физиологические отправления организма. Вот он описывает давнюю историю, как в отдел поэзии «Знамени», где работал тогда Куняев, заглядывает Виктор Ардов и спрашивает автора: «А вы, милейший, не полужидок?» Ошарашенный этим вопросом, я ответил Ардову: «Ну что Вы, я русский и по отцу и по матери!» Но Ардов продолжал смотреть на меня с подозрением: как это сотрудник без примеси еврейской крови может работать в таком престижном журнале «Знамя»? Вот отделом критики заведует «полужидок» Самуил Александрович Дмитриев, сын известной всей Москве Цили Дмитриевой, его помощник Лева Аннинский тоже полукровка, через коридор в отделе публицистики сидят Александр Кривицкий, Миша Рошин (Гибельман) и Нина Кодонер (Каданер — это мемуаристу память изменила. — *Ред.*) — это все наши! Секретарь редакции — Фаня Левина, зам гл. редактора Людмила Ивановна Скорино вроде бы украинка, но муж у нее Виктор Моисеевич... О самом Кожевникове говорить не будем, он из Сибири. А первый его заместитель Сучков Борис Леонтьевич, русский, но отсидевший восемь лет в одиночке, он — тише воды и ниже травы... Вот что было написано на челе Виктора Ардова...» Должно быть, у Ардова было весьма поместительное «чело», если на нем уместился отпечаток болезненного подсознания Станислава Куняева... А вообще-то Куняев человек простой и консервативный, ему незачем маскировать кондовый антисемитизм туманными намеками на «мондиалистский заговор» или «мировые суперструктуры зла», которыми балуется Проханов. Вспомнил он, например, Евгения Сидорова, и тут же сказал правду-матку: «Он только что женился на дочери главного редактора «Вечерней Москвы» Семена Индурского и, породнившись с еврейскими кругами, начинал делать карьеру».

Вот такая «полемика».

СПЕКТАКЛЬ

К вопросу о премиях

Иван Савельев. «Путешествие на краю». Режиссер Александр Калинин. Театр Сатиры. Олег Богаев. «Русская народная почта». Режиссер Кама Гинкас. Театр п/р О. Табакова.

Учрежденный в 1996 году «Антибукер» привнес в художественно-премиальный процесс некоторую новизну — драматургическую номинацию «Три сестры». До этого наград для пьес не существовало — ни литературных (если не считать фестиваля молодых драматургов в Любимовке), ни театральных. Потом возникли «Московские дебюты» и премия Солженицына — лишенная номинаций и предполагающая, что в числе лучших может оказаться драма — но они покамест особого авторитета не завоевали, так что, по большому счету, погоды не делают. И в итоге — «Антибукер» по сей день лишен конкуренции. Любопытно, как это сказалось на его результатах.

Поначалу они весьма обнадежили: «Путешествие на краю» Ивана Савельева — вещь действительно талантливая. Ее главным героям свойственны ум, жестокость, расчетливость — качества, не соответствующие возрасту: восемь и одиннадцать лет. Резкий контраст рождает ощущение необъяснимой, почти мистической странности; тем более что детям удается легко манипулировать незнакомыми взрослыми. Однако заявленная таинственность под конец снимается быстро и неинтересно: Анна и Артем — детдомовцы, стремящиеся любой ценой обрести семью. И какие бы мистические повороты ни происходили в финале (дети как бы убивают взрослых, а сами отправляются в чудесную страну феи, дабы обрести отобранное детство), ясно, что их роль сугубо довосочная — развитие пьесы прервано: загадка разгадана.

Ясно и то, что контраст между возрастом и внутренней сутью сценически не реализуем: взрослый актер его разрушает, а самый гениальный ребенок не способен освоить материал роли. Впрочем, Александру Калинину над неразрешимой проблемой, видимо, и думать не пришлось: иглу в сене отыскать проще, чем следы разбора. Ольга Мотина (Ан-

на) и Руслан Хабиев (Артем) ограничиваются внешними, довольно тривиальными характеристиками (типа чрезмерной подвижности). Дабы их пустота не выделялась на фоне остальных, Калинин воспользовался традиционной «игрой в поддавки», а общую халтуру замаскировал при помощи физических действий — причем так усердно, что сцену от спортивного зала не отличить.

Особых сценических трюков в спектакле не обнаруживается, что разочаровывает вдвойне: раз с мистикой не пытались справиться исполнители, остается надеяться на постановочные приемы. На деле все сводится к затянутым паузам, легкой игре теней и финальной сцене убийства, когда взрослые в красиво отблескивающих одеяниях и масках картинно сидят вокруг стола... Спору нет — эффектно, но никак не изобретательно.

И вообще складывается впечатление, будто спектакль существует исключительно в виде нагрузки к премированной пьесе, чего не скажешь о «Комнате смеха», выпущенной в этом сезоне в театре Олега Табакова. Здесь история копируется зеркальным манером: вполне посредственная пьеса привлекла внимание талантливых и уважаемых людей. Почему — большой вопрос, а уж каким образом «Русская народная почта» вообще добралась до премии — загадка загадок. Правда, в тексте Олега Богаева присутствуют и нетривиальный сюжетный ход и прописанный образ главного героя. Но для награды — маловато будет. Иван Сидорович Жуков (отсыл к Чехову), обезумев на старости лет от одиночества и нищеты, вздумал сочинять письма Елизавете II, Ленину, друзьям, марсианам и прочим персонажам. При этом адресаты, периодически материализуясь из снов Жукова, начинают с энтузиазмом делить завещанное в письмах наследство. Дальше удачной завязки дело не двинулось — ни сюжетного, ни психологического развития в тексте не обнаруживается, что быстро навеивает скуку. Справиться с ней Гинкасу с Табаковым явно не удалось.

Нет, я ничего не говорю: роль Табакова выполнена с тщательностью, каковая теперь редко встречается. И Жуков у него — в соответствии с текстом — вышел жалким, опустившимся стариком.

Но актерское обаяние в мрачных красках не спрячешь: в иные моменты Табаков кажется трогательным, чуть забавным, по-детски наивным... Беда в том, что заданный рисунок роли существенно не меняется — игра движется по кругу, углубляясь вдобавок парой-тройкой сильно затянутых сцен. Вот если б речь шла о спектакле «малой формы», где актер находится в нескольких шагах от зрителя, может, все и обошлось бы: эмоциональный накал, заложенный в роли Жукова, компенсировал бы общую монотонность.

Тут, впрочем, следует отметить одно обстоятельство: «Комната смеха» — хоть и играется на большой сцене ТЮЗа — явно предназначена для малой площадки, с которой Гинкас привык работать. По сути, он работает с ней и на сей раз — создав вместе с художником Сергеем Бархиным двойную коробку сцены. Убогое жилище Жукова помещено ими в огромный, обитый железом ящик, который открывают монтировщики в начале спектакля. Гинкас с присущей ему безжалостностью показывает дно человеческого бытия, где все жизненное пространство намертво ограничено стенами железной камеры. И когда она медленно, со скрежетом и лягом начинает закрываться — как бы прекращается жизнь.

Другое дело, что, отказавшись от финала (в последнем письме Смерть наделяет героя вечной жизнью), режиссер автоматически приписал устрашающей конструкции двойной смысл. Ведь если логическая концовка отсутствует, вяло плетущееся действие можно прервать в

любом месте — что, собственно, и происходит: ящик закрывается, нарушая тем самым привычную театральную условность. Ибо «жизнь человеческого духа» — по идее — воспроизводится для публики единственный раз; а тут получается — процесс бесконечен. Равно как и пьеса.

Впрочем, о текстах настало самое время поговорить. Ведь сходны не только биографии авторов: оба молодых человека до того, как причислились к антибуковским лауреатам, не были известны решительно никому. Суть в том, что их творения демонстрируют одну и ту же проблему: многообещающе завязав действие, они не знают, как распутать узлы. В результате в ход идет беспроигрышная мистика, которая от подобных задач разом освобождает. Это, вообще говоря, свойственно и теперешней драматургии в целом; так что «Антибукер» лишь иллюстрирует черты, свойственные литературному процессу. Но все равно: обе премированные пьесы для сцены оказались непригодны, ибо ставят перед режиссерами препятствия, через которые, как ни крути, едва ли перепрыгнешь.

Соответственно, возникает вопрос: может быть, жюри рассматривает пьесу как самостоятельный текст, забывая о том, что она таковой — строго говоря — не является? Ибо драматургия пишется в расчете на постановку, и потому должна соответствовать законам театра. Впрочем, промежуточное положение между сценой и литературой продемонстрировал и ворох премий: драматургам их долго не доставалось.

Денис Сергеев

незнакомый журнал

Быт и рубрики

Родная речь. (Ганновер, 1998. №№ 1—3)

«Родная речь» — единственный в Германии чисто литературный русский журнал (если понимать под «литературой» исключительно художественную словесность). Он начал выходить в Ганновере в 1998 году, существует уже в 3 выпусках; как обещает редакция, и далее будет появляться регулярно, раз в квартал.

Возможности имеются: «Родная речь», в отличие от большинства других журналов русской эмиграции, существует не на деньги случайных спонсоров, но на прочной финансовой основе: как литературное приложение к газете «Контакт». Редактор ее, график и журналист В. Марьян, стал и главным редактором журнала. Кстати, к редакционным портфелям других газет имеют доступ еще два члена редколлегии, Д. Чкония и В. Вебер (оба — поэты и переводчики): первый редактирует литературное приложение к

«Ведомостям», второй — «Немецко-Русскую Газету». В составе редколлегии — и два известных автора из Петербурга: зам. главного редактора, поэт О. Бешенковская (как говорят, именно она задумала и составляет журнал) и писатель М. Городинский.

Пожалуй, следует сразу же объяснить: журнал безусловно интересен (иначе не стоило бы и браться за рецензию). Но, пожалуй, скорее потенциалом и перспективами. Намерения же и сегодняшняя их реализация побуждают к обсуждению, если не к спору.

В предисловиях редакция декларирует... отсутствие программы. Заявляет о стремлении к широкому спектру жанров. Открещивается от «измов» — и от модных, и от получивших окончательную отставку, и от тех, что завоевали долголетие и право на заслуженный отдых. Но не строится ли тем самым литературное предприятие как судно без руля и ветрил, отдаваемое на волю стихии? Отсутствие односторонности и агрессивности, поддержка «хороших и разных» авторов — все это и в самом деле прекрасно, но... если тон на пиру задают не гости, а хозяйка: пригласив всех желающих высказаться, незаметно направляют разговор к актуальным для журнала темам (при этом, если угодно, ведут беседу за круглым столом, где участники равноправны). Немыслимо издание без интересов, склонностей лица. И если редакция не спешит предьявлять «удостоверение личности», то читатель, напрягая внимание и фантазию, сам ищет «линии» — и он прав: он просто хочет знать, чего ожидать от следующих выпусков.

«Линия»? Речь, понятно, не о цензуре, но о специфике, которая выражается уже в отборе, в расположении материалов. И, конечно, в структуре издания (наборе рубрик, их порядке); даже окрошка («всего понемножку») — все-таки вполне определенное блюдо, с особым рецептом... Если под таким углом зрения просмотреть номера «Родной речи», окажется, что «линия» все-таки есть.

Первый номер открывается «карликовым романом» Б. Фалькова «Гамлет в Британии». Роман нетрудно прочитать как манифест тех, кто не желает чтобы либо выражать-отражать и если и берет в руки зеркало, то для того, чтобы поставить его перед письменным столом. Так создается текст, повествующий не о событиях — о своем рождении, «нарциссически» разглядывающий себя. Чтобы

выяснить: «новая» история лишь переписывает старые, хроника предваряет события, «автор» и персонажи интригуют, борются за власть над повествованием — но, пожалуй, никто не побеждает в этом призрачном мире, где развитие событий определяет описка. Знакомые по множеству современных книг мотивы выдают родство с продукцией поколения «влюбленно-бледных нарциссов» (с той оговоркой, что проза Фалькова создавалась около десятка лет назад). С неким «измом». (Кстати, не стоило бы осмеивать «измы». Литературу не уложить в их прокрустово ложе, верно; но именно манифестами и экспериментами «измов» движется литературное самосознание.)

На пороге, у входа, так сказать, в журнал — вполне достойное произведение. Вот только... само положение его настраивает читательские ожидания — между тем в дальнейшем ничего подобного постмодернистскому эстетическому интеллектуализму читатель не встретит. Контраст с «Гамлетом...» усиливает общее впечатление (подчеркиваю: общее, не без исключений): журнал слишком уж привязан к быту. Кажется, большинство авторов трудятся каждый на клочке частного опыта, вскапывают эти «огородики» по старинке, не обзаводясь сложной техникой, а потому — психологическая глубина оказывается максимально доступной. Искренняя, нередко неплохо сделанная проза, но... ни откровений, ни литературных открытий на этом пути ожидать не приходится.

Быговая «линия» связана, видимо, с тем обстоятельством, что практически все авторы принадлежат последней («четвертой») эмиграции. Как правило, они приехали в Германию относительно недавно и не ощущают себя ни в изгнании, ни в послании. Первое, что просится под перо русского автора за границей сегодня, — воспоминания (тяготы жизни на родине — мотивы отъезда, вариант — ностальгически переживаемая, единственная, ослепительно неповторимая юность). С равной вероятностью можно ожидать разве рассказов об освоении нового жизненного пространства. В любом случае, быт, обостренно переживаемый, составляет фундамент прозаического отдела «Родной речи». Поражает обилие рубрик, оформляющих эту «тенденцию»: иногда оно кажется избыточным. Чем раздел *Пилигримы (Новеллы и рассказы об эмиграции и эмигрантах)* отличается от *Мы и вокруг* и от некоторых

других, от *Наш рязанский wunderkind?*.. Возможно, глаз обитателя русского зарубежья иначе устроен, расщепляет на цветные составляющие то, что обитателю «метрополи» кажется однотонным, элементарным. (Феномен языка якутов: десятки наименований для оттенков белого — цвета снега.) На вкус российского читателя, основной корпус текстов принадлежит неопределенно-смешанному жанру бытового рассказа-воспоминаний-дневника.

В будущем редакция обещает сотрудничать с «Октябрем» и «Невой». Что за ожидания связываются с этими планами? Если вдуматься, молодой журнал не слишком верит в свои силы — потому и пытается заручиться поддержкой именитых, готов быть всего лишь перевалочным пунктом для авторов, мечтающих напечататься в престижных изданиях. Но, собственно, что произойдет, если «Родная речь» останется **чисто эмигрантской**? Как ни парадоксально, возможно, она только выиграла бы. Она могла бы стать еще одним **региональным журналом**, как та же «Нева», как «Волга», «Урал» и др. Все они не только не стыдятся территориальной привязки, но демонстрируют ее в названии, потому что она всего лишь — визитная карточка и шанс открыть новое имя. Опасность не в географической периферийности или отграниченности, а в провинциализме («изм», более страшный, чем его эстетические собратья), спасает же от него единственный путь: умение разрабатывать собственную непохожесть (удаленность от родины, например), как золотую жилу, видеть в ней достояние, поднимать как знамя. У «Родной речи», например, есть источники, черпать из которых сам бог велел. Портреты первой и второй эмиграции — как «Родословная...» К. Антич (Миллер) в № 1. Встреча языков, встреча культур. Переводы, наконец — в «Родной речи» сильный раздел *Вавилонская башня*.

Рубрики «Родной речи» останавливают внимание. Названия их необычны для солидного журнала легкомысленны (если не считать нескольких вполне уважаемых). *Салон «ЛБС»*, *БОС — библиотечка одного стихотворения*, *Новые русские... сказки*, *Королевство кривых зеркал*, *Трех-дюймовочка*... Названия говорят о некоем самоощущении возрастного порядка: журнал во что бы то ни стало желает выглядеть не старчески-осторожно-консервативным, но студенчески-юным и дерзким, весе-

лым (пусть это веселость стенгазеты или капустника).

Процесс рубрикообразования еще не закончен, каждый новый номер добавляет новые разделы — *Слово слависта*, *Всякая всячина*, *Дело №...*, *Пешкой по России*, *ВерниШАРЖ*... Кажется, каждому автору журнал готов выделить отдельную рубрику. Но вот единственный в своем роде случай, когда отсутствует раздел, явно необходимый: демократическая «Родная речь» не отличает учеников от учителей. Все печатаются скопом, вперемешку: и дебютанты, и профессионалы (то есть те, кто на хлеб зарабатывает литературным трудом). Но когда опытные литераторы чередуются с начинающими, именно опусы последних определяют впечатление (мастерство — незаметно, неумелость же досадно бросается в глаза). Плоды «литературной учебы», безусловно, могут быть интересны (безыскусный «человеческий документ», может быть, еще более ценен), но — лучше бы редакция предупреждала, с чем читателю предстоит иметь дело...

Заканчивая разговор о рубриках, посетуем на то, что раздел *Трех-дюймовочка* разрастается до неимоверной, опровергающей название длины. *Трех-дюймовочка* содержит фразы и парадоксы, кстати, часто превосходные, сделанные со вкусом, приправленные солью и перцем (для раздела работают Соломон Ягодкин и такой известный мастер, как Михаил Генин). Однако специфика малого жанра в том, что продукт продается поштучно, а не килограммами (бриллианту — одиноко лежать на бархатной подушке, тогда достоинства его как-то лучше видны). 5–6 «фраз» на рубрику (на страницу) радуют гурмана, десятки вызывают пресыщение... Можно предположить, тут все та же неуверенность в себе издания, становящегося на ноги. Как если бы редакция не верила в его будущее (спонсор передумает) и торопилась напечатать все присланное. Порадовать авторов, истомившихся вынужденным молчанием.

На общем фоне выделяются отдельные тексты (некоторые публиковались одновременно в более известных изданиях). Стилистически выверенные «Новые русские... сказки» В. Немировского (в разных номерах). Палиндромы Г. Крошина. Сентиментальная комедия о пожилых американцах В. Рацера, мастера развлекательного жанра. «Новая сказка Шехерезады» Городинского, в русле уважаемой традиции (сатиричес-

кие провинциальные хроники о Глупове, Градове, Любимове... Клопове), стилистически — на уровне классических образцов, тематически же несколько мельче: обыгрывает эксцессы российской новообретенной свободы, подпитываясь модой на эротику. Особого разговора, пожалуй, заслуживает «Viewasen 22» Бешенковской, проза поэта, неровная, отчаянная, саркастическая, эпатирующая, ищущая равновесия, полная остроумных замечаний.

Если смотреть журнал номер за номером, очевидна динамика развития. Уже третий номер ощутимо отличается: призрак провинциальности-самодельности больше не витает над страницами. В третьем номере заметно меньше процент начинающих, сильная поэзия, добротная проза (вот только фантастика явно выпадает «из строки», она украсила бы на-

учно-популярный журнал, обеспечила бы подписку провинциальной газете, но как-то не вяжется с общим направлением, которое как будто определилось: противостояние «родной речи» хаосу быта — чужого, неосвоенного, и своего, нестабильного). Третий номер вполне профессионален — и это при том, что журнал и в малой степени не использует потенциал «русской Германии».

В № 1 редакторы выразили надежду: журнал заполнит нишу, «занимаемую прежде журналом «Грани» и литературными программами радио «Свобода» до переезда редакций из Германии». Потому журнал планируется как центр литературной жизни, с выступлениями авторов, выставками... «Планов громадь» вызывает уважение; пожелаем исполнения! Предпосылки, как показывает вдумчивое чтение, имеются.

Е. О'Морфи

главный редактор

Сергей ЧУПРИНИН

редколлегия

Александр АГЕЕВ
Ольга ЕРМОЛАЕВА
Наталья ИВАНОВА *первый зам. гл. редактора*
Карен СТЕПАНЯН
Елена ХОЛМОГорова *ответственный секретарь*

редакция

Юлия Рахаева, Ольга Трунова,
Елена Хомутова, Александр Шиндель

общественный совет редакции

Сергей Аверинцев, Григорий Бакланов, Игорь Виноградов,
Николай Воронцов, Вячеслав Иванов, Фазиль Искандер,
Евгения Кацева, Владимир Маканин, Марк Масарский,
Михаил Ульянов, Юрий Черниченко.

**Из общего тиража журнала Институт «Открытое общество»
выписал и направляет в российские библиотеки
и библиотеки ряда стран СНГ
4558 экземпляров журнала «Знамя».**

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. Никольская, 8/1.

Телефоны: главный редактор — 921·24·30,
первый зам. главного редактора — 921·08·09,
ответственный секретарь — 928·22·78, отдел прозы — 923·72·82,
отдел публицистики — 923·76·33, отдел критики — 928·94·45,
отдел библиографии — 923·62·61, отдел поэзии — 921·59·67,
для справок — 924·13·46, факс — (095) 921·32·72,
E-mail: znamlit@diapup.ptt.ru.

Редакция рукописи не возвращает и в переписку не вступает.

Корректор Елизавета Полукеева.
Компьютерная верстка: Елена Кот.
Художник Татьяна Вахлина.

Сдано в набор 15.02.99. Подписано к печати 11.03.99. Заказ № 4087.
Тираж 11400 экз. Формат 70x108 1/16. Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная.

Отпечатано с готовых диапозитивов в
полиграфической фирме «Красный пролетарий».
103473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».
© Журнал «Знамя», 1999.

Журнал современной литературы и общественной мысли “Знамя”
 в первой половине 1999 года —
 романы и повести Григория Бакланова “Мой генерал”,
 Юрия Буйды “Миллениум любви”,
 Георгия Владимова “Долог путь до Типперэри”,
 Владимира Войновича “Монументальная пропаганда”,
 Юрия Давыдова “Бестселлер” (книга вторая),
 Олега Ермакова “Свирель вселенной” (книга третья),
 Александра Морозова “Общая тетрадь”,
 Андрея Столярова “Жаворонок”, Татьяны Толстой “Кысь”,
 новые произведения Анатолия Азольского, Чингиза Айтматова,
 Беллы Ахмадулиной, Дмитрия Бакина, Александра Борщаговского,
 Марины Вишневецкой, Андрея Волоса, Фазиля Искандера,
 Александра Кабакова, Виктора Пелевина, Людмилы Петрушевской,
 Вячеслава Пьецуха, Нины Садур, Олега Хандуся,
 Марка Харитоновна, Алана Черчесова, Сергея Юрского.

“Знамя” — месяц за месяцем, год за годом создаваемая
 на журнальных страницах галерея русской поэзии.

“Знамя” — рабочие тетради Александра Твардовского,
 записные книжки Эммы Герштейн (Анна Ахматова и
 Осип Мандельштам), дневники Константина Паустовского
 и Давида Самойлова, материалы из архивов Лидии Чуковской,
 Манука Жажояна, Елены Пуриц,
 воспоминания о Марии Гринберг, Борисе Чичибабине,
 Галине Улановой, документальная повесть о Вадиме Делоне.

“Знамя” — публицистика, эссеистика, экспертизы, культурология,
 критика, разговор о роли России и российской культуры
 в современном мире.

И, наконец, “Знамя” — развернутая панорама сегодняшней
 литературной и общекультурной жизни.

Подписаться на журнал “Знамя” можно по Объединенному каталогу
 Федеральной Почтовой Службы или непосредственно в редакции —
 Никольская ул., 8/1, тел. 924-22-88.

Отдельные экземпляры журнала можно купить в редакции
 или в магазинах “Библио-Глобус” (Мясницкая, 8),

“Графоман” (ул. Бахрушина, 28),

“Мир печати” (2-я Тверская-Ямская, 54),

“Ad marginem” (1-й Новокузнецкий пер., 5/7), “Гилея” (Б.Садовая, 4),
 “Эйдос” (Чистый пер., 6) и “Летний сад” (Б. Никитская, 46).